

Святослав ЛОГИНОВ

Страж Перевала



«Проза Логинова была первым опытом отечественной fantasy и, по-моему, остается лучшим из того, что написано в этом жанре по-русски».

Ник Перумов



Святослав ЛОГИНОВ

СТРАЖ ПЕРЕВАЛА



Санкт-Петербург
ИЗДАТЕЛЬСТВО "АЗБУКА"
Книжный клуб "Терра"
1996

**ББК 84Р7
Л 69**

**Иллюстрация на обложке
Сергея Бордюга**

Логинов С.

Л 69 Страж Перевала: Рассказы. — СПб.: Терра — Азбука, 1996. — 512 с.

ISBN 5-7684-0047-8

«Страж Перевала» — сборник лучших произведений петербургского фантаста Святослава Логинова. Закованные в броню рыцари, свирепые монстры, тающиеся в темноте загадочные существа и... простой человек из нашей привычной реальности — один на один с НЕВЕДОМЫМ.

Новая книга Святослава Логинова открывает всем читателям удивительный, яркий, таинственный мир, скрывающийся за перевалом, имя которому ФАНТАСТИКА.

ISBN 5-7684-0047-8

**© С. Логинов, 1996
© П. Борозенец, оформление, 1996
© «Азбука», 1996**

МѢД ЖИЗНИ



ОБЕРЕГ У ПУСТЫХ ХОЛМОВ



обрый день, любезный! Где я могу найти почтеннейшего Вади?

Вади ещё раз подбросил на ладони камешек, затем поднял взгляд на говорившего.

Гость возвышался, словно башня. На Закате вообще обитают крупноватые существа, но этот выделялся даже среди них. Его ноги не стояли на земле, а попирали её. Широкая грудь сверкала чеканкой доспехов, поверх которых кривилась уродливая ухмылка эгиды. Мускулистые руки были обнажены до локтя и безоружны — видимо, пришелец не считал Вади за угрозу, — стальной шестопер остался висеть у пояса. Ничего удивительного: гость силен и велик — даже подпрыгнув, Вади не смог бы достать рубчатой рукоятки праздно висящей булавы.

Задрав голову, Вади взглянул в глаза великану. Нормальное лицо, человеческое. А шлем золотой, блестит, указуя зенит отточенной спицей.

«Через Ожогще, должно, на карачках полз, — прикинул про себя Вади, — а шапку догадался снять. А то бы нипочем не прошёл: молниям в такой шишак метить — самое милое дело. Видать,

хороший человек — не дурак и не спесивец. Жаль его...»

Вади подбросил камешек, поймал.

— И зачем тебе понадобился Вади?

— Это я скажу только ему.

— Говори. Вади — это я.

Великан не удивился: верно, за долгое путешествие успел навидаться всякого и знал, что не рост определяет человека, не золото и не железо.

— Меня зовут Хаген. Я из Западных земель. Мне нужен светлый меч Шолпан.

Вади щелчком отбросил камешек, показал пустые ладони:

— У меня нет меча. Я не воин, не кузнец и даже сувенирами не торгую, хотя в округе валяется немало старого железа.

— Молва говорит, что у тебя есть талисман, с которым можно пройти мимо Пустых холмов.

Вади согласно кивнул:

— Верно, оберег у меня есть.

Великан быстро наклонился. Тяжёлая тень накрыла Вади.

— Дай мне его! Дай на один только день. Этого времени мне хватит, чтобы обшарить Пустые холмы вдоль и поперёк. Всем известно, что меч Шолпан там. Умиравший богатырь вонзил его в брюхо смоляного чудовища и уже не имел сил вырвать обратно. А потом на холмы пало безвременье, и меч остался, вплавленный в груды смолы. Клянусь светом и тьмой, я верну тебе твой талисман, едва найду меч.

— Зачем тебе именно этот меч? Неужели на свете мало других клинков?.. Я могу показать подходящий камень, из него торчит рукоять, так густо изрисованная рунами, что нельзя прочесть ни единого слова. Правда, это камень, а не смола, меч выдернуть будет непросто...

Хаген покачал головой:

— Мне нужен именно светлый меч. Если бы мне противостоял дракон или гидра, я бы нашёл способ управиться с ними, но сейчас на моём пути стоит нечто иное. Может быть, ты слышал, почтенный Вади, что на Закате, в моих краях, есть Тёмный дол. Это проклятое место! Днём оно ничуть не отличается от всякой иной долины, но не приведи судьба заночевать там. Твой костёр погаснет, и факел изойдёт чадом, а следом явится Страх темноты. Он выпьет твою душу и оставит бежать пустое тело. Никто из повстречавших Страх темноты не может рассказать, что было с ними, но из их боромотания родились злые легенды. Одни твердят о чёрном звере, невидимом во тьме, лишь два синих глаза мутят взор жертвы. Другие рассказывают о женщине в траурном платье и с бездонной дырой вместо лица, где плавают те же синие огни. Мужики прозвали Страх тьмы Синевалкой и осмеливаются заходить в долину лишь по утрам. Я тоже не знаю, кто обитает там, но нечисть не должна мешать людям, поэтому мне нужен светлый меч, рассекающий духов ночи.

— Неужели Синевалка выползла из Тёмного дола? Или брюква, которую крестьяне сажают на ничьей земле, по ночам стала сходить с ума от ужаса?

Хаген усмехнулся понимающе, присел на корточки, чтобы тоже видеть лицо Вади.

— До этого пока не дошло. Львы не едят капусты, а Синевалка не трогает брюквы, либо же брюква не способна сойти с ума.

— Тогда в чём же дело?

Великан коротко хохотнул:

— Дело в том, что я не брюква и не турнепс. Я — человек. Не могу спать спокойно, когда нечисть бродит рядом с моим домом.

Вади подобрал с земли пяток камешков, выбрал подходящий, примерился подкинуть его на ладони, но не стал: лицо собеседника было слишком близко.

— Ты не человек. Ты — герой. Человек не может уснуть, только когда рядом непонятное. Тогда он называет его Синевалкой и засыпает, довольный тем, как замечательно всё объяснил. Но ты не таков. Тебе нужен противник. Думаю, что, если бы Синевалка жила под семнадцатым морем, ты бы и туда нырнул, чтобы сразиться с нею.

Хаген выпрямился. Островерхий шлем чуть не пронзил небо.

— Да, ты прав. И именно поэтому я — человек.

Теперь Вади снова мог подкидывать и ловить камешек и глядеть ввысь, не боясь обидеть гостя.

— А вдруг там нет зверя? Что, если там женщина, синеокая ночная красавица, а твои путники сходили с ума от безнадёжной любви к ней?

— Женщину я бить не стану. Но и в этом случае я должен взглянуть в её глаза.

— Держа в руках меч?..

Хаген смолчал, лишь желваки на скулах разом вздулись, сдерживая резкое слово.

Камешек взлетел, упал, скрылся в сомкнувшейся ладони.

«Какая узкая ладонь стала у меня... и морщинистая. Любопытно было бы узнать, долго ли я ещё проживу...»

Камешек, презирая людской закон тяготения, взлетел к небу, потом вернулся, покорный этому закону.

Небо улыбалось новорожденной голубизной, не выцветшей даже над Пустыми холмами. В замершей бирюзовости небес описывал спирали молодой вишневым дракон. Съезжал вниз, словно проваливаясь в невидимую воронку, круги быстро сжимались, пока

весь летун не сливался в глазах, обращаясь в пунцовое мерцание, но в самый последний миг спираль начинала раскручиваться, и, не шевельнув крылом, дракон вновь уходил в поднебесье. Он тоже не любил подчиняться законам, которые не велят ему летать.

Семь... девять... шестнадцать тонких штрихов прорвали небо, перечеркнув тугую циклоиду дракона. От них было некуда деваться, но, взорвавшись малиновыми отблесками, дракон совершил немыслимый курбет и вновь вернулся к плавному кружению. Это было красиво, как всякая отточенная игра. И вдвойне красиво оттого, что игра была смертельной. Лучники из ближней деревни попытались взять вишнёвого красавца врасплох. Удайся им это — небо над округой осиротеет, а весь мир станет на одного дракона скучнее.

Камешек взлетел и, передумав, вернулся на ладонь. Взлетел, вернулся — и упал на землю. Морщинистая ладошка сомкнулась в кулак.

— Не сердись, могучий Хаген, но берега я тебе не дам. Пусть Синевалка живёт в своём Тёмном доле. А ты, если тебя действительно тревожит судьба людей, поселись рядом и следи, чтобы никто не забрёл туда ненароком.

Хаген не был ни удивлён, ни разгневан.

— Вот, значит, зачем ты тут сидишь. Что ж, это достойное занятие для такого заморыша, как ты. И я не оскорблён твоим отказом, я с самого начала ждал чего-то подобного. Не обессудь и ты, почтенный Вади, но я всё-таки получу твой талисман.

— Меня нельзя убивать, я уже четыреста лет не причиняю зла!

Вади знал, как отпугивают иных пришельцев эти жуткие слова, но Хаген только улыбнулся слегка презрительно:

— А сколько лет ты не делал добра, почтеннейший?

Вади склонил голову к рассыпанным у ног камешкам, потом вздёрнул подбородок навстречу насмешливому взгляду великана:

— Добра я тоже не творил четыреста лет, но в том нет моей вины! Я честно предупреждаю всякого идущего, что дальше он не пройдёт, но почему-то никто не хочет слушать меня.

Хаген согласно кивнул:

— Тех, кто смог добраться сюда, не так просто свернуть с дороги. Если бы ты знал, сколько препятствий мне пришлось преодолеть...

Спорить было бессмысленно, но всё же Вади предложил:

— Хочешь, я покажу путь в обход Ожогуща? И научу, как обмануть Сладкую топь...

— Это лишнее. Лучше бы ты помог мне идти дальше.

Вади молчал.

— Тогда я возьму талисман сам. Такой поступок трудно назвать добрым, но я и не стремлюсь к совершенству. Ведь меня в любую минуту могут убить, и тогда всё несделанное мною зло вырвется на свободу. Не бойся, я постараюсь не причинять тебе вреда, хотя меня так и тянет взглянуть, во что выльются не совершённые тобою злодеяния. Впрочем, боюсь, что даже за такой срок ты не смог бы натворить достаточно бед. С твоими силами, да ещё голыми руками...

— Зло делают не руками, а словом, которое у нас одинаково. К тому же я вооружён. Меча у меня нет, но есть кинжал.

Толстые пальцы потянулись к поясу Вади.

— С такой булавкой только на жука ходить...

— Осторожней! Там яд! Когда-то я ходил с этой булавкой на чешуистого аспида. Кинжал до сих пор в крови.

Хаген отдернул руку. Козьявка, сидевшая перед ним, оказалась смертельно опасной. С таким оружием коротышка и впрямь мог совершать бесчисленные злодеяния. И сейчас все они, несовершенные, посаженные в хрупкую тюрьму добродетели, ждут гибели своего тюремщика, чтобы обрушиться на того, кто окажется всех ближе, а это значит — на убийцу. Так что двойное предупреждение оказалось как нельзя кстати.

Вади гордо выпрямился, и в это мгновение здоровенная лапа Хагена обхватила его за туловище, а другая выдернула из-за пояса Вади кинжал. В руках великана отравленное оружие и впрямь смотрелось булавкой. Зажатый жёсткой хваткой Вади захрипел, но нашёл силы укорить Хагена:

— Зачем ты это делаешь? Ведь ты знаешь, что я не нападу на тебя...

— Я и не боюсь твоего ножика. Но мне нужен талисман и поэтому на всякий случай я заберу всё, что у тебя есть. Возможно, волшебной силой обладает нож или пряжка на ремне... — пальцы Хагена сноровисто обшаривали Вади, — а быть может, талисман висит на цепочке...

— Не тронь, это моя амулетка!

— Но я и ищу амулет, спасающий от безвременья.

— Это не оберег, это амулетка! Она никому не пригодится, кроме меня!

— Не злись, почтенный Вади, но ты сам вынудил меня на это. И не тревожься, я верну твоё добро в целости, как только вернусь с Пустых холмов.

— Ты не вернёшься.

— Не каркай. Лучше сними кольцо. Я боюсь сломать тебе палец.

— Это колечко подарила мне одна знакомая. В нём нет никакой волшебной силы.

— Я не могу рисковать. Что у тебя в карманах?

— Медный грошик.

— Я вижу — ты богач. Ты получишь его обратно вместе со всеми твоими сокровищами. А это я оставляю тебе в заклад, чтобы ты не беспокоился о своих вещах, пока я буду искать меч.

Хаген опустил Вади на землю и стащил с пальца витой перстень с мелко огранённым адамантом. Вади мог бы носить этот заклад вместо браслета.

— До скорой встречи, почтеннейший! Пожелай мне удачи.

Хаген повернулся и размеренной походкой воина двинулся к холмам. На мгновение Вади почудилось, что безвременье уже осветило его кудри немощной белизной, но, конечно, такого не могло быть. Граница лежала неподалёку, но ещё не здесь.

Несколько минут Вади сидел неподвижно, стараясь ни о чём не думать. Потом выбрал камешек и кинул его в небеса, где по-прежнему кружил вишнёвый дракончик. Камешек поднялся совсем невысоко, но плавный ход дракона изменился, зверь дрогнул в сторону, готовясь отпрянуть с возможного пути камня.

Зоркая тварь! Суметь с такой высоты углядеть крупинку... Не так просто будет сельским стрелкам подбить его. Ещё не день и не два вишнёвый красавец станет радовать взоры глядящих в небо. А заодно, соревнуясь с ястребами, таскать со дворов кур и индюшат. И если лучникам не удастся прикончить малыша, то вскоре дракончик начнёт хватать овец, а когда-нибудь — почует свою силу и упадёт на чело-века. К тому времени его будет уже не пронзить стрелой и не увадить рогатиной. Тогда выручить людей сможет только герой. Но герой ушёл к Пустым холмам и больше не вернётся. В этом тоже своя правда, отличная от той, первой, которая не велела давать оберег.

Вади нагнулся, выбрал среди россыпи гальки ещё один камешек — невзрачный и угловатый, но тоже подходящий, зажал его в кулаке и пошёл следом за Хагеном.

В лицо пахнуло недвижимым, застарелым холодом, но оберег налился теплом, запульсировал, прожигая пальцы, и Вади продолжал идти. Ещё через минуту он нашёл Хагена. Великан лежал лицом к холмам — даже почуяв беду, он не повернул обратно. Отполированный непрошедшими веками череп выкатился из шлема и лежал чуть поодаль, пристально разглядывая мир. Вади присел рядом, наклонившись к глазницам:

— Ведь я сделал всё, что мог. Я честно предупредил тебя...

Череп улыбался широкой, ничего не понимающей улыбкой.

Вади вздохнул и принялся за дело. Отыскал свою амулетку и кинжальчик — по-прежнему опасный, ибо даже безвременье не могло обезвредить кровь чешуистого аспида. Нашёл кольцо, подаренное знакомой, и позеленевшую пряжку от ремня. Дольше всего не находился грошик, а Вади не хотел уходить без него. Ведь это была плата за последнее из добрых дел. Четыреста лет назад к границе подошёл человек, и Вади удалось его остановить. Человек не был героем — он искал пропавшую козу. Вади предупредил путника об опасности и указал, куда ускакала сбегавшая коза. В благодарность получил грошик — единственную ценность, что ему удалось скопить за четыре столетия. Наконец отыскалась и монетка. Вади снял с руки перстень, надел его на хрусткие фаланги истлевших пальцев Хагена:

— Вот твой заклад. Возвращаю его тебе.

Больше делать тут было нечего, но Вади зачем-то начал подниматься дальше по склону.

В ложбине между двумя холмами тускло поблёскивало асфальтовое озерцо. Если не врут легенды, то это останки смоляного чудовища. Тогда, где-то в глубине, залитый липким гудроном, лежит меч Шолпан. И даже будь у Хагена оберег, всей его жизни не хватило бы, чтобы вычерпать и процедить смоляную густоту. А может быть, предания врут, и Пустые холмы действительно пусты. Но ведь это ничего не изменит: герои всё равно будут искать тут свою гибель.

Больше в ложбине ничего не было: два холмика и лужа смолы между ними. Даже Вади мог бы облазять Пустые холмы за полчаса. И вряд ли страшное царство Синевалки в центре Закатных земель много больше, чем проклятые Пустые холмы. Почему людей так тянет именно сюда? И зачем здесь сидит маленький Вади? Кого и от чего он хочет охранить? Или, вернее, что он хочет охранить и от кого?..

Вади неторопливо шёл к дому, туда, где по-прежнему вершил круги уцелевший драконыш. Горячий камень жёг пальцы. Нестерпимо хотелось подбросить его в воздух, поймать, снова подбросить. И не для того, чтобы остудить натруженную руку, а чтобы хоть немного остудить больную душу. Но Вади не смел разжать кулак и хоть на мгновение выпустить камень. Он не знал, успеет ли вновь сжать пальцы и захочет ли взлетевший оберег вернуться на подставленную ладонь.

9.03.1995

БЫЛЬ О СКАЗОЧНОМ ЗВЕРЕ



ерковь в Эльбахе не славилась ни высотой строения, ни скорбно вытянутыми скульптурами, ни святыми чудесами. Но всё же тесные объятия свинца в порталльной розе заключали сколки лучшего иенского стекла, и солнечными летними вечерами, когда свет заходящего солнца касался розы, внутренность церкви наполнялась снопами разноцветных лучей. Сияние одевало ореолом фигуру богоматери и повисшего на распятии Христа, золотилось в покровках. Тогда начинало казаться, будто церковь улыбается, и даже хрипловатые вздохи изношенного органа становились чище и яснее.

Больше всего Мария любила бывать в церкви в этот тихий час. Но сегодня, хотя время было ещё рабочее, в храме собралось на редкость много людей. Белая сутана священника двигалась, пересекая цветные блики солнца, невнятная латинская скороговорка перекликалась с органом, но всё это было как бы привычным и ненужным фоном для поднимающегося от скамей тревожного шепотка прихожан.

Жители Эльбаха обсуждали проповедь, сказанную пришедшим монахом отцом Антонием. Недобрую речь

произнёс святой отец и смутительную. Читал от Луки: «Мните ли, я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение... И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада низринешься... и падут от острия меча и отведутся в плен все народы». Читал отец Антоний со гневом, а толковал прочитанное грозно и невразумительно.

Что бы значило сие и кого разумел монах под Вавилоном и Капернаумом? Не так прост был отец Антоний и не чужд суете мирской. Проповедника не раз видели в замке Оттенбург, и многие держались мысли, что близится распря с молодым графом Раоном де Брюшем, а значит, пора прятать скот и зерно, вообще, готовиться к худшему. Иные, впрочем, не верили, ибо кто же воюет весной, когда не окончен ещё сев?

Мария слушала толки, уставя неподвижный взгляд в гулкую пустоту купола, и неслышно шептала:

— Господи, не надо войны!

Не раз уже вздорили графы де Брюш с недобрыми своими соседями имперскими баронами Оттенбургами, и каждый раз пограничная деревушка Эльбах оказывалась на пути войск. Обе стороны признавали её своей вотчиной, но всякий, вошедший в селение, почитал его законной добычей. В мирные дни эльбахским крестьянам удавалось иной раз вовсе никому не платить новинностей, но зато в дни гнева сеньоры с лихвой брали своё.

Во время прошлого столкновения стальная гвардия Людвига фон Оттенбурга обложила графскую крепость Монте. Мелкая, никем за границу не чтимая речушка отделяла замок от Эльбаха. Офицеры осаждающей армии селились в домах, солдаты резали скот, и хотя сиятельный барон объявил, что подданным за всё будет заплачено, но до сих пор поселяне не видели от войска ни единого талера.

Через пару месяцев полки ушли, оставив после себя загаженные дома, опустевшие овины и растерявших женихов брюхатых девушек. Следующей весной одни за другими проходили в эльбахской церкви не-радостные крестины детей войны.

И тогда же, во время бесплодной, никому ничего не принёсшей распри, погиб отец Марии. Был праздник, и один из перепившихся ландскнехтов вздумал показывать удаль на стае уток, мирно плескавшихся в луже. Ландскнехт похабно ругался, бестолково размахивая алебардой, утки вопили, спасаясь бегством. Почему-то это зрелище, более смешное, чем страшное, задело за живое проходившего мимо Томаса.

— Что ты делаешь, изверг! — крикнул он и попытался вырвать древко.

Мародёр оттолкнул Томаса, ударил плашмя алебардой. Он не хотел убивать, но лезвие в непослушных руках повернулось, и Томас, вскрикнув, схватился за рассечённое плечо. Кровь удалось остановить, но к вечеру в рану вошёл огонь, началась горячка...

После похорон отца в благополучный прежде дом заглянул голод. Спасти семью могло только удачное замужество Марии. Жених у матери на примете был: Генрих — нескладный парень двумя годами старше Марии, некрасивый, с редкими белесыми волосами, большим, вечно мокнущим носом и незначительным выражением бледного лица. Зато поля двух семей лежали рядом, и свадьба была выгодна всем. Мария понимала это и спокойно ожидала будущего.

Но теперь отец Антоний произнёс страшную проповедь, и в памяти ожили крики и плач, пожары, затоптанные поля, мёртвое лицо родителя. И ещё — иссохший призрак нищеты.

Мария раскачивалась, стоя на коленях, вцепившись побелевшими пальцами в спинку скамьи, и надрывно шептала:

— Мира дай, господи! Мира!..

Мост через Зорнициг тоже считался спорным, хотя стоял очень далеко от Эльбаха. Сражений возле моста не бывало, поскольку бой чреват пожаром, а мост приносил немало дохода обеим сторонам. У одного схода взимали дань в пользу графов де Брюш, у другого ожидали мытари барона. Однако двойная пошлина обижала купцов, так что многие стали ездить в обход через неудобный, а порой и опасный брод. Тонуть в реке было незыблемым правом купцов, но и за переправу вброд тоже надлежало платить. Разгорелся спор — кому владеть бродом. Близилась Франкфуртская ярмарка, и потому военные действия начались ранее обычного. И снова первым почувствовало войну селение Эльбах.

На этот раз деревню заняли люди де Брюша. Латники в итальянских бургиньотах с кольчужной завесой и в острогрудных, гусиным брюхом вперёд, кирасах. Тяжёлая конница в иссечённых доспехах без султанов и перьев, зато со стальными шипами на груди коня. Граф мечтал обойти Оттенбург. Там, в сердце баронского хинтерланда, легко можно прокормить войско и взять богатую добычу.

Но на следующий день к Эльбаху подошла рать Людвиг. Барон, как всегда, соблазнился надеждой овладеть плохо укреплённой крепостцой Монте, чтобы оттуда угрожать вотчинам де Брюша.

С утра предстояло быть сражению.

У Людвиг фон Оттенбурга насчитывалось больше наёмной пехоты, у Раона де Брюша — блестящей дворянской конницы. В соответствии с этим и разра-

ботаны были планы баталии. Заодно мстительный Раон де Брюш решил наказать эльбахских обывателей, принесших в прошлый раз присягу противнику. На рассвете, в полной тишине, без труб, сопелок и барабанной дробы, войско графа покинуло деревню, отойдя к берегу реки. В посёлке остался лишь небольшой отряд копейщиков. У каждого из них вокруг кованого рожна обвивался пук пропитанной смолой и салом пакли.

На берегу пропела фанфара, и по этому сигналу копы превратились в трещащие факелы. Поджигатели побежали по опустевшей деревне. Крестьяне, согнанные на другой берег, бессильно смотрели, как гибнет их имущество. Соломенные крыши весело вспыхивали от прикосновения чадящих копий, гонтовые загорались труднее, но горели жарче: дранка, скрючиваясь и рассыпая искры, огненными бабочками перелетала по воздуху, всё дальше разнося пожар.

Через полчаса улицы Эльбаха превратились в преграду, не преодолимую для баронских латников, фланг де Брюша был надёжно защищён. А в обход деревни по незасаенному полю звонко двинулась конница.

Однако искушённый в битвах фон Оттенбург ожидал атаки. С десятков лёгких всадников вылетели навстречу конной лавине, а когда до нацеленных копий оставалось совсем немного, круто повернули лошадей и помчались прочь, разбрасывая подмётные каракули — упруго разворачивающиеся клубки тонкой проволоки с торчащими во все стороны колючками. Двое рыцарей, не успев остановиться, полетели с коней, остальные поскакали вспять.

Ободрённый первым успехом, Оттенбург сам перешёл в наступление, бросив свой конный отряд прямо сквозь пекло горящей деревни. Защищённые

бронёй воины грузным галопом двигались по центральной улице, когда навстречу им из-за поворота выплеснулась конница графа. Атака на поле оказалась лишь отвлекающим маневром, основные свои силы мессир Раон тоже решил послать через пожарище.

С треском и звоном всадники столкнулись. Некоторые были тут же вышиблены из седла и корчились на земле, не в силах подняться. Огонь неуклонно подбирался к ним, и несчастные громко кричали, напрасно призывая оруженосцев и чувствуя, как раскалется их железная скорлупа. Прочие побросали ненужные больше копья и, сорвав с перевязей мечи, вступили в бой. Рубились, неловко отмахивая скованной доспехами рукой, звенели гранёным лезвием по латам противника, старались ударить под мышку, метили тонко оттянутым лезвием ткнуть сквозь погнувшуюся решётку глухого забрала. Но больше всего берегли коней и стремились поскорее уйти от дыма и грозящего пламени.

Вскоре рыцари де Брюша вытеснили врага из деревни и погнали к лесу.

— Победа! — выкрикнул граф Раон, направляя коня в самую гущу сражения. Ударом кончара он оглушил противника и левой рукой, сжимавшей кинжал, ударил его в щель разошедшихся доспехов.

— Победа!.. — истово прошептал наблюдавший за сражением со стороны фон Оттенбург. Графская конница уже совсем близко от леса. Сейчас оттуда полетят стрелы затаившихся арбалетчиков, и пришельцы один за другим повалятся с коней...

Первые стрелы с тонким свистом пронзили воздух, барон приподнялся на стременах, сорвал шлем, чтобы лучше видеть. И он увидел, как его воины лезут через засеки и бегут полем, бросив оружие и не обращая внимания на врага. В лесу раздались крики, треск и

глухой, ни на что не похожий рёв. И вот из кустов ракитника, разбросав брёвна засеки, вырвалось невиданное чудовище, живая гора, покрытая чёрно-рыжей шерстью. Чудовище мчалось, выставив перед собой, словно таран, желтовато-белый острый рог. А вокруг его ног тонко вилась, впиваясь в плоть, струна подмётной каракули.

Зверь ревел от боли, но скорости не сбавлял. Один из тяжеловесных всадников не успел увернуться с его пути, чудовище мотнуло низко опущенной мордой, поддев преграду рогом, и всадник с конём взлетели на воздух и рухнули где-то сзади.

Целую нескончаемую минуту видение носилось по полю боя, уничтожая всё, что попадалось на дороге, а потом ринулось в лес и исчезло там.

Оба войска в беспорядке бежали.

Только к вечеру отдельные смельчаки появились у догорающей деревни. Разглядывали удивительные следы, оставленные могучей лапой, толковали о дьяволе. Отец Антоний был среди первых. Оглядел глубокие вмятины, отпечатавшиеся в земле, поднял ввысь палец и промолвил:

— То не дьявол. Посланцы сатаны имеют копыто раздвоенное, здесь же видим как бы персты, для крестного знамения сложенные. То божья гроза — единого! Быть беде за грехи наши!..

Через сутки о том знала вся округа.

После пожара семья Марии поселилась в погребке. Ещё прежде сюда был запасливо стащен кое-какой скраб, так что первое время можно было прожить. Гораздо хуже, что сгорел амбар. Зерно частью обуглилось, а то, что лежало в центре, крепко пропахло дымом, однако на семена годилось. Но сеять не спешили, понимали, что война не кончена и скоро

опомнившиеся войска вернутся на поля Эльбаха. Кое-кто, впрочем, полагал, что сеять надо, иначе можно остаться без хлеба, а что касается войны, то она должна окончиться раньше, чем взойдут яровые. Вот только чем кормиться до нового хлеба?

Каждый день с утра Мария с корзинкой в руках и плетёным коробом за плечами отправлялась в лес — искать перезимовавшие под снегом, почерневшие орехи лещины и разбухшие, с нежным носиком проклюнувшегося ростка жёлуди. Мария торопилась заготовить впрок побольше липкой коричневатой муки, ведь через пару недель прошлогодние плоды уже никуда не будут годиться, а братьев и сестёр надо кормить.

Мальшей в лес не пускали — боялись чудовища. Сама же Мария не то чтобы не верила в единорога, но просто не могла себе его представить и не думала о нём. Потому, может быть, и произошла их встреча.

В тот раз Мария особенно далеко забралась в заросли лещины. Орехов попадалось много, с осени их почти не брали, ибо тогда ещё помнили закон. Мария двигалась согнувшись, не поднимая головы, быстро ощупывала пальцами ковёр влажной прелой листвы. Распрямлялась, только когда корзинка наполнялась до половины. Тогда Мария шла и пересыпала орехи в короб. По сторонам глядеть было некогда, так что низкое предостерегающее ворчание стало её врасплох.

Сначала Мария ничего не могла рассмотреть. Тело лежащего зверя сливалось с бурой листвой, рог чудился побелевшим от непогоды обломком сухого дерева. Но вдруг всё словно выплыло из ниоткуда. Единорог лежал в трёх шагах, казалось невероятным, как Мария сумела подойти так близко, не заметив его. Хотя разглядеть его впервые было так же трудно, как потом потерять из виду.

Мария смотрела, медленно переводя сомнамбулический взгляд: рог, округло расширяющийся от светлого острия, тупая морда, заросли тёмной с рыжинкой шерсти, сливающиеся с прошлогодней листвой. Глаза — большие, коричневые, совершенно коровьи... Кривой ствол ноги, вытянутой вперёд, и на ней огромная, с тарелку, рана, сочащаяся медленно застывающей сукровицей. Из раны косо торчал обломок стального прута. Верно, зверь рвал зубами собственное тело, пытаясь выдернуть колючку, сорвавшуюся со злосчастной каракули.

Мария шагнула вперёд, присела на корточки, ухватила двумя пальцами заржавленный конец шипа и что есть силы дёрнула. По шкуре единорога волной прошла дрожь. Мария сама не соображала, что делает. Ей виделись только круглые, густо-карие глаза единорога. Никакое это не чудовище, а просто очень большая корова, сдуру забравшаяся в терновник, исколотая, несчастная, которую теперь надо лечить.

Водой из глиняной отцовской фляги Мария промыла рану, оторвала от подола нижней юбки длинную полосу полотна и перевязала истерзанную ногу. Единорог вздрагивал, шумно дышал, но терпел. На болоте Мария нарвала молодых побегов рогоза, принесла целую охапку, положила перед зверем. Коснувшись рукой холодной кости плавно изгибающегося рога и сказала:

— Ты никуда не уходи. Завтра я приду опять.

Разогнанные мираклем войска вскоре удалось собрать. Мессир Раон, граф де Брюш, покинул укрепление Монте и вышел навстречу дружине фон Оттенбурга. На этот раз сражение предполагалось безо всяких военных хитростей. Войскам предстояло столкнуться в кровавой каше, в той неразберихе,

когда победу или поражение могут принести один-два храбреца или несколько дружно побежавших трусов. Но в любом случае воинов надо было привести в неистовство, внушить им боевой азарт. Ждали поединка.

Раон тронул шпорами бока лошади, послал её вперёд. Оруженосец подал господину одетый в серебро рог, граф поднял голову к небу и протрубил вызов. От противного стана отделился рыцарь Фридрих, боец, доселе непобедимый на турнирах, но не испытывавший ещё себя в настоящей боевой схватке. Одинаковым движением соперники опустили забрала, намертво закрепив их в сброшенном положении, поправили тяжёлые копья, опирающиеся на грудной рычаг, и устремились навстречу друг другу. Они сшиблись, мессир Раон принял копьё на щит, а юный Фридрих был выброшен из седла и с грохотом рухнул в борозду. Но никто на всём поле уже не смотрел на дуэлянтов. Взгляды были обращены к реке, откуда неотвратимо приближалось знакомое и страшное видение.

Оно прошло по самому берегу, там, где сплетавшиеся кусты шиповника вставали неприступной стеной на защиту заповедных владений водяных крыс и лисиц. Единорог двигался быстро и плавно, словно привидение, а на спине его, промеж горбатых лопаток, вцепившись рукой в рыже-бурые космы, сидела девушка. Она размахивала в воздухе свободной рукой и кричала что-то неслышное за пением валторн.

Секунду собравшиеся толпы оторопело взирали на чудо, а затем слабый голос девушки, веско подкреплённый целеустремлённым бивнем чудовища, прорезал внезапно упавшую тишину:

— Стойте! Хватит драться! Мира!..

Один испуганный вскрик, любое резкое движение могли в эти минуты обернуться всеобщей паникой,

бегством, десятками насмерть затоптанных и утонувших в смехотворном пограничном ручейке, но войска, загипнотизированные происходящим, молчали, а необыкновенная всадница продолжала увещевать, поочерёдно поворачиваясь то к одной, то к другой шеренге:

— Зачем вы хотите умирать? Для чего вам убивать других? Опомнитесь! Дайте Эльбаху мир! Вы, благородные, сильные, умные, — помиритесь, говорю вам. Раон де Брюш и вы, господин барон, подойдите сюда и подайте друг другу руки!..

Вожди оглянулись на войска. Шеренги медленно заколебались, солдаты один за другим опускались на колени.

— Сегодня их драться не заставишь, пойдём разговаривать, — промолвил фон Оттенбург и, отделившись от группы советников, направился, куда звала его мужицкая дочь Мария.

— Дьявольщина! Труссы!.. — проскрежетал де Брюш, но, понимая, что ему ничего не удастся изменить, покинул ворочающегося в чернозёме Фридриха и тоже поспешил на зов.

Взрывая комья земли, он первый подскочил к единорогу, хотел что-то сказать, но лошадь, испуганно заржав, шарахнулась и понеслась по полю. Только великое искусство уберегло Раона де Брюша от позора и помогло удержаться в седле.

Барон Людвиг опустил коню на глаза стальной щиток, но и ослепший иноходец нервно дёргал головой и раздувал ноздри, страхась тягучего чужого запаха, волной идущего от невообразимо огромной туши единорога.

Подскочил граф Раон, с трудом справившийся со своим скакуном.

— Благородные сеньоры, пожмите ваши руки и поклонитесь в дружбе и вечном мире... — Мария

запнулась, позабыв придуманные заранее слова, смешалась и добавила уже вовсе не торжественно: — Я вас очень прошу.

Мгновение рыцари колебались, но вид единорога разрушил их сомнения. Монстр стоял, изготовившись к удару, горячий воздух с шумом вырывался из груди, выпуклые глаза медленно наливались кровью. Только слабая рука всадницы охраняла сейчас жизнь суверенных владык.

— Так хочет бог! — проговорил фон Оттенбург, первым протянув руку.

Одна железная перчатка звякнула о другую. Мир был заключён. Забрала государи не подняли.

Пошла вторая неделя празднеств. Первые семь дней Оттенбург гостил в замке Брюш, затем кавалькада рыцарей, сопровождающая легендарного зверя и его прекрасную хозяйку, должна была перекочевать в земли Оттенбургов. С первого дня каждое утро тьмы народа собирались взглянуть на удивительное представление: невысокая девушка в белом платье подходила к чудовищу, в холке вдвое превышающему самого крупного быка, и воплощение гнева господня опускалось на колени, чтобы повелительнице удобнее было сесть верхом. Кроме Марии, к единорогу никто не смел подойти, всякий знал, что только девственности может укротить великана и только ей он подчинится всегда и вполне.

Поднявшись над толпой, Мария произносила одни и те же слова — о том, что люди устали от войны, что не надо больше убивать друг друга и топтать чужие поля. Затем раздавался голос отца Антония, призывающего к покаянию и пожертвованиям. Изобильно текли медяки на восстановление пострадавшей эльбахской церкви. Отец Антоний, измысливший эти

сборы, неприметно выдвинулся на первый план, стал как бы пастырем юной святой. Его проповеди неизменно собирали толпы верующих, но уже не пугали их. Сладчайшим голосом отец Антоний обещал скорое пришествие тех времён, когда в мире «будет единое стадо и один пастырь», отечески журил, напоминал, как в первые века «верующие были вместе и имели всё общее».

Христиане умилялись и жертвовали на построение общины и грядущий золотой век. Но чаще просто откровенно глазели, изумляясь величине чудовища, непомерной его силе, волнам грязной шерсти, таранящему рогу и удивительным копытам — не лошадиным и не двойным, как у коровы, а построенным из окостеневших пальцев, плотно прижатых друг к другу.

На ристалище перед графской цитаделью под медный звон горна бились на турнирах рыцари, воинской доблестью прославляя сошедший вечный мир. Мессир Раон налетал молнией, с протяжным треском расщеплялись копыя, и соперник громко падал на утоптаный круг. Барон Людвиг дважды выезжал преломить копьё со знатными из дома Брюшей, но с самим графом не встретился, опасаясь за лета свои и сказав, что мирная клятва не допускает поднять хотя бы и лёгкое копьё против друга.

Вырвав на состязании рыцарский приз, граф де Брюш, как и полагается, поднёс его даме, но не графине и не иссохшей супруге барона, а грозной наезднице, покорительнице божьего знамения. Впервые потомок де Брюшей подъехал к единорогу без шлема и прямо взглянул в лицо Марии. Удивлённо пожевал породистыми губами и не выдержал, сказал:

— Как странно, издали ты гораздо красивее. Подумать только, у тебя обветренное лицо и цыпки на

руках. Ты ничем не отличаешься от обычной деревенской девки...

— Я и есть деревенская, — сказала Мария.

— Так не должно быть! — твёрдо произнёс граф и, не добавив более ничего, ускакал.

В тот же вечер Марии было поднесено белое шёлковое платье, в котором она отныне показывалась перед народом, парчовые туфли с изогнутыми длинными носками и золотой, сияющий камнями драконьей крови гребень, чтобы девушка скрепляла им волосы и не носила крестьянского чепца, повергающего простолюдинов во вредный соблазн. Издали Мария стала походить на знатную даму.

Единорог же нимало не изменился. В присутствии Марии он был кроток и смирен, оставленный один, послушно ожидал её, но никого более не признавал. Он не нападал, но в его ворчании слышалось нечто такое, что отбивало даже у самых отчаянных охоту приближаться к зверю вплотную.

В замке барона и в городе намечались те же празднества, что и у графа. Де Брюш, собираясь в дорогу, брал с собой лучших лошадей и полную повозку хрупких турнирных копий. Предстояли охоты, балы, пиры. Готовились молебны. Отец Антоний собирался даже ехать вперёд, готовить торжественную встречу, но потом передумал и остался подле Марии.

В среду во второй половине дня государи со свитами, сопровождая святую девственницу, прибыли в замок Оттенбург.

— Так что же ты можешь сказать нового?

— Новостей немало, ваша светлость. Мы славно потрудились у де Брюша. Армия полностью развалена и воевать не сможет. Народ говорит только о мире, так что графа можно брать голыми руками. К несчаст-

тью, теперь девственница прибыла к нам и, значит, уже начала свою разрушительную работу.

— А ты спокойно смотришь на это?

— Ваша светлость, девица на редкость строптива, она вбила себе в голову, что ей поручена божественная миссия. Она отказала своему жениху и теперь собирается в мирный крестовый поход по всем королевствам империи. Она соглашается со мной во всём, кроме самого главного. Да, говорит она, было бы замечательно, если бы обе области управлялись одним владыкой, в том был бы лучший залог благополучия и процветания, но стоит мне заикнуться, что объединения можно добиться и силой, как девица становится похожей на своё чудище, упирается и ничего больше не желает слушать. Здесь-то и скрыта главная трудность, потому что никто, кроме девственницы, не сможет повернуть единорога в удобную нам сторону...

— Чёрт побери, кто бы мог предполагать, что в навозном Эльбахе хотя бы одна девка умудрится сохранить невинность до пятнадцати лет! И кстати, любезный, если всё упирается только в строптивость Марии, то неужели её нельзя заменить? Или во всей стране невозможно больше сыскать ни одной девственницы?

— Ваша светлость, это уже предусмотрено мной. Ещё прежде вашего прибытия в замок доставлена некая благонравная девица, юная и привлекательная, хорошего рода. Вчера она была допрошена матронами из знатных семейств и осмотрена в их присутствии повивальными бабками. Невинность и добропорядочное поведение девицы твёрдо установлены, и следует полагать, что единорог будет её слушать. Сама же она выказала полную покорность и согласие следовать по указанному вашей светлостью пути.

— Тогда за чем же дело?

— Всё не так просто, ваша светлость. Марию знают в народе, внезапная замена святой вызовет нежелательные толки. Следовало бы сделать так, чтобы само знамение господне — единорог указал верующим истинный путь. И мне кажется, я знаю, как этого добиться...

После ужина двое пажей привели Марию в отведённые ей покои, поставили подсвечники на стол, пожелали спокойной ночи, поклонились и исчезли.

Мария вздохнула с облегчением. Она никак не могла привыкнуть к суматошной сверкающей жизни, обрушившейся на неё. Хотелось домой, к матери, к маленьким братьям и сёстрам, посмотреть на новый дом, заложенный на пепелище. Жаль было родных полей, реки, на несчастье своё оказавшейся пограничной. Жаль и Генриха, с покорной обречённостью принявшего её отказ. Генрих ничего не сказал, только чаще обычного шмыгал носом. Мария боялась разговора с бывшим женихом и потому испытала двойное облегчение — оттого, что Генрих ни в чём не упрекнул её, и оттого, что не придётся осенью выходить замуж за этого человека. И всё-таки Генриха было тоже жаль.

Но так было надо. Поняв тяжесть ответственности перед измученным войной народом, Мария со всей серьёзностью старшей дочери взвалила на себя этот крест и собиралась нести его до конца. Только вечерами, оставшись одна, она позволяла себе расслабиться.

Мария вытащила из волос гребень, поднесла его к свету и ещё раз с детской радостью любовалась игрой камней, отражающих дрожащее пламя свеч.

Потом, фукнув несколько раз, одну за другой погасила все свечи. Раздеваться в такой большой комнате при свете было стыдно. Мария на ощупь откинула полог, сунула золотой гребень под подушку. И в этот миг её крепко схватили сзади, плотно зажав рот и не давая вырваться.

Второй человек появился из-за портьер, медленно подошёл к Марии. Девушке был виден только чёрный силуэт на фоне окна, но она сразу узнала подошедшего.

— Вот так-то... — отдельно произнёс барон Оттенбург и попытался потрепать Марию по щеке, но, наткнувшись пальцами на ладонь, зажимающую рот, усмехнулся и опустил руку.

— Ваша светлость! — незнакомо зашептал тот, кто держал Марию. — Гораздо лучше будет, если это сделаю я. Грех получится больше, понимаете?

— Понимаю... — протянул Оттенбург. — Старый греховодник! Что же, желаю удачи.

Барон вышел, прикрыв дверь. Ключ несколько раз повернулся в замке. Ладонь, зажимавшая рот, сползла на грудь, мужчина дёрнул шнуровку лифа, пытаясь распустить её.

— Побалуемся, красотка? — спросил он.

Только теперь она признала этот хриплый шёпот. Ещё не веря происходящему, она рванулась, но отец Антоний ухватил её за руку и с неожиданной силой швырнул на кровать:

— Детка, тише!..

Когда всё было кончено, монах приподнялся на постели и негромко, хорошо поставленным голосом опытного проповедника произнёс:

— Ты сама виновата во всём. Это твой грех. Ты своей выставленной напоказ непорочностью ввела меня в искушение. Господь простит меня. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все

грехи и хуления, какими бы ни хулили». Соблазнившийся будет спасён, но горе искусителю! Особенно тому, кто соблазнил слугу господа!

Мария молчала. Отец Антоний издал короткий смешок и сказал:

— Ладно, к этому мы вернёмся утром, а сейчас у нас впереди целая ночь. Признайся, девочка, тебе понравилось со мной? Францисканцы — лучшие любовники на свете... Молчишь? Ну ладно, спи пока... Об этом мы тоже поговорим ближе к утру... — Отец Антоний повернулся на бок и сонно пробормотал: — С великой радостью принимайте, братия мои, когда попадаете в различные искушения...

Монах уснул. Мария тихо, опасаясь разбудить его, отодвинулась в дальний угол широкой кровати и попыталась привести в порядок разорванное платье. В замке было тихо, лишь башенные часы гулко отбивали четверти, да иногда слышался тяжёлый удар и треск досок — единорог не спал в загоне, пробуя прочность стен. Мария связывала лопнувшие шнурки, не глядя на своё жалкое рукоделье. И думала, думала, в сотый раз повторяя в мыслях одно и то же.

Это конец. Придётся распрощаться с чудесной мечтой, снизошедшей на неё, когда она в слезах прибежала к логову единорога, жалуюсь, что войска пришли вновь, и вдруг поняла, как просто слабая девушка и большой добрый зверь могут остановить кровопролитие. А потом мудрые речи отца Антония, того самого Антония, что храпит сейчас рядом, навели её на мысль примирить всех государей и все народы.

Но теперь мечта погибла, и виновата в этом сама Мария. Вероятно, она действительно слишком подчёркивала свою юную безгрешность, да ещё надела проклятое белое платье с открытой грудью и коротким пышным рукавом. Бесстыдно распустила волосы

и закалывала их драгоценной брошью. Она подражала родовитым дамам, но у неё не было знатного имени, защищающего принцесс от посягательств мужчин. К тому же нельзя было брать в исповедники нестарого ещё человека, через день приходить на исповедь и тем соблазнять его, соблазнять всякий час, пока он не впал в отчаяние и не нарушил обета целомудренной жизни. С какой стороны ни посмотри, всюду виновата она. Вот только зачем был в комнате барон Оттенбург и почему он не остановил монаха? Или здесь вообще никого не было и всё просто почудилось ей в бреду?

На улице послышался шум, крики, скрежет металла, мелко посыпалось стекло, потом по камню упруго простучали копыта коня, беготня во дворе усилилась, ещё несколько всадников скорым галопом промчались вниз, после чего всё стихло. За оконным переплётом медленно голубело утро.

Часы пробили шесть. За дверью чётко прозвучали шаги, ключ повернулся, и в зале появился фон Оттенбург.

— Спишь? — спросил он у продирающего заплывшие глаза отца Антония. — Давай, быстро готовь её к выходу. — Барон мотнул головой в сторону Марии и зло добавил: — Де Брюш сбежал.

— Как?! — Отец Антоний подскочил от неожиданности.

— Вот так! На неоседланной лошади!.. В одной сорочке!.. Это ты, сука, наделала. — Барон повернулся к замершей Марии. — «Распахните ворота замков, опустите мосты!» Чёрта с два он удрал бы у меня, если бы ворота были закрыты! А!.. — Фон Оттенбург махнул рукой и быстро вышел.

Отец Антоний поспешно одевался.

— Платье поправила? — деловито спросил он. — Молодец. Скорее, народ уже собрался, нас ждут.

— Вы же знаете, мне больше нельзя к единорогу, — убито прошептала Мария. — Я не пойду.

— Пойдѣшь... — зловеще протянул отец Антоний. — Я вижу, ты, милочка, ничего не поняла. Сейчас надо исправить тот вред, что ты нанесла своими безбожными речами. Войско готово в поход, и народ собрался. Но никто не станет воевать, пока верит твоим словам, так что дело за тобой. Слышишь, как бушует твой зверь? Господень гнев не терпит блуда! Идѣм!

Так вот в чём дело! У Марии словно открылись глаза. Значит, не было никакого невольного соблазна, и отец Антоний обидел её вчера не в приступе любовной горячки, а из низкого желания услужить господину. А сам Оттенбург клялся ложно, целовал распятие, вынашивая в груди планы предательства. И всё для того, чтобы и впредь бронированная конница могла вредить безоружным жителям Эльбаха. А она-то, глупая, надеялась примирить хищников! Да они страшнее сотни чудовищ...

Отец Антоний взял Марию за локоть, повёл за собой. Мария шла покорно с потухшими глазами. В голове моталась одна-единственная фраза, сказанная некогда священником эльбахской церкви и почему-то запавшая в память: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать».

Рядом с замком, на ристалище, где скакали, бывало, борющиеся рыцари, толпился народ. Высокие скамьи, на которых обыкновенно восседали знатные дамы, на этот раз были открыты для простого люда. Оттенбург желал, чтобы как можно шире распространились в народе рассказы о том, как посланное богом чудовище расправилось с ложной девственницей, посмевавшейся призывать к позорному миру.

Единорог, оставленный здесь на ночь, безостановочно кружил по арене, толкал рогами гнущиеся

доски барьера. Время от времени верхняя губа его вздёргивалась, обнажая квадратные жёлтые зубы, и из широкой груди вырывался клокочущий рёв. Зверь был голоден и разъярён, на губах и чёрном носу выступали капли крови. Дело в том, что Оттенбург хотя и поверил в план отца Антония, но помнил, однако, и обстоятельства первого появления дива и потому предусмотрительно засунул в кормушку с овсом обрезок излюбленного оружия — подмётной каракули.

Трубачи взметнули в зенит фанфары, на ристалище появился светлейший барон Людвиг, облачённый в лёгкие праздничные латы, верхом на богато убранном коне. Следом отец Антоний вёл бледную Марию. Оттенбург отъехал в сторону, молча дал знак рукой. Конь его, привыкший за последнее время к единорогу, стоял спокойно, лишь прядал иногда ушами.

— Братья во Христе! — звучно пропел отец Антоний. — Вот перед вами юная и непорочная девственница, призвавшая князей к миру. В подтверждение своей чистоты, а также того, что слова её действительно внушены господом, девственница обуздает сейчас грозное чудовище, посланное за наши грехи. Да свершится воля всевышнего!

Отец Антоний подтолкнул Марию и прошептал:

— Смотри, они будут одинаково рады любому исходу. Бедняга, «жестоко тебе против рожна прать».

— Сладко, — ответила Мария и сама прошла на арену.

Она подошла вплотную к единорогу, встала на колени, так что низко опущенный рог приходился прямо напротив груди, и тихо попросила:

— Убей меня...

Единорог неторопливо повернулся боком и опустился на землю. Мария упала в ложбину между двумя

горбатыми лопатками и только здесь, с головой зарывшись в густую тёплую шерсть, впервые за всё время сумела расплакаться.

— Врёшь, шлюха! — прорычал фон Оттенбург и, прищиприв коня, рванулся вперёд. В левой руке его блеснул смертельный треугольник даги. Барон направлял удар в спину девушке, но единорог резко поднялся на ноги, и дага безвредно скользнула по жёсткому волосу.

Колосс мгновенно повернулся и коротко ударил. Первый удар пришёлся под рёбра коню. Ноги коня ещё не успели подогнуться, когда покрасневшее от крови острие поразило барона в грудь, пронзив его насквозь и выйдя со спины. Трибуны дружно ахнули, а единорог тряс головой, стараясь сбросить с бивня повисшую на нём нелепую жестяную куклу. Когда это удалось, единорог поднял взгляд на захлопнувшиеся ворота, подбежал к ним и нажал. С громким хрустом дубовые створки слетели с петель. В толпе, собравшейся на поле, началась паника. Но зверь, не обращая ни на кого внимания, мерно двинулся по дороге от замка.

Мария приподняла голову, увидела небо, косые верхушки тополей; временами в такт шагам зверя мелькала земля, мечущиеся люди... Чёрная фигура качнулась где-то в стороне. Отец Антоний, осознавший случившееся раньше всех, спасался бегством. При виде монаха Марию начала бить дрожь. Мария сжалась, стараясь спрятаться, стать незаметной. Единорог, уловив её движение, свернул с дороги, в два широких маха догнал бегущего, всхрапнул, вращая красным глазом, и поддел рогом подпрыгивающую спину. Коротко вякнув, отец Антоний взлетел на воздух и, уже не похожий на человека, смятым чёрным мешком рухнул на землю, попав под тяжеловесное копыто.

Теперь единорог понял, кто его враги, и зорко высматривал среди бегущих серую сутану странствующего священнослужителя или блестящий нагрудник оруженосца...

Когда дорога перед ними опустела, единорог не замедлил бега, он продолжал двигаться всё так же, широкой наметистой рысью, уходя на север, куда тянул голос давно исчезнувших предков. След его пересекал земли, расселяя легенды о дивной всаднице и о жестокости зверя, о необъяснимой его ненависти ко всем закованным в латы и укутанным в рясу.

И наконец слух о них потерялся в диких лесах далёкой Сарматии.

ГАНС КРЫСОЛОВ

Господь, спаси моё дитя!

Немецкая народная баллада



Всюду жили чудеса. Они прятались под метёлками отцветшей травы, в позеленевших от жары лужах, среди надутых белых облаков, украшавших небо. Чудеса были любопытны, они тянулись к Гансу, старались дотронуться, согнувшись в три погибели, выглядывали из-под кустов. Ганс не обижался, он и сам был любопытен. Если смотрят, значит, так им лучше, не надо мешать. Вот и сейчас Ганс знал, что кто-то притаился за ветками, не решаясь выйти. Ничего, в свой срок покажется и он.

Ганс развязал котомку, достал ржаной сухарь и начал громко грызть. Оставшиеся крошки собрал на ладони, широко раскрыл её, показывая всем, и тихонько посвистел. С ближайшего дерева слетела пара пичуг — незнакомых, их Ганс видел первый раз. Усевшись на краю ладони, птички принялись быстро клевать. От частых осторожных уколов больно и сладко зудела кожа.

— А теперь, что надо сделать? — спросил Ганс.

Пичуги вспорхнули, но через минуту вернулись снова, уронив на ладонь по тяжёлой перезревшей земляничине. Слизнув ягоды, Ганс поднял к губам

дудочку и взял тонкую ноту, пытаясь повторить утреннюю песню синицы. Но замер, не услышав даже, а просто поняв, что тот, кто возился за кустами, дождался своего часа и вышел.

Ганс медленно поднял взгляд. Перед ним стояла босоногая девочка лет семи, в замаранном и во многих местах заштопанном платице. Девочка держала за руку мальчугана четырёх лет. Сразу было видно, что это брат и сестра. Мальчуган стоял, вцепившись в руку защитницы, и сопел, настороженно разглядывая Ганса. Руки и щёки детей были густо измазаны зеленью, землёй и земляничным соком.

Ганс улыбнулся.

— Ты тут колдуешь? — спросила девочка.

— Я тут обедаю, — сказал Ганс.

Он достал из сумки ещё один сухарь, протянул:

— Хочешь?

— Ты колдуешь, — утверждающе произнесла девочка. — Я видела. И место тут волшебное, мы всегда приходим колдовать на эту поляну, потому что здесь под землёй самая середина ада.

— Да ну?! — удивился Ганс. — И как же вы колдуете?

— Надо взять лапу от чёрной курицы, старую змеиную кожу и три капли крови невинного младенца, положить всё в горшок, который ночь простоял на кладбище, залить водой и варить целых три дня. Если потом обрызгать себя этим варевом, то сразу станешь невидимым.

— И получается? — с интересом спросил Ганс.

— Три дня варить надо, — пожаловалась девочка. — Вода выкипает, а добавлять нельзя.

— А где ты собираешься взять кровь невинного младенца?

— А он на что? — Девочка дёрнула за руку брата. — Гансик, ты ведь дашь крови?

— Дам, — важно сказал мальчик.

— А я его потом колдовать научу. Так всегда делают. Когда я была невинным младенцем, старшие девочки у меня тоже кровь брали. Кололи палец и выжимали кровь...

Ганс не выдержал и расхохотался:

— Значит... когда ты была... невинным младенцем!.. А сейчас ты кто?..

— Я погибшая душа, обречённая геенне огненной. — Личико девочки оставалось совершенно серьёзным. — Господин священник говорит, что все, кто учится колдовать, губят душу.

— Вот что, погибшая душа, — сказал Ганс, — давай есть сухари. У меня ещё много.

Он дал детям по большой корке и, когда они уселись рядом на траву, сказал:

— Брата твоего зовут Ганс, меня — тоже Ганс, а тебя как?

— Её Лизой зовут, — объявил Гансик.

— Значит ты, Лизхен, очень хочешь быть невидимой?

— Нет, — ответила Лизхен, — просто это легче всего получается, Чёрных кур у трактирщика полно, а змеиную кожу в лесу найти можно. Это же не верблюд.

— Зачем тебе верблюд? — изумился Ганс.

— Будто сам не знаешь? Головы приставлять. Людвиг нашёл у отца на чердаке медную лампу. Это же все знают: если намазать медную лампу верблюжьей кровью, а потом зажечь, то все, кого лампа осветит, представятся с верблюжьими головами и так будут ходить, пока не вымоешь лампу святой водой.

— Здорово! — признался Ганс. — Хотя я видел много верблюдов и ещё больше медных ламп, а вот человека с верблюжьей головой ни разу не встречал.

— Так я и знала, что врут про головы! — в сердцах сказала Лизхен. — А вот ты лучше скажи, почему тебе птицы ягоды носят и совсем не боятся?

— А ты меня боишься?

— Нет, — призналась девочка. — Ты хоть и колдун, но не страшный. Ты добрый.

— Вот и они не боятся.

— А меня научи так.

— Хорошо, — сказал Ганс. — Я пока поживу здесь, ты приходи, я буду тебя учить.

— А мне можно? — ревниво спросил Гансик.

— И тебе.

— А Анне? Она внучка плотника Вильгельма.

— И Анне. Всем можно.

На следующий день они пришли ввосьмером. Кроме Лизхен и Гансика, пришла долговязая девочка Анна, аккуратно одетый Людвиг принёс знаменитую лампу, явился беспризорный бродяжка Питер — беглый ученик трубочиста, маленький и неестественно худой. Ещё были два Якоба — сыновья подмастерьев кузнечного цеха, один из них вёл двухлетнюю сестрёнку Мари.

Ганс к тому времени кончил копать землянку и собирался отдохнуть.

— Ого! — воскликнул он, увидев ребят. — Как вас много! Если так пойдёт и дальше, то скоро весь город Гамельн переселится на мою поляну.

— Обязательно! — радостно отчеканила крошка Мари.

— А Гамельн большой? — с притворным испугом спросил Ганс.

— Очень, — подтвердила Лизхен. — Он больше Гофельда и Ринтельна. Только Ганновер и Ерусалим ещё больше.

— Тогда в моей землянке все не поместятся...

— Мастер, — бесцеремонно перебил бывший трубочист, — покажите, как вы птиц приманиваете.

Ганс достал дудочку. Звонкий сигнал взбудоражил лес. Кто-то завопил на верхушке дерева, зашуршал в траве, замер, уставившись чёрными капельками глаз. Первыми с ветки дуба спорхнули два лесных голубя. Они опустились Гансу на плечо и громко заворковали, толкаясь сизыми боками. Питер сглотнул слюну, в его глазах мелькнул огонёк. Голуби мгновенно взлетели.

— Мне можно? — спросил Питер.

Ганс протянул дудочку. Питер засвистел.

— Ничего... — растерянно сказал он.

— Ничего и не получится, — подтвердил Ганс. — Чтобы тебе поверили, надо быть добрым, а ты сейчас всего лишь голодный.

— Тогда пусть уходит и не возвращается, пока не поест, — решительно сказал Людвиг.

— Ты полагаешь, что это и есть доброта? — спросил Ганс.

Людвиг покраснел. Он развязал поясную сумку — вероятно, точную копию отцовской, достал оттуда два куска хлеба с маслом. Один протянул Питеру, другой, поколебавшись, разломил пополам и отдал Гансику и Мари, успевшим устроиться на коленях у Ганса.

— Это уже лучше, — улыбнулся Ганс.

Рыжая белка сбежала вниз по стволу, прыгнула на руки Гансу, уселась столбиком, потом ухватила лапками за кусок хлеба, который держал Гансик. Гансик засопел и потащил к себе хлеб вместе с белкой. Белка зацокала.

— Тише, тише, — сказал Ганс.

Он отломил от куска корочку белке, остальное вернул мальчику. Мир был восстановлен.

— Его так не бояться, хоть он и жадный, — с завистью протянул Питер, облизывая масляные пальцы.

— Выходит, не такая простая это вещь — добро, — сказал Ганс. — Вот мы сейчас и подумаем вместе, каким оно может быть. Без этого у нас с вами ничего не выйдет.

Разговор затянулся на весь день. Ганс объяснял, спрашивал, показывал. Голос его охрип, губы распухли от непрерывной игры. Белка несколько раз убегала и возвращалась, стайками налетали шумливые птицы. Детишки ошалели от чудес и устали. Они съели все сухари, что были у Ганса, и кучу земляники, собранной суматошными дроздами. Мари уснула, свернувшись на расстеленной курточке Людвига. Гансик играл с белкой. Остальные всё выясняли, какой должна быть волшебная доброта.

— Если белка ко мне придёт, а я её схвачу? — нападал старший Якоб, умненький мальчик, единственный, кроме Людвига, умеющий читать. — Её же зажарить и съесть можно. Питер вон ест белок.

— Как её есть, если она любимая?! — крикнула Лизхен, а Анна, за весь день не сказавшая и десяти слов, молча пересела поближе к Гансику, чтобы в случае беды защитить белку.

— А как ты любимую курицу кушаешь? — не сдавался Якоб.

— Она по-другому любимая.

— Получается, что доброму человеку охотиться нельзя? — спросил Людвиг.

— Можно, — сказал Ганс, — но если ты пошёл за белкой, то не зови её. Пусть она знает, что ты её ловишь.

— Зачем?

— Иначе будет нечестно. Давайте разберём, может ли доброта обманывать... — Ганс обвёл глазами ребят и вдруг заметил, что уже вечер.

Летом темнеет поздно, солнце было ещё высоко, но в воздухе звенела совсем вечерняя усталость. Гансик, оставив белку, прикорнул рядом с Мари, проголодавшийся Питер сосредоточенно жевал листики щавеля.

— Хотя об этом мы поговорим в другой раз, — поправился Ганс. — Если хотите, приходите сюда... послезавтра. Завтра я пойду на заработки.

— Разве вам тоже надо работать? — удивлённо спросил младший Якоб.

— Работать надо всем, — сказал Ганс.

Он взглянул на спящую Мари, уже перекочевавшую на руки к брату, и добавил:

— Обязательно.

Городской лес тянулся от реки на восток, где грядой стояли невысокие, но крутые горы. Лес прорезала тропа на Ганновер, а у самой реки он был вырублен, земля распахана. Городские, церковные и свободные крестьяне селились там бок о бок в хуторах и маленьких деревеньках.

Туда и направился Ганс.

Город он обошёл. Он не любил стен, тесноты людского жилья, вони, грязи. В деревне всего этого нет — кто испачкан в земле, тот чист. Поэтому ночевать Ганс старался в поле или в лесу, а на заработки ходил в деревню.

Довольно быстро Ганс вышел на небольшой хутор. Здесь жили свободные зажиточные крестьяне — бауэры. Два пса бросились навстречу, исходя лаем. Но потом узнали Ганса и смолкли. Из-за дома вышел хозяин. Ганс ударил в землю посохом, на верхушке которого болталась связка высохших крысиных лап и хвостов.

— Мышей, крыс выводить! — закричал он. — Проваливай! — отвечал хозяин. — А то собак спущу.

— Спускай! — Ганс рассмеялся.

Он подошёл к большому псу, и тот, радостно заскулив, принялся тереться лобастой головой об ноги Ганса. Пушистый хвост бешено молотил воздух.

— Слово знаешь... — одобрительно проворчал хозяин. — Тогда давай выводы. Получится — обедом накормлю и с собой дам.

Ганс пошёл к амбару, на ходу доставая дудочку. Пронзительно свистнул, затем последовала мучительная дребезжащая трель. В амбаре послышался шорох, что-то упало. Псы протяжно завывли. Ганс продолжал играть.

Себе на жизнь Ганс зарабатывал изгнанием крыс. Это были единственные живые существа, которые не вызывали у него радости. Они всегда жили около людей, больше всего их было в городах. Никто в мире не видел пользы от крыс. Они грызли, портили, грабили. Если крысе удавалось прижиться в лесу, она принималась разбойничать: без толку разоряла гнёзда, уничтожала жёлтых полёвок, гоняла на берегах речек смирную выхухоль, тревожила даже крота в его глубокой норе. Лесные обитатели словно понимали это и старались избавиться от серых разбойниц. Днём лисы и ястребы, ночью совы выслеживали их и били. Крысы жались ближе к жилью, прятались в погребках и амбарах, но тогда являлся Ганс и выгонял их.

Дудочка бесконечно выводила один и тот же повторяющийся мотив: «Опасность! Опасность! Здесь нельзя оставаться ни минуты! Немедля бежать!»

Одна, две, десять серых теней проскользнули через двор. В курятнике надорвано заголосил, захлопал крыльями и смолк петух. Псы, подвывая, пятились в конуру.

Ганс опустил дудку.

— Всё, — сказал он. — До послебудущей осени сюда не придёт ни одна крыса.

Хозяин вытер пот, перекрестился. Потом быстро прошёл в дом, вынес две ковриги хлеба, толстый шмат сала и кожаную флягу с вином.

— Поешь, добрый мастер, где-нибудь, — извиняясь, сказал он. — Я человек простой, неуч. Мне страшно пускать тебя в дом.

— Спасибо, — сказал Ганс, принимая хлеб.

Он уложил провизию в сумку и пошёл к воротам.

— В Гамельн иди! — крикнул вслед хозяин. — Крыс в Гамельне — страсть! Совсем заели. Там работаешь.

На следующий день к землянке пришло пятнадцать ребят.

Из камышей, тростника, из ивовых веток Ганс наделал дудок, флейт и свистулек. Поляна наполнилась шумом. Ганс без передыха играл, стараясь отыскать в детях ту светлую ноту, что звучала в нём самом. Что для этого надо? Доброта? Дети не бывают злыми. Любопытство, удивление? Этому Ганс сам мог бы поучиться у своих учеников. Значит, что-то ещё... Ганс не знал что.

Ещё через день явилось больше полусотни мальчишек и девочек. Собрались, пожалуй, все дети Гамельна, которые могли располагать своим временем, кто не был полный день вместе с родителями прикован к станку, чтобы заработать на жизнь. Ганс испугался, сообразив, что в городе непременно хватятся детей, но особо раздумывать над этим было некогда, потому что именно тогда пришёл успех.

Первой была Анна. Ганс постоянно ощущал мягкое тепло, идущее от нескладной девочки, но всё же не подозревал, что она так легко и просто воспримет его науку. Анна, как всегда, сидела в сторонке, в общей беседе не участвовала, негромко насвистывала

на кособокой свирельке. Те инструменты, что получше, расхватили другие. Но её песенка заставила замолчать всех, кто был рядом, а потом из кустов и примятой травы на Анну дождём посыпались десятки и сотни кузнечиков. Они складывали крылышки и тут же начинали стрекотать в унисон тонкому звуку свирели. Многоголосый хор звенел медью, прочие звуки смолкли, на лицах блуждали рассеянные улыбки, а Ганс улыбался не скрываясь. Его переполняла радость и ещё лёгкая досада, что сам он прежде не мог додуматься до такого простого и красивого чуда.

Анна оборвала музыку и упала на землю лицом в ладони. Кузнечики, большие и маленькие, защёлкали в разные стороны. Гансу пришлось успокаивать напуганную удачей Анну, а затем и разрыдавшуюся Лизхен. Лизхен очень гордилась, что она первая нашла Ганса, она единственная называла его на «ты» и искренне полагала, что обладает какими-то особыми преимуществами. Теперь она жестоко переживала чужую победу.

Но потом получилось и у Лизхен, и у младшего Якоба, и у других. Из тех, кто пришёл к нему в первый день, неудача постигла только Питера. Он старался, но звери не слушали его, а посланные Гансом шли неохотно, по принуждению.

И всё же это был замечательный день.

— Приходите завтра! — говорил Ганс, провожая ребятню к дороге. — Завтра мы с вами подумаем, боится ли доброта веселья.

— Нет, не боится! — отвечали ему.

— Правильно! В таком случае завтра мы устроим большой хоровод.

Ночью Ганс спать не ложился. Он сидел на пороге землянки и играл. Звук был так тонок, что человеческое ухо не слышало его. Но Ганс знал, как далеко

летит его песня. Завтра он должен устроить настоящий праздник, который запомнится надолго, врежется в память так, чтобы его не смогли вытравить будущие годы. Песню слышали на востоке в чащах Шаумберга, она проникала на западе в глухие заросли на горных склонах Тевтобургского леса, поднимала зверьё в ущельях, похоронивших в древние времена римских пришельцев, дрожала над укромными убежищами, тревожила, будила...

Утром толпа ребятишек высыпала на поляну. Они были возбуждены и настроены на необычное. Ганс рассадил их широким кругом, и оркестр нестройно заиграл. Десятки флейт и сопелок не столько помогали, сколько мешали Гансу, но он быстро сумел заразить весельем нетерпеливую детвору. Оставалось лишь сломить недоверие животных, собравшихся в округе, но не слишком полагававшихся на доброту такого количества людей.

Дудочка в пальцах Ганса твердила:

— Сюда, сюда! Опасности больше нет! Пришла весна, журавли пляшут на болотах, вернулась радость, веселье. Идите все сюда!

Самыми храбрыми оказались зайцы. Несколько длинноухих зверьков выскочили на поляну. Ошалев от света и шума, они принялись, словно в марте, скакать и кувыркаться через голову. За ними рыжей молнией выметнулась лисица. Сейчас ей было не до охоты; вспомнив, как она была лисёнком, старая воровка кружилась, ловя собственный хвост. Несколько косуль вышли из кустов и остановились. Десяток кабанов направились было к провизии, сложенной детьми в общую кучу, но Ганс погнал их на середину, в хоровод. Птичий гомон заглушал всё, кроме дудочки Ганса. Дети побросали инструменты и бросились в пляс.

Ганс играл.

Перед землянкой шла весёлая кутерьма. Мальчишки и девчонки всех возрастов, всех званий и сословий, нищие в серых лохмотьях или дети купцов и богатых цеховых старейшин в добротных курточках, а иные даже в башмаках, прыгали и орали, визжали, кувыркались и хохотали от беспричинной радости. Сегодня им дано забыть всё, что разъединяет их. Дай бог, чтобы это чувство возвращалось к ним потом хотя бы изредка.

Среди детей бегали и кружились звери, те, кого Ганс сумел найти в окрестностях города, и те, что спустились со склонов гор. Волки, лисы, барсуки, косули и олени. Только сегодня и только здесь они не боялись никого. Пусть дети думают, что это они сделали такое. В конце концов, так оно и есть.

Пальцы Ганса летали над отверстиями флейты. Мотив, потерявшийся в шуме, казался неслышным, но его разбирали все. Постепенно Ганс подводил пляску к концу. Когда замолкнет дудочка, сумеют ли дети и животные не испугаться и не испугать друг друга? Беды не случится, в этом Ганс был уверен. Он чувствовал всех, кто был на поляне. Трое медвежат возились у его ног, а неподалёку, укрывшись за валуном, недоверчиво и ревниво следила за ними медведица. Матёрый волк-одиночка, зимами разбойничавший на дорогах вокруг города, пришёл и схоронился в кустах. Но сегодня они никого не тронут: ревность медведицы успокаивается, а не способный к веселью поджарый бандит уже собирается зевнуть протяжным скулящим звуком и уйти прочь.

Потом Ганс почувствовал, что сюда идёт ещё кто-то. Их много, они злы и опасны. Что же, милости просим, дудочка встретит вас, и вы уйдёте, никого не тронув. Сегодня у хищников постный день.

— Во имя господи, прекратите! — прозвучал вопль.

На краю поляны, высоко держа чёрное распятие, стоял священник. Позади с алебардами на изготовку выстроились шестеро стражников. От этой группы веяло такой злобой, враждебностью и страхом, что музыка оборвалась на половине такта.

— Дьявольский шабаш! — прорычал священник, ещё выше вздёргивая распятие. — Запрещаю и проклинаю!

По траве прошуршали шаги, застучали копыта — зверьё кинулось врассыпную. Ганс слышал, как вместе с ними улепётывает трусоватый Франц-попрошайка.

— Бегите! — молча приказал Ганс остальным.

Дети с визгом помчались в разные стороны. Это был не тот самозабвенный радостный визг, что минуту назад. Так визжат от страха, встретив в лесу змею.

Ганс остался один.

— Изыди, сатана! — голосил святой отец, тыча в лицо Гансу крестом.

Стражники подняли алебарды.

— Не смейте! — раздался крик.

Тщедушный Питер выскочил откуда-то, встал на пути солдат, пытаясь заслонить Ганса. Одновременно из травы возникла серая тень и встала у ноги, словно верный пёс. Волк-одиночка, людоед, ужас округи, поднял на загривке шерсть, напряжился и зарычал. Этого зверя знали все — вооружённые, закованные в сталь люди попятились.

— Уходите, — сказал Ганс.

Нервы священника не выдержали. Он выронил крест и бросился напролом через кусты, подвывая от ужаса. За ним, побросав алебарды, бежали стражники.

Ганс оглядел разорённую поляну.

«Вот и всё, — подумал он. — А всё-таки у Питера тоже получилось, ведь это он привёл мне на помощь зверя, с которым даже мне непросто было бы совладать».

— Мастер, — сказал Питер. — Они вернутся. Надо уходить.

— Да, конечно, — отозвался Ганс.

Он вынес из землянки котомку, сложил в неё часть еды, принесённой детьми.

— Иди поешь, — позвал он Питера.

— Я не хочу, — ответил Питер. — Я лучше сбегаю в город, разведая, что там.

— Будь осторожен, — сказал Ганс.

Питер не вернулся. Ганс напрасно ждал его. Зато ближе к вечеру прибежал старший Якоб. Ему с трудом удалось улизнуть из взбудораженного города.

— Питера схватили! — крикнул он. — Отец Цвингер говорит, будто Питер прямо на его глазах обернулся волком.

— Где Питер? — спросил Ганс, поднимаясь.

— В башне. — Якоб всхлипнул. — Они всех забрали, и Лизкен, и Анну, и Фрица с Мильхен. Только их солдаты отвели в магистратуру, а Питера — в башню.

— А как ты?

Цвингер помнит только тех, кого готовит к конфирмации, а я учусь у патера Бэра. Может, меня ещё и не тронут.

— Ладно, — сказал Ганс. — Ступай вперёд, не надо, чтобы нас видели вместе. Я пойду выручать Питера и остальных.

Город Гамельн стоит на правом берегу Везера на высоком холме. Древний город — ещё римляне знали Гамелу. Богатый город, славный среди прочих ганзейских городов своими купцами, что сильной рукой держат торговлю со всей Верхней Германией. Двадцать пять лет назад епископ Минденский Вибекинд пытался отнять у города привилегии, но

был крепко побит при Седемюнде. Искусный город, изобильный мастерами каменотёсами, хитроумными шамшевниками и кузнецами. Быстрый Везер крутит немало мельниц, каждый второй горожанин зовётся Мюллером. Большой город, чуть не шесть тысяч народу живёт в его стенах.

Торговая часть, зажата между скалой и Везером, сто лет назад тоже была обведена стеной, но всё же здесь не так тесно, как в верхнем городе. Улицы приходится делать шире, чтобы по ним прошли повозки с товаром, а площадь между магистратурой и собором святого Бонифация никак не меньше бременской.

Ганс прошёл в город через нижние ворота. Его не остановили, — это была удача, потому что денег у Ганса не было, а с него, как с бродячего мастерового, могли потребовать за вход серебряный грош.

Город окружил Ганса со всех сторон. Каменные дома, все как один двухэтажные, с нависающим вторым этажом. Сверху, из-под крыши, торчат балки, на которые по торговым дням прилаживают блок, чтобы поднимать наверх товары. Главная улица даже вымощена, деревянные плахи мостовой пляшут под ногами, выбрасывая через щели фонтанчики жидкой грязи. Над сточными канавами устроены мостики.

«А крыс здесь и в самом деле изрядно», — отметил про себя Ганс, взглянув на изрытые ходами стены канав.

Крысы были повсюду; наглые, разжиревшие, они чувствовали себя хозяевами в городе, где не позволяли жить ни воробьям, ни гибким ласкам, ни кошкам. Что делать, Гамельн ведёт крупную хлебную торговлю. Где хлеб, там и крысы.

Ганс прошёл мимо древней, с осыпавшимися бойницами башни Арминия. Здесь войска Видекинда фон Миндена едва не вошли в город, и вот уже двадцать лет магистрат собирается и никак не может снести

развалину и построить вместо неё настоящее укрепление. Ганс осмотрел башню, прикидывая, куда могли посадить Питера, ничего не придумал и пошёл дальше. Магистратура стояла на площади, напротив собора Святого Бонифация. Звонили к вечерне, по площади шёл народ. Ганса сразу узнали, — очевидно, город уже был наслышан о нём.

Через минуту из собора выбежал патер Цвингер.

— Задержите этого человека! — закричал он. — Я обвиняю его в *малефициуме** и соращении!

Вокруг сгрудилась недоброжелательная толпа. Ганс молча ждал.

— Святой отец, — спросил богато одетый горожанин — вероятно, член магистрата, — вы обвиняете его сами? Ведь тогда вам придётся ожидать в тюрьме, пока обвинение не будет доказано.

— Оно будет доказано немедленно! — отрезал священник. — Шестеро верных граждан застали этого бродягу во время мерзкого волхвования. Все они подтвердят мои слова. Мы своими глазами видели шабаш.

Толпа зашумела. Ганса отвели в магистратуру, заперли в подвале. Через толстую каменную стену он смутно различал шум, детские голоса и плач. Как мог, Ганс старался успокоить детей, но его голос не доходил к ним.

— ...Таким образом, следуя духу и букве буллы «Голос в Риме», должно признать обвиняемого не только колдуном и злым *малефиком*, но и еретиком, действия которого подпадают под юрисдикцию святой инквизиции и, помимо отказа в причастии, караются смертной казнью в яме или на костре...

* *Малефициум* — в средневековой юриспруденции: действие, причиняющее вред.

Ганс ничего не понимал. Когда утром он поднялся из подвала в этот зал, то первым делом сказал, что согласен принять любое наказание и просит лишь отпустить детей по домам. Но на его слова не обратили никакого внимания. Судебный процесс двигался по давно установленному распорядку, и становилось ясно, что Ганс ничего не сможет в нём изменить.

Перед зрителями на возвышении сидели судьи. Их было трое. Бургомистр Ференц Майер, дряхлый старик, он зябнул в пышном, не по погоде тёплом кафтане и время от времени засыпал на виду у всех. По правую руку от бургомистра возвышался тучный па-тер Бэр, каноник собора, а слева сидел магистр Вольф Бюргер, тот самый горожанин, что спрашивал, кто обвиняет Ганса. Тёмное лицо Бюргера словно вырезано из плотного грушевого дерева; когда он говорил, то казалось, что губы не движутся.

Ганс стоял посреди зала лицом к судьям, а па-тер Цвингер — истец — говорил, стоя за специальной кафедрой, кричал, указывал на Ганса пальцем, обвинял во всех грехах поднебесной:

— Бременская ересь ещё не изжита, а ныне пагубный соблазн штедингцев проник к нам. Стараниями инквизиторов установлены неисчислимые злодея-ства предавшихся дьяволу, и никакое наказание не будет слишком жестоко для них. Если мы не хотим, чтобы завтра в Риме призвали к крестовому походу на Гамельн, как то было недавно с Бременом, то мы обязаны пресечь зло сегодня. Все и каждый, кто замечен на бесовском шабаше у горы Ольденберг, должен быть отдан палачу и повинен смерти!

В зале кто-то ахнул, а па-тер Бэр спокойно за-возился и произнёс:

— Вряд ли уместна такая строгость. Саксонским капитулярием Карла Великого запрещено верить в

колдовство. Подобного же мнения придерживается и канон «Епископы».

— Бременский округ ещё дымится! — крикнул Цвингер.

— Отец Цвингер прав, — коротко сказал Вольф Бюргер, — но сначала заслушаем свидетелей.

Один за другим выходили в центр зала стражники. Путаясь и сбиваясь, рассказывали, какую картину застали они на поляне. Иным представлялись чудовища и стыдные непотребства, другие видели просто зверей, предающихся неистовому скаканию, но все указывали, что Ганс был главой собрания.

Среди зрителей начался ропот. Особенно он усиливался, когда свидетели рассказывали, как нищий мальчишка обернулся волком. Правда, и здесь одни говорили, что, перекинувшись в волка, Питер исчез, другие, что раздвоился, но суть состояла не в том. Бешеный хищник был слишком памятен гамельнцам.

— Побить камнями! — крикнул кто-то.

Бюргер поднял ладонь, требуя тишины, и объявил:

— Ганс по прозвищу Крысолов, что скажешь ты?

Ганс судорожно глотнул, подавляя волнение.

— Там не было ничего сверхъестественного, — сказал он. — Питер вовсе не вервольф, и я тоже не колдовал. Я только хотел выучить детей моему искусству. Это очень хорошее и нужное людям ремесло...

— Кошунство! — взвыл Цвингер, а бургомистр вдруг встрепенулся, просыпаясь, и прошамкал:

— Всякий, доказавший, что владеет ремеслом, необходимым и полезным жителям, имеет право испросить у магистрата разрешение обосноваться в городе, набрать учеников и подмастерьев и объединить их по прошествии должного числа лет в цех, коему, смотря по заслугам, присваиваются штандарт и привилегии. — Майер втянул голову в плечи и снова задремал.

— Ганс Крысолов, — проговорил патер Бэр, — объясни нам, что хорошего в твоём ремесле и чему именно ты учил детей.

— Я учил их всему, что знаю сам. Я могу заставить упасть стаю саранчи — по счастью, в ваших краях не встречается этой напасти, — мне нетрудно остановить ратного червя. Но обычно я вывожу крыс и мышей, недаром меня прозвали Крысоловом.

— Прекрасное занятие для сына Людвига Мюллера, — заметил Бюргер, — ловить по чужим амбарам мышей, получая один пфенниг за дюжину хвостов!

— Я учу всех, кто приходит за наукой! — выкрикнул Ганс. — И я не ловлю крыс, я изгоняю их, разом и надолго!

Вольф Бюргер, перегнувшись через бургомистра, пошептался с патером Бэром. Тот согласно кивнул. Тогда Бюргер, незаметно толкнув, разбудил бургомистра и начал что-то втолковывать ему. Старик послушно встал и объявил:

— Суд предлагает Гансу Крысолову доказать своё умение и отвести от себя обвинение в чернокнижии. Для сего назначается испытание. Упомянутый Ганс должен вывести крыс и мышей из кладовых, амбаров и хлебных магазинов города Гамельна.

— И тогда мне позволят иметь учеников? — спросил Ганс.

— Мы примем решение, смотря по результатам испытаний, — промолвил бургомистр.

— Уже сегодня в Гамельне не останется ни одной крысы, — сказал Ганс твёрдо.



В сопровождении судей и охраны Ганс обошёл город. Город был велик — больше трёх сотен каменных домов. Крысы таились в каждой щели — неисчислимые полчища крыс. Он не мог бы

прогнать их — им некуда уйти. Оставалось последнее.

Когда-то во время своих странствий любопытный Ганс забрёл далеко на север, в Лапландию. Там до сих пор живут язычники, которые молятся деревянным болванам и звериным черепакам. Там так холодно, что не растёт даже лес, и нет травы, чтобы прокормить коров и лошадей. Люди там ездят на оленях, а зимой солнце боится показаться из-за края земли. В этих тундрах живёт пёстрая снежная мышь — лемминг. Крошечный зверёк, всегдашний корм огромных белых сов, хищных песцов, одетых в тёплые шубы, и даже изголодавшихся по соли оленей. Но порой с леммингами случается что-то странное, и тогда они собираются в стада и идут в море. Ганс видел толпы малюток, спешащих на верную гибель. Пёстрые мыши неумоимо шли, стремясь в воду. Вода кипела. Косяки трески и лосося поднялись из глубин за лёгкой добычей. В воздухе стоял стон. Кричали чайки, плакал ветер. И ещё слышался тонкий скрип, свист — тот сигнал, что созывал пеструшек в поход. Этот звук Ганс не смог бы забыть никогда. И сейчас он собирался сыграть на флейте великий зов.

Ганс не колебался, он знал, что сумеет сделать задуманное, хотя прежде ему не приходилось убивать, используя свой дар. Гамельнские ребятишки прекрасно знали, какой бывает, а какой не бывает доброта, они бы не поверили, что доброта способна обманывать, заставлять и даже убивать. А она умеет всё, только надо помнить, что однажды хрупкое чудо может разбиться и ничто не вернёт его. Но сейчас Ганс об этом забыл.

Ганс зажмурился, набрал в грудь воздуха и заиграл. Инструмент загудел необычно и страшно. Звук царапал слух, проникал в душу и не звал, а

тащил за собой. Повсюду: в укромных норах под стенами домов, в подвалах, на чердаках, среди расшатавшейся ветхой кладки или деревянной трухи, под разбитой мостовой замусоренных улиц — встревоженно завозилось длиннохвостое население. Крысы прекращали грызть, спящие просыпались, самки бросали слепых беспомощных детёнышей, и все среди бела дня, забыв осторожность, спешили к Гансу. Они образовали широкий шевелящийся круг, настороженно глядели на Ганса, ещё не понимая, что делать дальше. Ганс осторожно шагнул, стараясь ни на кого не наступить. Ковёр крыс пополз следом, замершие изваяниями ландскнехты остались сзади.

Ганс медленно шёл вперёд, ни на секунду не отрывая дудочки от одеревеневших губ. Вал крыс катился за ним, из каждого проулка навстречу им вытекали новые волны. Иногда крыса выпрыгивала прямо из окна дома, и тогда там раздавался задущенный женский взвизг. Остальной город молчал: ни криков, ни шума, ни стука инструментов — только дрожащая музыка и тысячекратный шорох.

На берегу Везера Ганс остановился. Здесь были запертые ржавыми цепями спуски к воде, причалы для хлебных барок, магазины зерна, склады кож и железа. Поток зверьков умножился необыкновенно, крысы покрыли замшелые ступени и, ни на секунду не задержавшись, посыпались в воду.

Везер — большая и опасная река. В верховьях он с плеском несётся по камням, мимо Бремена течёт широко и важно. Возле Гамельна течение гладкое, но стремительное, ширина реки свыше двухсот шагов, на середине дна не достать даже длинным шестом. Переплыть Везер — дело нелёгкое, а для крысы — попросту безнадежное. И всё же они шли, крутясь живым водоворотом, задние налезали на передних, и

все бросались с последней ступени в воду. Среди пены мелькали вздёрнутые усатые носы, ловящие воздух. Вода подхватывала крыс и, завертев, уносила. Некоторые были выкинуты течением на камни ниже пристани, но тут же упорно кидались обратно в плывь на тот берег.

Ганс стоял на самом краю. Крысы обтекали его с двух сторон, дробно стуча лапками, пробегали прямо по ногам. Поток постепенно редел, берег очистился, и скоро последняя острая мордочка исчезла под водой.

Песнь оборвалась. Ганс перевёл дыхание и огляделся.

Он увидел патера Цвингера. Священник стоял по пояс в воде, глаза у него были белые, рот открыт, и зубы оскалены. Холодная вода привела его в чувство, он, запинаясь, начал читать экзорцизм об изгнании бесов:

— Изыди, злой дух, полный кривды и беззакония, изыди, исчадие лжи...

Ганс отвернулся. В двух шагах позади стоял Вольф Бюргер. Его жёсткое лицо было непроницаемо.

— Ганс Крысолов, ты гроссмейстер в своём ремесле, — сказал он. — Я не ожидал такого. Идём, суд должен быть окончен.

В конце улицы показались спешащие ландскнехты.

Если и раньше большой зал ратуши был переполнен народом, то теперь давка стояла просто невообразимая. Охрана с трудом очистила место посредине. Судей ещё не было, Ганс долго ждал, переминаясь с ноги на ногу. Вольф Бюргер нервно ходил взад и вперёд, потом уселся за стол и начал что-то писать.

Наконец появились патер Бэр и опирающийся на палку Ференц Майер. Тюремщик ввёл закованного Питера.

— Всё будет хорошо! — крикнул ему Ганс.

Питер кинулся к Гансу, но тюремный смотритель дёрнул за цепь, и мальчик упал.

Позже всех пришёл патер Цвингер. Губы его были плотно сжаты, новая сутана резко шелестела при ходьбе.

Секретарь суда поднялся из-за своего столика и, нараспев произнося слова, возгласил:

— Заседание объявляется открытым. Господа судьи, удовлетворены ли вы результатами испытаний?

За судейским столом кивнули.

— В таком случае я от имени магистрата и граждан города прошу вас рассудить это дело по закону и совести и вынести ваш приговор.

— Что тут рассуждать? — проворчал бургомистр. — Парень, несомненно, колдун, но ведь крысто он вывел. Пусть себе идёт на все четыре стороны.

Патер Бэр сидел с задумчивым видом, сцепив пальцы на округлом чреве. Бюргер кончил писать и передал лист бургомистру. Майер прочёл.

— А можно и так, — сказал он, взял перо и поставил внизу подпись.

Патер Бэр, дождавшись своей очереди, тоже прочёл документ.

— Но ведь это жестоко! — воскликнул он, отодвигая бумагу.

— Это необходимо, — негромко сказал Бюргер.

Он нагнулся и начал что-то шептать Бэру. Кано-ник страдальчески морщился, тряс головой, но скоро не выдержал:

— Ну хорошо, пусть будет по-вашему, но я умываю руки.

Документ он отдал не подписав. Секретарь поставил внизу печать, а затем огласил приговор:

— Мы, выборный суд вольного имперского города Гамельна, разобрав и обсудив по закону и совести обвинение, выдвинутое преподобным Вилибальдом Цвингером против странствующего мастера Ганса по прозвищу Крысолов, признали его обоснованным и истинным. Доказано, что имело место соращение детских душ к недостойным и опасным занятиям. Ганс Крысолов оставлен в сильном подзрении в связях с врагом господ и рода человеческого. Вместе с тем услуга, оказанная означенным Гансом городу, велика и несомненна. Приняв во внимание всё это, а также памятуя, что буллой святого отца нашего строго повелено, чтобы никто под угрозой изгнания не обучал и не учился подобным мерзостям, суд постановляет: обвинение в малефициуме с вышеупомянутого Ганса Крысолова снять, за прочие же проступки приговорить его к позорному столбу и изгнанию из пределов города. — Секретарь остановился, глянул исподлобья на бледного Ганса, а потом продолжал: — В отношении нищего бродяги, именующего себя Питером, достоверно установлено, что он, предав душу дьяволу, перекидывался диким зверем и творил на дорогах разбой. Посему решено его, как злого и нераскаянного малефика, предать смерти на костре. Предварительно его должно подвергнуть пыткам, тело вервольфа будет разодрано железными когтями, подобно тому как он сам раздирал своих жертв. Прочих же, учитывая нежный возраст и полное раскаяние, наказать плетьюми и отдать в опеку родителям.

Питер закричал. Ганс рванулся к нему, но его сбили с ног, выволокли из магистратуры. Здесь, на ступенях, было вделано в стену кольцо. На нём висели кандалы, в которые заковывали несостоятельных

должников и всех тех, кого магистрат приговорил к позорному столбу. Палач быстро заклепал железные кольца на запястьях Ганса. Теперь Ганс был словно распят у стены. Рядом на специальном крюке висела плеть. Каждый имел право ударить приговорённого.

Из магистратуры выходил народ. Многие останавливались возле Ганса. Какая-то женщина, невысокая и худая, подскочила к Гансу вплотную, сорвала к крюка кнут.

— Дьявол! — крикнула она. — Из-за тебя мою Марту будет бить палач! Вот так! — Багровый рубец прочертил щёку Ганса. — Вот так! — Женщина ударила ещё раз, плюнула Гансу в лицо и, бросив плеть, убежала.

— Правильно! — крикнули в толпе. — Бей его за детей!

Вперёд вышел плечистый бородач, в котором Ганс угадал отца Якоба и крошки Мари.

— Надо бить, — сказал он, поднимая плеть.

Плеть свистнула. Ганс не пытался уклониться от удара.

— Валяй! — подзадорили сзади, но бородач вдруг повесил плеть на место и быстро ушёл.

Больше Ганса не били.

День всё не кончался. На площади трое плотников сооружали помост для пыток. Рядом рыли яму, чтобы поставить столб, вокруг которого сложат костёр.

— Они не посмеют этого сделать! — шептал Ганс. — Я не дам!

Отзвонили второй час. Из дома рядом с собором вышел патер Цвингер. Святой отец гулял с собачкой. Маленький белый пёсик крутился вокруг ног, высоко подпрыгивал, стараясь достать хозяйскую ладонь. Цвингер подошёл поглядеть на Ганса. Губы растянула улыбка.

— Куси! — приказал он собачке.

Собачка непонимающе завиляла хвостом, потом заскулила и попятилась. Цвингер усмехнулся, взял плетъ, размахнулся... В то же мгновение собачка, подпрыгнув, вцепилась зубами в его руку. Патер с проклятьем отшвырнул собачку, зажал рану ладонью и исчез в своём доме.

На площади начало темнеть. Сторожа запирали улицы. Прозвонили первый обход. Ганс стоял, прижавшись к стене, пытаясь сосредоточиться. Он теперь знал, что делать. Правда, дудочка осталась в тюрьме, да и руки к лицу поднести невозможно, но раз надо, то он справится и так. Завтра, когда Питера выведут из башни, отовсюду слетятся тучи белых бабочек. Они будут кружиться вокруг Питера, покроют белым ковром костёр. Люди должны понять, что мальчик ни в чём не виноват. Но если и знамение не образумит их, то придётся действовать жестоко. Не дай бог палачу коснуться Питера, в тот же миг с башни собора сорвётся ястреб, несущий зажатую в когтях змею. Горе тем, кто хочет чужой смерти. Горе тому городу, где можно казнить ребёнка. Он наведёт на Гамельн все земные напасти: волков, лесных муравьёв, крыс... Ганс дёрнулся и застонал от отчаяния, обиды и бессилия. После того, что он сделал сегодня, послушает ли его хоть кто-нибудь?

На тёмной площади качнулась тень, прозвучали твёрдые шаги. Ганс разглядел Вольфа Бюргера. Магистр подошёл, бросил на ступени котомку и посох Ганса. Вытащил молоток, сбил кандалы с одной руки Ганса, потом с другой. Второй удар пришёлся неточно, на левом запястье остался железный браслет.

— Ущерб городской собственности... — усмехнулся Бюргер.

Ганс молча растирал затёкшие руки. Бюргер поднял и протянул мешок:

— Сейчас ты уйдёшь из города и вернёшься сюда не раньше чем через десять лет. Я опасаюсь, что завтра ты наделаешь глупостей и нам придётся казнить тебя, а от тебя есть польза, ты хороший мастер и, значит, должен жить.

— Ты полагаешь, будто я могу уйти, оставив детей на мучения и произвол судьбы?

— На произвол судьбы?.. — саркастически протянул Вольф. — Ты глуп, Ганс. Ты видишь только себя самого и лишь себя слушаешь. Ты забыл, что мы тоже люди и это наши дети. Палач города Гамельна кнутом убивает быка, но может, ударив плеча, едва коснуться кожи. Повторяю — это наши дети. Они провинились, их надо больно наказать, но без вредительства. А хорошая порка на площади ещё никому не вредила.

— Костёр тоже никому не вредил?

— Не считай меня дураком, если глуп сам, — перебил Бюргер. — Я предусмотрел всё. По закону, ты имеешь право основать цех. Я дам тебе ученика. Ты уйдёшь из города вместе со своим вервольфом. Я даже не спрашиваю, я знаю, что ты уйдёшь. Ты слышал, к чему приговорён Питер, и, чтобы спасти его, ты побежишь от стен так быстро, словно за тобой гонятся все те волки, в которых будто бы умеет перекидываться твой ученик.

Бюргер направился к башне. Ганс шёл за ним. Магистр своим ключом отпер дверь, вошёл внутрь и через несколько минут вернулся, таща упирающегося связанного Питера. Ганс распутал верёвки, и мальчик прижался к нему, часто вздрагивая.

— Быстрее, — поторопил Бюргер.

Оступаясь и проваливаясь в невидимые выбоины, они перелезли полуразрушенную стену, скатились

вниз по откосу. Силуэт стоящего на стене Вольфа Бюргера чётко чернел над ними.

— Вот видишь, — донеслось сверху, — я поступил с тобой честно. Я знаю, ты тоже честен и не будешь мстить городу.

От города Ганс с Питером не ушли. Рассвет застал их на холме в виду городских стен. Укрывшись среди деревьев, Ганс смотрел на крыши Гамельна. Его исчезновение, конечно, давным-давно замечено, а сейчас, наверное, обнаружили, что бежал и Питер. Вольф Бюргер, пылая притворным гневом, объявляет горожанам, что замки и цепи целы, но преступник ушёл. Лицо Бюргера озабочено, но в душе он смеётся и над людоедской жестокостью Цвингера, и над простофилей Гансом.

А сейчас... Ганс сжался, стараясь ничего не видеть, не слышать, не знать. Вольф прав, он не должен был вторгаться в мирную жизнь города, ведь это действительно их дети, а уж коли так вышло, то надо немедленно уйти, и чем скорее его забудут, тем лучше и для него, и для детей. И всё же уйти Ганс не мог. Каждый удар отзывался в нём болью, он ощущал детский страх и стыд и чувствовал, как с каждым взмахом кнута на городской площади уходит из него драгоценная сила. Он убивал, чтобы выручить этих детишек, и обманывал ради них, а теперь он их предал — и тоже ради них самих.

Поучительная экзекуция окончилась, а Ганс ещё долго лежал лицом в землю. Потом он встал и пошатываясь пошёл в глубь леса.

Ганс шёл оглохший и ослепший, не видя мира вокруг. Он стал чужим этому миру — обыкновенный прохожий, без дела идущий неведомо куда. Остановила его мысль, что он забыл что-то важное. Ганс

присел на камень, достал из сумки дудочку, беззвучно перебрал пальцами по отверстиям, потом размахнулся и забросил её в кусты.

Кусты раздвинулись, на поляну вышел Питер. На руках он нёс маленькую Мари.

— Мастер, — сказал Питер, — Мари набила кровавую мозоль, она не может больше идти.

— Куда идти, зачем? — пробормотал Ганс.

— С вами, — пояснил Питер. — Они тоже решили уйти.

— Обязательно! — подтвердила Мари.

Всё ещё ничего не понимая, Ганс осмотрел ногу Мари, ободрал ивовую ветку, тщательно разжевывал горькие листья и приложил зелёную кашицу к больному месту. Когда он, кончив лечение, поднял голову, то увидел, что вокруг стоят все его ученики: Анна, оба Якоба, Лизхен с Гансиком, и щеголеватый Людвиг, и все остальные, кого он не успел запомнить по имени, но любил больше всего на свете.

Значит, ничто не изменилось... Ганс вздохнул. Нет, изменилось многое. Дети ушли к нему из-под строгого надзора через полчаса после экзекуции. Просто так им это не удалось бы, наверняка они воспользовались его наукой. Но в городе уже спохватились, скоро вышлют погоню. Этого Ганс не боялся, он снова ощущал в себе силу и знал, что если захочет, то ни одна ищейка не возьмёт след, а отпечатки детских ног оборвутся на камне, так что самый опытный следопыт руку даст на отсечение, что дальше никто не шёл и, должно быть, сама скала раскрылась и поглотила детей. Их никто не найдёт. Правда, прокормить такую орду непросто, но он справился бы и с этим. Всё было бы легко и понятно, если бы не одно возражение...

Ганс перевёл взгляд на Мари. Её круглая мордашка была удивительно и смешно похожа на бородатое

лицо кузнеца, который стегал Ганса на площади. «Это наши дети, — прозвучал в ушах голос Вольфа Бюргера. — Ты честен и не будешь мстить городу». Именно так. Он не может увести детей, но не может и прогнать их от себя. Прав Бюргер, но прав и он. Решить их спор должны дети, каждый в отдельности, сам за себя, и не сейчас, когда обида мешается с болью, а по здравому размышлению, трезво взвесив все «за» и «против». Задача непосильная не только для ребёнка, но даже для мудрого и дальновидного Вольфа Бюргера. И всё же решать придётся.

Усталые дети стояли кружком вокруг наставника и терпеливо ждали, когда начнётся урок.

— Сегодня мы с вами должны вместе подумать, может ли доброта быть жестокой, — сказал Ганс, глядя туда, где за деревьями не было видно башен осиротевшего города Гамельна.

СМИРНЫЙ ЖАК

И рыцарь Ноэль, сеньор де Брезак,
вышел против чудовища и сразил его.
И Господь взял де Брезака.

Хроника луанского рыцарства.



Ночью то и дело принимался хлестать дождь, ветер налетал порывами, но, не сумев набрать силы, гас. Однако к утру непогода стихла, лишь косматые клочья облаков проносились по измученному небосклону. Главное же — града не было, а дождь не повредит ни хлебу, ни виноградникам, разве что вино в этом году получится чуть кислей и водянистей обычного.

Но о вине пусть печалится господин барон, Жаку до него дела нет, а капусте, которой у Жака много, дождь пойдет даже на пользу.

Как обычно, Жак поднялся до света и вышел посмотреть на небо. Ночное буйство ещё давало себя знать, но уже было видно, что день окажется погожим. Среди разбегающихся туч глаз уловил мелькнувшую серую молнию. Верно, то Ивонна — деревенская ведьма пролетела верхом на чёрном коте и, разъяренная неудавшимся колдовством, канула в дымоход своей лачуги. Можно понять злость колдуньи: всю ночь накликал бурю и в результате всего лишь полить мужицкие огороды.

Первым делом Жак пошёл проверить поле. Тропка через заросли крапивы и лопухов вывела его к посевам.

Хлеб в этом году родился на диво богатый. Колосья высоко несли тяжёлый груз, и дождевая влага, запавшая между щетинками усов, казалась каплями живого серебра.

Жак быстро прошёл чужие полосы. Его клин был крайним, ближним к лесу и потому особенно часто страдал от нашествия непрошенных гостей. Вот и сейчас Жак издали увидел, что его худшие опасения сбылись. Край пашни был смят, истоптан, изрыт.

Жак подбежал к посевам и опустился на корточки, разглядывая землю. Уже достаточно рассвело, и на потемневшей от дождя почве были отчётливо видны следы кабанов. Значит, не помогло верное средство, купленное у прохожего монаха, зря он целый день разбрасывал вдоль межи цветы и корни майорана, повторяя, как учил продавец: «Прочь, свинья, не для тебя моё благоухание!» Кабаны с лёгкостью перешагнули эфемерную преграду, и теперь с ними ничего не поделаешь: повадившись, они будут являться каждую ночь, пока не стравят весь урожай. И гнать их нельзя: мужик не смеет тревожить благородную дичь господина барона.

В иные дни Жак скрепя сердце пошел бы на псарню и передал бы доезжачим, что появились кабаны. Разумеется, барон не усидел бы дома, и, хотя охотничья кавалькада выбила бы хлеб ничуть не хуже, чем град, дикие свиньи после побоища зареклись бы выходить на поле, принадлежащее Жаку.

Но теперь охотников распугали слухи об огромном змее, облюбовавшем скалы Монфоре. Сам барон сидел в четырёх стенах и держал мост поднятым.

Значит, с кабанами придётся бороться самому, хотя это и грозит виселицей. И даже не виселицей — браконьеров вешают на дереве в лесу. Страшно,

конечно, но отдавать хлеб на разграбление — страшнее. Жак готовился к войне с кабанами с того самого дня, как впервые увидел следы, хотя и надеялся, что майоран отпугнет разбойников.

Вернувшись с поля, Жак прошёл за дом, где дымилась на утреннем солнце приберегаемая к осенней пахоте навозная куча. Из самой её середины Жак вытащил длинную чуть изогнутую палку. Палка как палка, с двумя зарубками по краям. С ней можно пройти через всю деревню, и никто не заподозрит дурного. Поди определи сквозь слой грязи, что она вытесана из сердцевины старого клёна, и попробуй узнай, для чего нужны две зарубки. Просто идёт человек с палкой, а закона, запрещающего крестьянам иметь оружие, — никто не нарушает.

Дома Жак обмыл распаренный в навозе стержень, осторожно согнул его и привязал жилу, обмотав её по зарубкам. Готовый лук он оставил сохнуть на чердаке неподалеку от тёплой печной трубы.

За день кленовая древесина высохла и распрямилась, туго натянув тетиву. Такой лук не всякому под силу согнуть, зато выстрелом из него можно пробить закованного в сталь латника. Секрет лука вместе с легендой о латнике Жак получил от отца, участвовавшего в Большом бунте. Теперь секрет пригодился.

Стрелы Жак хранил дома под мучным ларём. Их всего две, зато это настоящие кипарисовые стрелы со стальным четырёхгранным наконечником и густым оперением. Стрелы Жак нашёл в лесу после одной из осенних облав, на которые съезжалось дворянство всей округи.

Жак завернул оружие в мешковину и, когда стемнело, отправился на поле.

На самой опушке леса рос огромный бук. Жак устроился на развилке толстых ветвей и принялся ждать. Ночь была безветренной и тёплой. У края земли порой вспыхивали зарницы, но здесь было тихо. Ивонна, утомившись прошлой ночью, верно, спала, и вместе с ней на время уснули беды и несчастья.

Деревни Жаку не было видно, зато замок чёрной громадой темнел на берегу озера. В одном из окон горел свет, казалось, что замок смотрит красным глазом на затаившегося преступника. Птичий хор, переполнявший лес вечером, постепенно затих, зато в полную силу вступили цикады и кузнечики. Особенно цикады — серебряные бубенчики их голосов будоражили кровь, навевали мысли о чём-то давнем, молодом, ушедшем навсегда.

Над мохнатыми от леса горами медленно поднялась жёлто-оранжевая луна. Этой ночью она была безупречно кругла и чиста. Луна поднималась, блеск её усилился, свет залил долину, звёзды отлетели ввысь, а красный луч в окне башни побледнел и уже не всматривался так пристально.

Колокол на деревенской церкви пробил час. Над застывшим полем пронеслась в иступлённой пляске распластанная летучая мышь. Потом, не тревожа колосьев и не приминая травы, поле пересекла полупрозрачная неоформившаяся фигура.

Даже не разглядеть, зверь это или человек. Видение прошло, не оставив следа, и уже через секунду вжавшийся в дерево Жак не мог определить, был ли здесь призрак, или всё только померещилось усталым глазам в обманчивом лунном свете.

Жак хотел перекреститься, но замер, не донеся руку до лба. Его слуха коснулся отчётливый и давно ожидаемый звук. Зашуршали кусты, раздалось тихое повизгивание и хрипловатое хрюканье вожака. На

поле показалось стадо кабанов. Их было не меньше дюжины, свиней, окруженных полосатыми тощими поросятами, шумливых подсвинков всех возрастов, молодых кабанов, которых вожак терпел, поскольку они ещё не вошли в силу. Вёл стадо огромный секач, возвышавшийся среди всех, словно глыба чёрного камня. Изогнутые ножи клыков белели в свете луны.

Вепрь остановился на краю нивы, несколько раз мотнул головой, прихвываясь, и разрешающе хрюкнул. Свиньи высыпали на поле, давя колосья, взрывая землю, громко чавкая. Вожак несколько времени постоял у кустов, но, успокоенный тишиной, тоже двинулся на кормёжку.

...А строже того возбраняется пугать дичь на корме криками и огнём и метанием камня и дерева...

Жак наложил стрелу, прицелился. Коротко свистнув, стрела вонзилась под левую лопатку зверя. Ноги его подломились, и он, не хрюкнув, не взвизгнув, ткнулся опущенной мордой в чернозём.

Кабаны, встревоженные непонятным звуком, сгруппировались вокруг неподвижного секача, ожидая распоряжений и переговариваясь короткими нутряными повизгиваниями.

Жак выбрал кабанчика покрупнее и наложил вторую стрелу. Она вошла ему в бок, погрузившись до основания перьев. Кабан упал на спину, дрыгнул ногами, но вдруг вскочил и, дико вереща, метнулся к лесу. Стадо ринулось за ним, оглашая воздух нестройными воплями, круша кусты и частый подлесок. На поле осталась лишь туша убитого секача.

Жак спрыгнул с дерева, держа нож наготове, подошёл к вепрю. Ткнул ножом в ноздрю, проверяя. Тот был мёртв.

Стрелу Жак трогать не стал; если вепря найдут, то пусть думают, что просто ему удалось уйти во

время недавней охоты. А вот убрать тушу с поля нужно.

Зверь весил не меньше десяти пудов. Утащить его в кусты и спрятать там в случайно найденной яме было делом нелёгким. Луна клонилась к закату, свет бледнел, но все же Жак вытащил припасённую заранее мотыгу и перекопал то место, куда пролилась кровь вепря и раненого кабана.

Стояла глубокая предутренняя тишина. Кабанов уже не было слышно, и даже цикады, притомившись, не гремели хором, а лишь иногда пускали мелодичную, затихающую трель.

Всё спало, только красный глаз замка всё ещё мерцал. Жак вспомнил, что в том крыле здания находится молебня. О чём может просить бога господин барон?

Издалека над вершинами деревьев пронёсся тонкий, жалобный, волной нарастающий звук: «У-у-у!..» — словно невиданной величины волк выл на исчезающую луну. Вой оборвался неожиданно на самой высокой ноте резким перхающим звуком. Жак торопливо закрестился. Значит, рассказы о страшном змее не бабий брех, а настоящая жуткая правда. А вдруг змей сейчас появится здесь? Куда бежать посреди поля? Хотя, судя по вою, он там, у себя в скалах. Жак хорошо знал скалы посреди леса и мрачную расщелину, где, по слухам, поселился дракон. Если чудовище действительно так велико, как это рассказывают, то оно станет настоящим бедствием для всего края. Тогда не удивительно, что в замке всю ночь служат молебн.

Жак вернулся домой, поел сухого хлеба. В доме было пусто и неуютно. Собравшись бить кабанов, Жак, во избежание лишней болтовни, отправил семью до конца недели к родителям жены в соседнюю деревню.

На сон времени не оставалось: среда — барский день. Зато четверг целиком принадлежит ему. Это потом, когда созреет хлеб и начнётся страда, крестьян будут собирать на барщину шесть раз в неделю. А сейчас он почти свободный человек.

Жаку выпало трудиться на винограднике, подрезать молодые побеги, чтобы они не слишком тянулись вперед и закладывали больше плодовых почек. Он проходил с кривым садовым ножом вдоль шпалер, увитых виноградными лозами. Подрезал где надо, двигался дальше, а сам то и дело косил глазом на ворота замка, хорошо видимые с пологого мелового склона, на котором раскинулся виноградник.

Всё время ему мерещилось, что вепря нашли в кустах, всё поняли и сейчас за ним придут.

В замке затрубил рог, ворота распахнулись, и показалась странная процессия. Впереди церковный служка нёс хоругвь со святым Георгием, следом на статном боевом коне ехал рыцарь, с ног до головы одетый в железо. Два оруженосца несли за ним длинное копьё с кедровым древком и тяжёлый двуручный меч. Позади всех семенили священник и несколько монахов, которых всегда и повсюду много.

Хотя забрало у рыцаря было опущено, Жак признал его по коню и доспехам. Это был сеньор Ноэль, племянник старого барона де Брезака. Возле леса шествие остановилось, сеньор Ноэль опоясался мечом, принял от оруженосца копьё и скрылся за деревьями. Пешие слуги и священнослужители заспешили обратно к замку.

Значит, господин баронет решил стяжать славу и сразиться со змеем? В добрый час! Жак немного поглядел на опустевшую дорогу и вернулся к лозам.

Жак работал без обеда и кончил урок засветло. Управляющий на винограднике не появился, и Жак отправился к дому. Ещё издали он заметил толпу крестьян, собравшуюся посреди улицы. Из толпы доносились крики и плач. Там, окружённая односельчанами, прямо на земле сидела Ивонна. Она раскачивалась и драла седые космы на непокрытой голове. Её прерывистый плач разносился между домами.

Соседи объяснили Жаку, что сегодня около полудня змей выполз из ущелья на луг, где паслось стадо, и сожрал разом четырёх овец. Две из них принадлежали Ивонне. Теперь у ведьмы из всего хозяйства оставались только чёрный кот да поросенок, которого она держала в закутке хлева.

«Божье наказание, — первым делом подумал Жак, и сразу же вслед за тем мелькнула ужасная мысль: — Две другие овцы — чьи?..»

У самого Жака было пять овец и корова, надзор за которыми на время отсутствия жены был поручен соседке.

— Будь ты проклят! — завопила Ивонна, ударив сжатыми кулаками в землю. — Узнаешь у меня, как обижать старуху! Добрый сеньор де Брезак убьёт тебя сегодня! Убьёт!..

И в это самое мгновение раздался лошадиный топот и из-за поворота вылетел конь сеньора Ноэля. Он был в мыле, боевая попона из множества стальных цепочек сбилась набок и волочилась по земле, поднимая страшную пыль. Конь промчался мимо остолбеневших крестьян и скрылся из глаз.

Наступило тяжёлое молчание. Крестьяне не больно жаловали молодого баронета, он чаще всех прочих скакал, бывало, по колосющейся ниве, спеша настигнуть убегающую косулю, но теперь всем вспомнилось другое.

Когда Гастон Нуарье — рыцарь-разбойник напал на деревню и угнал весь скот, то сеньор Ноэль пустился за похитителем, настиг его и убил, а скот вернул крестьянам, хотя по закону мог забрать себе половину добычи. Да и сейчас молодой рыцарь вышел против дракона, который похищал мужицких овец. И крестьяне жалели Ноэля де Брезака.

— Ай-я-яй!.. — запричитала Ивонна. Она поднялась с земли и, продолжая стонать, заковыляла к своей избушке. Жак тоже поспешил к дому.

На этот раз беда обошла его стороной, все пять овец были целы и испуганно жались друг к другу, запертые в специальном загончике. Корова, привязанная рядом, тревожно косила глазом, а когда Жак входил, шарахнулась от заскрипевшей двери.

Жак протянул ей пучок свежей травы, но корова только вздохнула и не притронулась к зелени.

«Как бы молоко не пропало», — мрачно подумал Жак.

Положение складывалось невеселое. Держать скот дома — не хватит кормов; ходить за травой на луг — страшно. Жак думал целый вечер, но не видел иного выхода, кроме того, который сразу пришел ему в голову.

Едва стемнело, Жак постучал в дверь лачуги Ивонны. Ведьма открыла ему и отступила вглубь, разглядывая гостя и шуря воспалённые, лишённые ресниц глаза.

— Заходи, — сказала она. — Зачем пришел?

Жак плотно затворил дверь и сказал в затхлую темноту:

— Мне нужен волчий яд. Много.

— Ай-ай! — Старуха появилась откуда-то сбоку, держа в согнутой руке пучок горящей лучины. Подпалила фитиль в плошке с виноградным маслом, коротко взглянула на Жака:

— Кто же травит волков среди лета?

— Не твоё дело! — оборвал Жак. — Я плачу, ты продаешь.

— Дорого обойдётся, — проскрипела колдунья. — Сначала яд, потом молчание, коли вдруг в замке или в деревне кто-нибудь скончается скоропостижно.

— Что ты!.. — испугался Жак. — Никто не скончается. — Он немного подумал и признался: — Для змея яд.

— А!.. — закричала ведьма. — Для змея? Хорошо. Я ждала тебя, только не думала, что это будешь именно ты, смирный Жак! Что же, тем лучше...

Она выбежала из каморки и тут же вернулась с небольшим мешком.

— Смотри, — зашептала она, — здесь всё, что надо. Я научу. Денег мне не давай — даром даю. Ты только барашка возьми пожирнее, а ещё лучше — поросёнка. В жире отравы хорошо расходуется. Своего бы отдала, да не могу, подохну я без него с голоду. Ты слушай, слушай!..

Глубокой ночью Жак вышел за околицу.

В деревне все спали, только из домика Ивонны сквозь пузырь, вставленный в окно, просачивался свет. Колдунья не ложилась, ожидая результатов мести.

Луна, как и вчера, поднялась над лесом. Полнолуние уже миновало, но всё равно света хватало с лихвой. Жаку даже приходилось держаться поближе к изгороди из колючих кустов терновника, чтобы с башни случайно не заметили одинокого человека, катящего тележку по ночной дороге.

Вебрь лежал там же в кустах, где оставил его Жак. Первым делом Жак вырезал стрелу — она ещё пригодится. Потом острым ножом во многих местах надрезал толстую шкуру зверя. Он нашпиговал тушу

резаным аконитом, сыпал в раны белену и волчий корень, пудрил шкуру порошком мёртвого гриба, напихал в оскаленную пасть боронца, цикуты и жабьего глаза.

Жак трудился, пока мешок не опустел. Тогда он взвалил истерзанную тушу на тележку и повёз её в глубь леса к скалам.

Дорога медленно поднималась в гору. Хорошо смазанные колеса не скрипели, только мелкие камешки похрустывали под ободами, да иногда слышался лёгкий стук — это тележка наезжала на камень покрупнее. Исчерченная ножом туша кабана громоздилась над бортами. Теперь Жак чувствовал к бывшему врагу почти нежность. Это была удачная мысль: скормить вопреки дракону и так разом избавиться от обоих. Если, конечно, змей не сожрёт заодно и Жака.

Тропинка раздвоилась, Жак свернул на ту, что поуже. Она зигзагами поднималась к вершине утёса, возвышавшейся над ущельем дракона. Когда, задыхаясь от усталости, Жак вышел к обрыву, уже почти рассвело. С неба неприметно опустилась обильная роса, туман собирался в низины. Лес, окружавший скалу, стоял по пояс в тумане, а круглые башни замка, маячившие вдаль, казались отсюда ничтожно маленькими.

Жак подошёл к краю расщелины, осторожно глянул вниз. Густой белый туман наполнял ущелье, не позволяя видеть. Вздохнув, Жак отошёл от края и прилёг неподалеку от тележки. Он был согласен рисковать собой, но не делом.

Придётся немного обождать.

Жак, не спавший две ночи подряд, незаметно задремал и проснулся, когда солнце, поднявшееся над кронами деревьев, заглянуло в ущелье и разогнало туман. В ярком свете обрыв уже не казался ни слишком крутым, ни чрезмерно высоким. Если дракон

захочет, он в два счёта заберётся сюда. А в том, что чудовище живет именно здесь, сомнений больше не оставалось. Кусты, раньше покрывавшие дно расщелины, были выломаны и вытоптаны огромными лапами. Особенно пострадали они там, где ущелье сжималось настолько, что вершины нависающих деревьев совершенно скрывали его, образуя подобие пещеры с живым зелёным сводом.

А на голой каменистой площадке перед самым логовом лежало искалеченное тело Нозля де Брезака. Стальные доспехи были смяты, руки и ноги неестественно вывернуты, сквозь прорези шлема натекла лужа крови. Переломленное копьё и двуручный меч валялись неподалёку.

Жак взялся за ручки тележки. Даже если чудища нет в норе, оно скоро вернётся и не пройдёт мимо отравленной приманки.

Тележка с грохотом покатилась по крутому склону, несколько раз подпрыгнула, перевернулась, одно колесо отлетело в сторону, и наконец тележка и истерзанный кабан порознь шлёпнулись на площадку внизу. И сразу же, в ответ на раздавшийся шум, из тьмы переплетшихся стволов донёсся жуткий шипящий звук:

— Кх-х-х!..

Жак, едва удержавшийся на склоне, упал на землю; редкая трава не могла прикрыть его, и он понял, что, если змей взглянет вверх, то сейчас же обнаружит непрошеного гостя. Теперь обрыв казался совсем ничтожным.

Внизу посыпались камни, заскрипело сгибаемое дерево, и из чёрного провала расщелины одним мгновенным рывком выдвинулась голова змея. Быстро перебирая чешуйчатыми лапами, он выбрался из норы, сильным ударом отбросил в сторону доспехи баронета.

Массивная лапа поднялась второй раз и ударила вепря. Громко хрустнули кости.

Жак, вжавшись в землю, затаился между кустами иссопа и глядел, не в силах отвести глаз.

Нет, это был не тот игрушечный змей, которого с такой лёгкостью пронзает на иконах скачущий Георгий Победоносец. В ущелье разлёгся настоящий дракон, покрытый несокрушимой бронёй, вооружённый острым гребнем вдоль спины и всесокрушающего хвоста. Кривые когти напоминали мавританские сабли, а клыки в открытой пасти были почти полтора пядей длиной. От морды до хвоста в чудовище насчитывалось не меньше тридцати шагов.

Дракон наклонил пасть над кабаном и, блеснув клыками, оторвал ему голову. Лапа нетерпеливо рванула тушу, распоров вепрю брюхо. Издав знакомый шипящий звук, дракон окунул морду в кровавое месиво. Через минуту всё было кончено. От кабана не осталось даже костей, и дракон разлёгся на солнце, прикрыв маленькие пронзительно красные глазки морщинистыми нижними веками. Тонкий раздвоенный язык метался между оскаленных зубов.

Солнце поднялось совсем высоко, отвесные лучи немилосердно палили, над известковыми утёсами, переливаясь, дрожало прозрачное марево нагретого воздуха. От сухой травы тянуло душным пряным ароматом. Из ущелья поднималось зловоние. Голова кружилась, склоны плыли перед глазами. Но уходить было нельзя, во-первых, потому, что малейшее движение могло привлечь внимание лежащего чудовища, а во-вторых, Жак знал, что если уйдет сейчас, то уже никакими силами не заставит себя вернуться и проверить действие яда.

Дракон вздрогнул, раскрыл глаза и медленно переполз к телу де Брезака. Лизнул алым языком засохшую кровь, потом опустил морду на землю. Хвост

дракона беспокойно дёргался, гремя чешуей по камням. Движения его становились всё более редкими и вялыми, наконец прекратились вовсе. Красные глаза потухли.

Жак ожидал, что отравленный колосс будет реветь, кататься по камням, биться в судорогах на дне ущелья. Но ничего этого не было: громада дракона недвижно лежала перед ним, вокруг глаз толклись мухи.

Жак ещё долго выжидал, опасаясь, что страшнелище просто спит. Наконец решившись, он поднялся на колено и взял лук. Стрела ударилась о костяную пластину на морде дракона и отскочила, не оставив следа. Дракон продолжал лежать.

По осыпающемуся под ногами склону Жак спустился вниз, осторожно приблизился к чудовищу. В трёх шагах от уродливой головы остановился, поднял с земли двуручный меч господина де Брезака, выставив его перед собой, подошел к монстру вплотную, нацелился остриём в фигурную ноздрю, зияющую над пастью, и что есть силы навалился на рукоять. Секунду казалось, что кожа дракона не уступит натиску стали, но потом клинок легко и быстро вошёл в плоть, погрузившись до половины.

Дракон не шелохнулся. Из рассечённой ноздри вытекла струйка зелёной крови.

Жак отвернулся от поверженного чудовища и принялся насаживать слетевшее колесо. Потом отыскал стрелу, впрягся в тележку и покатил её прочь. У выхода из ущелья оглянулся: рыцарь Ноэль сеньор де Брезак лежал рядом с убитым гигантом. Меч рыцаря торчал из окровавленной морды.

Всякий увидавший эту картину поклялся бы, что доблестный рыцарь убил дракона, но и сам был повержен издыхающим чудовищем.

— Ты навек прославишься, добрый сеньор, — пробормотал Жак.

Отойдя от скал на приличное расстояние, Жак принялся собирать хворост и грузить его на тележку. Разрешение на сбор у него было. Стрелу и лук он спрятал в одной из вязанок. Теперь никого не удивит, что делал он с тележкой в лесу.

Вскоре он уже вывозил груз из леса. На краю поля остановился, вытер рукавом пот со лба.

Хлеб стоял стеной. Усатые колосья пшеницы покачивались на ветру. Ещё две недели — и можно будет жать. Ничего не скажешь — удачный год, урожай будет по меньшей мере сам-десять. И если больше ничего не случится, то даже после выплаты всех повинностей хлеба хватит до следующего лета.

СТРАЖ ПЕРЕВАЛА



аги звенели по плитам пола. Они звучали так реально, что каждый знал: идёт Лонг. И всё же сторожевые драконы у входа в зал удушливо рявкнули: «Вассал Лонг идёт к Владыке Мира!» — и берилловые андрюиды следующего зала продребезжали, вращая синим объективом телеглаза: «Вассал Лонг идёт к Владыке Мира!» — клич катился не затихая, пока от самого трона эхом не откликнулись мутные мороки: «Вассал Лонг входит к Владыке Мира!..»

Лонг вошёл и остановился. Владыка восседал на троне, сработанном из чёрного шершавого камня и бледной пустоты. В руках Владыка сжимал жезлы власти: огненный и золотой. Мороки и василиски рядами окружали трон. Лонг, не сгибаясь, прошёл на середину зала и лишь там резко наклонил голову, так что оконечность глухого забрала звонко клацнула о выпуклый нагрудник.

— Всемогущий! — произнёс Лонг. — Я пришёл на твой зов.

Ничто в лице Владыки не изменилось, даже губы не дрогнули, когда прозвучал его голос:

— Сегодня я позвал тебя не для беседы. Я задумал новый большой поход, мне нужна твоя служба.

— Чем может помочь живущий на краю Мира?

Впервые лицо Владыки оживилось, блеснули глаза. Он ответил:

— Я решил подняться на Перевал, взять то, что находится за ним, и присовокупить к моим владениям.

Лонг растерялся. Он не знал, что делать и как отвечать. Лишь тысячелетняя привычка позволила ему сохранить полную неподвижность. Потом пришли слова.

— Всемогуший! — сказал Лонг. — Перевал невозможно пройти. На границах твоя власть кончается, ты сам это знаешь.

— Ложь! — крикнул Владыка. Лицо его внезапно ожило.

Лонг в ответ поднял забрало и сказал обычным голосом, уже не беспокоясь об этикете:

— Это правда. Я интересен, в моём доме бывают гости со всех краёв, и я знаю, что жители границ не боятся тебя. На юге, где обитают кошмары и прозрачные миражи, никто и в грош не ставит твою великую власть.

— Ты хочешь обратить мою ярость на юг, где она безвредно рассеется в мёртвом свете, не так ли, прямодушный рыцарь? — усмехнувшись, спросил Владыка. — Я усмирил непокорных духов страшными закланиями, Отшельник склонился передо мной, на юге больше нет границы. Теперь очередь за севером. Там действительно дикая страна. Знаю, что заклинания потеряют силу, а колесницы остановятся, ибо по ту сторону гор мёртвые машины, чтобы двигаться, должны пожирать пищу и пить воду. Мечи из струящегося тумана не смогут даже оцарапать грубую плоть северных варваров. Для них нужны сталь и камень. Но ведь это очень простые вещи, Лонг, они

есть в моём мире, так что найти оружие будет не-
трудно.

— Да, в этом мире есть сталь! — Лонг обнажил меч. Меч был обоюдоострый, одна грань жемчужно переливалась туманом, по другой бежал причудливый рисунок булата. Лонг сорвал с руки блестящую перчатку и дважды провёл лезвием по пальцам. С ногтей закапала кровь. Во всём мире у одного Лонга была настоящая горячая кровь, и при виде красных капель безмолвные и неподвижные телохранители Владыки пришли в движение: одни отшатнулись, другие прыгнули навстречу.

— Я — страж Перевала, — отдельно произнёс Лонг, — клянусь этой кровью, что никто и никогда не проникнет из внешнего мира сюда и никто не выйдет отсюда во внешний мир. Никто и никогда!

— Клянусь кровью, которой у меня нет, — возгласил Владыка, — что через три дня я пройду Перевал, а если мой раб вздумает мешать мне, я уничтожу его!

— Я не раб, — сказал Лонг. — Даже этому миру я принадлежу лишь отчасти, а на Перевале слушаю только себя и свой долг.

— Да, — сказал Владыка, — ты мало похож на подданного, в тебе больше той силы, что живёт за горами, поэтому ты так горд. Но и твою силу можно сломить...

Огненный столб расплескался по залу, ударил в грудь Лонга. Это был не призрачный колдовской огонь, а настоящее плотное и дымное пламя. Тугие керосиновые струи хлестали откуда-то, взбухали изнутри багровым жаром, закручивались смерчем и исходили чёрными клубами копоти. Доспехи Лонга раскалились добела, хромовая насечка стекала крупными каплями. Подняв меч, Лонг шагнул вперёд. Он не видел противника, не знал, куда идти, и старался лишь не упасть, но колени подогнулись, покрытые

чёрными пятнами плиты встали перед глазами. Лонг чувствовал, как кипит и испаряется его кровь.

«Конец, — подумал он. — Хорошо, что не видит Констанс...»

Огонь иссяк так же неожиданно, как и явился; сверху пал дождь. Капли воды с визгом ударялись о покоробившиеся от жара латы, ртутными шариками бегали по горячим плитам. Лонг открыл глаза. Над ним склонялось лицо Владыки. Сейчас оно было почти настоящим, в глазах светилась живая алчность, и в голосе слышалась совсем человеческая мольба:

— Я не хочу убивать тебя, Лонг. Ты мне нужен. Ты единственный был там, ты сам почти оттуда. Ты знаешь их недостатки и слабости, ты легко сможешь победить. Я хочу, чтобы ты вёл моё войско, а после победы я возвеличу тебя, Лонг. Ты будешь не хранителем Перевала, а моим наместником в новых землях...

Лонг поднялся, с трудом разламывая скрючившуюся скорлупу доспехов.

— Ты можешь убить меня, — сказал он, — но прежде узнай правду. Ты зовёшься Владыкой Мира, но подлинный мир — там, за Перевалом. Здесь лишь бледная его тень, ненужный бред. Порой здесь встречается настоящее, но лишь потому, что тот мир чрезмерно богат и не может вместить всё. Там действуют свои законы, над которыми нет владык. Ты всемогущ лишь здесь, я прошу тебя забыть о Перевале.

— Вот ты и заговорил по-другому, — удовлетворённо резюмировал Владыка, — теперь осталось лишь заставить тебя сказать иное. Для этого у меня припасён ещё один сюрприз. Значит, по-твоему, непобедимое войско обессилеет на границе, а то и просто не сможет одолеть Перевал? Посмотрим!

Огненным жезлом Владыка очертил круг, в центре которого возникла согнутая фигура. Длинные, чуть не до колен руки с тонкими сильными пальцами.

Плечи сутулятся так, что стоящий кажется горбатым. Спутанные светлые волосы падают на лоб, почти скрывая взгляд удивлённых глаз. И вечная виноватая улыбка, такая знакомая и неуместная здесь, возле трона Владыки. В круге стоял Труддум.

— Мастер! — приказал Владыка. — Расскажи про свою машину.

— Она называется инвертор, — сказал Труддум и замолчал.

— С её помощью можно пройти границу?

— Да, конечно. Инвертор разрушает реальность, превращает её в возможность или даже разлагает до абсурда.

— Значит, мои войны сохраняют силу, а глупые законы, охраняющие загорные земли, рассыплются на случайности и начнут подчиняться мне?

— Разумеется, если построить достаточно мощный прибор. Но ведь не всё, что можно построить, следует включать...

— Об этом судить мне! — отрезал Владыка и взмахом жезла стёр круг.

Труддум исчез.

Ещё целую секунду Лонг стоял неподвижно, пытаясь осмыслить случившееся. В словах Труддума он не сомневался: мастер никогда и ни в чём не делал ошибок. Значит, границы больше нет, таинственные инверторы, придуманные Труддумом, одолеют горы, и прекрасный реальный мир перестанет существовать, умрёт в хаосе. Единственный, кто стоит на пути войск, — это Лонг со своим наполовину реальным мечом. Ему одному придётся оборонять Перевал, одному — без Труддума. Труддум — предатель. Это тоже предстояло осмыслить.

Лонг повернулся и пошёл прочь. Почерневшие доспехи скрежетали при каждом движении, плиты пола гудели похоронным звоном.

— Лонг! — прогремело сзади. — Через три дня войско подойдёт к Перевалу, и либо ты возглавишь его, либо оно пройдёт по тебе!

Лонг не ответил.

— Вассал Лонг покинул тронный зал! — рявкнули сторожевые драконы.

Дорога петляла, сворачивала, порой вообще исчезала, но всё же медленно и нехотя поднималась в гору. Если обернуться назад, то тоже увидишь, что дорога поднимается в гору, но это обман.

Лонг обернулся. Вздёрнутый южный горизонт терялся в мареве, серая дымка смазывала очертания предметов и без того зыбких. Лишь дворец Владыки, видимый всегда и отовсюду, возвышался грозно и красиво.

Мир тянулся с севера на юг, от Перевала вниз, через земли всё меньшей вероятности, в край абсурда. На крайнем юге Мир переходил в пустыню, населённую призраками и миражами. За пустыней не было ничего. Даже нереальный Мир там истончался и переставал существовать. Правда, там жил Отшельник. Как и Лонг, он был хранителем границы, но не стражем, потому что там было нечего и не от кого охранять. Как и чем существовал Отшельник, Лонг не знал, хотя самого Отшельника видел не раз. Порой Отшельник объявлялся в замке Лонга, беседовал с хозяином на отвлечённые темы и так же непонятно исчезал. Лонг ни о чём не расспрашивал гостя, уважая в нём силу, равную своей. Поэтому Лонг не слишком поверил словам Владыки. Всемогущий Владыка тоже может ошибиться, приняв уклонение за победу. Юг всегда умел раствориться и ускользнуть.

Здесь было не так. Всё чаще подковы коня цокали по камню, высекая искры. Пейзаж становился

отчётливей, хотя не был постоянен. В стороне от дороги с громовым гулом извергался вулкан, а неподалёку шумел большой город, и никто не обращал внимания на огонь и падающие камни. Завтра, возможно, на месте содротающейся горы будет озеро, а улицы зарастут лесом.

Людей в этом краю не встречалось, хотя ежедневно возникали образы, бледные и нежизненные. Здесь обитали уроды, и ослепительные небывалые красавицы, подлецы, чья подлость самодовлеющая и безрезультатна, и сказочно благородные герои, успевавшие произнести несколько гордых фраз, прежде чем бесследно раствориться. Лишь воля Владыки могла внести подобие порядка в хаос, удержать ту или иную химеру, и тогда залы дворца украшались новым изумительным монстром.

То, что оказывалось более постоянным, жалось на север, ближе к границе Лонга. Здесь жили почти обычные люди, хотя и среди них встречались чудовищные мерзавцы и ходячие примеры для подражания, изуверы и образцы добродетели. Но их жизнь исчислялась не минутами, а годами, каждый имел свою физиономию, и все они казались более человеческими и непростыми. Жителей плоскогорья Лонг объявил под своей защитой, вёл их в бой, когда с юга набегали орды косматых варваров, и в одиночку расправлялся с великанами и чудовищами, порой выбиравшимися на плоскогорье.

Дом был уже недалеко, горы нависали всё ошутимее, дорога курилась жёлтой пылью, от кустов вдоль тракта тянуло сладким ароматом. Мимо Лонга пронеслось стадо золоторогих антилоп; звери мчались, картинно запрокинув головы, роняя с губ дымящуюся пену. Вскоре появился тот, кто вспугнул их. Сверхъестественной величины клоп медленно полз вдоль дороги. Похожий на бревно хоботок

конвульсивно дёргался, высасывая всё, что попадало навстречу: людей, животных, деревья. Позади оставалась мёртвая полоса.

Лонг истово ненавидел подобные создания, порождённые всплесками флюктуаций. К тому же клоп двигался на север и случайно мог добраться до предгорья. Лонг выдернул меч и поскакал наперерез опасному гаду. Сосуший хобот рванулся ему навстречу, Лонг уклонился от удара и, подскакав вплотную, вонзил волнистое лезвие в хитиновую броню. Клоп завалился на бок, щетинистые десятиметровые ноги вытянулись и заскребли друг о друга, словно пытаясь счистить налипшие комья грязи. Лонг отёр пот со лба. Лишь теперь он сообразил, какой опасности избежал. Ведь доспехи, делавшие его неуязвимым, остались у порога дворца, почерневшие и искорёженные. А в этих областях удар страшного жала был бы смертелен. Лонг почувствовал, как болит рассечённая мечом рука. Он забыл заживить порез в долине, и теперь рана будет заживать долго.

Рядом послышался звон бубенцов, голоса. Мимо проходил караван. Рыжебородый купец, отделившись от процессии, подъехал к Лонгу.

— О благородный и прекраснодушный незнакомец! — возгласил он. — Ты спас меня от этого ужасного вепря. Я намерен достойно наградить тебя. Моя дочь, красавица Гюльгары, станет твоей женой!..

Лонг повернул коня и выехал на дорогу. Горы были уже близко. По дороге навстречу Лонгу медленно брёл человек. Тощий узелок болтался на длинной дорожной палке.

— Здравствуйте, сеньор! — сказал путник.

— Оле? — удивился Лонг. — Что ты здесь делаешь?

— Отправился в путешествие, — ответил Оле. — Дома стало скучно и опасно. Мне не нравится, когда сразу и скучно, и опасно, поэтому я ушёл...

Такое случалось с жителями плоскогорья. То один, то другой из них спускались в долину. Возвращались редко, изменившимися до неузнаваемости. Лонг спокойно относился к уходам и метаморфозам ушедших, но уход Оле произвёл тягостное впечатление. Оле жил у самого замка и был просто земледельцем, таким, что порой встречались и по ту сторону Перевала. Он появлялся в замке, помогая Труддumu в возне с хитрыми механизмами, а вечерами частенько зазывал Лонга и Труддума к себе — отведать горного меда. И вот теперь Труддум бежал к Владыке, и Оле тоже уходит, вернее, уже ушёл, ведь он-то не может безнаказанно спускаться в долину.

— ...а скучно стало давно, с той минуты, как Констанс не поселилась у нас, — говорил Оле.

— Что? — вскрикнул Лонг. — Откуда ты знаешь о ней? Отвечай!

— Вот я и ушёл, — невозмутимо продолжал Оле. — Думаю пойти к Отшельнику. Далеко это, но почему бы и не дойти? Бродяга, говорят, дошёл.

— Глаза прекрасной Гюльгары подобны двум спелым сливам, — монотонно бубнил за спиной успевший потерять свой караван купец.

Лонг перевёл дух. Ну конечно, с той минуты, как Оле спустился вниз, он перестал быть собой. А может быть, это и вовсе не Оле, а просто эхо собственных мыслей Лонга. Ведь доспехи погибли, и, значит, мысли Лонга так же обнажены перед Миром, как и его грудь.

Конь широкой рысью поскакал в гору. На пыльной дороге впереди чётко отпечатывались следы ушедшего Оле.

Замок Лонга, как и полагается замку, стоял на скале. Дорога спиралью поднималась к воротам, перекрытым поднятым мостом. Узкие бойницы башен

светились тёплым электрическим светом. Обычно свет по вечерам зажигал Труддун, так что сегодня Лонг ожидал, что дом встретит его тёмной пустотой. Лучи из окон смутили его.

На последнем повороте Лонг остановил коня и оглянулся. Перед ним лежала его страна — край почти настоящий. Влажный, непризрачный туман скрадывал очертания деревьев, домов и многочисленных ветряных мельниц. Зачем нужны мельницы, Лонг не думал, их никто и никогда не строил, зато во время низовых нашествий горели они десятками. Жителям мельницы тоже не были нужны, в каждом крестьянском доме вращался выстроенный Труддумом мотор, согревал, освещал, молот хлеб. Только колдовские берлоги да мрачные разбойничьи логова освещались сальными плашками или светляками-великанами. Но вся человеческая мразь сидела по своим притонам затаившись, страхась не столько меча Лонга, сколько его имени. Высоко в небе с негромким ровным гудением прошёл реактивный лайнер. Лонг проводил его взглядом. Кто летит в этом самолёте? Откуда и зачем? Ответа не будет, воздушный путешественник канул в долину. Каждый вечер над замком пролетал самолёт, и Лонг порой пытался представить, какие чувства испытывают эфемерные путешественники, глядя сквозь кварцевые стёкла на замок, мельницы и крытые соломой дома.

Самого Лонга многочисленные средневековые анахронизмы не раздражали, они были частью от века установившегося быта. Но сегодня он почувствовал неприязнь к ненужным мельницам, к смиренному обращению «сеньор», даже к доспехам, спасшим его от гибели. Ведь средневековая мишура не случайна. Там, где есть владыки, там будет процветать и мишура. Так что вассал Лонг зря гордился своей неза-

всесильностью, он такой же подданный, как и остальные. Но только непокорный подданный.

Лонг поднялся на скалу, протрубил и остановился, ожидая, пока опустится мост. Внизу звенела по камням горная речка. Среди её бурунов бешено вращалось огромное, наподобие мельничного, деревянное колесо. Это было единственное рабочее колесо в стране, да и во всём Мира. Замок Лонга стоял так высоко, что машины вечного движения работали здесь неуверенно. Тогда Труддум соорудил колесо, от которого двигались все его хитроумные забавы. Сегодня шум реки показался Лонгу иным. Лонг глянул в пропасть. Колеса не было. Только остатки валов да разбитые шестерни валялись там. Что же, этого следовало ожидать.

Мост опустился, Лонг въехал во двор, спешился. И лишь потом удивился: кто опустил мост? Лонг недоумённо оглянулся. Через двор к нему спешил Труддум.

— Ты здесь? — спросил Лонг.

— А где же мне быть? — Труддум усмехнулся. — Я не могу туда, — он указал рукой на горы, — и не хочу туда, — палец мастера ткнул вниз. — Я всегда здесь.

Лонг облегчённо вздохнул. Как он мог поверить лживому Владыке?

— Внизу я видел про тебя страшный морок, — сказал он.

— А я спокойно жил здесь и хорошо поработал.

— Я это вижу. Что ты сделал с колесом?

— Сломал. Оно больше не нужно, вместо него я поставил другую машину. Идём покажу.

— Идём, — с готовностью отозвался Лонг.

Жилые помещения замка во втором этаже были вполне благоустроены, отсюда Лонг тщательно изгонял бессмысленную атрибутику Мира, но в нижних парадных залах этикет брал своё. У стен стояли никем не надевавшиеся, но уже трухлявые доспехи,

с потолка свисали изъеденные ржой цепи, от которых в пляшущем свете факелов падали причудливые тени. По ночам здесь бродили привидения — жалкие подобия тех химер, что встречались в долине. А в подвалах замка, где верный вассал Владыки должен был бы хранить сокровища и содержать темницу, начиналась уже настоящая фантазмагория, но фантазмагория, возможная лишь на границе Мира. Здесь была вотчина Труддума. Невероятные машины работали здесь, движимые, кажется, лишь гением своего создателя.

— Вот! — с гордостью сказал Труддум, распахивая дверь в зал.

Некоторое время Лонг молча рассматривал творение друга. Машина была на полном ходу. Тяжёлый корпус из титановой стали мелко дрожал, пучки циркониевых трубок светились жаром, выл перегретый пар, пела турбина. Стержни под потолком, выточенные из метровых алмазов, были лишь наполовину опущены.

Перед Лонгом находился пугающий своей незавершённостью, сшитый на живую нитку, существующий лишь из-за несуразностей Мира, но всё же вполне настоящий ядерный реактор.

— Ты знаешь, — негромко сказал Лонг, — это опасная вещь.

— Ничуть, — возразил Труддум. — С ним не справится никакая флюктуация. Он может работать без присмотра хоть сотню лет.

— Не в том дело. В мире слишком много случайного зла, ведь, по сути дела, всякое зло — случайно. Но не дашь ли ты ему в руки реальную силу? Прежде я полагал, что вся мощь Владыки заключена в химерах, но сегодня увидел у него настоящий огонь. Это едва не стоило мне жизни. А что будет, если Владыка сумеет захватить это?

— Так можно сказать о любой машине. И любую из них обратить во зло. Не бойся, реактор останется в подвале, Владыка не узнает о нём. Хотя это далеко не самое опасное из того, что может быть создано. Недавно, например, я придумал действительно страшную машину, вот её я никогда не стану строить. Я изобрёл механизм, способный сломать границу и разрушить реальный мир.

— Эта машина... — холодея, начал Лонг.

— Она называется инвертор.

Они стояли на площадке сторожевой башни и смотрели в долину, озаряемую ночными всполохами. Зарницы вспыхивали и угасали, потом являлись в новых местах. Всё было как всегда, только там, где угадывался дворец Владыки, темноту прорезала отчётливая паутина света. Она ощутимо разрасталась, захватывая всё больше пространства. Безумная воля вносила подобие порядка в хаос, Всемогущий собирал силы, чтобы бросить их к Перевалу.

— Он не пройдёт, — нараспев говорил Труддум. — Даже если он действительно узнал об инверторе, у него всё равно ничего не получится. Я сконструирую более мощное устройство, чем у него, и обращу войско в бессильный призрак. Я построю орудия, которые раздавят дворец вместе с его мнимой и реальной силой.

— Ты хороший инженер, — сказал Лонг, и, как всегда, когда звучало новое слово, Труддум понял и не переспросил, — но скажи: думал ли ты в последнее время об огне?

Труддум удивлённо вскинул голову:

— Думал только недавно. Дня три назад. Я вдруг понял, что толком ничего не знаю об огне, и стал размышлять, какой он бывает и как его можно получить.

— А через день Владыка едва не сжѣг меня. Пойми, друг, не успеешь ты подумать о новом оружии, как оно уже появится у Всемогущего.

— Значит, наше дело проиграно, — пробормотал мастер.

— Значит, нам придётся сражаться, надеясь не на разрушительные аппараты, а только на самих себя.

Лонг спустился в свои покои, накинул на плечи плащ так, чтобы не было видно меча. Вышел в зал. По винтовой лестнице торопливо ковылял Труддум.

— Ты пойдёшь за Перевал? — спросил он.

— Как всегда, на три дня.

— Но ведь у нас как раз три дня осталось, а ещё столько дел...

— Я трачу эти дни на самое важное дело.

— Поцелуй от меня руку Констанс, — соглашайся, произнёс Труддум.

Перевал был невидим и неосязаем. Просто после очередного трудного шага по крутому и опасному склону вдруг оказывалось, что дальше подъёма нет и можно идти по ровному. Но как бы упорно ни шёл путник, он ничуть не отдалился бы от края обрыва. Граница съедала его шаги.

Лонг вышел на край, достал из-под плаща меч. Лезвие серебристо светилось, глаз не мог отличить туманную сторону от стальной. Лонг повернул меч плашмя и очертил вход. Перед ним открылся спуск — крутой, полный обрывов, оползней и трещин. Но этот путь, так похожий на только что пройденный, был по другую сторону Перевала.

Дом Торикса стоял высоко в горах. Это было надёжное, прочное жилище, выстроенное бог знает когда, много раз перестраивавшееся и хранящее следы всех эпох. Только в таком доме мог жить Торикс —

всегдашний друг, человек, знающий, кто такой Лонг, и относящийся к этому невероятному факту так же спокойно, как и к собственной жизни среди камней.

Торикс, увидев Лонга, удивлённо и радостно ойкнул и тут же потащил в дом, крича:

— Констанс, взгляни, какое чудо потерянное объявилось!

Констанс вышла, остановилась в дверях. Мгновение Лонг был неподвижен, потом наклонился и поцеловал руку.

— Конечно, это велел тебе сделать славный Труддун! — засмеялась Констанс. — Заходи в дом, рыцарь, ты, как всегда, успел к завтраку.

Лонг смотрел на неё и не очень понимал, что ему говорят. Лишь потом он сообразил, что уже сидит за столом рядом с Ториксом, а тот увлечённо рассуждает, очевидно в связи с чем-то только что рассказанным:

— ...всё-таки у вас, где, как ты говоришь, непременно что-то происходит, но ничего не меняется, жить несравненно проще. Главное, тебя никогда не подведут однажды проверенные истины.

Констанс сидела напротив, подперев щеку кулаком, слушала разговор с видом снисходительного интереса, как и положено женщине слушать заранее известную беседу между любимым мужем и старым хорошим знакомым, другом, почти братом. Она любит их обоих и рада удачному дню и хорошей беседе, хотя что они могут сказать нового в этом старом споре?

Тогда Лонг собрался с духом и рассказал всё, что можно было рассказать по эту сторону Перевала.

Больше всего Лонга поразило, как мгновенно изменился Торикс. Констанс испуганно приподнялась, в её глазах вспыхнула тревога, но всё же это оставалась прежняя Констанс, а вот Торикс... Здесь больше не было полнеющего увальня, любителя поболтать ни о чём, хлебосольного хозяина и строгого главы семьи,

предусмотрительно послушного разумной хозяйке. Перед Лонгом встал воин и потомок воинов. Другу угрожала опасность, и он был готов отправиться навстречу ей, какой бы она ни оказалась.

— Я пойду с тобой, — сказал он, — и мы попробуем разобраться с твоим властелином.

— Нет, — сказал Лонг. — Ты принадлежишь этому миру и не должен из него исчезать. И потом, ты просто не пройдёшь границу.

— Ты меня проведёшь, — отрезал Торикс, — а что касается остального, то все мы рано или поздно исчезнем из этого мира, и лучше сделать это честно в бою с врагом.

— Возьми его, Лонг, — негромко попросила Констанс. — Он сильный, на него можно положиться, а я тогда буду спокойна за вас обоих.

— Но чем ты можешь помочь мне там?

— Как чем? — громко удивился Торикс. — Ты же сам говорил, что, явившись сюда, враг хочет заставить нас биться его оружием. А я встречу его по ту сторону гор, и пусть он бьётся моим. Посмотрим, устоит ли чародей в честной схватке. Для всех вас, Лонг, он — Владыка, но мне-то он никто. И неужто ты полагаешь, что я не найду десяток-другой товарищей, которые не побоятся пойти куда угодно и разогнать любые толпы бесплотных теней? Так что ты скажешь о моём плане?

— Я не знаю, какими вы станете, когда перейдёте границу, не попадёте ли и вы под власть Всемогущего.

— Настоящий человек всюду останется собой! — убеждённо сказал Торикс, и Констанс в знак согласия молча наклонила голову.

— Сейчас я отправлюсь в город, — Торикс встал, — а к вечеру вернусь. Возможно, уже не один. Но в любом случае завтра у нас будет отряд. Честно говоря, я давно хотел посмотреть дивную страну,

откуда ты родом, но ты же знаешь, Лонг, какой я домосед, — я бы никогда не собрался. А так — совместим приятное с полезным!

Торикс рассмеялся и вышел. Лонг сидел, глядя в пол. Он не знал, надеяться ему или нет. Потом поднял глаза и встретился глазами с Констанс. Она ничего не сказала, не шевельнулась даже, но Лонг отчётливо понял, что она просит:

— Возьми и меня с собой.

— Нет, — молча ответил он, — если бы это было можно, я бы забрал тебя раньше.

— А ведь там живёт мастер Труддум и землепашец Оле. — Она произнесла это как бы про себя, и некому было удивиться неуместности вдруг зазвучавших слов. — Они лучше многих реальных людей.

— Труддум против воли помогает Владыке, а Оле ушёл от меня, — сообщил Лонг и тут же, словно и не было только что полубезмолвного разговора, оживлённо спросил: — Констанс, как ваши дети? Почему-то в этот раз ты ничего о них не рассказываешь.

— О!.. Дети выросли. Они стали совсем большими и воображают, что могут прожить без матери.

— Когда они поймут, что это не так, они станут действительно взрослыми, — сказал Лонг.

Констанс поднялась:

— Я покажу их письма.



Торикс вернулся к обеду. Тяжело вошёл в дом, огляделся потерянными взором и выдохнул одно слово:

— Война.

— Что? — переспросила Констанс.

— Война, — повторил Торикс. — Кто бы мог подумать! В наше время. Здесь. У нас. И главное — сейчас, когда тебе нужна помощь. Вот что, — Торикс выпрямился, лицо его затвердело, — я всё равно

пойду с тобой. Пусть меня считают трусом и дезертиром. Здесь справятся и без меня, давно известно, что нападать на нас — дело безнадёжное. А ты один, тебе нужна помощь. Одно плохо: я не смогу привести отряд. До чего же не вовремя всё случилось!

— Погоди, Тор, — сказал Лонг. — Не надо решать горяча. Боюсь, что связь между нашими мирами сложнее и крепче, чем мне казалось вначале. Ты говоришь — справятся без тебя. Нет, не справятся. Ты сила, Торикс, — победа там, где сражаешься ты. Не надо уносить её отсюда туда, где она никому не нужна. А обо мне не беспокойся: у меня ещё есть два дня, за это время мы с Труддумом придумаем что-нибудь. В крайнем случае ты всегда успеешь скрестить меч с Владыкой.

Торикс молчал, обхватив голову руками. Лонг пошёл к дверям.

— Мне пора уходить, — сказал он. — Но я обязательно вернусь. Ведь у меня ещё есть два дня.

Замок встретил Лонга небывалой суматохой. Какие-то вооружённые люди пробежали по коридорам, стояли у кремальер и бойниц, дозором бродили вдоль стен. Во дворе раздавался плачущий рёв вьючного зверья, скрипели телеги. Там что-то выгружали, собирали, мастерили. Несомненно, это затеи Труддума. Лонг усмехнулся. Всё-таки Труддум — плоть от плоти этого мира. Он обязан непрерывно и суматошно действовать, и он действует: собирает дружину, возводит укрепления. Хотя отлично понимает, что замок защищать некому. Когда настанет время, доблестные мужи разительно переменятся. Побегут храбрецы, бдительные уснут на часах, а самые верные — предадут.

Впрочем, возможно, всё будет не так. Дружина окажется воинственной и неустрашимой, стены —

неприступными. Плоскогорье вскипит страшной битвой, полчища Владыки будут вырезаны — ему не жаль! — а потом снизу подойдут новые легионы, и, прежде чем начнётся настоящий бой на гребне Перевала, Владыка устроит театральное судилище над непокорными. Может случиться всё что угодно, ясно лишь одно: суета — ни к чему.

Мастера Лонг отыскал на крепостном дворе. Труддум, азартно размахивая длинными руками, указывал помощникам, как следует крепить на огромнейшем и ни на что не похожем механизме нестерпимо блестящий серебряный щит. Лонг критически оглядел творение Труддума. Явно новая штука, таких здесь прежде не бывало. Значит, такие же будут у Владыки. Господи, как драться-то с этой кучей металла?

Труддум спрыгнул с горба стальной машины и побежал навстречу Лонгу. Вымазанное чёрными полосами лицо сияло.

— Знаю, о чём думаешь! — крикнул он на бегу. — Ты не прав, а я умница!

— Конечно, ты умница, но зачем это? — спросил Лонг.

— Чтобы собрать машину, мне нужен подмастерье. Лучше двое. А ты ушёл, и Оле тоже нет. Пришлось звать людей с плоскогорья, и конечно же побежал целый полк. Все хотят дела, и все его получили. Пусть тешатся, — когда настанет пора, мы их отошлём. Нам не понадобится войско, нам ничто не понадобится, кроме новой машины.

— Я согласен, что в природе нет оружия вернее твоего танка, — сказал Лонг, — но что станет, когда Владыка бросит на нас сотни таких механизмов?

— Хоть тысячи! — Труддум приподнялся на носки и зашептал в ухо Лонгу: — Пусть хоть миллионы! Это не оружие. Это зеркало. Оно не умеет нападать, оно лишь отражает всё. Владыка пошлёт в бой

чудовищ — такие же бестии выйдут ему навстречу. Он бросит огненные стрелы — пылающий дождь упадёт на его голову. Пускай он создаёт такое же зеркало — нам ничего не будет. Мы не станем нападать, мы будем самыми лояльными из непокорных подданных, даже слова осуждения не позволим мы себе. В этой войне плохо придётся тому, кто начнёт атаку, а воевать хочет Владыка. Нам от него ничего не нужно.

— Труддум, ты вправду умница! — сказал Лонг. — Кажется, это выход.

Лонг сделал последний шаг, коснулся рукояти меча, но тут же убрал руку. Ведь это, по сути дела, тоже игра, оружие для перехода границы не нужно, а он больше не желает заниматься играми. Дело пошло всерьёз.

Границу Лонг раздвинул руками. Шёл вниз быстро, стараясь угадать, что его ждёт. Склон постепенно становился пологим, на нём густо росли деревья, мешавшие рассмотреть дом Торикса. Видна была лишь часть озера, по которому неспешно плыла белая лодка. Лонг ускорил шаги. Ему хотелось поскорее увидеть дом, встретить Констанс, тогда он сразу поймёт, всё ли в порядке.

Переступая границу, Лонг не мог сказать, куда попадёт. Ему случалось оказываться в диких краях, где первый пастух, сжимая каменный топор, берёт своё стадо. Иногда в долине, словно каменные деревья, поднимались шпили и башни средневекового города. Порой по склонам извивалась бетонная полоса дороги, по которой скользили блестящие металлические жуки. Но в какой бы эпохе ни оказывался Лонг, он всюду находил Торикса и Констанс, а значит — дружескую беседу, спокойствие и невозможное по ту сторону гор ощущение надёжности. Но на этот раз

его не оставляло предчувствие, что бредовые планы Владыки — лишь отголосок каких-то страшных событий, развернувшихся здесь. Или наоборот... Лонг понимал, что миры влияют друг на друга, но проследить все связи не умел.

Негромкий гул привлёк его внимание. Из-за ближайших вершин, басовито гудя, поднималась в зенит блестящая металлическая капля. Гравитационный челнок! Их ввели после запрещения сверхзвуковых полётов в атмосфере, когда орбиты вокруг Земли освободились от летающей военной заразы. Значит, на планете уже нет армий, нет границ. Здесь не может быть войны.

Лонг остановился и сел на камень. Ноги его неожиданно ослабли. Больше всего он боялся, что успех, которого они с Труддумом добьются в несбывшемся мире, обернётся здесь кровавой бойней. Счастье, что так не случилось. В мире Констанс — мир, и нет никого, кто мог бы его нарушить.

Дом стоял неподалёку от озера, такой же, как всегда: толстые каменные стены с неудобными окнами-бойницами, черепичная крыша, причудливая антенна рядом с высокой трубой. Праздничными вечерами, когда в доме, словно сотни лет назад, разжигали очаг, над трубой поднималась голубоватая струйка смолистого дыма.

Лонг поднялся на веранду.

— Констанс! — крикнул он. — Торикс! С добрым утром!

Ответа не было. Дом встретил Лонга прохладной пустотой, полумраком, особенно приятным после ходьбы на беспощадном горном солнце. Лонг прошёлся по гостиной, выглянул в окно: лодки не было видно. Подумал, что неплохо бы, пока хозяев нет, сбегать искупаться, но представил ледяную воду горного озера и отправился в душ.

Лонг долго и со вкусом мылся, ежеминутно ожидая, что сейчас за стенкой послышится звучный голос Торикса: «Это кто тут у нас хозяйничает?...» — но в доме по-прежнему было тихо. Тишина начинала тревожить. Конечно, и Констанс, и тем более Ториксу не раз приходилось надолго покидать дом, но в такие дни Лонг попросту не приходил, ведь он шёл к ним.

Лонг включил телевизор. По всем каналам в полном молчании транслировали одну и ту же заставку: «Ждите сообщений».

«Что случилось?» — испугался Лонг.

Он бросился к письменному столу, в ящике которого, насколько он знал, должен лежать запасной фон, но в это время хлопнула дверь, простучали шаги, и в гостиную вбежала Констанс.

— Лонг!.. — выдохнула она. — Как хорошо, что ты пришёл!

Лонг остановил улыбку, готовую раздвинуть губы. Перед ним стояла Констанс; как всегда, невообразимо молодая и прекрасная, но радость в её глазах тонула в тревоге. Лонг понял: сюда тоже пришла беда.

— Что? — спросил он чуть слышно.

— Путч.

— Что?! — На этот раз громогласный вопрос звучал просто как междометие, выражающее одновременно удивление и недоверие к невозможному.

— Вот именно, — подтвердила Констанс. — Генерал Айшинг. Мы же его в школе изучали. Армейские путчи, сопротивление разоружению. Я думала, он умер давно. А они, их пятнадцать человек, захватили центральный склад бывшей военной техники. Там хранилось старое оружие, его использовали понемногу, иногда демонтировали, если требовалась только часть устройства. Сначала склады охраняли, потом решили, что это лишнее: кому нужен древний хлам? Говорят, уже было решено полностью ликвидировать

склад, но не успели. Там есть и ракеты, и ядерные устройства, и всё захватила кучка сумасшедших стариков. Ведь самому младшему из них за восемьдесят. Они разблокировали дверь и заперлись изнутри. И ты знаешь, — голос Констанс упал до шёпота, — они убили трёх человек — инженеров, которые работали на складе.

— Не понимаю, — сказал Лонг. — Такая бессмыслица может быть только в моём мире. Пятьдесят лет назад у путчей хоть цель была, а на что они сейчас надеются?

Старинная дверь ещё раз громко хлопнула, в комнату влетел Торикс.

— Ну? — воскликнула Констанс. — Тор, что они требуют?

— Ничего, — зло ответил Торикс. — Это самоубийцы. Как только они кончат монтаж пусковой установки, они начнут бомбардировку всех крупных городов Земли. Без разбора. На это у них уйдёт два дня. Но взорвать заряды они могут уже сейчас. На складе столько плутония, что взрыв заразит всю планету. И они это сделают, я же говорю, они самоубийцы. Склад штурмом не взять — они успеют пустить его на воздух; уговаривать их бесполезно — они неумолимы. Остаётся единственное — дать произвести залп и демонтировать заряды в воздухе, пока ракеты летят к цели. Возможно, есть и другие пути, но я буду заниматься этим.

Тут только Торикс заметил неподвижно стоящего в стороне Лонга.

— Ты? — воскликнул он. — Вот удача! Поехали скорее, я попробую включить тебя в отряд пилотов. Ты ведь в ядерных устройствах тоже разбираешься?

— Я не смогу, — виновато произнёс Лонг.

Торикс слушал Лонга молча, лишь порой морщил кожу на лбу. Потом сказал:

— Ты считаешь, что бешенные генералы рождены твоим Владыкой? Мне кажется — наоборот: в конце концов, первичны мы, а в твой мир уходит то, что невозможно в нашем.

— Не знаю. Но смотри: едва я оказался в безопасности, как твоему миру стало грозить уничтожение. Боюсь, что до тех пор, пока я буду отражать атаки Властелина, айшинги у вас не переведутся.

— Об этом не думай! — приказал Торикс. — Делай своё дело, а с местными владыками мы разберёмся сами.

— Что нам ещё остаётся...

— И не раскисай! — прикрикнул Торикс. — Мы работаем вместе. Только я над тем, что должно быть, а ты над тем, чего быть не должно. Случается, мы меняемся ролями. Ну и что? Главное — честно работать. Извини, я помчусь. Я ведь заскочил только с Констанс попрощаться. А тут ещё тебя застал. Не огорчайся, твоё положение не так безнадёжно. Оборону ты наладил, теперь переходи к наступлению. Желая показать твоему всемогущему приятелю, где зимуют раки.

— Я обязательно это сделаю, — сказал Лонг.

Гудящий прожектор бросал ослепительный луч с вершины башни. Пятно света пробегало по кустам, задевало обгоревшие остовы ветряных мельниц и бесследно исчезало в долине. Лонг стоял, провожая взглядом бегущий луч. Туда, к южным границам плоскогорья, ушло сегодня ополчение. Собственно говоря, Лонг попросту отослал навстречу Владыке своих эфемерных союзников, которые могли только помешать ему. В замке Лонг остался вдвоём с Труддумом.

Все хитрые приспособления Труддум законсервировал или разобрал. Осталось лишь огромное зерка-

ло. Пока оно было выключено, оно имело вид низкой повозки с большим серебряным щитом, установленным наподобие паруса. Но едва зеркало включали, щит расплывался тончайшей прозрачной плёнкой, через которую не могло пройти никакое тело.

Зеркало подключили к реактору. Они остановились на этом источнике энергии, поскольку в борьбе с властелином флюктуаций нельзя полагаться ни на вечные двигатели, ни даже на мельничное колесо, столько лет исправно служившее им.

Лонг выключил прожектор и спустился вниз. Вообще-то, прожектор можно было и не выключать: он питался от огромной клепсидры, вода которой, падая вниз, крутила турбинку, а потом поднималась обратно в верхний шар по системе изогнутых капилляров, но Лонг приучал себя беречь энергию. Скоро её будет не много.

В нижнем зале, положив локти на край пустого пиршественного стола, сидела согнутая человеческая фигура. В первое мгновение показалось, что это Трудум, и лишь потом Лонг узнал гостя. Его Лонг не опасался, хотя и не понимал, как тот прошёл сюда через включённую защиту. Впрочем, когда имеешь дело с Отшельником, многое становится непонятным.

Лонг сел напротив гостя, молча стал ждать. Отшельник поднял сухое тёмное лицо:

— Ты хорошо подготовился к войне.

— Я старался.

— Ты веришь, что зеркало удержит Владыку?

— Я надеюсь, а это тоже немало. Надёжней было бы поставить зеркало на самом Перевале, но там его нечем питать. Реактор здесь.

— Сильная машина, — согласился Отшельник и тут же без всякого перехода добавил: — Сегодня ко мне пришёл человек по имени Оле.

— Он уцелел? — радостно воскликнул Лонг.

— Конечно. Он просто шёл и шёл, пока не добрался до меня. И с ним ничего не случилось — кому нужен маленький Оле? Он просил передать, что сегодня же отправится обратно. Ведь он здешний и должен вернуться, как бы далеко ни зашёл. Он будет жить здесь, даже когда от твоего замка не останется следа и сами горы рассыплются пылью...

— Так не будет! — крикнул Лонг. — Я страж! Я не дам Владыке стереть границу!

— Я тоже страж, — чуть слышно промолвил Отшельник, — хоть и не ведаю, что закрываю от безумия своим небытием. А ты знаешь, что по твою сторону границы — добро, красота, правда. Ты видел их, ты был счастлив, в тебе бушует горячая кровь — и за это ты сегодня платишь. Или ты раскаиваешься в том, как жил?

— Нет, — сказал Лонг.

Отшельник поднялся. Старый плащ свисал с его плеч прямыми неживыми складками.

— Скоро утро. У нас с тобой много дел. Сегодня ещё ничего не случится, но это последний день.

Лонг быстро шёл вниз по тропке. Солнце ещё не показалось в просвете между вершин, вокруг стояла чуткая утренняя тишина. Лонг торопился к дому Торикса. «Это последний день», — звучали в ушах слова Отшельника. Теперь Лонг знал, что надо делать. Он уже не надеялся найти здесь помощь. Он просто хотел ещё раз повидать Констанс.

За крутым поворотом дороги стояли четверо. Заросшие лица, спутанные волосы, на коренастых фигурах — боевая одежда из крепкой сыромятной кожи. В руках — тугие луки, короткие железные мечи. Тяжёлая стрела с острым костяным наконечником ударила по доспехам Лонга и, отразившись, ушла

вбок. Лонг вырвал из-под плаща меч. Четверо разом бросились на него. Через минуту один из нападавших лежал неподвижно, другой катился с обрыва, пятная валуны красным, а двое, побросав перерубленные мечи, бежали по тропе вниз.

Лонг поднял к глазам меч. Лезвие было чисто, только булатная часть потускнела от стёртой крови. Настоящей крови настоящего человека, которого он убил.

Лонг с трудом запихнул меч в ножны. До сих пор никто не нападал на него по эту сторону Перевала. Конечно, он заранее знал, что не попадёт к Ториксу в мирное время, но чтобы враги оказались здесь, у самого дома?

Надо было спешить. Над вершинами деревьев, над белыми скалами медленно поднимался столб дыма. Дым шёл оттуда, где жила Констанс. Лонг, задыхаясь, бежал туда.

Дом был окружён. Три десятка чужих воинов, прикрываясь деревьями, обстреливали его зажжёнными стрелами. Каменные стены гореть не могли, сопротивлялась пламени и засыпанная землёй крыша. Но уже пылала трава под окнами, занялась дверь. Из дома в нападавших тоже летели стрелы, несколько неподвижных тел лежало на открытой площадке.

С невятным криком Лонг кинулся вперёд. Не было времени размышлять, какая льётся кровь, зло всегда реально, надо было выручать друга, спасти любимую. Лонг бил, его страшный меч поспевал всюду и рассекал всё.

Дверь дома распахнулась, оттуда с копьём с одной руке и мечом в другой выпрыгнул Торикс. Они пробились друг к другу, и Лонг сразу успокоился. Стоя спиной к спине, они отражали наседавших, и те вдруг заметили, что их осталось едва десяток, остальные

корчатся на земле или вовсе лежат без движения, и кто-то закричал от страха, кто-то бросился прочь, поляна опустела, а Торикс, схватив чужой лук, метал вслед бегущим стрелы, чтобы не ушёл никто.

Потом Лонг и Торикс остановились, взглянули друг на друга и улыбнулись. Из дверей навстречу им вышла Констанс. Она была прекрасна и молода, только возле глаз лучились морщинки, и в волосах сквозили седые нити. На боку висел наполовину пустой колчан.

Лонг поклонился и поцеловал руку.

— Кажется, я поспел вовремя, — сказал он.

— Они идут и идут, — глухо промолвил Торикс. — Никто не знает, сколько их и откуда они пришли. Вчера нас сбили с горных проходов, теперь приходится уходить в пещеры. Ты застал нас случайно. Если бы не эти, — Торикс кивнул на трупы, — мы бы ушли рано утром. Мы задержались, чтобы закопать то, что нельзя унести с собой.

— Тогда надо поспешить, — сказал Лонг.

— Сейчас пойдём, но мне нужно добежать к соседям, посмотреть, успели ли они, а ты пока следи, чтобы никто не подобрался незаметно. — Торикс поднял с земли копье и скрылся за деревьями.

Лонг опустил на обрубок бревна.

«Вот так, — подумал он. — Я не нападаю на врага в призрачной стране, и, значит, здесь враги нападают на тех, кого я люблю. Я удобно скрыт волшебным зеркалом, поэтому здесь, всюду и во все времена Констанс угрожает гибелью».

Холодная безнадёжность окутала Лонга. Выхода не было.

Констанс подошла к Лонгу, положила на землю охапку собранных стрел: своих, оснащённых железом, и чужих, из кости; присела на корточки, заглянула в опущенное лицо.

— Не тревожься, — сказала она. — Прежде бывало хуже. Конечно, кочевники прорвались в долину, но смотри, никто из семьи ещё не погиб.

— Это нашествие... — выдавил Лонг, — оно из-за меня. Орды Владыки идут на Перевал, а я уклонился от битвы. Поэтому у вас так плохо. Но больше отсиживаться я не могу. Констанс, я пришёл в последний раз.

Констанс выпрямилась, положила ладонь на опущенную голову Лонга, провела по волосам.

— Знаешь, — сказала она, — я всегда была хорошей женой Ториксу, я родила ему семерых сыновей, старшие уже могут сражаться, но всё-таки иногда я жалею, что когда-то ты не увёз меня к себе. Дружба с Ториксом оказалась для тебя важней.

— Важней всего для меня ты, — чуть слышно произнёс Лонг, — если бы я увёз тебя, ты бы исчезла из мира, тебя бы не стало, а я хочу, чтобы ты жила. Даже если я никогда больше тебя не встречу.

Лонг поднялся, и Констанс, смутившись вдруг, отошла и вновь принялась собирать разбросанное по траве оружие. Лонг молча помогал ей.

Торикс с копьём в левой руке показался на тропе. Правой он прижимал к груди маленького белого козлёнка.

— Там никого нет! — крикнул он издали. — Отбились и ушли. А малыш остался.

Козлёнок взмекивал порой и бил тонкими ножками, но широкая ладонь Торикса надёжно удерживала его. И Лонг подумал, что в этой грубоватой бережности ко всем, кто не враг, лучше всего виден настоящий Торикс.

— Ты идёшь с нами? — спросил Торикс.

— Нет, — сказал Лонг. — В моих горах тоже нашествие, враги хотят прорваться через Перевал к вам, поэтому я должен драться в своей стране.

— Жаль, — сказал Торикс. — Я рассчитывал на тебя.

— Жаль, — эхом откликнулся Лонг.

— Ничего! — Торикс выпрямился, голос его загремел. — Не унывай! Мы, как прежде, бьёмся спина к спине. Пока по ту сторону гор ты, я буду знать, что никто не сможет ударить меня сзади. Слышишь? Горы не толще рубахи, мы с тобой стоим спина к спине...

Констанс вынесла из дома два тяжёлых, перетянутых ремнями узла, сильным молодым движением перебросила их через плечо, приняла у Торикса замолкшего козлёнка. Торикс, словно охапку дров взвалил на спину собранное и связанное оружие. Лишь своё копьё он оставил свободным.

Вот и всё. Можно уходить. Пускай даже враг подожжёт дом, каменные стены уцелеют, и когда-нибудь дом будет отстроен.

Лонг молча смотрел вслед уходящим. Уходил друг, и уходила любимая женщина. Рвалась единственная ниточка, связывавшая его с подлинным бытием. И это казалось более невозможным, нежели текущие пустыни Отшельника. Лонг привык жить походами через Перевал, время от одного похода до другого было лишь ожиданием. Теперь ждать нечего. Сила и надёжность Торикса, возможно, будут доходить к нему через границу, ведь на деле она много тоньше рубахи, а вот Констанс он больше не увидит. Никогда.

Странное чувство испытывал он к этой непостижимой женщине: то юной, то умудрённой годами, но всегда и во все времена удивительно прекрасной. Даже безнадёжной его любовь назвать нельзя. Так можно в юности любить нереального, выдуманного человека. Но здесь всё оказывалось наоборот: во вселенной не было ничего реальней Констанс, а вот Лонг принадлежал бреду, бурлящему по ту сторону Перевала.

Когда Констанс с Ториксом скрылись за поворотом, Лонг сглотнул набухший в гуди комок и тоже пошёл вверх, туда, где пролегалла известная лишь ему граница.

Четвёртый день не наступил.

Давно пришло время утра, но солнце не взошло, и небо беззвёздно чернело. Зато внизу, где начиналось Предгорье, света было слишком достаточно. Там пылало и, рассыпая искры, рушилось; проплывали облака сияющего тумана, тысячесвечовые прожекторы взрезали клинками лучей столбы кипящего дыма. Там шёл бой. Впервые пригоряне сражались без Лонга.

Лонг стоял у стены замка и ждал, когда внизу затихнет пышный и кровавый фейерверк, устроенный расточительным Владыкой. Вообще-то, конца сражения можно было и не ждать, но Лонг медлил. На нём серебрились новые, выкованные Труддумом доспехи, на перевязи покоился меч, словно Лонг собрался в бой. Так оно и было, только в этом бою ему не понадобятся ни меч, ни панцирь.

Лонг знал, что не устоит в единоборстве со всем нижним миром, и прятаться за зеркалом тоже не имеет права. Перевал, прежде недоступный, теперь не сможет удержать ополоумевшего Владыку. Единственное, что можно сделать, — это уничтожить Перевал вместе с границей, чтобы войскам просто было некуда идти. Но чем бы ни кончилось дело, завтра хранитель Перевала будет уже не нужен.

Лонг ждал, жадно вдыхая жгучий, пахнущий гарью воздух. Ему не было страшно, но сильнее страха сковывало простое, истовое желание жить. Пусть только здесь, не видя Констанс, пусть даже у самых ног Владыки, но всё-таки жить, знать, видеть.

И он использовал подаренную ему отсрочку для того, чтобы дышать до боли холодным, дымным воздухом.

Раскаты сражения приближались. Владыка теснил непокорных, собираясь, вероятно, устроить завершающую бойню у стен замка. Вскоре появились отходящие. Именно отходящие, отступающие, но не бегущие. Женщины Предгорья шли, побросав вещи, скот, вели только детей и волокли раненых. Здоровых мужчин не было, они оставались там, где катилась, пережёвывая их, смертоносная лава наступающих.

Через несколько шагов беженцы натолкнулись на зеркало. Они не нападали, не били, не угрожали, поэтому зеркало просто не пустило их, оттолкнуло мягко, но решительно. Сразу поняв, что дальше дороги нет, обречённые остановились. Кто-то ещё пытался укрыться среди камней, часть лихорадочно принялась рыть траншеи, но большинство просто опустилось на землю, чтобы спокойно дожждаться конца.

Воинство Владыки поднималось по склону. Не армия, не орда, а туча, сплошная волна тел и дурмана. Бронированные самопалы, фыркающие огнём гады, кривоногие уродцы, вооружённые отравленными кинжалами, нечисть, прозрачная до голубизны, а позади всего — тяжело шагающие электрические черепахи инверторов. Здесь они не могли работать по настоящему и были просто балластом, но когда их включают у Перевала, тогда оружие людей станет бесполезным, а бессмысленная нежить агрессора обретёт убийственную силу.

Волна катилась судорожными рывками, словно огромное безмозглое существо, порой останавливаясь, а то и отдёргиваясь назад. Сначала казалось, это происходит лишь оттого, что слишком много наступающие давят и калечат друг друга, потом Лонг заметил обороняющихся.

Горстка чем попало вооружённых людей сдерживала потоп. Их вёл высокий и худой, чем-то похожий на самого Лонга, воин. Месяц назад он принёс в замок известие о приходе жуков-людоедов, и Лонг называл его про себя Гонцом. Вот Гонец, что-то неслышно крича, сорвал с пояса круглую самодельную бомбу, швырнул её в разинутую пасть ползущей на чёрных шипах рыбы. Чудище вспухло взрывом, разбросав ядовитую слизь. И тут же сам воин упал на землю. Из рассечённого горла горячим фонтанчиком хлестнула кровь.

Лишь теперь Лонг понял, что значат ржавые пятна на повязках и одежде, увидел алые струйки, сочащиеся из-под ладоней, зажимающих раны, заметил трупы, плавающие в крови, которой прежде не было.

— Они живые! — закричал он. — Пропусти их! Зеркало убери!

Труddум, сжавшийся в комок в недрах своего аппарата, оторвал ладони от лица и вонзил растопыренные пальцы в клавиатуру. Опалесцирующая плёнка зеркала лопнула. К Лонгу прорвался бесконечный лязг, рёв и грохот сражения.

— Всем отходить назад! — заорал Лонг, бросаясь навстречу вздымающемуся живому валу.

Он запоздало кинулся на выручку людям, которые верили ему и которых он равнодушно, словно Владыка Мира, отправил на смерть. Краем глаза он успел заметить, что, как и прежде, отходят только женщины с детьми, воины остались с Лонгом. Это спасло его. Лонг был закован в непроницаемую броню, меч в его руках был способен разрубить что угодно, но один он попросту был бы погребён под телами убитых.

Огненная стена дрогнула и начала отходить. Лонг двинулся было вперёд, но заметил, что навстречу ему, шагая по колено в бегущих, движется невиданный великан в сияющих доспехах. В левой руке великан

держал обоюдоострый меч. Одна сторона меча невесомо струилась туманом, на другой отпечатался рисунок булата.

Лонг понял: это смерть. Там нет противника, есть лишь зеркало. Труддум говорил, что возможно кривое зеркало, которое всё увеличивает. Лонг в нерешительности замер. Остановился и великан, но зато всё остальное воинство повернуло на Лонга. Снова он бил, а рука становилась всё тяжелее и меч — медленней. И нельзя было идти ни назад, ни вперед.

Когда Лонг пришёл в себя, он увидел, что стоит с мечом в руках возле разрубленной туши издыхающего дракона, рядом остались только свои, а от набирающей новые силы армии Владыки их отделяет едва заметная поверхность вернувшегося зеркала. Труддум успел выбрать мгновение и остановить битву.

— Туда! — Лонг мотнул головой в сторону Перевала. — Идите быстро, времени нет. Если вы настоящие — пройдёте.

Не задав ни единого вопроса, группа истерзанных людей двинулась к горам. Их оставалось немного, едва ли больше полусотни. Дойдут ли они? В какое время выйдут? И чем встретит их реальный мир, порой не менее жестокий, чем ойкумена Всемогущего? И всё же у них есть шанс.

— Великий разум, как бы я хотел попасть туда!.. — простонал за спиной Труддум.

— Иди, — сказал Лонг.

— Не могу. Я знаю, что ты задумал, и должен помочь тебе. Один ты не справишься, а я... хороший инженер.

Полки Владыки ринулись вперед и беззвучно разбили о зеркало, оставив груды убитых. Лонг представил, как вместе с этим первым натиском в мире Констанс начались непоправимые и опасные события: двинулись армии разных времён и народов, раскосые

пришельцы обнаружили в ущельях забаррикадированную пещеру Торикса, а в самом далёком будущем, которого достигал Лонг, поднялись в воздух ракеты озверевшего от ненависти и бессилия бывшего генерала Айшинга. Ракеты, которыми может кончиться всё.

— Пора, — сказал Лонг.

Ответа не было. Лонг оглянулся и увидел, что Труддум, скорчившись, лежит на земле.

Лонг кинулся в нему, перевернул:

— Что с тобой?

— Так надо, — прошептал мастер. — Просто я вдруг придумал, как можно победить Лонга. Для этого я должен взять нож, помочь тебе снять доспехи, а потом ударить в спину. А когда ты умрёшь — отключить зеркало. Я это понял, взял нож и пошёл. Так приказал Всемогуший. Но я обманул его и прежде ударил себя. Прости, теперь тебе придётся одному... Я слишком много души отдал вечным двигателям и другим невозможным диковинам. Поэтому я и не смог уйти и, как ни старался, до последней минуты помогал Владыке. А ты иди, я хочу видеть, как это будет. Обо мне не беспокойся, у меня нет горячей крови, и боль мне только кажется.

— У тебя есть горячая душа, — сказал Лонг.

— Иди...

В подземелье замка ничего не изменилось. В сухом душном воздухе мощно гудели турбины, питавшие зеркало. От стального корпуса реактора волной шёл жар.

Лонг остановился. «Один ты не справишься», — вспомнил он слова Труддума. Как быть? Если просто поднять алмазные стержни, то ничего не добьёшься. Реакция станет неуправляемой, температура начнёт стремительно нарастать, и, едва она превысит

полторы тысячи градусов, циркониевые трубы расплавятся, горючее разлетится по помещению, и цепная реакция прекратится. Генералу Айшингу не приходится задумываться над такими проблемами. В его руках бомбы, специально созданные для убийства. А Лонгу предстоит найти нечто, способное хотя бы несколько секунд противостоять напору разогретого до миллионов градусов вещества. Труддум, конечно, знал, как взорвать реактор, недаром он говорил об этом как о простой инженерной задаче. Но сейчас помощи ждать неоткуда: Труддум лежит, глядя стекленеющими глазами в небо, и ждёт, справится ли Лонг.

Лонг поднял голову. Вырубленное в скале подземелье было перекрыто цельной плитой из густо-чёрного лабрадора, на которой, как на фундаменте, стоял весь остальной замок. Неохватная колонна поддерживала циклопическую плиту. Лонг критически оглядел её. Синие павлиньи блики мерцали в черноте камня. Пожалуй, тысячетонная плита может сработать за пресс. Надо только убрать колонну...

Одной рукой Лонг принялся быстро вертеть шурувал подъёмника. Стержни разом пошли вверх и канули во тьме коридора. В то же мгновение камеру залило ослепительным нечеловеческим светом. Страшный жар, в сравнении с которым ничтожными казались огнемёты Владыки, охватил Лонга. Но всё же он успел, прежде чем испарились последние капли живой крови, ударить мечом по колонне. Потолок резко пошёл вниз, хрустнули, сминаясь, доспехи.

Умиравший Труддум уже ничего не видел, но он почувствовал, как раскололась земля, и обрадовался, поняв, что Лонг успел.

Огненное море выплеснулось из-под земли, поднялся, разрастаясь убийственным грибом, смерч. Пламя, отражённое и стократно усиленное кривыми зеркалами Владыки, ринулось на горы. Но не было

уже никого, кто мог бы наблюдать, как рушатся вершины, погребая узкую седловину Перевала, как горы проваливаются сами в себя, а за ними открывается мёртвое пространство пустыни.

Посреди отравленной радиоактивностью пустыни, наполовину уйдя в спекшийся песок, лежал Лонг. У него больше не было доспехов, не было и крови. Он целиком попал во власть нереального мира, и тот сотворил над ним одну из своих злых шуток: Лонг уцелел, оказавшись в самом сердце взрыва. Он не чувствовал тела, не воспринимал времени, но видел перед собой оплавленные камни мёртвой пустыни. Сколько хватало глаз, всюду громоздились камни. Всё-таки здесь был север, эта пустыня мало походила на тающую преисподнюю юга. Каменные россыпи полого уходили вверх к высокому горизонту, но Лонг знал, что это обман. Гор больше не было, сознание этого приносило ему горькое облегчение. Нет Перевала, нет границы, а значит, никогда потусторонний бред не ворвётся в живой мир.

Лонг не знал, долго ли он провёл так, вплавленный в камень, словно мошка в каплю янтаря. Привёл его в себя негромкий голос:

— Здравствуйте, сеньор!

— Ты вернулся, Оле? — сказал Лонг.

И хотя опалённое тело не сумело издать ни звука, но Оле услышал и понял.

— Да, сеньор, вернулся. Здесь стало неудобно. При вашей жизни было намного лучше. Здесь жило много людей. Теперь мне придётся жить одному.

— Значит, не я, а ты был стражем Перевала.

— Что вы, сеньор! Перевал был ваш. Вы были хранителем кусочка правды в мире лжи. Но теперь они разошлись, и у них нет общей границы.

— Это хорошо, — сказал Лонг.

Высоко в белесом небе, неслышно гудя моторами, полз реактивный лайнер. Вечер. Лонг видел, что он больше не нужен. Он всё сделал как надо: не уклонился, не ушёл от битвы, — поэтому за разрушенным Перевалом люди сумеют устоять перед теми, кто идёт войной на правду. Констанс с Ториксом вернутся в свой вечный дом. И главное... Лонг обвёл взглядом окрестности: чёрное, рыжее, серое...

— Хорошо, что это произошло здесь, — сказал Лонг. — Значит, настоящий мир не превратится в такую пустыню. Со своими бедами Торикс справится сам, а злое безумие не сможет ударить его в спину.

Оле присел на корточки, развязал мешок, достал исцарапанную флягу.

— Хотите пить, сеньор? — спросил он. — Это последняя настоящая вода. Новой набрать негде.

Лонга окутали прохлада и свежесть. Вода текла тонкой струйкой. Лонг сделал глоток и закрыл глаза. Он знал, что наконец умирает. Даже если в горячке Мира и возникнет когда-нибудь закованная в доспехи фигура, которую станут называть Лонгом, это всё равно будет не он.

Вода кончилась. Лонг вздохнул и улыбнулся. Он вспоминал Констанс, которая будет всегда.

ЦИРЮЛЬНИК



Всю ночь Гийома Юстуса мучили кошмары, и утром он проснулся с тяжёлой головой. Комната была полна дыма, забытый светильник чадил из последних сил, рог, в который была заключена лампа, обуглился и скверно вонял. Юстус приподнялся на постели, задул лампу. Не удивительно, что болит голова, скорее, следует изумляться, что он вообще не сгорел или не задохнулся в чаду. Хорошо ещё, что ставень плотно закрыт и свет на улицу не проникал, иначе пришлось бы встретить утро в тюрьме: приказ магистрата, запрещающий жечь по ночам огонь, соблюдается строго, а караул всегда рад случаю вломиться среди ночи в чужой дом.

Юстус распахнул окно, вернулся в постель и забрался под тёплое одеяло. Он был недоволен собой, такого с ним прежде не случалось. Возможно, это старость; когда человеку идёт пятый десяток, слова о старости перестают быть кокетством и превращаются в горькую истину. Но скорее всего, его просто выбил из колеи таинственный господин Анатоль.

Слуга Жером неслышно вошёл в комнату, поставил у кровати обычный завтрак Юстуса: тарелку

сваренной на воде овсяной каши и яйцо всмятку. Юстус привычно кивнул Жерому, не то здороваясь, не то благодаря. Есть не хотелось, и Юстус ограничился стаканом воды, настоянной на ягодах терновника.

Город за окном постепенно просыпался. Цокали копыта лошадей, скрипели крестьянские телеги, какие-то женщины, успевшие повздорить с утра, громко бранились, и ссору их прекратило только протяжное «берегись!..», донёсшееся из окон верхнего этажа. Кулашки, подхватив юбки, кинулись в разные стороны, зная по опыту, что вслед за этим криком им на головы будет выплеснут ночной горшок.

Книга, которую Юстус собирался читать вечером, нераскрытой лежала на столике. Такого с ним тоже ещё не бывало. Вечер без книги и утро без пера и бумаги! Господин Анатолий здесь ни при чём, это он сам позволил себе распуститься.

Юстус рассердился и встал, решив в наказание за леньность лишить себя последних минут утренней неги. Едва он успел одеться, как Жером доложил, что мэтр Фавори дожидается его.

Мэтр Фавори был модным цирюльником. Он редко стриг простых людей, предоставив это ученикам, за собой же оставил знатных клиентов, которых обслуживал на дому. Кроме того, он контрабандой занимался медициной: не дожидаясь указаний врача, пускал больным кровь, вскрывал нарывы и даже осмеливался судить о внутренних болезнях. Вообще-то, Гийом Юстус обязан был пресечь незаконный промысел брадобрея, но он не считал это столь обязательным. Рука у молодого человека была твёрдая, и вряд ли он мог натворить много бед. К тому же мэтр Фавори прекрасно умел держать себя. Он был обходитель, нагло-вежлив и вот уже третий год ежедневно брил Юстуса, ни разу не заикнувшись о плате.

Мэтр Фавори ожидал Юстуса в кабинете. На большом столе были расставлены медные тазики, дымилась паром чаша с горячей водой, и острым стальным блеском кололи глаза приготовленные бритвы. Юстуса всегда смешила страстишка цирюльника раскладывать на столе много больше инструментов, чем требуется для работы. Хотя бритвы у мэтра Фавори были хороши.

Юстус уселся в кресло; Фавори, чтобы не замарать кружевной воротник, накинул ему на грудь фартук, молниеносно взбил в тазике обильную пену, выбрал бритву и приступил к священнодействию. Прикосновения его были быстры и легки, кожа словно омолаживалась от острого касания бритвы. Юстус закрыл глаза и погрузился в сладостное состояние беспомощности, свойственное людям, когда им водят по горлу смертоносно отточенной бритвой. Голос Фавори звучал издалека, Юстус привычно не слушал его. Но тут его ушей коснулось имя, которое заставило мгновенно насторожиться:

— ...господин Анатолий сказал, что жар спадёт и рана начнёт рубцеваться. Я был с утра в палатах, любопытно, знаете... И что же?.. Монглиер спит, лихорадка отпустила, гангрены никаких следов. Если так пойдёт и дальше, то послезавтра Монглиер снова сможет драться на дуэли. Кстати, никто из пациентов господина Анатолия не умер этой ночью, а ведь он их отбирал единственно из тех, кого наука признала безнадежными...

— Их признал неизлечимыми я, а не наука, — прервал брядобрёя Юстус, — человеку же свойственно совершать ошибки. Наука, кстати, тоже не владеет безграничной истиной. Иначе учёные были бы не нужны, для лечения хватало бы цирюльников.

— Вам виднее, доктор, но в коллегии нам говорили нечто прямо противоположное. Учёнейший

доктор Маринус объяснял, что в задачи медика входит изучение вполне совершенных трудов Галена и Гиппократов и наблюдение на их основе больных. Аптекари должны выполнять действия терапевтические и наблюдать выполнение диеты. Цирюльники же обязаны заниматься *manus orge*, сиречь оперированием, для чего следует иметь тренированную руку и голову, свободную от чрезмерной учёности. Таково распределение сословий во врачебном цехе, пришедшее от древних...

— Во времена Гиппократов не было цирюльников! — не выдержал Юстус, — и Гален, как то явствует из его сочинений, сам обдирает своих кошек! Доктор Маринус — учёнейший осёл, из-за сочинений Фомы и Скотта он не может разглядеть Галена, на которого так храбро ссылаются! Если даже поверить, что великий пергамец знал о человеке всё, то и в этом случае за тысячу лет тысяча безграмотных переписчиков извратила всякое его слово! К тому же небрежением скоттистов многие труды Галена утеряны, а ещё больше появилось подложных, — прибавил Юстус, слегка успокаиваясь.

— Господин доктор! — вскричал мэтр Фавори. — Заклинаю вас всеми святыми мучениками: будьте осторожны! Я ещё не кончил брить, и вы, вскочив, могли лишиться щеки, а то и самой жизни. Яремная вена...

— Я знаю, где проходит яремная вена, — сказал Юстус.

Фавори в молчании закончил бритьё и неслышно удалился. Он хорошо понимал, когда можно позволить себе фамильярность, а когда следует незамедлительно исчезнуть. Юстус же, надев торжественную лиловую мантию, отправился в отель Святой Троицы. Идти было недалеко, к тому же сточные канавы на окрестных улицах совсем недавно иждивением самого

Юстуса были покрыты каменным сводом, и всякий мог свободно пересечь улицу, не рискуя более утонуть в нечистотах.

Отель Святой Троицы располагался сразу за городской стеной, на берегу реки. Четыре здания соприкасались углами, образуя маленький внутренний дворик. В одном из домов были тяжёлые, окованные железом ворота, всегда закрытые, а напротив ворот во дворе устроен спуск к воде, чтобы удобнее было полоскать постельное бельё и замывать полотно, предназначенное для бинтования ран. Отель Святой Троицы стоял отдельно от других домов, все знали, что здесь больница, и прохожие, суеверно крестясь, спешили обойти недоброе место стороной.

Под навесом во дворе лежало всего пять тел: за ночь скончалось трое больных, да возле города были найдены трупы двух бродяг, убитых, вероятно, своей же нищей братией. Юстус ожидал в этот день найти под навесом ещё четверых, но вчера поутру их забрал себе господин Анатоль, и, как донёс мэтр Фавори, все они остались живы.

Юстус совершил обычный обход палат. Всё было почти как в былые дни, только исчезли взгляды больных, обращённые на него со страхом и ожиданием чуда. У молвы длинные ноги, чуда теперь ждут от господина Анатоля. Вероятно, они правы: господин Анатоль действительно творит чудеса.

Сначала Юстус не хотел один смотреть вызволенных у смерти больных, но господина Анатоля всё ещё не было, и Юстус, махнув рукой на сословные приличия, и без того частенько им нарушаемые, отправился в отдельную палату.

Брадобрей был прав: четверо отобранных господином Анатодем больных не только не приблизились к Стигийским топям, но и явно пошли на поправку. Монглиер — бретёр и, как поговаривали, наёмный

убийца, получивший недавно удар ножом в живот, — лежал, закрыв глаза, и притворялся спящим. Он должен был умереть ещё вечером, но всё же был жив, хотя дыхание оставалось прерывистым, а пульс неполным. Состояние его по-прежнему представлялось очень тяжёлым, но то, что уже произошло, повергало в изумление. Ни у древних, ни у новейших авторов нельзя найти ни одного упоминания о столь быстром и непонятном улучшении.

Остальные трое больных представляли ещё более отрадную картину.

Нищий, переусердствовавший в изготовлении язв и получивший вместо фальшивой болячки настоящий антонов огонь, выздоровел в одну ночь, воспаление прекратилось, язва начала рубцеваться.

Золотушный мальчишка, сын бродячего сапожника, день назад лежавший при последнем издыхании, прыгал на тюфяке, а при виде Юстуса замер, уставившись на шёлковую мантию доктора. Осматривать себя он не дал и со страху забился под тюфяк.

Четвёртый больной — известный в городе ростовщик, богач и сказочный скареда, решивший лучше лечь в больницу, чем переплатить докторам за лечение, — страдал острым почечным воспалением. Его вопли в течение недели не давали покоя обитателям отеля Святой Троицы. Теперь же он сидел на постели, наполовину прикрытый одеялом, и при виде доктора закричал, грозя ему скрюченным хизагрой пальцем:

— Не вздумайте утверждать, будто применили какое-то дорогое лекарство! Вы не выжмете из меня ни гроша! Господин Анатолий обещал лечить меня даром! Что, любезный, не удалось ограбить бедного старика?

Юстус повернулся и, не говоря ни слова, вышел. Ростовщик ударил его в самое больное место: госпо-

дин Анатолий не брал денег за лечение, а огромные гонорары Гийома Юстуса вошли в поговорку у местной знати. Конечно, господин Анатолий прав: грешно наживаться на страданиях ближних, но ведь для бедных есть больница, а за удовольствие видеть врача у себя дома надо платить. Ещё Аристофан заметил: «Вознаграждения нет, так и лечения нет». К тому же это единственный способ заставить богачей заботиться о бедных. Город выделяет средства скупой, и почти все улучшения в больнице произведены за счёт «корыстолюбивого» доктора. Этого даже господин Анатолий не сможет отрицать.

Господин Анатолий сидел в кабинете Юстуса. Доктора уже не удивляло ни умение молодого коллеги всюду принимать непринуждённую небрежную позу, ни его смехотворный костюм. Одноцветные панталонки господина Анатолия были такими широкими, что болтались на ногах и свободно свисали, немного не доставая до низких чёрных башмаков. Одноцветный же камзол безо всяких украшений не имел даже шнуровки и застёгивался на круглые костяшки. Под камзолом виднелось что-то вроде колета или обтягивающей венгерской куртки, но, как разузнал мэтр Фавори, короткое и без рукавов. Только рубашка была рубашкой, хотя и на ней нельзя было найти ни вышивки, ни клочка кружев, ни сплошных складок. Сначала наряд господина Анатолия вызвал в городе недоумение, но теперь к нему привыкли, и некоторые щёголи, к вящему неудовольствию портных, даже начали подражать ему. Ни шпаги, ни кинжала у господина Анатолия не было, к оружию он относился с презрением.

— Приветствую высокоучёного доктора! — оживился господин Анатолий при виде Юстуса. — В достаточно ли равномерном смещении находятся сегодня соки вашего тела?

— Благодарю, — отозвался Юстус.

— Вы долго спали, — продолжал господин Анатоль, — я жду вас уже двадцать минут. Излишний сон подобен смерти, не так ли?

— Совершенно верно. — Юстус решил не объяснять господину Анатолю, что он уже вернулся с обхода. — Если вы готовы, мы могли бы пройти в палаты.

— Следовать за вами я готов всегда!

Молодой человек поднялся и взял со спинки кресла белую накидку, без которой не появлялся в больнице. Юстус никак не мог определить, что это. На мантию не похоже, на белые одеяния древних — тем более. Немного это напоминало шлафрок, но куций и жалкий. Господин Анатоль облачился, и они отправились в общие палаты.

Там их ждало совсем иное зрелище, нежели в привилегированной палате господина Анатоля, где каждому пациенту полагалась отдельная кровать и собственный тюфяк. В первом же помещении их встретила волна такого тяжёлого смрада, что пришлось остановиться и переждать, пока чувства привыкнут к дурному воздуху. На кроватях не хватало места, тюфяки были постелены даже поперёк прохода, и их приходилось перешагивать.

— Лихорадящие, — кратко пояснил Юстус.

Господин Анатоль уже бывал здесь раньше и теперь чувствовал себя гораздо уверенней. Он, не морщась, переступал тела больных, возле некоторых останавливался, спрятав руки за спину, наклонялся над лежащим. Тогда пациент, если он был в памяти, приподымался на ложе и умоляюще шептал:

— Меня, возьмите меня...

Однако на этот раз господин Анатоль не выбрал никого. Он лишь иногда распахивал свой баульчик и, выбрав нужное лекарство, заставлял страдающего

проглотить порошок или маленькую белую лепёшечку. Порой он извлекал на свет ювелирной работы стеклянную трубку со стальной иглой на конце и впрыскивал лекарство прямо в мышцу какому-нибудь счастливцу. Впрочем, некоторые больные отказывались от подозрительной помощи господина Анатоля, и тогда он, пожав плечами, молча шёл дальше.

А Юстус вдруг вспомнил, как горячился господин Анатоль в таких случаях в первые дни после своего появления. Что же, время обламывает всех. Разве сам он прежде позволил бы кому-нибудь распоряжаться в своих палатах? Особенно такому малопочтенному лицу, каким представлялся господин Анатоль. Молодой человек не походил на врача, он не говорил по-латыни, весело и некстати смеялся, порывисто двигался. Не было в нём степенной важности, отличающей даже самых молодых докторов. Ведь именно уверенность в своём искусстве внушает пациенту доверие к врачу. Главное же — господин Анатоль боялся больных. Юстус ясно видел это и не мог себе этого объяснить.

Но сейчас скептические мысли оставили старого эскулапа. Он наблюдал, как от лепёшечек и порошков господина Анатоля спадает жар, утихают боли, как умирающие возвращаются к жизни и болящие выздоравливают. Это восхищало, как чудо, и было столь же непонятно.

Сомнения вернулись лишь после того, как господин Анатоль наотрез отказался идти в палату чесоточных. Юстус, который уже был там сегодня, не стал настаивать, и они вместе двинулись туда, где четверо спасённых ожидали своего избавителя.

Господин Анатоль первый вошёл в палату и вдруг остановился в дверях.

— Где больные? — спросил он, повернувшись к Юстусу.

Юстус боком протиснулся мимо замершего Анатоля и оглядел палату. Два тюфяка были пусты, в помещении находились только Монглиер и ростовщик. Монглиер на этот раз действительно спал, а меняла лежал, натянув одеяло до самого подбородка, и мелко хихикал, глядя на вошедших.

— Удрали! — объявил он наконец. — Бродяга решил, что язва уже достаточно хороша для его промысла, и сбежал. И мальчишку с собой увёл.

— Идиоты! — простонал господин Анатолий. — Лечение не закончено, а они вздумали бродяжничать! Это же самоубийство, стопроцентная вероятность рецидива! Вы-то куда смотрели? — повернулся он к старику. — Надо было остановить их.

— А мне что за дело? — ответил тот. — Так еще и лучше, а то лежишь рядом с вором. Да и по мальчишке небось виселица давно плачет.

Господин Анатолий безнадежно махнул рукой и, достав из баульчика трубку с иглой, склонился над лежащим Монглиером.

После осмотра и процедур они вернулись в кабинет. Господин Анатолий сбросил накидку, расположился в кресле и, дотянувшись до стола, двумя пальцами поднял лист сочинения, над которым накануне собирался работать Юстус:

— Можно полюбопытствовать?

Некоторое время господин Анатолий изучал текст, беззвучно шевеля губами, а потом вернул его и, вздохнув, сказал:

— Нет, это не для меня. Не объясните ли неграмотному, чему посвящён ваш учёный труд?

Признание Анатоля пролило бальзам на раны Юстуса. Уж здесь-то, в том малом, что создал он сам, он окажется впереди всемогущего господи-

на Анатоля!.. Кстати, как это врач может не знать латыни? Преисполнившись гордости, Юстус начал:

— Тракта́т толкует о лечебных свойствах некоего вещества. Чудесный сей состав может быть получен калением в керотакисе известных металлургам белых никелей. Летучее садится сверху и называется туцией. Свойства туции, прежде никому не известные, воистину изумительны. Смешавши мелкий порошок с протопленным куриным салом и добавив для благовония розового масла, я мазал тем старые язвы и видел улучшение. Раны мокнущие присыпал пудрой, из туции приготовленной, — и они подсыхали и рубцевались. Туция, выпитая с водою чудесных источников, утишает жар внутренний и помогает при женской истерии.

Господин Анато́ль был растерян.

— Не знаю такой туции, — признал он. — И вообще, никель не бывает белым.

Юстус поднялся и выложил на стол сосуд с туцией, скляницу с мазью и осколок камня.

— Ничего удивительного нет, — сказал он, — потому что я первый изучил это тело. А вот — белый никель, или, в просторечии, обманка.

Лицо господина Анато́ля прояснилось. Он высыпал на ладонь немного порошка, растёр его пальцем.

— Ах вот оно что! — воскликнул он. — А я уж подумал... Только это не никель, а цинк. Кстати, он внутрь не показан и от истерии не помогает, разве что в качестве психотерапевтического средства. Тоже мне, нашли панацею — цинковая мазь!

Господин Анато́ль нырнул в баульчик, вытащил крохотную баночку и протянул её Юстусу. Баночка была полна белой мази. Юстус поддел мизинцем немного и, не обращая внимания на удивлённый взгляд господина Анато́ля, попробовал на вкус. На зубах

тонко заскрипело, потом сквозь обволакивающую приторность незнакомого жира пробился чуть горячий вкус туции. С помрачневшем лицом Юстус вернул баночку.

— Я упомяну в трактате о вашем первенстве в этом открытии, — сказал он.

— Право, не стоит, — Анатолий дружелюбно улыбнулся, — к тому же... — Он не договорил, махнул рукой и повторил ещё раз: — Ей-богу, не стоит.

Юстус убрал со стола лекарства и рукопись, а потом негромко напомнил:

— Сегодня операционный день. Не желаете ли присутствовать?

В операционной царила немилосердная жара. Стоял запах сала от множества дешёвых свечей, жаровня наполняла комнату синим угарным дымом. Цирюльники — мэтр Фавори и приезжий эльзасец мастер Базель — готовили инструменты. Базель говорил что-то вполголоса, а мэтр Фавори слушал, презрительно оттопырив губу. Аптекарь, господин Ришар Детрюи, примостился в углу, взирая на собравшихся из-под насупленных седых бровей.

Предстояло три операции, первый больной уже сидел в кресле около стола. Это был один из тех ландскнехтов, которых недавно нанял магистрат для службы в городской страже. Несколько дней назад он получил рану во время стычки с бандитами, и теперь левая нога его на ладонь выше колена была поражена гангреной. Наёмник сидел и разглядывал свою опухшую, мертвенно-бледную ногу. От сильного жара и выпитого вина, настоящего на маке, взгляд его казался отсутствующим и тупым. Но Юстус знал, что солдат страдает той формой гангрены, при которой человек до самого конца остаётся в сознании и чувствует боль. И ничто — ни вино, ни мак — не сможет эту боль умерить.

Господин Анатолий, вошедший следом, брезгливо покрутил носом и пробормотал как бы про себя:

— Не хотел бы я, чтобы мне вырезали здесь аппендикс. Квартирка как раз для Диогена. Врач-философ подобен богу, не так ли? — спросил он громко.

Юстус не ответил.

Последним в помещении появился доктор Агель. Это был невысокий полный старик с добрым домашним лицом. Он и весь был какой-то домашний, даже докторская мантия выглядела на нём словно уютный ночной халат. Доктора Агеля любили в городе, считая врачом особо искусным в женских и детских болезнях, и, пожалуй, один только Юстус знал, сколько людей отправил на тот свет этот добряк, назначавший кровопускания при лихорадках и иных сухих воспалениях.

Больного положили на стол и крепко привязали. В правую руку ему дали большую палку.

— Жезл вращайте медленно и равномерно, — steadily поучал доктор Агель.

Солдат попытался вращать палку, но пальцы не слушались его. Тогда он закрыл глаза и забормотал молитву.

Юстус склонился над больным. Господин Анатолий тоже шагнул вперёд.

— Здесь обязательно нужен общий наркоз, — испуганно сказал он.

Юстус не слушал. Им уже овладело то замечательное состояние отточенности чувств, благодаря которому он успешно проводил сложнейшие операции. И только потом горячка и операционная гангрена уносили у него половину пациентов.

Юстус взял узкий, похожий на бритву нож и одним решительным движением рассёк кожу на ещё не поражённой гангреной части ноги. Комнату наполнил истошный, сходящий на визг вопль.

Далее начался привычный кошмар большой операции. Солдат рвался, кричал, голова его моталась по плотной кожаной подушке, он отчаянно дёргал ремни, стараясь освободить руки с намертво зажатой в побелевших пальцах палкой. Господин Анатолий что-то неслышно бормотал сзади. А Юстус продолжал работать. Рассечённые мышцы округлыми буграми вздувались у основания бедра, мелкие артерии вспыхивали фонтанчиками крови. Наконец обнажился крупнейший сосуд бедра — ответвление поллой вены. Он туго пульсировал под пальцами, напряжённый, болезненный. Перерезать его — значит дать пациенту истечь кровью.

— Железо! — крикнул Юстус.

Тут же откуда-то сбоку подсунулся мэтр Фавори с клещами, в которых был зажат багрово-светящийся штырь. Железо коснулось зашипевшего мяса, вена сморщилась и опала, крик пресёкся. В нахлынувшей тишине нелепо прозвучал голос доктора Агеля, державшего больного за свободную руку:

— Пульс ровный.

Юстус быстро перерезал сосуды и оставшиеся волокна, обнажил живую розовую кость и шагнул в сторону, уступая место мастеру Базелю, ожидавшему с пилой в руках своей очереди. Мастер согнулся над столом и начал пилить кость. Безвольно лежащее тело дёрнулось, наёмник издал мучительный булькающий хрип.

Базель торопливо пилил, снежно-белая костяная стружка сыпалась из-под зубьев и мгновенно намокала алым. Наёмник снова кричал тонким вибрирующим голосом, и в этом крике не было уже ничего человеческого, одна сверхъестественно огромная боль. Детрюи ненужно суетился около стола, отирая несчастному влажной губкой пот со лба. Доктор Агель сидел, положив для порядка пальцы на пульс

больному, и поглядывал в окошко, за которым виднелись круглые башенки городской стены.

И тут... Крик снова резко пресёкся, тело ландскнехта изогнуло страшная судорога, потом оно вытянулось и обмякло. Белые от боли глаза остекленели.

— Пульс пропал, — констатировал доктор Агель. Он помолчал немного и добавил: — Аминь.

«Как же так? — Юстус непонимающим взглядом обвёл собравшихся. — Зачем в таком случае все они здесь? Милая тупица доктор Агель, цирюльники, аптекарь со своим негодным вином, он сам, наконец?..»

Станный звук раздался сзади — то ли икание, то ли бульканье. Там у стенки скорчился господин Анатоль. Господину Анатолю было худо. Но он быстро справился с собой и поднялся на ноги, пристально глядя в лицо Юстусу. Юстус молча ждал.

— Муж прекрасный и добрый! — истерически выкрикнул господин Анатоль. — Мясликом вам быть, а не доктором!

Молодой человек выбежал из комнаты. Юстус медленно вышел следом.

В свой кабинет Юстус вернулся совершенно разбитым. Во рту сухо жгло, ноги гудели и подкашивались, и, что хуже всего, дрожали руки. Две операции пришлось передать другим, и мэтр Фавори, вероятно, режет сейчас этих бедняг под благожелательным прищмотром доктора Агеля. Ну и пусть, он тоже не железный, к тому же врач не обязан сам делать операции, для этого есть цирюльники.

Юстус поднялся, отомкнул большим ключом сундук, стоящий у стены, двумя руками достал из его глубин костяной ларец.

Гомеопатия учит нас, что избыток жёлтой желчи вполне и безо всяких лекарств излечивается здоровым

смехом. Поднятие же чёрной желчи следует врачевать спокойным созерцанием. Ничто так не успокаивало доктора Юстуса, как редкостное сокровище, хранящееся в ларце. Осторожно, один за другим Юстус раскладывал на чёрном бархате скатерти потускневшие от времени медные ножи, долота, иззубренные ударами о кость, погнувшиеся шила, пилу со стёршимися зубьями. Странно выглядела эта утварь, отживший своё инструмент на роскошной бархатной ткани. И всё же для Юстуса не было вещи дороже. В ларце хранились инструменты Мондино ди Люцци, великого итальянца, воскресившего гибнущую под властью схоластов анатомию, первого доктора, отложившего книгу, чтобы взять в руки скальпель.

Скрипнула дверь, в кабинете появился мэтр Фавори. Перехватив удивлённый взгляд Юстуса, он поспешил объяснить:

— Я уступил своё место мэтру Боне. У старика много детей и мало клиентов. Пусть немного работает.

Это было очень похоже на обычные манеры модного цирюльника, не любившего больничные операции, так как за них, по его мнению, слишком мало платили.

Фавори подошёл к Юстусу и, наклонившись, произнёс:

— Монглиер умер.

— Как? — быстро спросил Юстус.

— Ему перерезали горло. Вероятно, убийцы влезли в окно. Скотина ростовщик уверяет, что спал и ничего не видел. Врёт конечно.

Юстус тяжело задумался. Мэтр Фавори некоторое время ожидал, разглядывая разложенные на скатерти инструменты. Ему было непонятно, что делает здесь этот никуда не годный хлам, но он боялся неосторожным замечанием вызвать вспышку гнева у экс-

пансивного доктора. Наконец он выбрал линию поведения и осторожно заметил:

— Почтенная древность, не правда ли? Нынче ими побрезговал бы и плотник.

— Это вещи Мондино, — отозвался Юстус.

— Да ну? — изумился брадобрей. — Это тот Мондино, что написал «Введение» к Галену? И он работал таким барахлом? — Глаза Фавори затянулись мечтательной плёнкой, он продолжал говорить как бы про себя: — Жаль, что меня не было в то время. С моими методами и инструментом я бы затмил всех врачей того времени...

— Вы остались бы обычным цирюльником, — жёстко прервал его Юстус. — Возможно, поначалу вам удалось бы удивить ди Люцци и даже затмить его в глазах невежд, но всё же Болонец остался бы врачом и учёным, ибо он мыслит и идёт вперёд, а вы пользуетесь готовым. И звание здесь ни при чём. В вашем цехе встречаются истинные операторы, мастера своего дела, которых я поставил бы выше многих учёных докторов. Но это уже не цирюльники, это — хирурги, прошу вас запомнить это слово.

— Да, конечно, вы правы, — быстро согласился Фавори и вышел. Он был обижен.

Но и теперь Юстусу не удалось побыть одному. Почти сразу дверь отворилась снова, и в кабинет вошёл господин Анатолий. Он был уже вполне спокоен, лишь в глубине глаз дрожал злой огонёк. Взгляд его на секунду задержался на инструментах.

— Решили переквалифицироваться в столяры? — спросил он. — Похвально.

Юстус молчал. Господин Анатолий прошёлся по кабинету, взял свой баульчик, раскрыл, начал перебирать его содержимое.

— Вы слышали, Монглиера прирезали, — сказал он немного погодя.

Юстус кивнул головой.

— Идиотизм какой-то! — пожаловался господин Анатоль. — Варварство! Хватит, я ухожу, здесь невозможно работать, сидишь, словно в болоте...

Он замолчал, выжидающе глядя на Юстуса, но, не услышав отклика, сказал:

— Запомните, доктор: чтобы больные не умирали у вас на столе, необходимы две вещи — анестезия и асептика.

Что же, в бауле господина Анатоля, вероятно, есть и то и другое, но скоро драгоценный баул исчезнет навсегда. Потому и ждёт господин Анатоль вопросов и жалких просьб, на которые он, по всему видно, уже заготовил достойный ответ. Жалко выпускать из рук такое сокровище, но что он стал бы делать, когда баул опустел бы? Два дня назад Юстус обошёл всех городских стеклодувов, прося их изготовить трубку с иглой, какой пользовался гость. Ни один ремесленник не взялся выполнить столь тонкую работу.

— Скажите, — медленно начал Юстус, — ваши методы лечения вы создали сами, основываясь на многочисленных наблюдениях больных и прилежном чтении древних авторов? И медикаменты, воистину чудесные, изготовили исходя из минералов, трав и животных, путём сгущения, смешения и сублимации? Или, по крайней мере, дали опытным аптекарям точные рецепты и формулы?

Господин Анатоль ждал не этого вопроса. Он смутился и пробормотал:

— Нет конечно, зачем мне, я же врач...

— Благодарю вас, — сказал Юстус.

Да, он оказался прав. Баул действительно скрывал множество тайн, именно баул. Сам же господин Анатоль — пуст.

Удивительная вещь: блестящая бездарность мэтр Фавори и всемогущий господин Анатоль сошлись во мнении по поводу вещей Мондино ди Люцци. Да, они правы, инструмент Мондино в наше время пригодился бы разве что плотнику, и всё же учитель из Болоньи неизмеримо более велик, чем оба они.

Господин Анатоль кончил собираться, взял свой баульчик, несколько секунд смотрел на Юстуса, ожидая прощальных слов, потом пробормотал:

— Ну, я пошёл... — и скрылся за дверь.

И только тогда Юстус презрительно бросил ему вслед:

— Цирюльник!

МИРАКЛЬ РЯДОВОГО ДНЯ



ень начинался обычный — невеликий праздник святого Стефана, и жизнь шла будним порядком, только маленький Стефан бегал по случаю именин в новой, специально для того сшитой рубахе, да Ханна торопилась дошить штаны Якову. Это тоже был подарок имениннику: старые Яковы штаны должны были отойти Базилу, и тогда Базилевы порты, из которых он напроць вырос, станут первой мужской одежей Стефана. Еще к вечеру готовился пирог. И ничто поначалу не предвещало чудес, но к полудню явилось знамение. Тяжко ударило вдруг в безбрежно голубеющем небе, грохнуло, но не трескучим грозovým раскатом, а словно сам Антихрист хлопнул единожды в ладоши или лопнул туго надутый бычий пузырь, да так лопнул, что качнулись деревья, дрогнули дома, а улежавшиеся за годы брёвна стен закрипели, укладываясь по-новому. Разом смолкли птицы, зато собаки со всех дворов завывли, скликая беду. И с треснувшего неба ответно завывло ровным утекающим звуком.

Малыши, разбредшиеся между сараев, разом кинулись домой, а Лидия — старшая дочь Атанаса — оставила колыбель с новорожденным братом и мет-

нулась зачем-то собирать развешанное после стирки бельё. Ханна, кинув рукоделье, плеснула воды в открытый дворовый очаг, на котором кипела к ужину похлёбка, и принялась сгонять во двор домашнюю птицу. Других взрослых возле дома не случилось, так что растерянность и испуг Ханны тут же передались младшим. Несколько малышей разом заревели, добавляя шуму в общий переполох. Удаляющийся небесный гул растворился в гомоне, но этого уже никто не замечал.

— Дети, домой! — надрывно крикнула Ханна, распахивая двери.

Но на пороге, загораживая проход, стоял Матфей — глава семьи: отец, дед и прадед всех живших на хуторе. По старости дед Матфей уже не выходил из дому, лишь по горнице ковылял, опираясь на палку, но слово его было законом и для маленьких, и для бородатых. Ханна остановилась было, но Матфей, сдвинувшись к косяку, проговорил:

— Детей загоняй, а птицу — обожди.

Сам же, приставив ко лбу ладонь, оглядел чистое небо, дорогу со спящей пылью, двор. Поймал за плечо Лидию, спешащую с ворохом тряпья, развернул назад.

— Раскудахтались, — проворчал он, хотя при появлении деда все разом затихли, даже Стефан и прадедов любимец малыш Матфей-Матюшка примолкли. — И огонь залила, — продолжал дед, — а народ с поля вернётся, чем кормить будешь? Страхом твоим? Видишь же — нет ничего.

Ханна вернулась к очагу, наклонилась, отыскивая незагашенные угли. Дед Матфей медленно спустился с крыльца, уселся на завалинке, окидывая сторожким, не потускневшим с годами взглядом дальние и ближние окрестности, потому что хоть и отчитал молодуху за переполох, но сам был неспокоен.

Матфеев хутор казался невелик: два дома, глядящие в утопанный переулочек, амбар да общий крытый двор. В двух домах жили давно уже седобородые Матфеевы сыновья. Петер и Томас сами имели и детей, и внуков, но, послушные родительской воле, делиться не смели и жили хотя и в разных домах, но одним хозяйством. Перед домами бугрился обведенный плетнём огород, а со стороны двора лежал широкий загон, сейчас отворённый, поскольку скотину угнали на пастбище. Стадо у Матфея было немаленькое, и земли нарезано с достатком. Жил хутор крепче иных усадеб и известен был и в городе, и среди дворянства. Ленную долю Матфей платил монастырю, под который сам когда-то пошёл, понимая, что святые отцы хозяйствуют с умом и попусту мужиков бездолить не станут. В обители тоже привечали нелицемерно богомольную семью, каких не много было среди народа, недавно перекрёщённого в истинную веру и склонного к отступничеству и еретическим соблазнам.

С таким покровительством можно было жить спокойно, ничего не боясь, кроме мора и турецкого нашествия, но потому и прожил Матфей жизнь в достатке, что никогда не ленился поберечься лишней раз.

За домами послышался суматошный крик, хлопанье кнута; перекрывая возникший овечий разнобой, густо замычала корова. Матфей, гневно стукнув посохом в землю, распрямился. Стадо идёт. Ну куда они, среди бела дня? Чего испугался Кристиан? Грома небесного? Так тот давно замолк, да и Кристиан не тот парень, чтобы бояться знамений. А коли серьёзная беда — набег или что ещё, то уходить надо в лес, в болото, где всадник на тяжёлом коне вмиг увязнет.

Матфей встал и, кляня больные ноги, зашаркал по проулку. Из-за двора выбежал Кристиан — Томасов последыш. Было ему восемнадцать лет, а он всё ещё гулял в парнях, поскольку ни отец, ни дед

не могли подыскать ему среди соседских невест достойную пару.

— Дед! — закричал он. — Смотри, что там!

Матфей дотащился до угла, откуда ожидал увидеть выгон, реку и дальний заболоченный лес. Замер, не веря глазам, дрожащей рукой наложил на лоб крест. Позади ахнула подбежавшая Ханна.

Нет, и пастбище, и лес были на месте, но за рекой, где расстилались монастырские луга, теперь поднимались к небесам светлые башни невиданного и попросту невозможного города. Весь город, казалось, состоял из одних башен, любая из которых вздымалась выше соборной колокольни. Что там было ещё, Матфей не мог разглядеть, видел лишь мост через реку и дорогу, которой прежде тоже не было. По дороге в сторону города, обгоняя друг друга, мчались мёртво сверкающие чудища. Эта неодушевлённая армада, несущаяся по его земле, напугала старика сильнее всего. Крик Ханны привёл его в себя.

— Детей — в подиол, — распорядился Матфей, — и сама с ними запрись. А ты скотину гони к болоту, только кружным путем, подальше от этих... И Лидию в поле пошли, за отцом.

Звать, впрочем, никого не пришлось. Послышался стук копыт, в проулок влетел сидящий охлюпкой Атанас — старший из Матфеевых внуков.

— Ханна! — закричал он. — Ховай детей и пожитки! Светопреставление началось!

Хвойный Бор считался лучшим местом отдыха, так что детей в группе у Гелии всегда было много. Случались дни, когда она оставалась одна с пятнадцатью детьми, что, вообще-то, не разрешалось, но Гелия не могла отказать родителям, особенно тем, чьих малышей она знала давно. Дети же никогда не

были ей в тягость. Но сейчас по лужайке перед коттеджем бегало ровно двенадцать детей: Жанна, Тата, Ирэн, две Марии (одна — Маша, другая — Мари), Юлия, Борис, требующий, чтобы его звали Бобом, и Робин, настаивающий на том же имени, белокурый Костик, тёмноволосый Чен, задира Максим и новенькая девочка с редкостным именем Пламена.

Час после полдника был самым лёгким в течение всего дня. Дети выходили гулять и играли друг с другом, а Гелия делала вид, что её здесь нет. Но при этом зорко присматривалась к играм. На самом-то деле не так много родителей бывают настолько заняты, чтобы отдавать своих детей в чужие руки, и приходится быть на высоте, чтобы тебя упрасивали взять ребёнка. Гелии недавно исполнилось двадцать лет, но её группа, входившая в свободную педагогическую сеть, была уже известна. Гелия соглашалась побыть с малышом два-три часа, пока мама управится с неотложными делами, брала детей и на неделю. А чтобы в этой ситуации дело обходилось без слёз и без зависти (неважно: к уходящим или к остающимся), детей надо знать — каждого по отдельности и особенно всех вместе, потому что вместе это совсем другие дети.

Вот сейчас Максим начнёт знакомиться с новенькой. Пока они были на глазах у всех, ему это казалось неудобным. Но ведь он и сейчас не один. Чен, хоть ему и нет дела до девочек, топчется поблизости, да и сама Пламена, кажется, умеет защитить себя от любителей знакомств. Придётся вмешиваться, и лучше всего это сделает Тата. Она и постарше, и поспокойнее.

— Таточка, отнеси, пожалуйста, Пламенке мячик, а то у неё ничего нет.

Тата взяла мячик, но в этот момент воздух лопнул пронизывающим сверхзвуковым хлопком. Акустиче-

ский удар ошутимо толкнул в грудь, качнулись сосны, кто-то из детей упал, неслышно заплакав. Гелия вскочила, задрав голову, пытаясь увидеть в небе белый инверсионный след нарушителя. — Кто посмел?! Летать в небе, в атмосфере на скорости! — Потом, махнув рукой — нарушителя всё равно найдут и накажут, — бросилась успокаивать детей. И остановилась, словно второй удар, сильнее первого, обрушился на неё.

Поляна неузнаваемо изменилась. Там, где минуту назад не было ничего, кроме ухоженного газона и пятен сухой хвойной подстилки под редкими соснами, теперь поднимались кусты, переплетённые высокой, по грудь, травой. Макушки разбежавшихся детей были почти не видны среди скрещенных стеблей. Слава богу, судя по возгласам, с детьми было всё в порядке, случившееся они восприняли как новую интересную игру.

— Ребята, бежим на крыльцо! — крикнула Гелия. — Отсюда всё лучше видно!

Должно быть, голос подвел её, потому что дети появились на крыльце сразу и непривычно серьёзные. А Пламена по дороге сердито пнула вылезшую на самые ступени ракиту, и Гелия увидела, как кулачок девочки прошёл сквозь кривой ствол.

Так это голограмма! Вместе с успокоением Гелия ощутила азартную злость. Ну она покажет этим шутникам, когда доберётся до них! Она их отучит и от быстрой езды, и от оптических эффектов. А пока используем выгоды момента и продолжаем гулять, но уже в сказочном лесу...

Лес действительно напоминал декорации к сказочному или приключенческому фильму. Спуск с пригорка, на котором стоял дом, покрылся обломками скал и гниющим буреломом, лишь в одном месте, где случилось меньше камней, кем-то был расчищен проход.

Внизу, где в реальности до самой реки продолжалась роща с разбросанными по полянам коттеджами, теперь жаркими испарениями курилось болото. На воде дробно пестрела ряска, возле настоящих сосен (никуда они, конечно, не делись, но, давно знакомые, стали словно незаметными) торчали кочки осоки и тонконогой пушицы, жирно зеленели листья белокрыльника.

Гелия, собрав детей на крыльце, на секунду сбегала вниз, убедившись, что болото, как и прочие новообразования, не настоящее, разрешила всем спуститься с крыльца. Быстро придумав подходящую к окружению игру — странный гибрид из «Красной шапочки» и «Мальчика-с-пальчика», забежала в дом и попыталась дозвониться в координационный центр, узнать, что происходит. Дозвониться не удалось, — очевидно, не одну её волновали эти вопросы. Кухонное оборудование работало исправно, и ужин Гелия заказала на двенадцать человек, хотя и знала, что семерых детей в течение ближайшего часа заберут родители. Но происходящее тревожило её, значит, надо быть готовым ко всякому.

И события начались, но вовсе не те, которых ждала Гелия.

— Бык! Бык! — закричал Костик.

На поляну, раздвинув кусты, вышла корова. Низкорослая, неопределённой масти буренка, по самое брюхо вымазанная болотным илом, она явно принадлежала к призрачному миру. Дети шумно кинулись под защиту Гелии, только Жанна, обычно жившая на родительской ферме и привыкшая к виду домашних животных, поспешила навстречу госте и была сильно разочарована, обнаружив, что и это одна лишь видимость. Следом за первой коровой на поляну высыпало всё стадо: ещё две коровы, обе с годовалыми телятами, бык, вид которого заставил детсадовцев примолкнуть, десятка полтора овец и баранов, тоже

вымазанных в грязи и оттого не похожих ни на что ранее виданное. Стадо двигалось в абсолютной тишине, словно толстое стекло отгораживало его от зрителей. Последними появились пастухи: чумазый и патлатый мальчишка с длинным кнутом в руках, которым он непрестанно и неслышно хлопал, подгоняя отстающих, и высокий молодой парень, тоже странно и грязно одетый, но шагающий так, словно не было заросшего подъёма, а до этого — изматывающего перехода по истлевшей гати.

«Красавец», — подумала Гелия.

Парень, не доходя нескольких шагов, остановился и, глядя в лицо Гелии, произнёс что-то, очевидно громко и отчётливо выговаривая слова, потом размашисто перекрестился и плюнул через плечо.

— Что, киногерой, — сказала Гелия, стараясь избавиться от ощущения, что парень видит её и обращается именно к ней, — озвучить-то тебя позабыли...

В доме загудел сигнал вызова. Кто-то, родители или начальство, сумел пробиться к ней по перегруженной телефонной сети.

Великий миракль, явившийся в день святого Стефана, равно напугал и изумил всех, но никого он не оскорбил так, как благородного ландграфа Августа. Хотя иным могло показаться, что судьба обошлась с его сиятельством менее жестоко, чем с прочими. Замок Августа стоял в излучине реки на высоком берегу, и, когда свершилось чудо, здесь не оказалось ни бесовского города, откуда едва сумели бежать жители окрестных сёл, ни адских кузниц, где, как рассказывали очевидцы, железные пауки под присмотром бесплотных обитателей творили стальное подобие жизни — самобеглые повозки, носящиеся повсюду и до икоты пугающие людей. На месте замка явились

древние руины: осыпающиеся остатки башен, проломленные стены. А возле разрушенных ворот граф увидел лежащий на земле каменный барельеф — дракона, поверженного львом. Увиденное могло означать лишь одно: призраки глумливо предсказывали, что род его прервется, стены замка падут, двор зарастёт едким лютиком, а прославленный в походах графский герб будет втоптан в грязь.

Разгневанный граф приказал перебить всех случившихся поблизости пришельцев и снести несколько стеклянных сараев, выросших посреди двора. Челядь была в панике, и Августу самому пришлось взяться за меч. Лишь после этого он понял, почему чужаки ходят безоружными и мастерят сараи из хрупкого стекла. Оружие не причиняло им вреда, меч не рассекал их, и пики не пробивали. Камни пролетали сквозь стекло словно по пустому месту. Хотя напугать призраков неукротимый граф сумел: они бросились в бегство.

Победа над неуязвимым противником слабо утешила Августа, ведь оставались развалины, нелепые стеклянные строения, вдалеке громоздились башни призрачного города, а по нижнему этажу замка, порой проходя сквозь стены, злоумышленно бродил толстый чёрный кот. Посланец дьявола двигался совершенно бесшумно и не обращал внимания на все попытки убить его, словно не видел и не слышал атакующих людей.

Размыслив, ландграф решил отложить оружие и взяться за святую воду. Он велел капеллану отслужить молебен и послал людей в монастырь за помощью. Неожиданно вместе с настоятелем и монахами в замок приехал сам архиепископ — преосвященный Феодосий. Август недолюбливал церковников, поскольку всегда помнил, что именно монашествующие рыцари помогли его предкам укрепиться в землях,

отнятых у схизматиков в тяжких крестовых походах, но архиепископа принял отменно вежливо. Общая нужда заставляла мириться с давним недругом.

Архипастырь благословил встречающих, покосился на уродующее двор стеклянное непотребство, но, очевидно наскучив бессмысленным занятием, экзорцизмов читать не стал, а молча проследовал на второй этаж в каминную залу.

— Что скажете, ваше преосвященство? — спросил ландграф. — Видения — это по вашей части.

— Вы правильно сделали, сын мой, что в час бедствий обратились к нашей общей матери — церкви, — начал Феодосий. — Миракли могут посылаться господом, а с божьего попущения и внушаться дьяволом. Не будем судить о природе данного чуда, но поговорим о делах более насущных. Ибо, как и всякое испытание, чудо святого Стефана позволяет отделить овец от козлищ, выявить тайных недругов и всех пошатнувшихся в вере. — Архиепископ наклонился вперед и, глядя в глаза графу, продолжил коротко и жёстко, не затрудняясь подбором округлых фраз: — В городе паника и всеобщее недовольство, по деревням — смута. Одни ждут конца света, другие проповедуют против церковного учения. Ещё немного — и государство разрушится. Ваше сиятельство, оставьте призракам их мерзости и займитесь делами. Сейчас, когда искушение высветило душу каждого, мы сможем очистить народ и от зёрен бунта, и от противных церкви суеверий.

— Вы уверены, что призраки не вмешаются? — задал вопрос граф.

— Пусть вмешиваются. Они бесплотны, убить их невозможно, но и они не могут сделать ничего.

— Как я должен поступать?

— Необходимо послать людей по деревням. Всякий, кто склонился к призракам, — враг. Завтра во

всех церквях объявят, что это всего лишь искушение и следует жить так, словно ничего не изменилось. Как поступать с жизнью и имуществом ослушников — вы определите сами. Ибо сказано: «Упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Благословляю вас на подвиг, сын мой, но помните, что церковь ждёт своей доли.

— Я завтра же вышлю солдат.

С самого начала Инна чувствовала, что добром её поездка не кончится. Одно дело — оставить дочку, улетающую в командировку, совсем другое — бросить, отправившись отдыхать. Но Регина так упрашивала её поехать вместе, и воспитательница в Хвойном говорила, что всё будет прекрасно, что Таточке у неё нравится. Короче, уговорили — согласилась, дура. И тут, конечно, начинается этот кошмар. Люди, говорят, с ума сходят, не выдержав зрелища проросших друг в друга миров. Гелия — прекрасный человек, но вдруг и с ней, не дай бог, произойдёт что-нибудь подобное?

Регина, добрая душа, сразу согласилась, что надо возвращаться, и даже отправилась вместе с ней, только в Хвойный не поехала, осталась в городе. В городе сейчас не в пример легче, средневековое поселение в точности спроецировалось на исторический центр, где и так почти никто не живёт. А в высотных зданиях вообще можно жить, словно ничего не произошло.

Искажённый пейзаж, деревья, пронзившие дома, причудливо наложившиеся строения — всё это было необычно и удивительно, но по-настоящему Инну потрясли люди. Бедные и богатые, одетые пышно и едва прикрытые изношенным тряпьем, они казались на одно лицо. Изрытая серая кожа, истончившиеся выпадающие волосы, кривые тонкие ноги, словно в

насмешку обтянутые цветным трико и украшенные преогромными башмаками. Почти не встречалось здоровых людей, каждый второй тяжело страдал рахитом, каждый третий — туберкулёзом. Столь явные признаки болезней Инна наблюдала лишь на муляжах и в специальных фильмах, когда училась на врача. Теперь она видела их воочию. Но самым страшным была агрессивность этих жалких людей. Конечно, и среди них были удивлённые и восхищённые чудом, но первыми в глаза бросались те, что пытались напасть, ударить, убить. И это люди эпохи раннего Возрождения, — так, во всяком случае, объявили растерявшиеся средства массовой информации! Инна перебирала то немного, что она помнила об этой эпохе. Рыцарские романы, суды любви, расцвет готики. Красивые люди, благородные мысли и поступки. А она видела грязь и завшивевших калек. И знала, что Таточка далеко и она тоже брошена в этот водоворот, на неё замахиваются, угрожая, страшные, непредставимо чужие люди...

Инна гнала машину от города к Хвойному Бору мимо знакомых полей. Поля остались почти такими же, как прежде, лишь в одном месте неподалёку от дороги выросла группа вымазанных глиной развальных. И вот там на фоне глинобитной стены Инна заметила фигуру девочки.

— Тата!

Визгнув колёсами по дорожному покрытию, машина остановилась. Инна заторопилась к хутору. Она уже видела, что ошиблась, приняв на скорости чужую девочку за свою дочь. Возраст, конечно, одинаковый, и косичка похожа, а так сразу заметно, что девчушка из другого мира. Разве стала бы Тата носить такую хламидку... Но всё же Инна подошла, чтобы удостовериться наверняка. Девочка настороженно следила за ней.

Инна улыбнулась.

— Ну здравствуй, — сказала она, — что букой смотришь? Не бойся, я тебя не съем...

Инна понимала, что девочка не слышит её, но уйти, оставив ребёнка испуганным, не могла. Иначе какой она, к чёрту, врач? Поэтому она продолжала говорить, ориентируясь больше на жесты, выражение глаз, чем на бесполезные слова и интонации.

— Что же мне тебе подарить? Подарка ты взять не сумеешь, значит, его для тебя как бы и нет.

Инна порылась в сумочке, нашла блокнот и карандаш, быстро нарисовала на чистой странице большого улыбающегося кота. Страха в глазах девочки уже не было, она заворуженно следила за движениями грифеля. Потом протянула руку и, ткнув пальцем сквозь блокнот, произнесла что-то.

— Правильно, это киса, — согласилась Инна. — Знаешь что, давай сделаем так: я оставляю тебе рисунок, пусть он лежит здесь, а ты, когда захочешь, будешь приходить и смотреть...

Инна вырвала из блокнота лист, положила его на землю, прижала камешками так, чтобы его не унесло ветром. А подняв голову, увидала в нескольких шагах перед собой четверых клоунски разодетых людей. Трико из разноцветных лоскутов, пёстрые куртки с разрезанными рукавами, собранными бантами — не хватало лишь трёхрогих колпаков с бубенчиками. Зато немытые руки крепко сжимали древки страшных лукопий-полутопоров.

«Ландскнехты — вот это кто», — вспомнила Инна.

Один из ландскнехтов — судя по пышности наряда, главный — произнёс какую-то тираду, указывая на Инну. Девочка слушала, прижавшись к стене, потом бросилась бежать.

«Ещё бы не испугаться таких монстров!» — Инна выпрямилась.

— Зачем ребёнка пугаете? — сердито сказала она.

Солдаты уже бежали на неё, и один резко и без размаха ткнул концом алебарды ей прямо в лицо. Инна отшатнулась. Отшарканное камнем лезвие прошло сквозь голову, не причинив ни малейшего вреда, но вид его был невыносимо страшен и инстинктивно заставлял уклоняться.

— Что вы делаете?! — крикнула Инна, но стражники уже пробежали мимо и сквозь неё. Они гнались за девочкой.

За углом открылся двор, мощённый вбитыми в утоптанную землю плоскими камнями. В открытом очаге тлел огонь, на котором исходил паром чёрный котёл, темнели провалы распахнутых дверей, где никого не было, но какой-то явно ощутимый вихрь подсказывал, как быстро пробегали только что через эти проёмы спасающиеся жители. Не успели скрыться только двое: девочка, которой было слишком далеко бежать, и древний старик — не седой даже, а изжелтевший от времени, словно старая бумага. Девочка пробежала едва полпути, а старик неожиданно сильно поднялся, угрожающе вздев руку с зажатой в кулаке вычурной резной палкой.

Дальнейшее произошло мгновенно, но для Инны это мгновение показалось чёрной застывшей вечностью. Топор алебарды обрушился на затылок девочки, на чепчик, из-под которого смешно торчала перевитая шнуром косица. Удар второго убийцы свалил старика.

Инна упала на колени рядом с тем, что полминуты назад было живым ребёнком. Она видела, что ничем не может помочь, даже если бы девочка была здесь, а не в своем злобном времени, даже если бы здесь было оборудование её клиники, всё равно уже ничем нельзя помочь, и остаётся только раскачиваться и выкрикивать:

— Звери... звери!..

Командир ландскнехтов, ещё не отерший с алебарды кровь, повернулся, широко осклабился, расстегнул свои дурацкие штаны и, глядя в глаза Инне, начал мочиться на неё.

Солнце на оба мира было одно. Когда оно опускалось, сумерки равно сгущались повсюду, разве что в одном из миров шёл дождь, и тогда там было темнее. Однако и в санаторном Хвойном Бору, и на мозглом от близкого дыхания трясины Буреломье вторые сутки держалась дивная погода.

Солнечный круг, коснувшись земли, уплощался, словно размазывался перед тем, как провалиться под землю. Небо было ещё синее, почти дневное, но под деревьями быстро сгущалась темнота, и костёр, до этого почти незаметный, становился центром, к которому невольно тянулся взгляд. Отблески огня влажно змеились в глазах коров, отъевшихся на некошенной траве и устало пережёвывающих проглоченное за день. Кристиан с Теодором сидели у самого огня, где смолистый дым немного умирал комаров, особенно злых в это время года. Кристиан деревянной ложкой помешивал в котелке, висящем над углями.

— Грибов поленился побольше набрать? — попенял он племяннику.

— Они червивые все, — оправдывался Теодор. — Эти, из дома, знаешь сколько грибов отыскиали, — я резать не успевал, а все червивые. — Теодор вдруг засмеялся: — А я ихний гриб нашел. Стоит такой ядрёный, уж точно без червей, а взять нельзя. Так я подозвал там одного, пухленький который, и показал, где гриб. А он сорвать не сумел, только переломал зря...

— Маленький ещё.

— Кристиан, а в самом деле, чего они такие? Я думаю, может, мы ангелов стали видеть и души мёртвых. Народу за столько лет на свете жило тьматьмушая, потому и город у них огромный. Дома видал какие? И не валятся, потому что их тоже нет, а есть одно помрачение чувств.

— Ты бы меньше к священнику ходил, — посоветовал Кристиан. — Голова бы спокойней была. Ангелы все в белом и с крыльями. И пола у них никакого нет, потому что духам не положено. А тут сразу видно, где мальчишки, где девочки. И хозяйку их видел? Красивая.

— А чего у неё столько детей? Она же молодая.

— Чудак ты, она и вовсе не замужем, кольца-то нет! Дети не её. Видел, сколько их вчера было? Целый выводок, а сегодня всего четверо — остальных мамки забрали. Она просто возится с ними, вот как Рада с вами.

— Скажешь тоже. Рада порченная, а то бы она давно замуж вышла. А эта — сам же сказал — красивая. Она всё-таки ангел. Я видел: она детей кормила, и себе тоже положила, но есть не стала.

— С девушками так бывает, — философски заметил Кристиан.

— Жаль, если это не души умерших, — сказал Теодор. — Маму бы увидели...

В доме открылась дверь, на улицу вышла Гелия. Подошла поближе, смущённо улыбнулась:

— Здравствуйте.

— Добрый вечер, — сказал Кристиан, делая приглашающий жест рукой.

Гелия села на землю, подержала руки над костром. Угли не грели, в воздухе копилась вечерняя прохлада.

— Застудишь мальчика, — сказала она Кристиану. — Вторую ночь в шалаше спит, и одеяла нет. А я и помочь не могу. В доме тепло, и постели есть, и

еда, а что толку? У меня кусок в горле останавливается, как подумаю, что вы тут сидите голодные. Простите нас, ради бога, что мы сытые у вас на глазах...

— Что она говорит? — спросил Теодор.

— Ругается на тебя, что грибов мало набрал, — сказал Кристиан. Он снял с огня котелок, сосредоточенно подул на ложку, удовлетворённо заметил: — Знатный кулеш!

— Сам говорил — грибов мало, — проворчал Теодор, — а теперь — знатный!

— Ещё бы не знатный, на чистом-то молоке! Грибы — дело десятое, а вот кончится пшено, так запоёшь. — Кристиан отдал ложку племяннику, потом сказал, обращаясь к Гелии: — Мы бы тебя угостили, только как ты есть-то будешь? Тебе настоящего небось и вовсе нельзя.

— Приятного аппетита, — сказала Гелия.

— Что?.. — переспросил Кристиан и добавил невпопад: — Меня зовут Кристианом.

— Не понимаю, — покачала головой Гелия.

— Кри-сти-ан! — отдельно повторил Кристиан, ткнув себя в грудь.

— Гелия, — произнесла Гелия, стараясь как можно чётче артикулировать звуки.

— Нет, не понимаю, — покачал головой Кристиан.

Гелия встала, принесла из дома лист бумаги и цветные карандаши. Крупно написала: «ГЕЛИЯ», поочерёдно показала на лист и на себя.

— Читай, — велел Кристиан Теодору. — Ты у нас грамотный, даром, что ли, отец за тебя священнику платил.

Теодор сосредоточенно читал, бормоча про себя и мучительно морща лоб.

— Я же говорил, — сказал он наконец, — что это души умерших. Она хотела написать: «Ангел я», но тут букв не хватает и получается: «Гел я».

— Грамотей! — презрительно сказал Кристиан. — Прочесть не можешь. Здесь её имя написано. Ее Ангелой зовут, а попросту — Гела. Поэтому и букв не хватает. Ешь давай и спать ложись. Завтра я домой побегу — узнавать, что там; так ты тут один останешься.

— А ты чего не ешь?

— Не хочу чего-то. Ангела, вон, без ужина сидит, а я буду жрать на чистом молоке. — Он ещё раз посмотрел на надпись. — Ты меня потом тоже буквам научи, а то она девушка, да знает. Хуже я, что ли?

Кристиан встал и, вытащив нож, вырезал на стволе берёзы единственное слово, которое умел написать: «Кристиан».

— Зачем дерево испортил? — огорчилась Гелия. — Я и так поняла.

— Мне тоже очень приятно, — ответил Кристиан. — У тебя красивое имя.

Теодор наелся, от горячего его сразу разморило, Кристиан отнёс его в шалаш, прикрыл своей курткой. Гелия с виноватой улыбкой наблюдала за ним.

— Это мой племянник, — вполголоса сказал Кристиан, — Савелов сын. У Савела четверо детей — одни парни. И мать они весной похоронили, умерла родами.

— Замечательный у тебя братишка, — согласилась Гелия, — личико смышлёное...

— Вот у дяди Петера в семье девок больше, чем парней, а я свою мать даже и не помню. У нас одна Рада — сеструха моя. Порченная она, замуж ей нельзя. Хотели в монастырь отдать, да только куда мы в семье без бабы? Обшить да постирать и Петеровы невестки смогут, но для малышей они всё-таки не родные. А Рада и мне вместо матери была, хотя старше всего на семь лет. Это неправда, что все горбатые — злые, Рада добрая, хотя и ворчит, и пристукнуть под горячую руку может. Ты только не

смейся над ней, когда увидишь. Хотя где же вам увидеться? Не выйдет никак.

— Хороший ты человек, — сказала Гелия, увидев, что собеседник замолчал, — и брата любишь. Только как вы жить будете — ума не приложу. У вас там страшные вещи творятся: родители приезжали, рассказывали такое, что не поверить. Убивают... И здесь вам тоже век не отсидеться. Кристиан, я прошу, будь осторожен и, пожалуйста, не становись как те.

— Ты чудесная девушка, — сказал Кристиан, — и действительно словно ангел. Это даже хорошо, что ты меня не слышишь, иначе я бы не смог этого тебе сказать.

Кристиан поднялся, принёс охапку нарубленного хвороста, начал подкладывать на потухающие угли. Гелия тоже собрала ветки, натасканные малышами в подражание дровяным заготовкам гостей, сложила на то же место, где виделся бесплотный огонь, рассеивающий мрак чужой ночи. Сбегала в дом за зажигалкой.

— Здесь нельзя жечь костры, — сказала она, — ну да ладно. Пусть горят вместе.

«Ну вот, всё хорошо, всё обошлось, Таточка рядом, живая, засыпает. Для неё всё обернулось забавными чудесами... Правда, этот мальчишка... но Гелия сказала, что это обычный славный мальчишка, только грязный очень. А так — всё хорошо».

Инна подняла глаза от кровати. Темно в комнате, свет погашен, окна плотно зашторены, и всё же — светло. Там, рядом, — светло, и ничто не закрывает от солнца. Какое странное ощущение — темнота и солнце одновременно!

Тата завозилась под одеялом, не просыпаясь, потребовала:

— Мама, пой!

— Баю-баюшки-баю,
Живет барин на краю.
Он ни беден, ни богат,
У него много ребят, —

затянула Инна, но голос задрожал, продолжать она не могла. Перед глазами качались картины сегодняшнего утра, мгновенно сменяющиеся, словно неведомый оператор передёргивал рамку со слайдами.

Старик лежит, откинув руку с зажатой палкой, до блеска отполированной ладонями, а жирное лицо убийцы глумливо лыбится на Инну.

Мгновенная смена кадра — и вот от сарая тяжело бегут пятеро мужчин с вилами и занесёнными косами в руках, солдаты разворачиваются, и один из мужиков падает, пробитый арбалетной стрелой, но из дома вырывается низкая скрюченная фигура, в которой невозможно узнать женщину. Перекосив в крике рот, горбунья голыми руками хватает с огня котёл и выплёскивает варево на спину так и не успевшему застегнуться командиру. Взблескивают косы, растерявшиеся ратники падают один за другим, мужики поднимают раненого товарища, кто-то бежит к убитому старику и девочке — боже, как она похожа на Таточку! — а горбунья всё пронзает вилами уже переставшие вздрагивать тела.

У него много ребят,
Все на лавочках сидят.
Все на лавочках сидят,
Кашу с маслом едят...

Теперь всё вокруг напоминает об этом: случайный отблеск на полированной поверхности, неловко

сказанная фраза, даже колыбельная песня — она с тех времен, она о тех людях. Инна вдруг представила, как изнывавшая по недоступному материнству горбу-нья поёт племяшечке:

Кашка масляная,
Ложка крапёная.
Ложка гнётся, нос трясётся,
Сердце радуется.

— Не-ет! Я так не могу! Таточка спит наконец-то, а я больше не могу!

Инна быстро вышла из номера. В холле она увидела Регину. Та расположилась в кресле у мягко светящегося торшера. Окна и здесь были зашторены, хотя отгородиться от призрачного дня не удавалось. Услышав шаги, Регина спокойно подняла голову, улыбнулась:

— Ну как, Ин, всё в порядке?

Инна села напротив, сжала лоб руками.

— Я всё время вижу кровь, — сказала она.

— Они опять дерутся? — удивилась Регина.

— Я говорю про утро, сейчас-то вокруг спокойно, ты разве сама не видишь?

— Нет, не вижу. Мне сообщили прекрасный способ. — Регина вытащила из кармана аптечную упаковку. — Вот, пожалуйста, по полтаблетки два раза в день — и никаких неприятностей.

— «Азолеум», — прочла Регина. — Им же душевнобольных лечат!

— Пусть, — коротко сказала Регина. — Главное — проглотил таблетку и не видишь всего этого безобразия. Азолеум галлюцинации снимает. Я, например, ничего сейчас не вижу, и мне хорошо.

— Это не галлюцинация, они живые, и они нас тоже видят.

— Всё равно их нет! Их даже сфотографировать нельзя, их солнце фотопленку не засвечивает! К тому же учёные говорят, что подобных событий на Земле никогда не было. Это неправда, что мы прошлое видим, просто массовая галлюцинация или гипноз.

— Но ведь азолеум вредный. Детям его нельзя.

— Ты не ребёнок! — усмехнулась Регина.

— Я про Таточку подумала, — призналась Инна. — Её бы я от этого закрыла. А сама — не могу, я должна знать, что видит моя дочка.

— За всем не уследишь. К тому же детей можно собрать и отвезти туда, где у этих пустыня, необитаемый остров или вообще...

— ...Куда-нибудь подальше, — подсказала Инна. Она поднялась из кресла и уже от дверей произнесла: — Тебе хорошо, ты умеешь жить нормально, а я такая дура — за всех болею.

В номере ничего не изменилось. Тата спала; казалось, будто её постель висит в метре над лугом и метёлки цветущего овсеца касаются сбившегося одеяла. Инна долго сидела молча, думала про необитаемый остров. Пожалуй, так действительно стоит сделать, временно конечно, пока всё не утрясется.

На столике чуть слышно вякнул аппарат. Инна, не включая экрана, сняла трубку.

— Инночка, — услышала она голос Регины, — мы с тобой в соседних номерах, закликаю: посмотри хорошенько — никого рядом нет?

— Да нет никого, — растерянно сказала Инна. — Что ты боишься, они ничего не могут тебе сделать, ты их даже не видишь.

— Как ты не понимаешь, — жарко зашептала в трубку Регина, — я же занимаюсь своими делами, мне, например, переодеться надо, а наверняка

кто-нибудь из этих спрятался поблизости и подглядывает за мной!

— Делать им больше нечего, — устало сказала Инна. — Раздевайся спокойно.

Вечером мужчины собрались на совет в Томасовом доме. Был он и ниже, и теснее, но в светлой горнице большой хаты лежали на сдвинутых лавках порубленные дед Матфей и правнучка его Николь, а в тёмной хрипел и булькал просаженной грудью младший Петеров сын — Андрон. Напуганных детей загнали в комнатёнку наверху, наказав сидеть тихо. Внизу оставались лишь Ксюша, прижавшаяся к оцепеневшей матери, да Матюшка, безмятежно досапывающий в скрипучей люльке последние несиротские часы. Катерина, увидав раненого мужа, обмерла да так и сидела бесчувственная, лишь застонала один раз, словно это у неё Рада тащила из груди короткую неоперённую стрелу. Рада, которой злая судьба оставила единственную возможность — стать травницей и ведьмой, суежилась вокруг умирающего кузена, кривобокая тень птиц металась по стенам.

Остальные женщины были в светлице: Ханна и Петерова Марта обряжали деда, Ева сдавленно выла над дочкой.

Пятеро мужчин сидели в тёмной комнате вокруг стола, на котором громоздилась нетронутая корчага с пивом. Тяжёлый шёл разговор, медленный, и не нужен ему был ни свет, ни пиво. Младшие: Атанас, Марк и Савел молчали, спорили Петер и Томас, оставшиеся после гибели отца ответчиками за свои семьи — за детей, невесток, внуков. Не было в доме одного Кристиана, уже два дня как угнавшего скот за топкое болото на Буреломье. Кристиан, впрочем, как неженатый, права голоса на совете ещё не имел.

— Куда пойдем? — говорил Петер. — Животы без нас пограбят, дома пожгут. Хлеб посеян — как обходиться будешь? Сенокос идет, сейчас на болоте проспасаешься, чем зимой скотину кормить?

— Сена на Буреломье накосим, — отвечал Томас, запустив пятерню в неровно, пятнами поседевшую бороду.

— Осоки, что ли?

— Хоть бы и осоки. Здесь нам всё одно не жить. Думаешь, граф простит за солдат?

— Не было солдат! — возвысил голос Петер. — Не видел их никто. А копыя их в речке потопи, от греха подальше.

— Что с копыями делать, я знаю, — отрезал Томас. — Ты смотри, солдаты новые набегут, так в другой раз косами не отмахнешься.

— Найдут оружие — головы не сносишь.

— На Буреломье уйду. Землянку вырою, хлеб ночами уберем.

— Легко тебе с одними парнями. А у меня полон двор девок. К тому же сейчас бежать — всё одно что на весь свет кричать: «Виноватый я!» А уж в чём тебя завиноватить, люди отыщут. Отец велел на земле сидеть, никуда не двигаться. Мы на этой земле были, когда немцами тут и не пахло. Попробуй её из рук выпустить — потом не вернешь. Имя можно сменить, веру сменить, но землю — нельзя. Турки придут — я тюрбан надену, магометом стану, а землю не отдам. На том стою и стоять буду твёрже камня.

— Головы не станет — не на что тюрбан будет надевать. Священник обещал: кто нежитью не прельстится, тот пусть живёт спокойно. Посмотрели мы на его покой... Больше я ему не верю! И графу — не верю! Живы будем — землю вернём. А сейчас мы у графа как вошь под ногтем — раз уж послал войско, то придавит не думая. Скажи, куда ты тут денешься,

если вдруг беда? В подполе не отсидишься, там ты как в ловушке.

— У отца, — медленно сказал Петер, — из подпола лаз прорыт — в овраг. Давно уж, ты маленький был, не помнишь.

— Так он небось обвалился...

— Поправим.

— И всё-таки надо уходить. Отстроимся на Буреломье, на будущий год можно и делянку расчистить. Скот сбережём и сами целы будем. Ты как хочешь, а я своих отсылаю завтра. А то Кристиан с Теодором одни долго не вытерпят. А на работу будем выходить.

— Ты, Томас, всегда был упрямым.

— Да и ты не мягок.

— Хоть бы отца сначала похоронил, а то бежишь — срамно глядеть.

Томас повернулся к светцу, застучал кресалом. Потом сказал:

— Похороним. Схожу с утра в монастырь, позову отца Иоганна, он лишнего любопытствовать не будет. А ты, Савел, — Томас повернулся к сыну, — собирай своих, забирай Радугу и отправляйтесь на болото. Землянку копайте по-зимнему, — бог знает сколько там сидеть придется. С собой волов угонишь и жеребую кобылу. А конь здесь на сенокосе нужнее.

— Куда волов угонишь?.. — ощерился Петер. — Ты, Томас, что-то много себе власти забирать стал!..

Спор готов был вспыхнуть вновь, но в этот момент отворилась дверь и на пороге появился Кристиан, пришедший узнать, долго ли ещё ему маять скот и племянника в лесной глуши.

Без малого сто лет назад воины Христовы, отняв этот край у племён, частью языческих, а частью отравленных учением схизматиков, заложили город

и крепость. Знатные рыцари, скинув плащ с крестом, начали строить замки, а истинные монахи воздвигли монастырь. Тогда же выстроили и резиденцию архиепископа. Мудрый предшественник Феодосия предусмотрительно выбрал место для дворца в стороне и от города, и от монастыря. Архипастырь понимал, что в городе верх рано или поздно возьмут купцы, склонные мамоны ради изгонять не угодных им духовных наставников. А с монахами белое духовенство дружило непримиримо и яростно, так что попадать в зависимость от настоятеля, келаря и последнего ключаря не хотелось.

Дворец был поставлен на совесть и считался дворцом лишь по названию. Ни единый выступ не украшал неприступные стены, узкие окна располагались высоко и были на деле бойницами. Глубокие подвалы хранили провиант на случай осады, а колодец во дворе, славившийся целебной водой, хотя и приносил доход в мирное время, но тоже был вырыт в ожидании войны. *Vole pace — para bellum!**

С того времени и повелось, что все архиепископы края были горячи ревнивым веро сердцем, но утверждались холодным разумом. Обрушившееся бедствие преосвященный Феодосий расценивал не аллегорически, а напрямую принял как видение далёкого будущего. И следовало из этого видения немало. Прежде всего — замку предстояло рухнуть, а городу расти. С первым Феодосий был согласен, со вторым же — нет. Дьявольский посад выплеснулся далеко за городские валы, дотянулся к самой архиепископской резиденции. Дворец с трёх сторон окружали стеклянные башни, а шпиль собора казался приземлённым рядом с их взметнувшейся высотой. Впрочем, и дворец, и собор видение повторило, хотя и внесло свои

* Хочешь мира — готовь войну! (лат.)

насмешливые поправки. Всё оказалось не таким — искаженным и испорченным. В первое мгновение Феодосий, как и многие, потерял голову от страха, служил молебен, произносил экзорцизмы, запрещал и проклинал. Успех был невелик, но зато на второй день призраки дружно убрали большинство своих произведений и ушли, оставив дворец хозяину. Феодосий объявил, что отлучение возымело действие, хотя сам в то не слишком верил. Утешало иное: призраки безропотно и чуть не своей охотой оставили дворец, значит, есть нечто, чего они боятся настолько, что заискивают перед духовным владыкой, невзирая на свою утонченную неуязвимость. Оставалось лишь найти это болезненное место.

Шабаш, свершающийся попушением господним, переводил в область практическую многие прежде умозрительные философские построения, прежде всего касающиеся предопределения и свободы воли. Давние диспуты грозили всплыть новой ересью. В эту точку и направил Феодосий свой ум.

Дорога к обители архиепископа некогда была обсажена с двух сторон дубами. Сделано так было не случайно: местное население в память о языческих мерзостях суеверно почитало дуб, и теперь это почтение обратилось на святую церковь. Если принять видимость за истину, то часть дубов должна дойти невредимой до скабрезного последнего века. Феодосий приказал срубить один из таких дубов и собственной персоной стоял невдалеке, ожидая, рухнет ли морщинистый гигант другого мира. Призрак устоял. Вывод из увиденного мог быть троякий: либо на этом месте успеет вырасти новый дуб, либо видением явлено не вполне верное будущее, либо же, по словам блаженного Августина, в мире этом всё предопределено, и человеку — гробу повапленному — не дано ничего совершить. Сомневаться в авторитете

автора «Града божьего» значило признать себя сторонником еретика Пелагия, но Феодосий и не соби-рался ничего публично объявлять. Он молча смотрел на старания дровосеков, потом также молча ушел к себе. Но вывод из увиденного сделал самый еретич-ный, ибо он оставлял возможность для борьбы.

Нет, мираклъ не был пророческим! Он лишь пре-дупреждал о грозной опасности. Но теперь Феодосий знал, что противопоставить ей! Пусть мифический дуб остался нетронутым, в настоящей жизни он уже не вырастет, поскольку его снёс топор. Пусть бесы, усмехаясь, проносятся в своих колесницах, видение открыло пастырю, откуда они могут произойти, где гнездо заразы. Скверну очищают огнем, подобно то-му как добрый хирург в зародыше выжигает рас-калённым пекеленом бородавку, готовую обратиться в раковую опухоль. Так церковь лечит общество, отсекая больные члены. Так же он будет лечить и будущее. Не дуб он срубит, но город! Источник воль-номыслия и нечестия — достаточно взглянуть на ми-раклъ, и становится ясно, где более всего преуспел дьявол. Город предстоит стереть с лица земли, иначе он исполнит пророчество и воздвигнет свои вавилон-ские башни превыше шпилей святой церкви.

Прежде всего архиепископ посетил монастырь, успокоил растерявшихся черноризцев. Потом отпра-вился в графскую цитадель и благословил доблест-ного, хоть и недалёкого, сеньора на битву с соб-ственными мужиками. На самом-то деле удар был направлен против горожан. Те, кто бежал из города, а таких было немало, как бы сами себя признавали виновными, ведь церковью было предписано «не ви-деть» дьяволов. Оставшимся волей-неволей прихо-дилось приспосабливаться к обезумевшей жизни, и их тоже было легко уязвить. Было бы только чем уязвлять.

Полностью доверять графу не было причин, а своих войск не доставало, значит, выручить должен был крестовый поход.

По закону, Феодосию следовало обратиться в Рим ждать папской буллы. Но Рим далеко, а время дорого. Памятуя мысль апостола, что по нужде и закону применение бывает, архиепископ написал в близлежащие области империи, прося помощи. Расчёт состоял в том, что и там растерянность грозит обернуться возмущением, и вернейшим способом ослабить напряжение была бы война. Вооружённая экспедиция позволит недовольным излить праведный гнев на головы противников истинного благочестия.

Преосвященный Феодосий не обманулся. Князья согласились, прелаты благословили предприятие, не дожидаясь голоса из Рима. Со дня на день Феодосий ожидал первые отряды.

Архиепископ в праздничном облачении: в белоснежной палии и митре сидел в молельной. Перед ним лежала тяжёлая библия, переписанная на мягком пергаменте искусными скрипторами Англии. Книга была раскрыта на псалмах Давида, но пастырь не читал знакомых строк, лишь повторял про себя: «Боже мой! Ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Пора было встречать приближающихся воинов, но известия о подходе всё ещё не было, и архиепископ ждал.

Распахнулась дверь, в молельной появился служка. Он пятился, широко раскинув руки, словно пытался загородить дорогу кому-то. Но при этом тихонько подвывал, как смертельно напуганное животное. Ярко, но ничего не осветив, вспыхнула бесовская лампа, оставленная под потолком, и в комнату вступило, казалось, зеркальное отражение Феодосия. Старец, столь же высокий, как Феодосий, и с таким же тяжёлым лицом, тоже был одет в парадное епи-

скопское облачение. Как и подлинный архиепископ, он был грузен, но двигался беззвучно, и ноги его не касались истинного каменного пола, проступающего сквозь деревянные плашки миража, что ясно указывало на призрачную природу гостя. Двойник остановился посреди комнаты и поднял руку, благословляя Феодосия. Тот молча стерпел кощунство, лишь дал знак оробелому служке удалиться.

Трое других призраков внесли в помещение столик, кресло, большую книгу, в которой без труда можно было узнать священное писание, и кипу белых листов. Вдвинули свой стол в глубь настоящего, разложили вещи и сгнули. Остался один двойник. Он уселся в кресло и тонким стилем начертил на одном из листов:

«Благоволение вам и мир во человецех».

— Иди от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его, — сказал Феодосий.

«Прошу писать, брат мой, — появилась новая строка, — ибо как ты не слышишь меня, так и мне не дано слышать тебя».

Феодосий молчал, тогда гость вновь начал писать своим неиссякаемым стилем:

«Что ты делаешь? Голос крови братьев твоих вопиет к Господу от земли».

Дьявол — изощрённый богослов. Но всё же Феодосий не убоился и вступил в диспут. Взял чисто выскобленный лист пергамента и ответил:

«Велик вопль Содомский и Гоморрский и грех их тяжёл весьма. Велико развращение человеков на земле и все мысли и помышления сердца их — зло во всякое время».

«Не судите, да не судимы будете, — возразил бесплотный двойник. — Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».

«Ныне приходит гнев божий на сынов противления, — легли слова на пергамент. — Облекусь в ризу мщения, как в одежду и покрою себя ревностью как плащом. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Положу врагов Господа в подножие ног Его. И сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубовой».

«Мудрость твоя и знание твоё, — покрылась знаками белизна бумаги, — сбили тебя с пути; ты твердишь в сердце своём: “я и никто кроме меня.” Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, а чтобы прилагать грех к греху. Ибо заповедано прощать брату твоему до семижды семидесяти раз».

Феодосий улыбнулся и протянул руку за пером. Чувствовал он себя уверенно. Пусть противник помнит наизусть хоть всю библию, он ничего не сможет доказать. На каждый призыв к милосердию в писании приходится по сотне угроз, проклятий и кровавых сцен. Недаром же папа запретил читать библию не принявшим священнического сана. Но пока лучше, чтобы это чудище, подобное морскому епископу, продолжило диспут и не смущало окружающих своим одеянием и еретическими листами. «Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мной». И написал уклончиво:

«Не знаю, чего просите».

«Исполнения заповеди: “Не убий”».

Уж здесь-то у него был готов ответ! Перо с комариным скрипом забегало по выскобленной коже:

«Совершу мщение и не пощажу никого, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаются в нечистоте».

И опять пришлец не смог соблюсти верности стиля — вставил от себя:

«Молю за детей и невинных младенцев, “таковых бо есть царство небесное”.»

«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто разобьёт младенцев твоих о камень!» — Бросив на пергамент эти слова, Феодосий мстительно усмехнулся и указал за окно, где до самого неба громоздились башни.

Лицо бесовского архимандрита посерело, глаза запали, но он продолжал марать бумагу:

«Кровожадного и коварного гнушается Господь. Возлюби ближнего своего как самого себя».

В залу скользнул секретарь, наклонившись к уху, прошептал:

— Войско прибыло.

«Страху господню научу вас», — словно приговор утверждая, написал Феодосий и, уже не глядя на двойника, перевернул страницу псалтыря, отчеркнул ногтем первую фразу: «Блажен муж, иже не идёт на совет нечестивых», — поднялся и вышел вон. И хотя не видел лица противника и уж заведомо ничего не слышал, но знал наверное, что тот шепчет смятенно:

— Господи! Помилуй их, ибо не ведают, что творят.

Феодосий торопливо вышел из дворца, встал на высоких ступенях. Внизу волновалось человеческое море, над головами вздымались штандарты баронов, покачивались пики и плоские острия алебард. Пять тысяч! И это только первый отряд. На площади воцарилась тишина, воины смотрели на епископа, и Феодосий молча взирал на них.

Перед ним были те же осатаневшие от страха мужики и рыцари, способные лишь размахивать ставшим вдруг бесполезным мечом. Но всего более — горожан, изгнанных из своих удобств возросшими вавилонами. Да, он не ошибся! В исконно-католиче-

ских землях творилась та же смута, что и здесь, но теперь эти люди, оторванные от дома дважды — чудом и походом, — не опасны. Более того, они помогут сохранить государство.

— Братия! — выдохнул Феодосий всей, ещё не старой грудью, и крик его разнёсся далеко над безмолвной толпой. — Мне ли говорить перед вами? Ибо видите сами, что грядут последние дни и настает час Армагеддона. Пришло время «прославить своё имя и совершить великое и страшное перед народом Господним». Псалмопевец сказал: «Подлинно, человек ходит подобно призраку», — и слова эти сбылись. «Много званых, но мало избранных». Вы — цвет христианства, а «сей народ — народ жестоковыйный», предавшийся Белиалу. Кто может не разъяриться гневом от его гнусностей? Живущие здесь — истинные виновники горя, ибо отдались дьяволу и сожительствоуют с Сатаной. Их базары шумят, их дома полны, в то время как вы бедствуете. Но «поистине есть суд божий на делающих такие дела»! Ныне церковь ждёт от вас рвения Моисея, в один день истребившего двадцать тысяч язычников, усердия Илии, мечом уничтожавшего служителей Валаама, подвигов Самсона, сокрушавшего филистимлян при жизни и смерти своей! — На секунду Феодосий замолк. В его памяти всплыл белый лист с каллиграфической латынью: «Молю за детей, “таковых бо есть царство небесное”». Вот чего боится враг! Феодосий хлебнул воздуха и, подняв благословляющее распятие, докричал: — Бейте всех, Господь отличит своих!

Бастин, как и следует уважающему себя кузнецу, в вопросах веры был более чем свободен. В церковь ходил редко, молитвы читал, как от дедов привык, — на родном языке. А чаще не читал вовсе. И всё ему

сходило, поскольку мастером Бастин был непревзойденным и умел спорить и с германскими оружейниками, и с мавританскими искусниками. Умел тянуть золото, не брезговал и лемешок для сохи сковать. Брался за всё. Зато и уважение ему было ото всех, и дальняя слава.

В жёны Бастин взял первую красавицу, сероглазую Агату — внучку богатого хуторянина Матфея, родную сестру горбуньи Рады. Матфей хоть и разборчив, а внучку отдал. Оно и понятно: деньги к деньгам, — это не только про бар писано. С женой Бастин жил складно и имел двоих мальчишек, которых Матфей хоть и не считал за своих (отданная девка — отрезанный ломоть), но любил наравне с остальными. А Рада так целыми днями гостила на кузнице, беседовала с чумазым хозяином и чуть не за подмастерье была. Говорили, что эти двое делятся ведовскими тайнами, в которых искони сведущи кузнецы, уроды и мельники.

Прослышав о призыве «удалиться совета нечестивых», Бастин лишь фыркнул: его это не касается. И отселяться не пожелал, хотя дом его вломился в самую середину многоярусного строения, возведённого духами. Агата каждый раз крестилась и зажмуривала глаза, прежде чем пройти через стену, наискось разгородившую дом. Сами духи, впрочем, не мешали — ушли на верхние ярусы, отнесясь к кузнецу с тем же уважением, что и к архиепископу.

Бастин видений не устрасился и, услышав жуткие рассказы о мастерских, где всё само делается, немедленно отправился туда; Агата даже отговаривать не пыталась.

Беззвучно хлопали молоты, высекавшие разом сотню узорчатых бляшек, размываясь в воздухе, вращался зажатый сталью инструмент, струйками тёк растопленный металл. И всё было укрыто,

спрятано, — чтобы наблюдать это, Бастин просовывал отчаянную голову внутрь глухих колпаков, пользуясь тем, что огонь не жёг и молот, ударяя, не бил его.

Вскоре Бастин умудрился обрести приятеля среди хозяев Гефестовой кузни. Чернобородый с весёлым оскалом парень резко выделялся среди прочей нежити, ушибленной чудом так же сильно, как и люди. Увидев Бастина, по плечи вбившегося в нутро механического паука, чернобородый расхохотался, потом остановил своего зверя и, распахнув кожух, повторил все операции медленно, чтобы их можно было наблюдать с понятием, а не как отсветы и стремительное мельтешение. Честно говоря, Бастин понял не много. Не понял главного — зачем нужны все те штуки, что выделявали чудовища, так легко покорявшиеся чернобородому. Но потом знакомец позволил Бастину заглянуть внутрь самобеглой тележки, и Бастин, осознав, что в подобные хитрости с ходу не вникнуть, отступился. Но знаками объяснил, что придёт и завтра.

Однако вышло по-иному. Когда Бастин вместе с чернобородым вышли на вольный воздух, то увидели впереди шеренгу солдат. По панталонам, раскрашенным под цвет знамени, он угадал наёмников ландграфа Августа. Бастина хорошо знали в замке, так что причин бояться ландскнехтов не было, но, понимая, что нынче и вооруженный люд не в себе, Бастин благоразумно схоронился в кустах, проросших сквозь заводскую стену. И сразу же возблагодарил себя за мудрую предусмотрительность.

На дороге показалась процессия. Два десятка людей, размахивая зелёными ветвями и нестройно распевая псалмы, двигались к фабрике. Впереди несли свежесрубленное деревце с листьями и пять белых хлебов на вышитых полотенцах. Несомненно, эти

люди поддались на уговоры очередного обезумевшего проповедника. Собирались ли они напугать призраков, поклониться им или уничтожить — Бастин не знал и не узнал никогда. Солдаты, скрытые холмом от идущих, вздели пики и ринулись в атаку. Раздались вопли, покачнулось и упало деревце. Паломники жинулись в разные стороны, солдаты гнались за ними и убивали в спину. Оброненный хлеб валялся в пыли.

Бастин лежал, вжавшись в песок. Удивительным образом ему не было страшно, хотя он понимал, что если его найдут здесь, то не раздумывая пронзят копьём и лишь потом, быть может, узнают. В висках стучала единственная мысль: домашние остались одни — кто защитит?

Чернобородый выскочил на дорогу. Он неслышно кричал и размахивал руками, пытаясь остановить бойню. На него не обращали внимания.

Спасти удалось немногим, лишь тем, кто побежал в сторону строений. Солдаты с оружием на изготовку рассыпались цепью и медленно двинулись вперёд.

«Облава!» — догадался Бастин. Он попятился ползком, стараясь не выдать себя, хотя и понимал, что завод невелик и скоро всех бежавших выгонят на противоположную сторону.

Убийцы двигались неторопливо, обшаривая каждый куст и не глядя на чудные механизмы, продолжающие работу. За убежавшими солдаты не гнались, и из этого Бастин заключил, что с той стороны их ожидает ещё одна шеренга. Бастин вскочил и побежал, не скрываясь. Он ещё успел по дороге выломать палку, хотя и понимал, насколько бессмысленно идти с хворостиной против латника.

Предчувствие не обмануло Бастина. По ту сторону зарослей, опираясь на древки протазанов, стоял второй отряд. Безоружные, выгнанные на открытое

пространство люди остановились. Бежать было некуда. И тут Бастин снова заметил чернобородого. Очевидно, призрак не тратил даром те полтора часа, что Бастин ползал по кустам. На спине у чернобородого горбатился ещё не виданный Бастином механизм. Продолговатые баллоны, выкрашенные в серый цвет, соединялись короткими трубами, и чёрный раструб был направлен в сторону солдат. Никто не успел понять, что происходит. Стремительная струя огня вонзилась в узкий промежуток между людьми, разединив их. Туго скрученное пламя казалось сносило всё на пути. Чернобородый медленно повёл пышущим раструбом в сторону солдат, и те не выдержали, побросав оружие, бросились наутёк. Новый шквал огня отсек дрожащих крестьян от замерших в кустах загонщиков. Началась всеобщая паника. Через минуту на лугу оставались только чернобородый и Бастин. Все остальные — и жертвы, и охотники — разбежались в разные стороны.

Горела трава, белые стены мастерских густо покрылись языками копоты. Но кусты и трава, по которым пробирался Бастин, оставались целы. Бастин единственный сумел заметить, что огненный ужас бушует лишь в том мире, а здесь не может сделать ничего. Кузнец подошел к огнемётчику, улыбнулся спёкшимися губами:

— Спасибо, брат.

Вдвоём они направились прочь от завода. Бастин спешил впереди, чернобородый с оружием на изготовку, словно телохранитель, торопился сзади. Беспокойство не оставляло Бастина, он всё ускорял шаг, потом побежал... Потом остановился... он увидел, что спешил зря. С пригорка ему открылось дымящее пожарище на месте дома, догорающие столбы ворот, а чуть в стороне — нетронутая огнём кузница. Стены потустороннего дома гордо вздымались над пепели-

щем, но даже из призраков никого не было видно, словно и они, убоявшись, попрятались.

Шатаясь, Бастин подбежал к остаткам дома. Перед горящими воротами он нашёл зарубленного старшего сына, в кузнице — мёртвого молотобойца. Его пробили копьём прежде, чем он успел дотянуться к своему сокрушающему инструменту. Агаты и младшего сына нигде не было, но от рухнувших стен так страшно тянуло горелым, что Бастин не стал напрасно звать их.

Чернобородый стоял у стены, угольный зрачок плавал в распахнутых глазах, белые пальцы сцепились на раструбе огнемётной машины. Бастин увидел его, шагнул, протянул руку:

— Дай мне это, слышишь? Понимаю, что никак, но ты мне только покажи, я сам сделаю! Дай!

И призрак понял. Он оторвался от стены, открыл баллон, вылил на камень немного прозрачной жидкости. Чиркнул палочкой — этот фокус Бастин уже видел — и поднёс к лужице огонёк. Жидкость вспыхнула густым коптящим пламенем.

— Сде-е-елаю! — каркнул Бастин. — Живичного скипидару из корья нагоню — он также горит. Ты показывай, что внутри!

Одну за другой чернобородый принялся отсоединять от своего оружия детали и раскладывать их перед Бастином, под его внимательный заострившийся взгляд.

Чуть больше недели прошло с того мгновения, как детский сад из пригородного лесопарка окружило зыбучее болото, а холм порос вековым лесом, но за эту неделю многое изменилось в обоих мирах. Оставленный без ухода парк быстро терял лоск: на дорожках валялись сбитые ветром сучья, неподстриженная

трава превратила утопанные спортивные площадки в обычные лужайки. В Хвойном теперь почти никого не было — горожане спешили вернуться в свои многоэтажки, многие вообще зачем-то вскинулись и уехали куда-то, хотя и знали, что взбесившийся мираж захватил всю землю и по-настоящему укрыться можно только на Луне. Детей в группе у Гелии оставалось всего двое: Маша и Костик, да ещё однажды на день появилась Жанна.

Зато на Буреломье жизнь кипела ключом. На пастушьей стоянке теперь жила куча народу. Чумазый Теодор командовал не только детсадовцами, но и тремя младшими братьями. Их отец — Гелия хоть и с трудом, но разобралась в семейных отношениях соседей — хмуро рыл на пригорке огромную яму. Гелия долго не могла понять, зачем нужна такая воронка, и, лишь когда Савел начал выкладывать вдоль земляных стенок сруб, догадалась, что люди собираются в этой норе жить.

Кристиан вместе с худым пожилым мужчиной — главой этой странной семьи — полный день пропадал на болоте, уходил затемно и затемно возвращался. Мужчины косили белёсую осоку и жирные дудки ядовитой цикуты, вязками таскали траву на плотное место и сушили там, раскидав по земле. Скот пасся на привязи, подальше от зимних кормов, смертельных, куда солнце не выжжет из свежих стеблей яд.

В лагере всем заправляла горбунья. Она успевала управиться со скотиной и обедом, обиходить детей и взрослых, а в свободные минуты бежала ворошить сено или, по-мужски широко расставив ноги, тяжёлым косарём ошкуривала заготовленные для землянки брёвна.

Гелия горбуньи боялась. Что-то страшное рассказывала об этой женщине мать одной из девочек. Что-то связанное с убитыми детьми. Гелии тогда стало плохо,

она не дослушала и теперь то и дело замирала в испуге, не зная, чего ожидать от увечной. Рада сумрачно смотрела на прозрачную фигурку Гелии, иногда говорила что-то, едва разжимая неподвижные губы. И только когда рука Гелии замирала на секунду на головёнке кого-нибудь из детей — своих или Радиных, которых она даже ощутить не могла, маска горбуни неприметно смягчалась, притухал огонь в глазницах, и лицо становилось похожим на лицо Кристиана.

С утра Рада отправила Теодора помогать косцам, начавшим метать большой стог, и все дети остались с Гелией. Обычно Теодор мобилизовывал их на сбор грибов, которые немедленно крошились в котёл, независимо от того, что булькало там, но сегодня без бригадира дело не спорилось. Малыши играли, нисколько не смущаясь тем, что не могут коснуться и слышать друг друга. Они вовсю объяснялись универсальным языком жестов, и им было весело. Гелия стояла на крыльце и смотрела вдаль. До чего же быстро она привыкла, что парк, всегда полный людей, слился с болотом и что гуляющих теперь не отыщешь днём с огнём, все ужасно заняты и спешат. Привыкла к жизни, идущей рядом и царапающей сердце своим неудобством. Привыкла беспокоиться за троих грязнуль: Георга, Антона и Себастьяна, бояться, что непогода начнётся прежде, чем их отец настелит в землянке кровлю. Привыкла встречать вечером усталую улыбку Кристиана. Непостижимый, не допускающий к себе мир, в котором она почти дома.

Внизу у подножия холма Гелия заметила какое-то движение. Заслонившись ладонью от солнца, разглядела две человеческие фигуры. Прежде и в голову не пришло бы пугаться из-за идущих мужчин, но теперь... она часовой, она делает единственное доступное дело — охраняет доверившихся ей людей. Гелия подбежала к костру, привлекла внимание Рады,

указала на путников. Уже было видно, что это люди другого мира: серые войлочные шляпы, куртки со шнуровкой, босые ноги, до лодыжек обтянутые узкими штанами. Но, несмотря на одинаковый наряд, они были разительно несхожи. Один — со щегольской бородкой — шагал налегке и, казалось, даже в грязи испачкан не был. Второй — заросший до самых глаз, пёр чудовищной величины котомку и в правой руке нёс узел, а левой прижимал к груди мальчонку лет четырёх, который сам, конечно, не смог бы передвигаться по медленно расступающейся болотной жиже.

Очевидно, Рада узнала идущих, потому что тут же поспешила навстречу. Щеголеватый успел тем временем подняться наверх. Он стащил с волос шляпу, улыбнулся, блеснул крепкими зубами и произнес:

— Добрый день.

— Ой!.. — сказала Гелия.

— Меня зовут Марат, — представился чернородый.

— Гелия... — отозвалась девушка. — А зачем вы... этот маскарад... скверно так смеяться.

— Военная хитрость! — усмехнулся гость. — Ведь похож, правда? Вот и они путают. — Марат помолчал и добавил серьёзно: — Там убивают. И я решил: пусть лучше крестоносцы за мной бегают, чем за ними.

— Простите, — прошептала Гелия. — Я не подумала.

— Прощу, если мы сейчас же переходим на «ты», — сказал Марат. — Терпеть не могу выканья.

— Хорошо.

Второго путника уже окружили остальные беженцы. Мальчик переключевал на колени к Раде и, пачкаясь, хлебал из миски густую молочную тюрю. Пришедший рассказывал что-то, и люди, замерев, слушали его.

— Кузнец это, — сказал Марат. — Семью у него убили чуть не на глазах. Ни за что, просто так убили. Их власти крестовый поход готовят, против своих же. Колдунов ищут, еретиков, чтобы злость сорвать. А он не еретик, он простой кузнец. То есть не простой конечно, он замечательный кузнец, самородок, — Марат вдруг засмеялся, зловеще, с придыхом, — погоди, попомнят они этого кузнеца, крепко попомнят...

Гелия молчала, не очень понимая, чему радуется собеседник. Понимала лишь, что на Марата слишком сильно подействовало то страшное, чему он был свидетелем, и теперь скопившееся напряжение разряжается невнятной речью и нервным смехом.

— Вот что, — сказала она. — Пошли пить чай. У хозяйки обед готов, а мне моих пора кормить...

— К вам ещё кто-то едет, — вместо ответа сказал Марат.

В этом случае не могло быть и тени сомнения, к какому миру относятся гости. Вдалеке оба ландшафта сливались, но лучше виден был тот, что оказывался сверху, так что приближающийся автомобиль казался диковинной лодкой, плывущей через камыши. Машина была хорошо знакома Гелии, она обслуживала детские учреждения, поэтому ей и разрешалось ездить по парку. Хлопнула дверца, из машины вышли двое — в одном Гелия узнала регионального инспектора.

Этого только не хватало! Уже пятнадцать минут, как по расписанию начался обед, а дети всё ещё на улице. И не важно, что сегодня их всего двое, — распорядок дня всё равно нарушен.

— Быстро мой руки, — скомандовала Гелия Маше и побежала за Костиком, который конечно же умотал к костру.

По счастью, инспектор — пан Крыльский — был настроен благодушно и хотя не преминул посмотреть

на часы и заметить: «Опаздываете...» — но этим и ограничился.

— Приходится, — сказала Гелия. — Соседка кашу не доварила. — Нельзя же детей в разное время кормить.

Крыльский с любопытством оглядел бивак, расположившийся на другом конце площадки.

— Да, у вас тут коммуна. Очень мешают?

— Нет, — сказала Гелия, — это же люди. Мы дружно живём, а дети вместе играют.

— Это как? — не понял инспектор.

— В прятки. Грибы собирают: мои ищут, а те — рвут. Ещё им нравится друг сквозь друга пробегать.

— Что же, Гелия, вы удачно обошли трудности. В других местах положение хуже, можно сказать, что ассоциации больше не существует. Многие воспитатели побросали работу и куда-то помчались. Куда, зачем? — не понимаю. Повсюду одно и то же. У некоторых — нервные срывы, они тоже больше не работники. А дети насмотрелись гадостей, мерзости всякой. Среди них сейчас настоящая эпидемия жестокости. Раз можно ударить пронизаемого, значит, можно и своего товарища. Родители, почти все, детей из наших садов забрали, держат при себе. А то не представляю, как мы и справились бы.

— Знаю, — сказала Гелия. — У меня тоже группа пуста, и продуктов вчера не привезли. Что творится — не пойму. У нас же войны нет!

— А паника есть, — сказал Крыльский. — Это немногим легче. Так что придётся вам отсюда уезжать. Нам удалось договориться об эвакуации детей в ненаселённые районы. То есть, я хотел сказать, в районы, которые были незаселены в те времена. Родители, которые не могут приехать, предупреждены и согласны. Воспитателей мы отбираем лишь самых опытных, и я рекомендовал вас.

Минуту Гелия молчала. Мысли её были в смятении, впоследствии она не могла даже сказать, будто перебирала варианты или искала доводы. Однако решение приняла.

— Я не могу ехать, — виновато сказала она. — Посмотрите, сколько тут малышей, что они подумают, если я вдруг исчезну?

— Но пани Гелия! — вскричал Крыльский. — Эти люди — там! Какое вы имеете к ним отношение? То есть, простите, отношение имеете, но что можете для них сделать?

— Я могу улыбнуться, успокоить, — сказала Гелия. — Кино по вечерам смотрим, я мультфильмы выбираю без слов. Присмотреть могу, пока Рада занята.

— Какая Рада? — не понял Крыльский.

— Женщину у костра видели? Горбатую. Её Радой зовут.

— С ума сойти! — Крыльский потёр лоб, сообщая. — В ваших словах есть резон, пусть будет по-вашему, но это всё равно безумие. Значит, мы открываем филиал в невещественном мире. Машу с Костиком мне придётся забрать, родители придут за ними на остров, но вашу группу мы продолжаем числить действующей. С ума сойти!

— Я действую, — сказала Гелия. — Через день папа должен Жанну привезти. У нас ведь тоже сенокос...

Гелия не сомневалась в своём решении, но, когда Крыльский увёз двух последних воспитанников и дом затих, Гелия закрылась в дальней комнате и целый час проплакала. Потом встала, умылась, припудрила зарёванную физиономию. На улице начинало темнеть, пора было показывать вечерний мультфильм.

Отпрыгали на экране три поросёнка, такие же нездешние, как и усевшиеся кружком зрители. Рада

загнала свою ораву в землянку, и стало окончательно пусто. Гелия прошла по комнатам, машинально расставляя разбросанные Костином игрушки. Снова вышла на улицу. На камне возле крыльца сидел Кристиан.

— Добрый вечер, — сказала Гелия и присела на ступеньку.

— Добрый вечер, — сказал Кристиан.

— Видишь, как удачно выходит, — сказала Гелия, — семья собралась, большая, дружная. Устраиваетесь потихоньку. Я знаю, вы выбьетесь, лишь бы вам никто не помешал. А у меня — наоборот, все разлетелось, как не было.

— Агату убили, сестрёнку мою, — тихо сказал Кристиан. — В доме сожгли. Только Бастин, свояк, и спасся, да и то никак в уме повредился. Мальчика принес, чужого. Называет его Яриком, как своего младшего, а тот откликается. И Рада малыша признала... значит, судьба.

— Мне сегодня уехать предложили, — сказала Гелия, — а я отказалась. Куда я теперь без вас?.. Смешно, правда?

— Бастин говорит, будто сделал огнёмётную машину, какой у вас воюют. Я ему не верю — разве у вас бывает война? А может, и вправду сделал, Бастин может. Я думал — только мы знаем дорогу на Буреломье, а у него, оказывается, тут углеище устроено, на дальнем конце. Говорит, для огнёмётной машины скипидар нужен, просил помочь. Я согласился.

— Ночь сегодня какая тёплая, — сказала Гелия, поднимаясь со ступеньки. — Пойдем, немного походим? Мне теперь никого караулить не надо.

— Углеище показать? — спросил Кристиан. — Давай. Только темно вот-вот станет, ничего не увидим.

Они тихо пошли, Гелия по дорожке, Кристиан через кусты, местами уже вырубленные на дрова

и для засыпки крыши между брёвнами и слоем земли.

— Бастин говорит, ему один из ваших помогал — чернобородый, что с ним пришел. Он ему показывал, что и как, а Бастин делал. Ты знаешь... — Кристиан запнулся, — мне этот чернобородый не нравится. Ты прости, я понимаю, что у вас нет плохих людей, но я и не говорю, что он плохой. Он мне просто не нравится. Я не хочу, чтобы на тебя смотрели так, как он.

— До чего красиво! — сказала Гелия. — У вас, вообще, красивее, чем у нас, хоть и болото, и заросли.

— Ты не замёрзнешь, Ангела? — спросил Кристиан. — Ночь сегодня холодная...

Кристиан остановился, словно пытаясь согреть, положил руки на плечи Гелии, осторожно провёл пальцами вдоль шеи, и Гелия покорно замерла, смущённая этой лаской без прикосновения.

— Ангела, — быстро и освобождённо зашептал Кристиан, — ты самая лучшая на свете, я теперь не смогу без тебя жить... Почему ты там, где можно только смотреть на тебя? Я понимаю, что недостойн попасть в твою жизнь, но я люблю тебя, я бы сберег тебя и здесь, сохранил от всякой беды. Я тебя люблю...

— Ну что ты?.. — тоже шёпотом, словно кто-то мог услышать, твердила Гелия. — Ты же умница, Кристиан, ты же сам всё понимаешь... Мы дальше друг от друга, чем звёзды, я никогда не смогу к тебе прикоснуться... Какой же ты глупый, какие мы с тобой глупые, хороший мой...

К дому Гелия вернулась, когда уже царил глухая ночь. Лампа, обычно светившая над крыльцом, сегодня не горела, и Гелия не сразу заметила фигуру, сидящую на ступенях. При виде Гелии Марат встал, кашлянул, словно предупреждая о себе, сказал нарочито бодрым голосом:

— А я к вам. Что-то мы с кузнецом завертелись сегодня, и мне теперь домой не попасть. Машины нет, транспорт не ходит. Переночевать не пустите?

— Ладно, — согласилась Гелия, с недоумением отметив, как неожиданно Марат перешёл на «вы». — Детей сегодня нет, можно в игровой устроиться.

Она вошла в дом, повела рукой по стене в поисках выключателя, но почувствовала на своих плечах ладони Марата. Гелия развернулась, уходя от повелевающей тяжести.

— Что ты? — позвал Марат. — Иди сюда.

— Пусти, — шёпотом потребовала Гелия.

Ладони ослабли, но сам Марат придвинулся ближе, бормоча какие-то фразы, которые днём могли бы показаться глупыми и смешными, но сейчас пугали, бросая в дрожь.

— Пусти! — повторила Гелия. — Увидят...

— Кто? — опешивший Марат прервал горячий монолог.

— В землянке не спят.

— А уж их это никак не касается! — Марат рассмеялся. Его смех придавал Гелии силы, она резким движением вывернулась из чужих объятий и отступила на шаг. Щёлкнула выключателем, залив прихожую отрезвляющим светом.

— Их это касается больше, чем ты думаешь, — сказала она почти спокойно. — А ты... Ты извини, Марат, я знаю, ты хороший человек и не станешь обижаться, но ты мне просто не нравишься.

С трудом протиснувшись через узкий лаз, Петер выбрался наружу и огляделся. Вокруг было спокойно, лишь со стороны хутора доносились возгласы и жуткий хруст горящего дерева. Следом из дыры по-

казался Атанас, Ханна, затем — дети. Последней ползла Марта — Петерова жена.

Чуть приподнявшись, Петер сквозь кисти цветущей лебеды попытался рассмотреть хутор. Огонь охватил уже оба дома, пылал двор и сарай. Солдаты, толпящиеся вокруг, отступали, заслоняясь руками от жара. Из горла Петера вырвался всхлип. В один час он потерял всё! Дома, имущество, нажитое предками, уложенное в дедовские сундуки, две пары пахотных волов, конь... всё сгорело или пограблено свалившимися неведомо откуда чужаками в страшных белых плащах с крестом. Давно уже никто не видал крестоносцев, один дед Матфей рассказывал о них, остальным же казалось, что это легенды времен короля Атли. Но видно, сместилось само время, на поля пали тучи крестоносной саранчи, так что Петер с семьёй едва успел уползти по чудом сохранившемуся дедову лазу.

Атанас с Марком под руки вытащили из-под земли мать, Ханна взвалила на плечо узлы с немногими спасёнными пожитками, и все, прячась и пригибаясь, двинули по оврагу к лесу.

Но уйти незамеченными не удалось. Фигура в белой накидке появилась на краю обрыва. Солдат закричал по-немецки, указывая на мужиков. Марк, видя, что их всё равно обнаружили, метнул ременный аркан, который нёс в руке, крестоносец рухнул вниз, а Атанас хладнокровно ткнул ножом сквозь нашитый крест и ремни кирасы, заставив немца замолчать. Женщины, похватав малышей, побежали.

До кустов, означавших начало мокрого леса, оставалось уже совсем немного, когда на том конце поля показалась погоня. Крестоносцы тоже были пешими, не успели ещё обзавестись в чужих землях лошадьми, но двигались гораздо быстрее беженцев, которых сдерживали дети.

— Ханна! — крикнул Петер невестке. — Выве-
дешь детей к Буреломью — дорогу знаешь. Смотри
только, путь не слишком тропи, а то найдут. Томасу
кланяйся, прощенья от меня проси. А я с сынами
здесь постою, солдат задержим. Атанас, Марек —
стойте!

— Не на-а-до!.. — истошно закричала Ева, но
Марк ладонью ударил её по щеке, прервав крик;
потом наклонился, поцеловал в губы, сказал что-то,
и Ева, пошатываясь, пошла, затем, подхватив на руки
приотставшую Монику — свои-то мальчишки мча-
лись впереди, — побежала.

Петер с сыновьями стояли, выпрямившись в рост.
Спешившие по следу солдаты при виде их перешли
на шаг, потом остановились.

«В другой раз косами не отмашешься», — вспо-
нил Петер слова брата. Так и вышло. Солдаты при-
шли новые, а в руках и кос нет — не пролезли сквозь
узкий лаз.

Петер положил руку на пояс, вытащил изогнутый,
искусной Бастиновой работы нож-косарь. Сыновья
молча повторили его движение.

— Стоим, мальчики! — выдохнул Петер. — Креп-
ко стоим. Не сойдем со своей земли! Дольше просто-
им — вернее наши спасутся.

Ландскнехты выстроились полукругом, выставили
на изготовку алебарды и медленно, мелкими шажка-
ми двинулись вперед.

Утром кузнец взвалил на плечо изготовленные
самострелы и отправился вниз. Марат пошёл вместе
с ним. В его голове окончательно созрел план дейст-
вий, Марат был уверен, что кузнец поймет и согла-
сится с этим планом. Кузнец брёл по болоту, нащу-
пывая путь среди кочек, развалисто проходил дро-

жащим зыбуном, по пояс в грязи пробирался вдоль затонувшей гати. Марат, насвистывая, шагал по дорожкам. Свистел, чтобы скрыть неловкость оттого, что товарищ, с которым задумано одно дело, мучается, а он — гуляет.

Гиблое болото, со всех сторон прикрывавшее Буреломье, совпало с городским лесопарком, сухим, ухоженным, покрытом сложной сетью утоптаных дорожек. В любую погоду здесь практически где угодно можно было пройти, не замочив ног. Земля эта принадлежала городу, лишь отдельные участки были арендованы пансионатами или детскими учреждениями. Всегда здесь бывало много людей, но теперь все жались по верхним этажам, и лишь полоски света сквозь занавешенные окна показывали, что люди никуда не делись.

После первого шока и первых отчаянных попыток вмешаться в жестокую жизнь средневековья наступила реакция: каждый стремился отгородиться от непрошенных картин, так что на улице теперь можно встретить только вышедших по делу. Да ещё стали появляться любопытствующие, рассматривающие беду двух миров как интересное зрелище. Они посещали публичные казни, любознательно врывались в чужие дома и глазели, стоя посреди битвы. Марат не мог понять, откуда так быстро появилась в его мире эта разновидность людей. Вроде бы никто из знакомых прежде не мог так себя вести. Но и зевакам было нечего делать в парке, залитом изображением вонючего болота. Марат и кузнец были одни.

Изобразив несложную пантомиму, Марат объяснил свой замысел, и кузнец действительно сразу понял. Он заулыбался, хищно блеснув зубами, и принялся устанавливать самострелы. Марат разломал волосы, закатал штанины и, подойдя к одному

из парковых прудов, вымазался илом. В парке, в нижней его части, было вырыто много небольших прудиков. Вода в них была тёмная, торфяная, что заставляло верить, что и впрямь когда-то здесь лежали болота.

Марат несколько раз пробежал по выверенному маршруту, стараясь волочить ноги и всячески изображая человека, из последних сил бегущего по болоту. Изумрудная поверхность трясины лежала здесь чуть выше настоящей земли, так что спектакль получался достаточно убедительным, и кузнец радостно скалился, восхищенно тряс головой и даже попытался хлопнуть Марата по плечу.

Эту игру прервало зрелище чёрного столба дыма, выросшего над лесом. Дым поднимался в безветренное небо, постепенно расплываясь грязной кляксой. Кузнец, сразу потерявший злобную весёлость, что-то крикнул Марату, указав на дым.

— Сигнал? — спросил Марат, стараясь догадаться, что означает появление дыма.

Кузнец шлёпнул себя ладонью по груди и махнул в сторону холмов, откуда они пришли. Марату было указано в противоположную сторону.

«Началось, — понял Марат. — Идут».

Он с готовностью кивнул и поспешил навстречу дыму. Сердце колотилось в горле, как тогда, когда он огнём отсекал бегущих от преследователей. Но сегодня всё гораздо серьёзней. Теперь он будет не просто пугать, он вступил в войну по-настоящему.

По дороге ему попала группа людей: четверо женщин и дюжина детей спешили, продираясь между кустов, к болоту. На секунду у Марата заглохло в душе, что беженцы могут напороться на самострелы, но путники свернули в сторону, и Марат успокоился. Он вышел к опушке, достал бинокль и огляделся.

Бинокль был не нужен. В двадцати шагах от Марата толпились вооружённые люди в накидках с крестами, они жестикулировали, что-то объясняя друг другу. Блестели металлические нагрудники и круглые стальные шапки, над головами косо поднимались древки алебард. Солдат было около полусотни, ещё несколько тел лежало на земле, и у них не было ни кирас, ни шлемов.

Марат положил бинокль на землю. Рассматривать убитых он не мог, и без того в желудке проснулась тягучая боль, и самый обычный животный страх охватил его. Игра всерьёз мстила за себя — страх был настоящим, и мысль, что ему никто ничего не может сделать, ничуть не успокаивала.

Но пора было действовать. Солдаты растянулись неширокой шеренгой и двинулись по следам беглецов. Рассчитанно неловким движением Марат демаскировал себя. Его заметили, преследователи на мгновение замерли, а потом разделились. В его сторону двинулись лишь четверо, остальные продолжали идти по протоптанной беглецами тропе.

Марат бежал по дорожке мимо указателя: «Проголочный маршрут №1», бежал медленно, уклоняясь от кустов, которые не могли задеть его, шатаясь от усталости, которой не было, спотыкаясь о коряги, которые приходилось воображать, и на смену раставшему страху возвращался весёлый азарт.

«Вам захотелось охоты? Вы её получите! Только учтите, дичь кусается, а вот вы меня укусить не сможете. Что же вы топчетесь? Быстрее! Вот он, первый самострел...»

Марат пробежал мимо натянутой через тропу нити. Торопившиеся позади ландскнехты не ожидали подвоха, и, оглянувшись через полминуты, Марат увидел, что расстояние до врагов заметно увеличилось, а самих преследователей осталось всего трое

и идут они только по его следам. Марат, упав два раза, подпустил солдат поближе. Арбалетная стрела безмолвно вонзилась у самой его головы в корявый ствол, худосочные изгибы которого предвещали близость топи.

Вторую сторожевую нить Марат пересёк, разрезав грудью, так что идущие по следам послушно попали и в эту ловушку. Но всё же двое уцелевших не прекращали погони.

Вокруг тянулись сухие, истлевшие изнутри березки, кочки качались под ногами у солдат, Марату приходилось прилагать массу усилий, чтобы вести себя правдоподобно. Дважды он, вздымая фонтаны брызг, обрушивался в карликовые пруды и вновь, мокрый до нитки, покрытый чёрной грязью, ковылял по садовой дорожке. Солдаты неуклонно приближались.

Зелёную лужайку, одинаково ровную и привлекательную в обоих мирах, Марат пробежал буквально спиной, чувствуя наседающих преследователей. Те выскочили на поляну, зелёный покров мягко расползся под их ногами, и оба они мгновенно по грудь ушли в трясину.

Марат остановился, прислонившись спиной к сосне. Один из солдат почти сразу был затянут вглубь, тина уже разгладилась на этом месте, не оставив никакого следа. Второй успел сунуть древко алебарды себе под живот и теперь бился, пытаясь выбраться, дотянуться отчаянно машущей рукой до режущих кромок осоки, окружающей гиблую полянку. Но белёсые травинки обрывались, и крестоносец постепенно погружался в грязь. Марат не мог понять, видит ли его тонущий, но сам он видел всё до мельчайших подробностей: скрюченные руки, белые от ужаса глаза, закушенную губу, с которой сочилась, мешаясь с мутной водой, тонкая крас-

ная струйка. Ландскнехт не кричал, видимо не надеясь на помощь или просто лишившись с перепугу голоса.

— Ты сам этого хотел, — выговорил Марат. — Ты — убийца. Если бы ты мог убить меня, ты бы даже сейчас не задумался бы ни на секунду...

Слова звучали неубедительно. Тонуший ушел в трясину до подбородка. Марат подошел, наклонился, обреченно пытаясь помочь. Пальцы наткнулись на подстриженную траву и ухоженную землю газона. Вода заливала открытые немигающие глаза, поднялось несколько медленных пузырей, свежая невинная зелень сомкнулась, скрыв все.

— Я не хотел так! — крикнул Марат.

Спотыкаясь, он добрался к ближнему самострелу. Подстреленный крестоносец был ещё жив, запрокинутое лицо исходило потом, скребущие пальцы скользили сквозь неподвижную траву. Он был совсем молодым — мальчишка шестнадцати или семнадцати лет с нетронутой бритвой щеками и пухлыми детскими губами. И можно было сколько угодно оправдывать себя, твердить, что это законченный негодяй и убийца, отводить глаза на алебарду, с лезвия которой ещё не стёрта чужая кровь, всё равно на земле лежал мальчик, которому нестерпимо больно и страшно умирать здесь одному.

Марат сел на землю и сухо, без слёз, заплакал.

День Кристиан провёл на углеще. На дальнем конце Буреломья возле не застывающей даже зимой трясины Бастином была отрыта землянка, обустроены кучи для пережигания угля и поставлен навес с горном, наковальней и прочим потребным инструментом. Здесь Бастин исполнял тонкую секретную работу, которую не желал подставлять под чужие глаза.

Может быть, одна Рада, повсюду шнырявшая в поисках тайных трав, знала, куда и зачем пропадает временами её свояк. Но потому и было ей открыто многое, что урода умела молчать.

Теперь же Бастин привёл сюда Кристиана и просил помощи. Отец, хоть и проворчал, что, мол, сенокос в разгаре, но, поверив Бастину, Кристиана отпустил и даже лошадь дал, отвезти надранное при постройке землянки корьё. А на косьбу отправился с Савелом, решив, что землянка уже под крышей, а без печи летом не замёрзнешь.

За день Кристиан освоил несложный труд углежога, приготовил две большие бутылки скипидару, а дёгтю выгнал столько, что его хватило бы на все телеги графства и ещё на долю гулящих девок осталось бы. Но Бастин твердил одно: «Мало». У него, оказывается, и старый запас был, но добрую половину его они сожгли, испытывая огнемётную машину. Когда впервые огненный змей вырвался из трубы, поджигая кусты и пятная чёрными ожогами камни, Кристиану едва достало сил не бросить всё и не побежать прочь, куда угодно, лишь бы подальше от этого. Прежде он и представить не мог такого ужаса. Но Бастин и чернобородый оставались недовольны и долго спорили, размахивая руками и рисуя — один на куске бересты, другой в карманной книжице.

Кристиан изломался за день, как прежде не приходилось даже в самую пору страды. Разворошив последнюю кучу и слив остро пахнущую кубовую воду отстаиваться в глиняную с дыркой в боку корчагу, Кристиан уже не мог дойти к землянке и повалился в вытопанную грязную траву. Он слышал, как стучит молотком Бастин, мастерающий засадные самострелы, и удивился, откуда у того берутся силы и как он исхитряется поспевать везде. А когда открыл глаза, то увидел Гелию. Она сидела на корточках

рядом с ним и осторожно проводила пальцами ему по волосам.

— Ангела... — прошептал Кристиан.

Он поднял руку — и опустил, не осмеливаясь приблизить к девушке вымазанные углем и дёгтем пальцы. Только теперь он понял, отчего с таким страшным надрывом работал весь день. Он старался убить тоску тела, не желающего мириться с холодным словом «никогда». Но усталость даже не притупила отчаяния. Как хотелось бы, изо всех сил зажмурившись, спрятаться лицом в коленях любимой или хотя бы ощутить на волосах прикосновение тонких пальцев... Трудно любить с открытыми глазами.

Быстро темнело, они уже едва различали друг друга, но продолжали сидеть рядом, шепча каждый своё, но об одном.

А утром вновь началась работа. Бастин с чернобородым отправились ставить самострелы, а Кристиан, которому Бастин не доверил работать одному, пошёл топтать глину для сыромятных кирпичей. Зима не за горами, и тогда в землянке тепла не надышишь.

Вылепить он успел всего с десяток кирпичин. Неожиданно вернулся Бастин. Коротко взглянул на сбежавшихся, сказал буднично и тихо:

— Хутор горит.

Началась суматоха. Савеловы мальчишки погнали скот поглубже в заросли, привязывать, чтобы не разбежался. Томас вынес из землянки четыре алебарды, которые, не послушав старшего брата, все же сохранил. Одну из алебард тут же ухватила Рада, и никто не осмелился возразить. Бастин осмотрел трофейный арбалет, взвёл его, одобрительно помянув свейских оружейников. Огнемётная машина ещё прежде была установлена среди камней. Горючего при ней было на полминуты боя, а это значит, можно

выжечь весь склон и часть гати, докуда достанет огненная струя.

Полчаса прошло в томительном молчании. Внизу было неподвижно и тихо.

— Может, и не придут? — выговорил наконец Савел. — Что им в болото соваться без толку?

— Прий-йдут... — протянул в ответ Бастин. — Тропу мы натоптали — слепой не заблудится.

И действительно, вдалеке на гати показались движущиеся фигуры.

— Это же наши! — воскликнул Томас, взглядевшись. — Петеровы бабы бегут!

Теперь и Кристиан различал идущих: Ханну, так и не бросившую какие-то узлы, Катерину с Ксюшой на руках, Еву, к которой прижалась Моника. Лидия тащила Матюшку, а все остальные дети, даже Стефан, бежали сами. Не было лишь мужиков и Марты, — очевидно, старуха отстала, не выдержав гонки.

А следом, опаздывая совсем немного и неуклонно приближаясь, двигалась шеренга фигур в когда-то белых, но перемазанных тиной плащах.

— Крестonosцы! — ахнул Бастин и скомандовал Кристиану: — Качай!

Кристиан нажал было на мех, подающий в машину горючее, но остановился.

— Там наши! — крикнул он.

— Качай, говорю! — рявкнул Бастин. — Своих не пожгу, может, успеют пробежать. Эх, бородач куда-то делся, он бы этих задержал!

Кристиан навалился скользкими наскипидаренными руками на мех. Бастин сунул в тлеющий костерок штырь с намотанной ветошью, приготовленной на тот случай, если откажет запальный кремьнь.

Беглецам оставалось до острова едва ли сотня шагов. Сотня шагов по цепкому, не пускающему вперёд болоту. Топи здесь не было, гать кончилась,

женщины рассыпались, каждая бежала сама по себе, прыгая с кочки на кочку, оступаясь и проваливаясь.

Солдаты, завывая и улюлюкая, словно загонщики на охоте, настигали жертв. Кристиан, до хруста сжав зубы, терзал туго надутый мех, словно это могло придать силы бегущим. Все — и жертвы, и преследователи — уже были в зоне огня, но Бастин не мог палить, пока внизу был жив хоть кто-то из своих, он лишь стонал сквозь зубы, плавно ведя раструбом огнемёта.

И в это время в доме, дико и празднично стоявшем посреди разорённой поляны, распахнулась дверь, и на ступени вышла Гелия. Должно быть, она не понимала, что творится здесь, и стояла, вцепившись в перила и медленно переводя отрешённо-отсутствующий взгляд. — Ангела, уйди! — закричал Кристиан. — Не смотри, пожалуйста, тебе не надо это видеть!

Гелия с трудом оторвалась от перил. Сверхъестественно обострившимся чувством она охватывала всё происходящее вокруг, и жуть эта не вмещалась в сознание. Не совмещались плывущее отовсюду ощущение безумного страха, воздуха, рвущего легкие, стука сердца в самом горле и разлитой кругом тишины, подчеркнутой трелью одинокой малиновки. Кристиан прокричал ей что-то сквозь стекло, разделяющее их, и Гелия, не слыша ни звука, поняла:

— Смотри! — кричал он. — Вы, называющие себя сильными и добрыми, сумели скрыть своих детей от смерти, а наши — вот они! Смотри, если можешь!

У самого подножия холма крестоносцы настигли бегущих. Гелия видела, как заросшая диким волосом тварь, разинув нemo хохочущий рот, ударила клинком в спину мальчугану лет пяти, путающемуся в не по росту больших штанах, другой одним ударом свалил навьюченную узлами худую женщину. Один за

другим падали дети, лишь девочка постарше, ухватив в охапку младенца, ещё расплескивала босыми ногами воду, хотя у неё не было ни единого шанса под безжалостным прищуром арбалетчиков.

Гелия сделала шаг, другой. Мир рушился, рвался с невыносимым запредельным грохотом. Всё, что было в жизни прежде, — исчезло, оставалось лишь болото, пятна брошенных в грязь тел, тяжёлые испарения разогретой на солнце жижи, хохот пьяных солдат и надрывное «ы-ы-ы!..» спасающейся девочки.

— Не смейте-е! — закричала Гелия и, путаясь в высокой траве, побежала навстречу опущенным лезвиям алебард, ещё не понявшим, что вместо пустого призрака они наконец-то встретят живую и такую хрупкую преграду.

1991 год

МЁД ЖИЗНИ

Хоть не пил он, а только хотел.

Л. Кэрролл



Мёд жизни сладок и горек одновременно, в нём собраны ароматы всех цветов, морозный свет горных вершин и тьма морских провалов. Он холоден и горяч, в нём сошлись все противоположности...

Гоэн — седобородый рыцарь Опавшего Листа — обвёл взглядом слушателей. Никто не шевелился, все молча и торжественно внимали с детства знакомым словам. Слова были как песня, как причащение перед битвой.

— Бархатные шмели собирают сладкий оброк с садов и гречишных полей Резума. Лесные пчёлы гудят в чащах непроходимого Думора. Хищные осы копят росистую свежесть ковылей Нагейи, острую и летучую, как они сами. — При этих словах Зеннах — Свистящий рыцарь — молча сверкнул чёрным глазом и приподнял бровь, изогнутую как сабля. — Ледяные шершни вьюгой облетают торосы безжизненного Норда в поисках снежного цветка. Мириады их истаивают в пути, но последний приносит каплю ледяного нектара. Так рождается мёд жизни. Медленно созревает он, и никто не осмеливается приблизиться, боясь нарушить великое чародейство...

— Фартор! — слово это, не сказанное никем, прозвучало резко и грубо, прервав рассказчика. Оно словно пригнуло к земле засохшие деревья, песок перестал сыпаться с выщербленных скал, а сидящие рыцари сдвинулись теснее, ища друг в друге поддержки. Тяжеловесный Хум — рыцарь Соли — прижался доспехом из задубевшей кожи к сверкающему плечу Турона, и рыцарь Ледяного Меча не заметил прикосновения своего извечного противника. Зентар — юный рыцарь Первой Травы — тревожно оглянулся, но спесивый Бург — рыцарь Стен — сдержал насмешку и сделал вид, что ничего не заметил. Недвижим и безучастен остался лишь рыцарь Солнечного Луча. Этот витязь был окружён глубокой тайной: никто не ведал, откуда он пришёл, где живет, по праву ли носит свой девиз. Знали лишь его имя — Виктан. Рыцарь Солнечного Луча являлся и исчезал беспричинно, ни один человек не мог предугадать его поступков, не знал пределов его силы. Но то, что сегодня и он был здесь, внушало уверенность. И медлительный Гоэн продолжил рассказ, словно не принесло только что ветром имя врага:

— Мёд жизни содержит все качества, известные и неведомые. Свойства соединяются в нём, не гася друг друга. И произойти это может лишь в местности, лишённой качеств. Только отсюда мёд жизни не получает ни единой своей частицы. Это Блёклый Край, инертный и пустой. Он скучен, но всё же жизнь зависит от него, поскольку здесь стоит чаша, в которой зреет наш мёд. Раз в год, в день весеннего равноденствия, чаша переполняется, и мёд проливается на землю. Суть жизни возвращается миру. Небо наливается синевой, леса наполняются живностью, люди — силой. Дружба укрепляется радостью, вражда — благородством. Жизнь оплодотворяет саму себя, и лишь Блёклый Край ничего не получает от

праздника бытия. Здесь всегда пасмурно, но никогда не идёт дождь. Бесплодная равнина тянется на много недель пути, на ней не растёт трава и никто не живёт...

— Фар-р-ртор-р!.. — продребезжало среди камней.

— ...И никто не живёт, — упрямо повторил сказитель, — ибо даже единый испачканный взгляд может извратить чудесные свойства чистого мёда. Рассказывают, что испробовавший мёда постигает смысл бытия и видит суть вещей. Тайное становится открытым для него, а в простом он видит неведомые другим бездны. Но за все прошедшие века ни один мудрец не посягнул на общее сокровище.

— Ф-ф-фатор!.. — прошипело за спиной, словно плеснули водой на раскалённую жаровню.

— Единая капля, текущая на землю из каменной чаши, возвращает силу и здоровье немощному и может, как говорят, оживить мёртвого. И всё же созревший мёд свободно разливается по свету, поскольку ни один человек не осмелился продлить свои дни за счёт всеобщей жизни.

— Фар-тор!!! — набатом ударило отовсюду разом, так что нельзя было не обратить внимания на этот гром, остаться безучастным и сделать вид, будто ничего не происходит.

Гоэн вскочил, меч его, не кованный, а выращенный лесными харраками, прочертил над головами огненный круг.

— Ты можешь не трудиться, повторяя без конца своё имя! — крикнул Гоэн. — Я хорошо слышу. Я не знаю, кто ты и каков из себя, но клянусь, что, кем бы ты ни был, через день тебя здесь не будет. Мне даже жаль тебя: ты затеял бессмысленное дело и сам знаешь это. Неужели ты надеешься победить все силы вселенной разом? — Гоэн опустил меч. — Молчишь? Ты правильно сделал, что умолк. У тебя

ещё есть время до завтрашнего утра. Но берегись, если утром мы увидим, что путь к чаше закрыт.

Ответа не было. Старый воин оглядел сереющие окрестности, а затем на правах старшего распорядился:

— Рыцари леса разводят костёр, горожане готовят ужин. Остальные выделяют добровольцев — быть ночной стражей.

В словах Гоэна не было обиды или унижения. Все знали, что в Блэклом Краю не у всякого загорится огонь, и уж тем более не просто накормить воинов там, где пища лишена вкуса. Поэтому гордый Бург распустил ремни на мешке и начал доставать провизию, а сам Гоэн и рыцарь Шш, бывший не человеком даже, а покрытым замшелой корой лесным духом, отправились за валежником.

— Кто согласен караулить ночью? — спросил Хум. — Я думаю — достаточно троих.

Тотчас поднял руку Зентар. Юный рыцарь Травы не представлял, как можно улечься спать накануне первой в своей жизни битвы. Вторым стал Бестоллайн — рыцарь Бездны. Лучшего сторожа нельзя было и пожелать. Жизнь под землёй лишила Бестоллайна глаз, но обострила слух, так что в самые тёмные ночи рыцарь Бездны чувствовал себя уверенней всего. Об этом воине легенд ходило, пожалуй, ещё больше, чем о Виктане, а знали о нём ещё меньше. Нельзя было даже с уверенностью сказать — человек скрывается под чёрнёным панцирем или одно из мрачных подземных существ, принявшее людские законы и получившее имя рыцаря. Но сегодня его тайна не тревожила — главное, что он был вместе со всеми. Третьим караульщиком вызвался Виктан.

В Блэклом Краю не бывает закатов, просто привычный сумрак сгустился сильнее, и стала ночь. Огонь костра не рассеивал её, не помогал видеть. Те

из рыцарей, кто мог и хотел есть, придвинулись к котлу. Двое рыцарей, опрометчиво давшие обет поститься до самой победы, отвернулись, чтобы не смущать себя видом яств, поскольку припасы Бурга были вкусны даже здесь. Шш задумчиво ковырял сучком в зубах. Людская пища была ему не по вкусу, и вообще, он мог не есть месяцами. Недвижим остался и Бестолайн. Забрало его шлема, сплошного, без прорезей для глаз, никогда не поднималось и, кажется, было приварено к нащечникам. Зато Виктан вовсе снял шлем, так что все могли рассмотреть его, хотя и не принято было глазеть на рыцарей. Не было во внешности неведомого воина ничего сверхъестественного. Был он далеко не мальчишкой, но и старческая дряхлость ещё много лет обещала обходить его стороной. Твёрдый подбородок, прямой взгляд серых глаз, худое лицо, словно выточенное из плотного дерева, лишь возле глаз чуть заметно лучатся морщинки, — видно, в юности Солнечный рыцарь любил смеяться. Просесть, осветлившая тёмные волосы, говорит не о возрасте, а о пережитых бедах. Ел он немного и молча, как и все остальные воины.

Вскоре лагерь замер в ожидании тусклого утра. Рыцари умели засыпать быстро и безбоязненно, полагаясь на бдительность часовых.

Виктан сидел у костра, напротив смутно вырисовывалась фигура Зентара. Бестолайн расположился в стороне, его видно не было.

Как всегда, в ночи рыцаря Солнечного Луча одолевали мучительные мысли. Днём, особенно при ясном небе, мир был прост и понятен. Было зло, которое следует побеждать, и добро, ждущее помощи. Ночью всё сливалось в темноте, словно истекая одно из другого, границы пропадали, и пропадала уверенность. В темноте Виктана мучили видения — нелепые и невозможные: мелкий дождь, множество людей и

бесконечные разговоры ни о чем. Ничего подобного не бывало в жизни благородного Виктана, но всё же он не мог бы утверждать, что это было не с ним. Молва приписывала рыцарю Солнечного Луча способность неожиданно исчезать и появляться, а порой он застывал и часами стоял как во сне, безвольно опустив руки. И не то беда, что другие не знали, куда временами пропадает Виктан, но этого не знал и сам рыцарь. Хотя он привык, что во всякую минуту может осознать себя в незнакомом месте, где от него потребуются его мощь, мужество и разум. Так что не это тревожило его. Пугало собственное беспамятство.

— Фартор, — беззвучно шептал он, — Фартор...

Неведомый владыка Блэклого Края, осмелившийся посягнуть на общее богатство, и тот серый мир, что мерещился Виктану после пробуждения, — что между ними общего? Неизвестно. Но ведь они могут и просто совпадать, и тогда...

«Кому служишь, рыцарь? — подумал Виктан. — Кто ты? Почему-то никто не спросил меня об этом. Кто ты, рыцарь Солнечного Луча? Откуда тьма в твоей памяти?»

Виктан бросил на угли сразу несколько тонких веток. Медленно поднялось ленивое пламя, в его языках безмолвно вспыхивал и сгорал носящийся в воздухе сор — не то клочья почерневшей паутины, не то просто пыль, причудливо увеличенная слабым светом.

«Откуда столько пыли? — подумал Виктан. — Здесь её не должно быть».

Неудержимая сонливость наваливалась на него, Виктан чувствовал, что ещё минута — и он уснёт, хотя поставлен на страже и товарищи доверились ему. Впервые с ним происходило такое — он всегда был безупречным караульщиком. Но, в конце концов, что может случиться в Блэклом Краю, где нет никаких

качеств, а значит, и силы? К тому же рядом Бестолайн, привыкший к тьме, тишине и бессонным ночам. С ним можно быть спокойным, вот и Зентар, их третий напарник, уснул, повалившись на изумрудный плащ. Правда, Бестолайн слеп, но в мире нет никого, кто мог бы подойти так тихо, чтобы рыцарь Бездны не услышал. Значит, можно заснуть... на несколько минут, не больше.

Глаза закрывались сами собой.

«Кому служишь, рыцарь?» — засыпая, вспомнил Виктан и, пересиливая себя, протянул руку, кинул в костер ветки, сколько сумел захватить.

Закружились, исчезая в огне, чёрные хлопья. Внезапно вспыхнувшим сознанием Виктан увидел опасность, но уже не было сил подняться.

«Тревога!» — хотел крикнуть он, но лицо облепило паутиной, губы не размыкались, и лишь чуть слышный шёпот протиснулся сквозь них. Но и этого комариного звука оказалось достаточно для Бестолайна. Стальная булава взлетела и набатно ударила по кованому щиту.

Тревога!!!

Грохот вернул Виктану силы. Он наклонился и, не раздумывая, нырнул лицом в угли. Лицо опалила боль, но зато вернулась способность видеть и говорить. Виктан вскинул вверх руку с кольцом. В кольцо был вделан солнечный камень гелиофор. Камень засиял, разгоняя тьму. Света хватило ненадолго, по ночам камень светил с трудом, но этого достало, чтобы увидеть и понять, что происходит.

Воздух вокруг был переполнен чёрным пухом, тончайшие волокна опускались на людей, проползали в щели доспехов, утолщаясь, пульсировали, наливаясь красным. Разбуженные рыцари вскакивали, размахивали руками, пытаясь отодрать прильнувших кровопийц.

— Огнём! — закричал Виктан, подпаливая разом связку факелов. — Они боятся огня!

Через минуту нападение было отбито. Не успевшие улететь клочья паутины были сожжены, воздух очистился. Виктан оглядел соратников. Все остались живы, но бледные лица, погасшие глаза показывали, как много крови они потеряли. Неважными бойцами будут они утром.

Незаметно высветлилось небо. Никто из рыцарей не удивился, увидев, что впереди по-прежнему мерно колышется завеса. Фартор, закрывший подход к чаше, не собирался отступать. Странно было бы ожидать отступления после столь удачной вылазки. Но сейчас вокруг лагеря было пусто и тихо, так что если бы не пелена вдалеке, трудно было бы сказать, где противник и есть ли он вообще. Пелена окружала чашу с мёдом, и уже сейчас, хотя мёд не созрел, по всей стране чувствовалось беспокойство. Рыцари шли, чтобы сорвать пелену, хотя и не знали, что это такое и какие опасности встретят их возле дрожащего полога. Одна опасность, впрочем, уже была известна.

Воины выстроились полукругом, в левой руке каждый держал незажжённый факел.

— Пора, — сказал Гоэн. — Мы разные и из разных краёв, но у нас одна родина — великий Тургор. Сегодня пришел час защищать его. Да поможет нам Светлая Богиня. Мы идем! — крикнул он и первым двинулся вперед.

Затрещали факелы, цепь воинов пришла в движение. Преграда оставалась безмолвной.

Виктан шагал в общем строю. Справа от него держался Зеннах, слева — молчаливый Безымянный рыцарь. Вблизи завеса оказалась стеной густого тумана. Туман пригасил и без того тусклый свет, вокруг головы закружились чёрные нити. Виктан отмахнулся факелом, кровососы послушно обращались

в пепел, но на смену им налетали новые. Отовсюду, пластаясь по камням, начали сбегаться полупрозрачные, почти неразличимые твари. Длинные конечности скребли клешнями по стальным поножам, безуспешно пытаясь добраться до живого. Несколько тварей Виктан рассёк мечом, потом, опасаясь испортить клинок о камни, принялся прокладывать себе путь, топча ползающую мерзость ногами. Он не видел достойного противника, но понимал, что происходит неладное: непроницаемый туман разъединил рыцарей, и каждый из них сражался теперь в одиночку.

— Тургор!.. — выкрикнул Виктан рыцарский клич.

В ответ донесся режущий слух свист, и Виктан увидел Зеннаха. Свистящий рыцарь шёл, не замедляя шага, одной рукой держа факел, другой бешено вращая семихвостую плётку. Оторванные суставчатые ноги, раздробленные клешни, комья слизи разлетались во все стороны.

— Держись ближе! — крикнул Виктан. — Они разводят нас!

— Кто? — удивился степняк, продолжая описывать плетью круги. — Мне не с кем воевать, это джигитовка, а не бой!

— Не знаю кто, но они хотят, чтобы мы потеряли друг друга! Берегись!..

Из груди членистоногих вдруг вылетели длинные упругие жгуты. Они разворачивались в воздухе, готовые спеленать каждого, до кого сумеют дотянуться. Виктан встретил щупальца ударами меча, обрубки, извиваясь, падали на землю, лишь одно сумело захлестнуть ногу и дернуть. Виктан упал, тут же его со всех сторон облепила чёрная пряжа. Обрубив жгут, Виктан перекатился в сторону и сумел встать. Там, где только что был Зеннах, колыхался чёрный сугроб. Свистящий рыцарь не успел выхватить

саблю, а плеть оказалась бессильна против живых верёвок. Факелы погасли, но всё же Виктан на ощупь отыскал скрученного Зеннаха и перерезал скользкие путы. Зеннах вскочил, не обращая внимания на присосавшийся к коже пух, засвистел, зовя на помощь. И хотя окружающий воздух убивал всякий звук, призыв был услышан. Слепой Бестолайн появился из тумана. Секира в его руках гудела, скашивая тянущиеся челюсти и летящие навстречу верёвки, факел, укреплённый на шлеме, разбрасывал искры.

Вновь вспыхнуло в руках пламя, и трое бойцов пошли, разбрасывая суетящихся тварей, пошли наугад, потому что уже давно потеряли направление и не знали, куда идут. Но, должно быть, удача не покинула их, потому что туман резко поредел, и они оказались на открытом пространстве по ту сторону завесы.

Каменистый склон полого поднимался перед ними, и на каждом валуне, на всякой свободной пяди земли согнувшись стояли уродливые фигуры. Лес копий вздымался над костяными шлемами, ни один наколечник не дрожал, ни единая фигура не двигалась, и ни звука не долетало от шеренги противника.

— Тю-ю!.. — протянул Зеннах. — Вот уж кого не ожидал увидеть! Стреги! Признаться, я не думал, что кому-то из них удалось уйти из Нагеи живым.

Виктан промолчал, хотя и он многое мог бы рассказать об этих существах, умеющих лишь убивать всех, до кого дотянутся их копыя. У стрегов не было жен и детей. Стреги нигде не жили, хотя встречались повсюду. Кажется, их полчища просто возникали там, где в них нуждалась злая воля. Недаром говорится: где беда, там и стрег. Бестолайну приходилось сражаться с костоголовыми даже в нижних пещерах. И всё же это был знакомый враг, не пугающий героев.

Виктан поднял забрало и затрубил в рог, созывая товарищей. Зеннах вторил ему адским свистом. На призыв из тумана появилась еще одна группа: братья-соперники Хум и Турон, Безымянный рыцарь и Алый рыцарь Лесс в плаще, побуревшем от крови. Последним появился прорвавшийся в одиночку Шш. Рыцарь Леса бежал, размахивая чудовищной дубиной, завывая по-звериному, словно не принимал он никогда смешных человеческих правил. Обрывки разорванных жгутов волочились за ним. Остальные воины остались в гибельной мгле либо не сумели прорваться и были отброшены к старому лагерю.

Оказавшись на открытом месте, Шш не остановился, не замедлил бега, а, вращая дубиной, ринулся в сторону стрегов. Стреги — неутомимые и бессмысленные древорубы — были особо ненавистны лесному духу. По рядам прошло движение, над головами взметнулись луки, и тысячи стрел прочертили воздух. Они впились в дубовый панцирь, Шш во мгновение ока стал похож на невообразимо огромного ежа, но бега не остановил и с хрустом врезался в отшатнувшуюся толпу.

— Вперед! — скомандовал Виктан товарищам и побежал следом за разбушевавшимся лесным виездем.

Их встретили стрелы и нацеленные копья, но небольшой отряд сумел врубиться во вражеские ряды. Стреги с визгом насккивали со всех сторон, кольчужные рубахи и круглые щиты плохо защищали их, но всё же их было слишком много, а всякому известно, что, когда стреги собираются в орду, у них исчезает страх смерти и последние остатки разума. К тому же отступать стрегам было некуда: за их спинами поднималась мрачная стена — высокая, гладкая, лишённая ворот и без единой бойницы.

Шш уже пробился к стене и, не обращая внимания на тычки ножей и копий, мощно обрушивал дубину на гудящую от ударов стену. Виктан вёл отряд ему на помощь. Очистить площадку от стрегов, затем Шш и Бестолайн пробьют стену, а за ней должна быть скала и чаша на скале... Там они встанут и если надо, то умрут, но никому не позволят приблизиться до тех пор, пока мёд не растечётся по земле.

— Тургор! — выкрикнул Виктан, но вдруг остановился. Его руки опустились, лицо застыло. Раскатистый треск заполнил вселенную, он не давал сопротивляться, однозначно и безжалостно ведя за собой. Впервые время превращений подошло так резко и некстати, Виктан даже не знал, исчезнет ли он, чтобы проявиться где-то в другом краю, или, что тоже случалось, останется здесь: безвольный, не способный ни к чему. Он пытался бороться, перед глазами ещё качались фигуры врагов, тело чувствовало резкий толчок не пробившей панцирь стрелы, но то новое, что пришло вслед за звоном, уже не отпускало. Исчез меч, растаяли доспехи, холодом обожгло босые ступни, и лишь затем он осознал себя в ванной, с тупым неудовольствием разглядывающим в зеркале собственное заспанное изображение.

«Виктор Андреевич», — всплыло в памяти имя.

— Виктан! — застонал он и на секунду вернулся обратно, к себе стоящему, услышал призывный клич: «Светлая богиня!» — и поднял было меч, но колоколом ударил стук в дверь, а голос жены: «Виктор, завтрак стынет!» — смял жизнь, оставив его один на один с буднями.

Виктор Андреевич выдавил на помазок сантиметровую колбаску крема и начал бриться.

— Тургор, — бормотал он машинально. — Тургор.

Но это больше не было название страны, а какой-то медицинский термин, имеющий отношение к бри-

тью. Не было тургора у Виктора Андреевича, изжѣванное жизнью лицо с набрякшими веками и мятой кожей глядело из зеркала, и бритѣ не придавало ему свежести.

Окончив туалет, Виктор Андреевич вздохнул и, внутренне зажмурившись, шагнул на кухню завтракать. Еда не лезла в горло, но отказаться он не смел и послушно жевал разжаренные вчерашние макароны. Таисия уже успела позавтракать и собиралась на работу, курсируя между стенным шкафом, зеркалом и продуктовыми сумками. Каждый раз, когда жена появлялась на кухне, Виктор Андреевич начинал жевать особенно старательно.

Он сам не понимал, почему так ведѣт себя, — бояться Таисии не было причин, жили Малявины мирно, считаясь у знакомых образцовой парой. Но, разумеется, Виктор Андреевич ни единым словом не выдавал сияющей жизни, которой жил в действительности, и тайна угнетала, заставляя чувствовать себя виноватым.

Как обычно по утрам, Виктору Андреевичу приходилось заново вспоминать свою биографию, ибо беспамятство, которое мог позволить себе рыцарь Виктан, не дозволялось Малявину Виктору Андреевичу. Виктор Андреевич вспомнил, какой сегодня день недели, вспомнил, не машинально действующим телом, а сознанием, что пора идти на работу, и вспомнил, где он работает. Выяснил, какой нынче год и кто такая Таисия. Медленное пробуждение памяти всегда пугало его, казалось, что сейчас появится кто-то, начнет требовательно задавать вопросы, а потом заявит во всеуслышание: «Да он не знает даже, сколько ему лет!» — и тогда... дальше Виктор Андреевич не решался фантазировать, лишь повторял про себя, готовясь к ежедневному экзамену: «Пятьдесят два года. Женат тридцать лет — скоро будет. Пора

готовиться к юбилею, подарки искать. Дочь замужем. Сын в армии служит, сколько же ему лет?.. Девятнадцать...»

— Виктор, на работу опоздаешь, — напомнила Таисия, и Виктор Андреевич, поспешно отодвинув тарелку, пошёл одеваться.

Утренний экзамен был ещё не кончен, но впереди предстояла длинная поездка в автобусе, когда можно успеть всё. Обычно, по мере того как он вспоминал приметы и дела здешнего мира, роскошная правда Тургора уходила в забвение, скрывалась, словно её и не было. Свойство это помогало Виктору Андреевичу не выдать себя, не совершать странных поступков и не говорить неуместных слов. Но сейчас он никак не мог забыть о рыцаре Солнечного Луча, застывшем среди толпы безымянных убийц.

Виктора Андреевича втащило в автобус, вдавило рёбрами в поручень у окна, сжало со всех сторон безликой пассажирской массой.

«Мне пятьдесят два года, — теребил он в уме бессмысленные словосочетания. — Я еду на работу...»

Автобус тряхнуло, низкий потолок угрожающе приблизился к лицу, цепи, стягивающие руки и туловище, натянулись, врезаясь в плоть, но Виктан устоял, и взмыленным страгам не удалось бросить его на колени.

— Славная добыча, — услышал Виктан. — Здравствуй, рыцарь Солнечного Луча. Что-то ты не слишком весел. А ведь ты хотел встретиться со мной. Что ж, я к твоим услугам. Давай поговорим.

— Значит, ты Фартор... — сказал Виктан.

Сидящая фигура подавалась вперед, словно рассматривая пленника, и Виктан увидел, что у Фартора нет лица. Серая, нездорового вида кожа, покрытая морщинами — одна складка покрупнее кривится там, где

должен быть рот, — и всё: ни носа, ни ушей, ни глаз. Почему-то Виктан подумал, что именно таким и должен быть хозяин Блэклого Края.

— Фартор, — сказал Виктан. — Ты должен отступить. Я знаю, в тебе нет ни жалости, ни сочувствия, ни какого-либо иного доброго чувства, но ведь страх-то в тебе должен быть... Ты сумел пленить меня — случайность и моя природа помогли тебе, — но всех ты не победишь. Отступи.

Дёрнулась морщина рта, монотонно зазвучал бесцветный голос:

— Во мне нет страха, рыцарь. Страх — это слишком ярко. И ты не прав: я взял тебя не случайно, скоро ты убедишься в этом. К тому же ты не единственный пленник. Ваша атака отбита, а я не только не понёс потерь, но стал непобедим. Я могу уже не скрывать своих планов, а без этого разговора моя победа будет неполной, я должен рассказать обо всём, рассказать именно тебе — поверженному противнику, чтобы насмеяться над тобой. Вчерашний старик говорил, что в Блэклом Краю никто не живёт, поскольку тут нет никаких качеств. Это не так. Я всегда жил здесь, и одно качество у меня было. Зависть! У каждого из вас есть что-то своё, то, что вы считаете самым лучшим; вам незачем завидовать друг другу, поэтому вся зависть мира досталась мне. А это — великая мощь. Я бродил вокруг чаши, не замеченный никем, завидуя каждому из вас, но не смея приблизиться к источнику, из которого вы так щедро черпали. Запах мёда сводил меня с ума, но я не имел ни сил, ни решимости — ничего кроме зависти. Зависть не чувство, а мировоззрение. Говорят — она бесплодна, но именно из неё родился иссушающий пух. И когда чёрная вьюга закружила вокруг моей головы — я решился. А потом явились вы — гордые, самоуверенные и... беззащитные. Я вдоволь попил

вчера вашей крови, вы напитали меня своей силой и уверенностью. Сразу явились неприступные стены и непобедимое войско. Против вас сражается то худшее, что есть в вас самих. А оно непобедимо. Видишь, я ничего не скрываю от тебя, потому что мне приятно видеть твоё отчаяние.

— Ты лжёшь, — сказал Виктан. — Ты не сумел отбросить нас от стен. Я слышу, что бой продолжается.

Фартор замер, словно прислушиваясь к доносящимся издали глухим ударам, а потом, пренебрежительно отмахнувшись, произнес:

— Не стоит обращать внимание на бессмысленный шум. Этот лесной пень, который вы привели с собой, и впрямь неукротим и почти неуязвим. Его можно лишь строгать, как полено, я так и поступлю, хотя подойти к нему с ножом трудно. Но один он ничего не сможет сделать. Никто из вас ничего не сможет сделать. Кого не взять силой — будет взят измором или хитростью. Я не сумел добыть крови подземного слепца, панцирь его прирос к коже, тогда я воспользовался умением, похищенным у рыцаря Грозы, так что ваш слепец вдобавок оглох и сейчас безобидно крошит камни вдалеке от битвы. К каждому рыцарю я подобрал ключик, для этого у меня было много времени. Теперь ты понял, что проиграл? Молчишь? Ты правильно сделал, что замолк...

Виктан вздрогнул и поднял голову. Перед ним сидел Гоэн. Вернее, сидящий был похож на Гоэна словно брат-близнец, лишь пустой взгляд выдавал подделку.

— Прекрати, — сказал Виктан, — меня не обманешь.

— Теперь, разумеется, не обману. А если бы я сразу показался тебе в таком виде, то сумел бы посеять в твоей душе смятение. Но мне захотелось го-

верить с тобой от своего имени, и я могу наконец позволить себе это. А хочешь, — Фартор усмехнулся, и страшно было видеть на знакомом лице рыцаря Опавшего Листа чужую и мёртвую усмешку, — хочешь, я покажу тебе Виктана? Такого, каков он на самом деле? Хотя тебе это неинтересно, ты, пожалуй, и не узнаешь себя. Тебя волнует иное: зачем я начал борьбу и что собираюсь делать дальше. Что же, я отвечу и на эти вопросы. Я хочу забрать себе мёд. Весь, до последней капли. Пусть он зреет, а потом я не дам ему пролиться. Я буду есть мёд, макать в него свой хлеб, а вы будете завидовать мне, как я когда-то завидовал вам.

— Об этом я догадывался и без тебя, — ответил Виктан. — Что ещё может изобрести бессильная зависть? Тебе лишь кажется, что ты стал силен и сумел пленить меня... — Виктан напряг мышцы, пробуя на прочность опутывающие его цепи.

— Не трудись! — Фартор поднял руку. — Эти оковы нужны лишь моему самолюбию, их несложно порвать. Ты связан иначе, хотя и не догадываешься как. Дело в том, что мне известна твоя тайна. — Фартор поднялся и прокричал в лицо Виктану: — Ты побеждён, потому что проехал свою остановку!

Виктан рванулся, но двери автобуса уже захлопнулись, и Виктор Андреевич увидел, как мимо проплывает проходная завода, табло над входом показывает без семи минут восемь, и, значит, уже нет никакой возможности успеть на работу без опоздания. Виктор Андреевич в отчаянии привалился к дверям. Опустевший автобус, дребезжа, набирал ход.

Разумеется, в проходной Виктора Андреевича записали, а в отдел он опоздал на целых двенадцать минут. Ещё год назад на такую задержку никто не обратил бы внимания, кроме, может быть, Антонины

Мадарась — злыдни и доносчицы, но теперь, когда управленцы ожидали сильного сокращения штатов, Виктора Андреевича встретило недоброжелательное молчание и изучающие взгляды. Виктор Андреевич проямлил что-то напоминающее одновременно приветствие и попытку оправдания, уселся за стол и придвинул папку с бумагами. Предстояло выяснить, что там внутри, вспомнить, какими неприятностями чреват грядущий день. Ничего срочного в папках не оказалось: какие-то заявки, отчет за прошлый квартал, докладные записки о перерасходе электроэнергии — весь тот бумажный хлам, что скапливается на столе, создавая видимость работы.

Виктор Андреевич обзвонил цеха, сообщил, что режим работы сегодня «два-тире-два». В ответ ему продиктовали расход электричества за прошлую смену. Цифры эти предстояло просуммировать и о результатах сообщить в Горэнерго. Ежедневная будничная деятельность, не требующая ни малейших усилий. Виктор Андреевич выписал цифры в колонку, вздохнув, поднял голову. Светочка Соловкова, сидящая за столом напротив, была погружена в расчёты, наманикюренные пальчики летали над клавишами калькулятора. Виктор Андреевич вздохнул ещё раз.

Лишённые тургора щёки Виктора Андреевича всегда были гладко выбриты, так что он и сам не мог бы сказать, была бы у него седина в бороде, вздумай он эту бороду отпустить. А вот бес в ребро впился прочно, и звали его Светочка Соловкова. Была она на два года младше собственной дочери Виктора Андреевича, у мужчин пользовалась успехом, так что никаких надежд у Виктора Андреевича не оставалось, тем более что Малявин даже в молодости был смел с женщинами лишь в мечтах. И все же он ничего не мог с собой поделать — запоздалая влюблённость

была неистребима. Во время заводских междусобойчиков Виктор Андреевич демонстративно ухаживал за Светочкой, изображая «добротного дедушку», которому, учитывая возраст, позволена безобидная фамильярность. А сам жестоко клял себя и за неудачно выбранную маску, и за нерешительность, и даже за возраст, который и в самом деле со счетов сбросишь. О Таисии в эти минуты Виктор Андреевич не думал, Таисия ждала дома, а здесь была совсем другая жизнь, такая же непохожая на домашнюю, как и царственные равнины Тургора.

Виктор Андреевич машинально пересчитывал общее потребление электроэнергии, но мысли его были далеко. В середине дня ему уже не требовалось вспоминать обыденные вещи, уплывал в тень и Тургор, так что можно было помечтать о чём-нибудь несбыточном. Например, о рацпредложении, которое он сделает и которое радикально изменит... не важно, что оно изменит, но в результате увеличится объём продукции, снизится потребление материалов и энергоносителей, экология тоже не будет забыта... Суммарный экономический эффект составит, скажем, двести миллионов в год, и, значит, сумма вознаграждения... большая, посчитаю потом... С Мадарась удар приключится, когда он пригласит весь отдел в ресторан. Её — тоже, пусть позлобствуется, но главное, конечно, Светочку. Вечером он, как старейший приятель, пойдёт провожать Свету, а возле дома само собой получится, что они вместе поднимутся к ней, и там... Сладкий озноб прошёл вдоль спины. «Светик, Светик, светлая моя...» Виктор Андреевич зажмурился, прикрыл ладонью глаза. Так проще и правдоподобнее представлять то, что теперь будет соединять его со Светочкой, соединять прочно и всегда, даже если сама Светочка ничего об этом не узнает. Когда вокруг смыкается тьма, то обостряются

остальные чувства, и самый тихий шепот слышен ясно и разборчиво:

— ...Светлая, чистая, прекрасная. Когда она идёт, трава не приминается под её ногами и осенние листья не слышат шороха её шагов. Лицо её сияет, и при взгляде на неё невозможно сохранить в душе недобрые мысли. Едва она появляется — всё ложное исчезает, и остается лишь истина. Значит, сейчас Светлая богиня на нашей стороне.

— Не надо меня утешать, — прервал рассказчика слабый голос. — Я слышал эти сказки ещё младенцем и теперь не верю в них.

— Это истина.

— Почему в таком случае, богиня не явилась в ту минуту, когда в битве решалась судьба Тургора? Почему мы в плену, а Фартор торжествует?

— Потому что битва не кончена, а мёд созревает лишь в миг солнцестояния. В этом году солнцестояние совпадает с закатом, и до заката ещё далеко.

Виктан оторвал от лица руку, засветил на безымянном пальце гелиофор. Кольцо с камнем было невидимо для чужих глаз, стражи не смогли похитить его. Камень осветил вырубленную в скале келью и две человеческие фигуры: одну — лежащую ничком, другую — сидящую возле неё.

— Ты очнулся? — спросил Гоэн, повернувшись на свет.

— Да, — ответил Виктан.

Он подошел, склонился над лежащим Зентаром. Юноша не пошевелился.

— Он умирает, — прошептал Гоэн. — Его не ранили, он умирает от несвободы. Видишь, — произнёс он громко, — у нас уже есть свет. Фартор прогадал, когда бросил нас в общую яму. Хотя, признаюсь, Виктан был не лучшим соседом, пока сидел, застыв как истукан.

— Это не единственная его ошибка, — сказал Виктан. — Прежде чем бросить меня сюда, он говорил со мной, и теперь я знаю, куда меня уносит время от времени. Оказывается, я живу тогда в другой стране — глупой и ничтожной, причём пользуюсь там самым презренным положением. Мне было обидно узнать такое. Но Фартор просчитался в главном: ему не удалось меня раздавить, ничтожество той жизни не сказалось на мне. Зато теперь я, кажется, могу предсказывать свои метаморфозы, и, если интуиция не подводит меня, в следующий раз я исчезну отсюда, а вернуться постараюсь где-нибудь неподалеку и тогда сделаю всё, что сумею сделать голыми руками...

— Виктан, — сдавленно перебил рыцарь Опавшего Листа, — может ли твой камень светить ярче?

— Это гелиофор — камень солнца, а наверху сейчас день, — ответил Виктан.

— В таком случае, ты выйдешь отсюда с оружием в руках! — воскликнул Гоэн. — Зентар! — повернулся он к товарищу. — Я знаю, ты носишь на груди мешочек с плодородной землёй твоего родного Резума. Дай её, нам надо вооружить рыцаря Солнечного Луча.

Зентар молча поднялся, достал из-под рубахи кожаный мешочек, протянул его старику. Гоэн высыпал горсть земли на пол, сделал пальцем лунку и опустил в неё крошечное зерно, неведомо откуда появившееся в его руках. Разровнял землю, полил из кувшина, стоящего в углу. Кивнул Виктану. Тот поднял руку с кольцом. Камеру залил солнечный свет.

— В недоступных буреломьях лесного Думора созрело это семя, — пропел Гоэн. — Дикие харраки вырастили его на погибель всякому, кто вздумает посягнуть на их необузданную волю, суровые нравы и непостижимые для чужаков обычаи. Фартор полагал, что лишил меня оружия, но отнял лишь сухой

лист, стоящий не больше любого опавшего листа. Живой меч невозможно купить или отнять, его можно лишь получить в подарок.

Горсть земли на полу, рассыпаясь, зашевелилась, из центра её показался острый росток, он поднимался, удлиняясь на глазах, прямой и блестящий.

— Вот меч рыцаря Опавшего Листа, — произнёс Гоэн. — Бери, я отдаю его тебе.

Виктан протянул руку и сорвал меч, с клинком, похожим на побег осоки.

— Пора, — сказал он, выпрямляясь.

Стена перед ним изменилась, вместо грубого камня некрасиво бугрилась испорченная давней протечкой штукатурка, и висел наклеенный на фанеру график роста выпуска продукции за позапрошлую пятилетку с цифрами, перемалёванными на пятилетку прошлую.

— Давно пора, Виктор Андреевич, — услышал он чей-то голос.

Перед Виктором Андреевичем стоял Зозулевич — инженер из вентгруппы. С Зозулевичем Виктор Андреевич частенько болтал на лестнице, где была оборудована курилка, в столовую они тоже обычно ходили вместе. Подчиняясь неписаным законам заводоуправления, Малявин с Зозулевичем звали друг друга по имени-отчеству, хотя и были на «ты».

— Иди один, — сказал Виктор Андреевич. — Я сегодня обедать не пойду — работы много, да и чувствую себя неважно.

— Какой обед? — изумился Зозулевич. — Обед кончился давно, а сейчас собрание начинается, собираются у конструкторов, тебя ждут.

— Спасибо, — сказал Виктор Андреевич, — а то я заработался и не слышал.

Виктор Андреевич и впрямь чувствовал себя не блестяще. В те дни, когда Тургор не отпускал его,

Малявин бродил сонный, отвечал невпопад, часто вообще не слышал обращённых к нему слов. Чтобы скрыть это, Виктор Андреевич начинал жаловаться на головную боль и иные недомогания, просил у сослуживцев таблетки и очень быстро внушал самому себе, что заболел на самом деле. Порой даже получал в санчасти больничный лист. Но теперь вольготной жизни приходил конец: приближался переход на аренду, сокращение штатов и прочие связанные с этим неприятности. Сегодняшнее собрание было в их числе.

Обычно во время собраний Виктор Андреевич старался примоститься в уголке за кульманом, чтобы его не было видно. Но сегодня он умудрился опоздать на собрание, так что пришлось сесть на всеобщее обозрение, у дверей. И соседство оказалось неподходящим: рядом вертелся на стуле молоденький теплотехник Володя, направленный на завод по распределению и успевший восстановить против себя весь отдел откровенным бездельем и рассказами о том, как он будет жить, когда заведёт собственное дело. Фамилия у Володи была не по годам звучная: Рак-Миропольский — и это тоже не прибавляло к нему любви.

Собрание вёл Цветков — зам главного энергетика. В другое время это немедленно насторожило бы Виктора Андреевича. Главный энергетик — товарищ Паскалов любил изображать из себя душку-начальника и потому все мероприятия, где принимались жёсткие решения, перепоручал заместителю. Но сегодня Виктор Андреевич был озабочен трудными делами Тургора и думать о двух опасностях разом не мог. Он сидел привалившись к стене, напустив из чувства самосохранения страдальческое выражение на лицо, и не слушал выступлений. Встревожился лишь когда в его сознание протиснулись слова:

— В течение этой недели мы должны решить, без кого отдел сможет нормально работать. С этими товарищами нам придётся расстаться. Остальные получают компенсацию в размере сорока процентов от оклада уволенных.

«Неужто действительно сокращение? — всполошился Виктор Андреевич и тут же привычно начал успокаивать себя: — Да не может быть, треть отдела уволить... отобьёмся... в крайнем случае сократят Кузьминову — она бездетная».

И в самом деле, поднялся Зозулевич и напористо пошёл в атаку:

— Господа, что-то я не понимаю, как это — треть отдела сократить, у нас работы труба нетолчёная. Мы же не НОТ какой-нибудь и не техника безопасности, без наших служб завод станет...

— Это не тема для дискуссии, а приказ, — перебил оратора Цветков, — уволить десять человек. Мы должны решить, без кого сможем обойтись.

«Сейчас Мадарась вмешается», — тоскливо подумал Виктор Андреевич.

Но вместо известной склочницы неожиданно поднялась Светочка Соловкова.

— Правильно Сергей Семёнович говорит. У нас не треть, а половину отдела гнать надо. А зарплату их — тем, кто работает. Вот вам первая кандидатура, — Светочка обвела взглядом собравшихся, — Малавин!

— У меня дел невпроворот, на мне все цеха висят! — закричал Виктор Андреевич фразу, приготовленную для мерзавки Антонины. Потом до него дошло, кто выступает против него, он смутился, задохнулся от обиды и фразу закончил лишь по инерции: — Я и обедать сегодня не ходил...

— Знаю я вашу работу! Как Антонина Ивановна в отпуск уходит, так он мигом на бюллетень, так что

все обязанности на мне — и ничего, справляюсь. А что обедать он не ходит, так бездельничать можно и без обеда. Вот сегодня, наглядный пример: считает товарищ Малявин потребление электроэнергии. Там надо всего четырнадцать чисел сложить. Он складывает на калькуляторе, а я рядом сижу, мне всё видно. Ежу понятно, что соврал: цеха данные до первого знака дают, а у него в окошке после запятой две цифры болтаются... Нет, досчитал, проверяет. И видно, как он по клавише не ту цифру жмет. На третий раз верный ответ получил, но с первыми не совпадающий, так он стал четвёртый раз пересчитывать. И опять соврал. Обедать он, может, и не ходил, но потребление так до сих пор и не сосчитано. Гнать такого работничка! Он только и умеет, что спать на рабочем месте да масляными глазами под блузку заглядывать.

— А нечего блузку распахивать! — вдруг вмешалась Антонина. — А то устроила декольте до самого пупа. Тут у ней ножки — там у ней ляжки!.. Не сотрудник, а западный секс!

— Это же прекрасно! — возопил Рак-Миропольский. Ему, как молодому специалисту, сокращение не грозило, и юный бездельник, чувствуя себя в безопасности, наслаждался происходящим.

— И вообще, — продолжала Мадарась, — что вы накинулись на человека? Дали бы до пенсии доработать.

— Вы, Антонина Ивановна, беспокойтесь, чтобы вам ваши полгода до пенсии досидеть позволили, — внушительно произнес Цветков. — А Малявину ещё восемь лет трубить.

«Семь лет и одиннадцать месяцев», — пытался поправить Виктор Андреевич, но вместо этого окончательно стушевался и затих. Ясно же, что там уже всё решено и коллектив созван для профформы.

Он желал одного: чтобы скорее кончился этот дурацкий сон, хотелось проснуться, пусть даже в темнице Фартора, лишь бы подальше отсюда. И ещё мучило горькое чувство: «Светик, Светик, как ты могла решиться на подобный удар, пойти на предательство... И это после всего, что было у нас...»

Дальше Виктор Андреевич не слушал, не обратил даже внимания на пробежавшую мимо Кузьминову, лишь вздрогнул от грохота захлопнувшейся двери. Подумал вяло, что и ему надо бы уйти благородно, с достоинством, но остался сидеть.

Собрание набирало обороты словно электромясорубка. Едва возникала заминка, Цветков подбрасывал новую фамилию. Ополовинили бюро охраны природы, прошлись по вентиляционной группе (Зозулевич, впрочем, уцелел), заглянули в группу конструкторов. Всего получилось семь жертв.

— А если захочет подать заявление товарищ Рак-Миропольский, — подвел итоги Цветков, — то администрация возражать не станет.

— Да нет, я пока обожду... — зевнул молодой специалист. — Вот годика через два...

— Годика через два с тобой другой разговор будет! — рявкнул благостно молчавший Паскалов, и на том собрание закончилось.

Домой Виктор Андреевич вернулся смурной и, не переодевшись, уселся перед выключенным телевизором. Жить не хотелось. Болело в груди, чуть выше желудка, представлялись собственные похороны, печальные лица сослуживцев, плачущая Светочка, шепоток: «Замучили человека, в могилу свели...»

Понимая умом несерьёзность подобных фантазий, Виктор Андреевич гнал их, пытался вызвать в памяти образ Тургора, но тот отгородился глухой сте-

ной и не пускал. Очевидно, Виктану удалось исчезнуть из темницы, и сейчас его не было нигде, и, значит, Тургор был закрыт для страдающего Виктора Андреевича.

В прихожей раздался звонок: Таисия обычно звонила в дверь, хотя у неё был свой ключ. Виктор Андреевич открыл и вернулся в кресло.

«И не поинтересуется, как дела», — обиженно подумал он и тут же ужаснулся мысли, что Таисия могла спросить его о работе и ему пришлось бы отвечать.

Из кухни потянуло борщом. Слева под ребрами заболело сильнее.

«Подохну — никто и не заметит», — резюмировал Виктор Андреевич.

— Обедать иди, — позвала Таисия.

После тарелки борща в груди отпустило, жизнь уже не казалась столь ужасной. В конце концов, увольняют его ещё не завтра, а в худшем случае — через месяц, и компенсация при увольнении по сокращению за два месяца выплачивается, и стаж не прерывается. За это время он что-нибудь придумает, устроится на другую работу: энергетики везде нужны — сделает своё изобретение и внедрять его будет не здесь, а на новом месте, в каком-нибудь совместном предприятии. И запатентует на своё имя — так теперь можно. Приглашения пойдут от инофирм, зарубежные поездки, дома — компьютер и видеоманитофон. А на бывшем его заводе всё останется по старинке, прогорят они со своей арендой и разорятся. Светочка Соловкова, безработная, придёт в слезах в его кабинет (а он уже будет президентом фирмы), и он ей скажет...

— Ты меня совсем не слушаешь! — Голос Таисии вернул Виктора Андреевича на кухню.

— Слушаю, Тасечка, — сказал Виктор Андреевич.

— Я спрашиваю, на что мы жить будем? — повторила Таисия.

«Неужели кто-то успел ей сказать?» — с тоской подумал Виктор Андреевич и на всякий случай ответил уклончиво:

— Как-нибудь выкрутимся.

— Ты всё успокаиваешь, а выкручиваться приходится мне, — обиделась Таисия. — Ты хоть знаешь, сколько сейчас картошка стоит? Твоей зарплаты теперь только на папиросы хватит. Мясо на рынке уже сорок рублей и ещё будет дорожать.

«Не знает», — понял Виктор Андреевич и сказал:

— Так это на рынке.

— А ты купи в магазине. Три часа отстоишь, а ничего не получишь. Да и в магазинах будет дороже. Писали уже. Вот я и спрашиваю: на что жить будем?

«Ну что прицепилась?...» — тосковал Виктор Андреевич, решив от греха отмалчиваться.

— Алеше посылку надо бы собрать и перевод, а из каких денег? — долбила Таисия. — У Риты день рождения скоро, что дарить будем, ты подумал? В магазинах нет ничего. У нас тоже юбилей близится, пора подумать, кого звать. На ресторан денег нет, значит — дома. Но и дома приличный стол рублей в четыреста обойдётся, а то и больше... — Лицо Таисии вдруг смягчилось, осталась лишь неистребимая морщинка поперёк лба. — Витек, — сказала Таисия совсем тихо, — а ведь тридцать лет вместе живем. Вся жизнь...

Виктор Андреевич обнял за плечи прижавшуюся к нему Таисию. Он вообще любил свою жену, хотя привычка, кажется, преобладала в нём над всеми прочими чувствами. И пусть в далеко идущих мечтах Виктора Андреевича Таисия не появлялась, но в то же время как бы и присутствовала, потому что Виктор Андреевич всегда знал, что у него есть дом. А дом — это

Таисия. Виктор Андреевич был ласков с женой и, даже думая о Светочке, Тасю любить не переставал.

— До чего же обидно, — сказала Таисия. — Жизнь прошла, а как — я и не заметила. Сначала, студентами, думали, вот будем зарабатывать, начнётся настоящая жизнь, потом ждали, что дети подрастут, что зарплату прибавят... Теперь и ждать нечего, а жизнь ещё не начиналась...

«Сейчас снова о деньгах заговорит», — догадливо подумал Виктор Андреевич.

— ...нигде не были, ничего в жизни яркого не случилось...

«Как же не случилось, — мысленно возразил Виктор Андреевич, — у тебя, может, и не случилось, а у меня всё было. Меня Тургор ждёт, там люди гибнут, а она...»

Его уже начинал тяготить этот разговор, с небольшими вариациями происходивший каждый день. Виктор Андреевич мог предсказать его полностью, со всеми изгибами, он знал, как будет меняться настроение Таисии, как от лирических признаний она перейдет к жатобам и упрёкам. До скандалов, впрочем, доходило крайне редко, чаще, вспомнив о делах, Таисия принималась за хозяйство, а его оставляла в покое. Надо было лишь отмолчаться, но не демонстративно, а как бы и отвечая, но ничего не говоря. Но сегодня лавировать было трудно — мешали неприятности на работе, которые никак не удавалось выбросить из головы, и всё более настойчиво звал к себе вновь проявившийся Тургор. Никогда ещё дела не обстояли так страшно, впервые угрозе подвергалась вся страна, и ближе к вечеру эта реальная опасность начинала тревожить Виктора Андреевича сильнее, чем причитания жены. Он видел, что Тургор открылся для него, но не мог сосредоточиться, чтобы уйти туда.

— ...Все годы не то чтобы съездить куда или купить что-нибудь, — бубнила Таисия, — а еле концы с концами сводим. Надоело копейки считать. Другие как-то устраиваются, тысячами ворочают, а мы с тобой...

— Я не кооператор и не вор, — привычно возразил Виктор Андреевич.

— В кооперативах теперь денег не зарабатывают, а только налоги платят. Нормальные люди деньги делают неофициально. Ты знаешь, сколько сейчас стоит изготовить качественный чертёж какому-нибудь дипломнику?

— Я откуда знаю?.. Рублей двадцать пять, — предположил Виктор Андреевич. — Смотря по насыщенности...

— А вдвое больше не хочешь? — торжествуя, спросила Таисия.

— Где её достать, эту халтуру, — законно возразил муж.

— Я достала. — Таисия протёрла стол и выложила перед ошарашенным Виктором Андреевичем толстую папку. — Вот, надо сделать восемь контрастных чертежей. В лист. Сделаем — как раз хватит на праздник.

«Опять всё на меня сваливается», — обречённо подумал Виктор Андреевич.

Таисия раскатала на столе рулон ватмана.

— Ты хотя бы начни, — сказала она, — расчерти форматы. Я потом тоже подойду, а сейчас — никак, у меня бельё вчера замочено, простирать надо, а то затухнет.

Таисия исчезла в ванной. Виктор Андреевич подошёл к столу, провел пальцами по хирургической белизне ватмана.

«На работе полный день ишачишь, дома снова запрягают, — тяжело подумал он, — и главное,

ведь это никому не нужно, и так с голоду не помрём... и вообще, не настоящее всё это, пустое, фальшивое».

Ждущий помощи Тургор с неудержимой силой звал к себе.

Виктор Андреевич прошёл в комнату, стащил с кровати покрывало, медленно, словно лунатик, начал раздеваться. Скрипнула дверь, в комнату, держа на весу мыльные руки, вошла Таисия.

— Виктор, — сказала она, — я же тебя просила...

— Я сделаю, — сказал Виктор Андреевич, чувствуя себя словно школьник, пойманный на мелком жульничестве, — ты же знаешь, я не могу вечером, я очень устал сегодня, я лучше с утра пораньше встану и сделаю всё.

— Да уж, знаю, — сказала Таисия, — опять всё на меня навалил. Ладно, что с тобой делать, спи себе...

Таисия развернулась и вышла, прикрыв ногой дверь. Виктор Андреевич обессиленно ткнулся в подушку. Обида жгла грудь.

«Обязательно было куснуть, что угодно сделать, лишь бы побольнее, жизнь вместе прожили, но в таком удовольствии отказать себе не может... Все они такие... Не могу больше... Серость эта душит. Уйду... В Тургоре остаться навсегда — там жизнь, а здесь... не хочу...»

На этом мысли оборвались, не стало замученного пошlostью, униженного всеми и от всех претерпевшего Виктора Андреевича Малявина, а взамен выпрямился под низким небом Блёклого Края неустрашимый боец Виктан, твёрдо сжимающий живой меч харраков и готовый, если придётся, отдать и собственную жизнь, и бесцельное существование своего двойника ради того, чтобы и впредь мёд жизни тёк по беспредельным просторам Тургора.

Он угадал и место, и время, материализовавшись прямо на крепостном дворе. За его спиной громоздился приземистый, выросший в землю дворец Фартора, по сторонам тянулись стены, облепленные готовыми к бою стрегами. В одном месте стена была покрыта трещинами и словно осела. Она бы давно рухнула, если бы не подпорки и неутомимая работа каменщиков, наращивающих полуразрушенное укрепление. А прямо перед ним, посреди крепостного двора, поднимался невысокий скальный зубец, и на нём, видимая отовсюду, стояла чаша. Она была полна: мёд, густой и текучий, прозрачный, тёмный и светящийся изнутри, горкой поднимался над гладкими краями. До солнцестояния оставалось всего несколько минут, и Фартор в своём истинном безликом виде стоял у подножия скалы, готовый подняться наверх и осквернить мёд нечистым прикосновением.

— Светлая богиня! — прошептал Виктан и ринулся вперед.

В один прыжок он достиг подножия скалы, свободной рукой схватил тяжелую, приготовленную для Фартора лестницу и метнул её прочь. Лестница грохнулась о стену, сбив подпорки и разметав суесящихся стрегов. Стену больше ничего не удерживало, и она рухнула, подняв облако пыли. В проломе показался Шш. Он попытался двинуться на помощь Виктану, но ноги, подсечённые кривыми ножами стрегов, не держали его, лесной богатырь мог лишь ползти, отмахиваясь от наседающих противников. На равнине под стенами продолжалась битва, но Виктан мгновенно понял, что подмоги оттуда тоже не будет. Потерявшие командиров рыцари были отрезаны друг от друга и сражались в одиночку, окружённые толпами врагов. В одиночестве предстояло биться и Виктану, но, в отличие от друзей, ничто кроме рубахи не

прикрывало его грудь, а ряды оправившихся от неожиданности стрегов смыкались вокруг него. Тускло блестели натёртые маслом звериные черепа, острия копий целили в лицо. Виктан поднялся на уступ, ближе к чаше, взялся за меч двумя руками, поднял его над головой, ожидая нападения.

— Ты?.. — проскрипел Фартор. — Ты все-таки вернулся? Я же показал тебе твоё место — вон отсюда, ничтожество!

— Ты напрасно кричишь, — ответил Виктан. — Больше тебе не удастся вышвырнуть меня из Тургора. Тебе лишь мерещится твоя сила, ты воображаешь, будто можешь справиться со мной. Твой удел — вечная зависть. Возможно, в иной стране, раз ты знаешь о её существовании, ты действительно господин и тебе удаётся делать то бытие блёклым и бессмысленным. Но здесь ты не пройдёшь!

За спиной Виктана раздался густой всепроникающий звон, поднялся столб радужного света. Мёд созрел. Ещё несколько минут чаша сможет удерживать его, а потом он разольётся, даря миру смысл жизни. И эти несколько минут Виктан должен один удерживать всю озверелую жадность вселенной.

— Прочь с дороги, или я выпущу твои кишки! — заревел Фартор.

Он выхватил у ближайшего стрегу тяжёлый стальной трезубец и полез наверх, размахивая оружием и рыча бессмысленные проклятия. Виктан отвёл удар трезубца и вонзил острое меча в дряблую плоть, туда, где у обычных людей находится лицо. Однако Фартор не упал, на коже не появилось раны, зато меч харраков, погрузившись в серое, болезненно вскрикнул, и по блистающему лезвию прошла дрожь.

— Меня не так просто убить!.. — прошипел Фартор, замахиваясь гарпуном.

Вновь Виктан отбил смертельный удар, но на этот раз уже не касался мечом Фартора, а, шагнув вперёд, обхватил тяжёлую и неподатливую, словно мешок с песком, фигуру и сбросил её на головы теснящихся стрегов. Фартор завизжал, как зажатая капканом крыса. Виктан выпрямился, и в этот момент пущенное вражеской рукой копьё ударило его в левый бок.

Виктан пошатнулся, но тут же вновь поднял меч, и полезшие на приступ стрегии посыпались вниз. Переполненная чаша гудела тысячеструнным звоном.

— Пусти-и!.. — визжал Фартор, карабкаясь по скале.

Острия трезубца зазвенели о меч. Виктан вырвал из раны копьё и ударил Фартора. Копьё с шипением рассыпалось, но и Фартор оказался у подножия скалы. Он упал на четвереньки и, подняв к стоящему витязю круглую болванку головы, пролаял:

— Ты умрёшь! Копья стрегов отравлены, от их яда нет спасения. Даже если ты не пропустишь меня сейчас, без тебя твои друзья ничего не смогут сделать, и через год мёд всё равно будет моим... А ты умрёшь через минуту, смерть твоя будет страшной, и ради этого я согласен ждать ещё год!

Виктан молчал. Он понимал, что на этот раз Фартор говорит правду. Рана в боку болела невыносимо, левая рука повисла и не слушала его.

— Пусти! — потребовал Фартор. — Или возьми мёд сам, он вылечит тебя, а я буду твоим слугой.

«Единая капля, текущая на землю из каменной чаши, возвращает силу и здоровье и может, как говорят, оживить мёртвого...» Он останется жить, и на следующий год позволит мёду разлиться беспрепятственно... если, конечно, на будущий год мёд появится, а не умрёт, опороченный бесчестной рукой рыцаря, не исполнившего обета.

— Нет, — сказал Виктан.

— Ты не просто умрёшь, — завывал Фартор. — Ты погибнешь только здесь, а там ещё долго будешь маяться на своей скучной кухне, со своей скучной женой и вечными неприятностями на противной и скучной для тебя работе. Ты не сможешь даже вспомнить толком об этой жизни и будешь зря мучиться, пытаясь вернуться. Пусти!

— Нет.

Виктан чувствовал, как яд подбирается к сердцу. У него перехватывало дыхание, слабели ноги. Перед глазами качались чёрные тени. Но сильнее всего, каждой клеткой умирающего тела Виктан ощущал бурление животворного мёда за своей спиной. И он повторил ещё раз, уже не Фартору, а самому себе:

— Нет.

— Ты умрёшь! — Фартор кинулся на скалу.

Не было сил парировать удар, Виктан лишь шагнул вперед, подставив грудь под трезубец и отдав мечу последние остатки жизни. Меч харраков, погрузившись в серое, взорвался на тысячу осколков. Фартор покатился под ноги своим наёмникам. Он был невредим, но видел, что опоздал бесповоротно. Мёд, переполнивший чашу, тяжело хлынул на камни. Коснувшись твёрдой поверхности, он вскипал и мгновенно исчезал, чтобы в изменённом виде появиться на полях Резума, в степях Нагейи, среди обледенелых скал Норда и заросших мхом елей Думора, повсюду, где, напряжённая и страстная, бурлила жизнь вечного Тургора.

С появлением мёда в стране начиналась весна: свежая трава прорисовывалась сквозь старые стебли, хороводом закружили бабочки, деревья наливались соком. Земля, проснувшись, передала полученную силу дальше — своим сыновьям. Пространство перед

стенами взревело внезапно ожившей битвой. Искалеченный Шш поднялся из-под наваленной на него кучи убитых врагов. Из тумана выступил наконец прорвавшийся второй отряд, ведомый Бургом и черноволосым рыцарем Грозы, а в подземной темнице бессильно лежащий Зентар резко встал, одним ударом сбил с петель чугунную дверь и вышел на волю. Вслед за ним со светящимся мечом харраков в руке появился Гоэн. Среди стрегов началась паника, костоголовые побежали.

— Не отдам!.. — Фартор, перешагнув тело Виктана, полез по уступу, желая бессмысленно осквернить чашу, но в это время, в стороне от битвы, заблудившийся и беспомощно кружащий среди камней Бестолайн вдруг остановился, зорко прислушался и метнул на звук свою стальную булаву. Прогудев в воздухе, булава ударила Фартора, впечатав его в утёс. Беззвучно лопнул костяной шлем, сплющился золотой панцирь, и Фартор растёкся лужей слизи. Он и теперь был жив, пытался вернуть себе облик, но у него ничего не получалось, он лишь дёргал какими-то бесформенными обрубками, напоминающими членистоногую нежить туманной стены.

Мёд перестал течь.

Наступил вечер, и в темноте чаша, ещё не остывшая, мягко светилась, словно камень готов был расплавиться. Рыцари сошлись на её свет, собравшись вокруг тела Виктана. Они молчали, слова были не нужны, каждый знал, что здесь произошло.

Ночи в Блёклом Краю темны и беззвёздны. Но сегодня случилось небывалое: вечные тучи на западе разошлись, открыв пламенеющее зарево заката. Оно не гасло, уступая натиску тьмы, а разгоралось ярче, захватывая пядь за пядью, пока над стёртым горизонтом не показался краешек солнца, рассеявший мглу Блёклого Края. В ответ засиял гелиофор

на мёртвой руке рыцаря. Два солнечных луча, соединившись, образовали в воздухе невесомый мост, на котором появилась светлая фигура. Она быстро и легко приближалась, искрящиеся одежды развевались как от сильного ветра, золотой венец блеснул в струящихся волосах. Лицо женщины, неизмеримо прекрасное, сияло странным колдовским светом, не слепящим, но и не позволяющим взглянуть в упор.

Солнечный свет разливался повсюду, под этими лучами зловонно зашипела и испарилась шевелящаяся слизь — неуничтожимый Фартор вернулся в первобытное, бестелесное существование, чтобы вновь блуждать, сжигая себя завистью.

Рыцари молча расступились, небожительница, не коснувшись ногой камней, прошла мимо них и поднялась к чаше. Там, на дне, оставалось несколько последних капель мёда. Женщина наклонилась, провела по дну ладонью, собирая их. Чаша не погасла, мёд не почернел, как это случилось бы, дотронься до них нечистая рука смертного. Женщина опустила к лежащему Виктану, свободной рукой подняла его голову. Вся горечь и сладость мира коснулась неживых губ. Виктан вздохнул и открыл глаза.

— Светлая богиня!.. — прошептал он, затем глаза его вновь сомкнулись, Виктан уснул, как спят герои, возвращённые к жизни чудом.

Облака на западе сошлись, исчезло солнце, померк гелиофор. Лишь остывающим светом тлела чаша, да светилось лицо богини, безмолвно глядящей на спящего Виктана. Рыцари тихо, стараясь не звенеть оружием, отошли и направились к старому лагерю. Там отныне, сменяя друг друга, будут вечно стоять в заслоне воины Тургора, чтобы никто не вздумал повторить безумную попытку: забрать себе

общее сокровище, ради себя одного лишит всю страну смысла жизни.

Возле чаши остались лишь Светлая богиня да спящий Виктан, ещё не знающий, что гибель обошла его стороной. Вдалеке засветился костер, приглушённо донеслись голоса. Возле чаши было тихо. Медленным движением Светлая богиня сняла венец. Лицо её померкло, лоб прочертила усталая вертикальная морщина. Виктан глубоко вздохнул во сне.

Спи, рыцарь. К утру твои раны затянутся, и новые неодолимые препятствия потребуют от тебя новых подвигов. А богиню ждут иные дела: на плите в баке кипятится бельё, и расстелены на столе чертежи.

Мёд жизни — он сладок и горек.

ДОМ У ДОРОГИ



ХОЗЯИН



Аникину было пять лет. Он спал на широкой бабушкиной кровати. Бабушка спала в соседней комнате на второй кровати, такой же широкой, как первая. Размеренный бабушкин храп доносился до Аникина, пропитывал его сон. Аникин думал, что это рычат звери, прячущиеся под кроватью, глядящие сквозь дыры кружевных подзоров. Один зверь, большой и белый, свернулся у Аникина в ногах. Он тоже спал.

Аникин видел сон. Страшный и бестолковый. И одновременно он видел себя спящего с белым, свернувшимся клубком зверем. Этого зверя Аникин не боялся, хотя, кажется, тот всё-таки не спал.

Утром Аникин рассказал бабушке длинный сон, и о звере тоже. Бабушка слушала, кивала головой, жевала губами, а потом сказала:

— Домовик это. Ты не бойся, малого он не тронет. — И больше ничего объяснять не стала, а днём, наскучив вопросами, пообещала даже выдрать прут, если он не выбросит из головы глупости, потому что это всё фантазии и на деле не бывает. Но Аникин-то знал, что это вовсе не фантазии, ведь он подглядел, как бабушка сыпала возле кровати

пшённой кашей и шептала что-то. Больше Аникин белого зверя не видел, хотя из-за бабушкиного ночного рычания сны представлялись один другого страшнее. А кашу на другой день склевала курица, нагло ворвавшаяся прямо в дом, после чего случился переполох с вквотаньем и хлопаньем крыльями.

Аникин вырос. Ему было двадцать пять лет. Он спал на тахте в своей однокомнатной кооперативной квартире. Рядом посапывала женщина, на которой Аникин собирался, но всё никак не решался жениться. Аникину снился сон, длинный и бестолковый, гротескно повторяющий дела и разговоры прошедшего дня. И в то же время Аникин видел самого себя спящего. В ногах, свернувшись клубком, дремал белый, похожий на песца зверь.

Сон тянулся и путался, мешал спать, не давал следить за зверем, и Аникин пропустил тот момент, когда зверь поднялся, прошёл, неслышно ступая по одеялу, и сел на груди Аникина. Зверь был тяжёлый, он вдавил Аникина в поролоновое нутро тахты, во сне очередной собеседник замахал руками и закричал, обвиняя Аникина в небывалом, а сам Аникин силился и никак не мог вдохнуть воздух. Зверь смотрел жёлтыми куриными глазами. Потом он протянул лапу с длинными, тонкими, нечеловечески сильными пальцами и схватил Аникина за горло...

С трудом промаявшись до утра, Аникин собрался и поехал к бабушке. Он вообще часто к ней ездил, и бабушка тоже любила Аникина. Ей было восемьдесят лет, она жила всё в том же доме и спала на той же кровати. Бабушка слушала, качала головой, тихо поддакивала, слепо шурясь, рассматривала пятна кровоподтёков на аникинской шее. А потом сказала:

— Это и впрямь домовик. Значит, такая твоя судьба — с ним жить. Любит он тебя и своим считает...

— Как же — любит... — возразил Аникин, но бабушка не дала продолжать:

— Который человек домовика видит, тот уж знает, что ничего с ним не станется. Его и поезд не зарежет, и на войне не убьют. Везде его домовик охранит. Такой человек в своей постели умрёт. Как обидит он домовика-то, так тот покажется в каком ни есть обличье и начнёт душить. До двух раз он прощает, попускает да отпустит, а уж на третий раз придушит. Я сама, грешная, с ним выдаюсь. А на неделе приходил домовичок и за сердце брался. Второй уж раз. Это он не со зла, просто пора мне приспела, вот он и напоминает.

— А меня-то за что? — спросил Аникин.

— Значит, погано живёшь, обижаешь хозяина. Да и покормить его не мешает. Посыпь кашкой в углах и скажи: «Кушай, батюшка, на здоровье, а меня не тронь». Иной раз помогает.

Кормить домовика Аникин не стал. Зато он бросил пить и ограничил себя в сигаретах. А первое время даже начал зарядку делать по утрам. С девушкой своей Аникин разошёлся — она ничем не помогла ему против домовика. Впрочем, сделал он это достаточно тонко, так что они даже не поссорились. И на будущее он заводил связи так, чтобы не водить никого к себе домой, не показывать ревнивому домовику случайных женщин.

Аникин ушёл из института, где была вредная работа, хотя за вредность и не платили, и устроился инженером на завод. Там он понравился и быстро пошёл вверх. Домовика он не видел, но на всякий случай таскал в кармане тубик валидола.

Аникину было сорок пять лет. Он спал, когда обывавшийся в ногах зверь вспрыгнул на грудь, придавил и рванул за горло. Аникина увезли с инфарктом.

В больнице было много незанятого времени. Аникин смотрел в белый потолок и думал. Выходило, что домовику есть за что обижаться на Аникина. Что

делать белому зверю в бетонной городской квартире? А бабушкин дом стоит пустой и рассыпается.

Оправившись, Аникин в ближайший же отпуск привёл в порядок дом. Подрубил нижний венец, вместо потемневшей гнилой дранки воздвиг серую гребёнку шифера. Мужики, обрадованные неожиданной халтурой, уважительно величали его хозяином. Каждое лето Аникин, презрев надоевшие юга, приезжал в деревню и ковырялся в огороде. Домовика он не видел, но порой вечером, перед тем как улечься, стыдясь самого себя, сыпал под кровать остатки ужина.

Аникину было шестьдесят лет. Он освободился от завода и высокой должности, решительно запер квартиру и уехал домой в деревню. Аникин спал на бабушкиной, суеверно сохраняемой кровати. Рядом на тумбочке лежала открытая пробирка с нитроглицерином. Аникину снился сон. Он шёл по своему деревенскому дому, переходя из одной комнаты в другую, потом в третью и дальше без конца. Дом был отремонтирован и ухожен. В комнатах пахло сосновой смолой и холостяцким обедом. Не пахло только домом.

«Для кого всё это? — думал Аникин. — Неужели домовику здесь лучше? Бабушка говорила, что хозяин с людьми живёт, а не со стенами. Но ведь кроме меня здесь не бывает никого...»

Аникин бестолково кружил по неудобным комнатам, искал что-то, хотя сам понимал, что это только сон, и параллельно с этим сном видел себя самого спящего, и белого зверя в ногах, и знал, что зверь не спит.

ДОМ У ДОРОГИ



Дом стоял на большой дороге. Если внимательно присмотреться, ещё можно заметить некогда глубокие колеи, заросшие сорным лопухом и иглошипом. Стонущие по ночам деревья остерегались выходить на плотную ленту дороги, и нетоптаная тропинка прихотливо извивалась по ней, не ожидая плохого. Дом устоялся в бесконечность бельмами плотно закрытых ставень, глухой забор в рост человека окружал его, скрывая внешний мир. Тяжёлые ворота всегда были на замке.

По утрам в доме открывалась дверь, на пороге появлялся хозяин с косой на плече. Звякнув лезвием о жестяную вывеску, качавшуюся над крыльцом, спускался по ступеням. Вывеска изображала котёл и петушиную голову над ним. Дом был гостиницей.

Хозяин, ворча, обходил двор, выкашивал наростшую траву, с руганью перекидывал через ограду выползшие за ночь плети удавника. Порой, вытягивая шею, глядел поверх забора и кричал в безмолвный лес:

— Балуй у меня!.. Вот я ужо!.. — И тогда сидящие на цепи собаки начинали выть и рваться с привязи.

То утро выдалось на редкость пригожим. Ночью в чаще никто не плакал, роса пала на удивление чистая, и даже дряблые грибы, на которых ежедневно по-скальзывался хозяин, не вылезли на ступенях крыльца. Хозяин окашивал колючки, временами осторожно проводя бруском по заметно истончившемуся лезвию, и по его лицу бродило что-то напоминающее довольную улыбку. И в это время раздался сильный стук в ворота. Мгновенно подобравшись, хозяин подхватил косу и мягким шелестящим шагом метнулся к воротам. По ту сторону дубовых створок кто-то был, слышалось усталое дыхание. Потом стук повторился.

— Кто?.. — тяжело выдохнул хозяин.

— Откройте! — донеслось до него.

— Ты кто? Откуда?

— Да из города я! Заблудился. Всю ночь иду, и хоть бы одна живая душа повстречалась!

— Сейчас, — проворчал хозяин, положив руку на запор, — только ты не входи сразу, а то я могу и того...

Ворота, издав долгий немазанный скрип, приоткрылись. Хозяин ждал, держа косу наперевес, целясь оттянутым остриём в пространство за воротами. Там стоял человек.

— А ну повернись! — скомандовал хозяин.

— Ты чего?.. — Путник, увидав такую встречу, перепугался. — Я лучше пойду...

— Не дури! — рявкнул хозяин. — Я сказал повернуться, значит, слушай. Может, там хвост у тебя, так я мигом обкошу.

Путник повернулся, испуганно поглядывая через плечо. Хозяин отступил на шаг.

— Входи, — разрешил он.

Гость, не осмеливаясь перечить, шагнул во двор. Хозяин навалился телом на взвизгнувшие ворота, захлопнул их, припёр створки обрезком бревна.

— Откуда ты такой взялся? — спросил он.

— Из города я! — страдальчески выкрикнул пришелец. — Пройтись вышел, да заплутал. Куда идти — не знаю... и лес у вас чудной какой-то.

— Как тебя там никто не задрал? — удивился хозяин. — Значит, такое твоё счастье. А что, город ещё стоит? — спросил он вдруг.

— Стоит. Что с ним делается? — Гость ничего не понимал.

— А нечисть? — начал хозяин, но в этот момент его прервали.

— Эй, привет! — раздался молодой звонкий голос. — Отворяй, когда к тебе пришли!

Над забором показалась человеческая фигура. Весёлое лицо под шапкой спутанных волос, обнажённый торс, густо заросший кудрявой шерстью, узловатые, мощные, тоже волосатые руки. Хозяин развернулся и, не глядя, ударил. Лезвие косы, коротко вжикнув, прошло в каком-то дюйме от лица успешшего отшатнуться незнакомца. Тот обидно захохотал и исчез. Послышался удаляющийся лошадиный топот.

— Что ты его так? — испуганно спросил путник. — Ведь живой человек...

— Как же, человек! — бросил хозяин. — Нечисть это, наполовину мужик, наполовину конь. Понял?

Прохожий, приподнявшись, глянул поверх забора и тихо ахнул.

— То-то, — сказал хозяин. Он распахнул двери дома и, повернувшись к онемевшему гостю, продолжил: — Иди пока отдыхай, пожрать на столе найдёшь. А у меня дела. Косить надо да полоть. День запустишь, так потом капусту от репья не отличишь.

Полдня прохожий послушно просидел в доме один, а когда тяжёлое солнце стало клониться к верхушкам деревьев, в доме появился хозяин. Поставил

в угол косу, сполоснул в лохани чёрные земляные руки, уселся и только тогда потребовал:

— Рассказывай.

— Что рассказывать-то?

— Город как, как народ справляется, и что говорят: откуда напасть взялась, и конец будет ли?

— Город как город, живут, помаленьку кормятся. А чтобы нечисть рядом водилась, никто и не слыхивал! Это ты откуда такой взялся, вместе с лесом и гостиницей твоей?!

— Как откуда? Я на Вычезской дороге стою, мимо меня тысячи народу ходили! — Хозяин замолк, а потом жалобно прибавил: — Ходили, да перестали. И путь зарос. Неужто никому в Вычез не надо?

— Почему — не надо? Есть дорога в Вычез, — удивился гость. — Вот только не слышал я, чтобы страсти такие на ней творились...

— А ты, парень, часом не врешь? — Хозяин нагнулся вперёд.

— Чего врать-то? — забеспокоился тот. — Ты лучше скажи, как мне домой попасть? А то ведь пора.

— Куда ты сейчас пойдёшь? Зажрут тебя в лесу. С утра надо выходить, пока туман. Может, и дойдёшь. На рассвете они помирнее, хотя всё равно дрянь. В этом лесу всё нелюдское: и трава, и деревья, и зверьё. Они и сюда лезут, подбираются. Овцы у меня были, берёг их, а потом гляжу — не овцы это. Глядят зло, а по ночам разговаривают промеж себя, совсем как мы, только не понять ничегошеньки. Зарезал я их и в яме закопал. А собак держу, куда я без них? Умняющие твари, аж боязно, но терплю. Я их порой в лес пускаю, так они мясо приносят, здоровенные куски. А от кого мясо — я и не гадаю.

Хозяин прервал речь и встал. Со двора донёсся прерывистый вой спущенных с цепи псов.

— Слышишь? — сказал хозяин. — Давай спать ложиться, пока не стемнело, а то как бы ночью вскакивать не пришлось, если вдруг кто в гости пожалует.

Они молча разошлись по своим комнатам, и дом затих, прижавшись к земле, стараясь не слишком бросаться в глаза просыпающемуся лесу. Одни собаки серыми тенями кружили по двору и порой тоскливо выли в сгущающийся лесной сумрак.

Среди ночи хозяин неожиданно сел на постели. Его била крупная дрожь. Не издав ни одного звука, он скатился на пол, на коленях подполз к выходу и припал к щели под дверью. Коридор, освещённый призрачным мерцанием пятнающей стены плесени, был пуст. Потом в его конце качнулась тень, и там показался утренний гость. Он бежал по коридору на четвереньках, неслышно переставляя лапы. Лицо его страшно изменилось, уши прижались к черепу, челюсти выехали вперёд. Нервные губы дрожали, приоткрывая массивные жёлтые клыки.

Хозяин оскалился и молниеносным движением выметнулся навстречу пришельцу. На мгновение они застыли, буравя друг друга ненавидящими точками красных глаз, шерсть на загривках поднялась, зубы оскалились, и, издав вой, полный злобы и разочарования, двое кинулись вперёд. Они катались по полу, стараясь достать клыками до горла врага, гневное рычание разносилось далеко над бессонным лесом, а дом раскачивался, ходил ходуном и гулко хохотал, хлопая ладонями ставень.

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ

Яблока сырые прияты вредительны
суть телу паче всех овощей.

Вертоград прохладный



что, дорога вполне приличная, — произнёс Путило, резко крутанув руль.

Автомобиль накренился и начал заваливаться в колею, густо наполненную серой жижей, больше всего напоминающей шламовые отстойники абразивного завода. Ефим Круглов судорожно ухватился за ручку дверцы, словно собираясь выпрыгивать сквозь ремни безопасности, но машина всего лишь ухнула в колдобину и, натужно взрывывая, принялась расплёскивать тракторного замеса грязь. Струйки глинистой суспензии стекали по заднему стеклу, превратив мир в серый абстрактный витраж. Сквозь лобовое, почти чистое стекло Круглов видел грязевые разливы: глубокие, податливые и цепкие. Самый их облик однозначно предсказывал, что случится через минуту: звук мотора изменится, колёса забуксуют, не находя опоры в полужидкой среде. С минуту Путило помучается, переключая скорости и пытаясь раскатать увязшую «Ниву», потом щёлкнет дверцей и скажет:

— Приехали. Придётся тебе меня подтолкнуть.

Ефим опустил взгляд на свои ноги. Три часа назад в городе он опрометчиво полагал, что надел резино-

вые сапоги. Теперь стало ясно, что по здешним меркам его обувь в лучшем случае может сойти за тапочки. Голенища сапожек едва доставали до щиколоток, и, значит, лучше было сразу снимать их и шагать в холодную октябрьскую грязь босиком.

Круглов осторожно, выискивая ногой опору, ступил в грязь и сразу же провалился выше сапог. Казавшаяся густой каша мгновенно хлынула внутрь. Загустевшая в глубине масса покорно раздалась под ногой. Ефим попытался сохранить равновесие, немедленно черпнул вторым сапожком и, не удержавшись, плавно, как в замедленном фильме, повалился набок. В самый миг падения отчётливо представилось жуткое бурое пятно в полплаща и вспомнилось красивое слово: «бежевый». Больше плащу бежевым не быть.

Он ещё старался вскочить быстрее, как будто грязь может не успеть прилипнуть к чистой ткани, но ноги, так и не встретив опоры, проскользили в разные стороны, и он снова упал, на этот раз на живот, до локтей погрузив оба рукава в пованивающее навозом и соляркой месиво.

«Гнила, — мелькнула неуместная мысль. — Деревенские называют глину гнилой».

После этого его опять повалило на сторону, и он понял, что тонет.

«Нива», смердя сиреневым выхлопом и швыряясь из-под колёс грязью, медленно уплывала по разбитой дороге.

— Сергей Лукич! — крикнул он, уже зная, что машина не остановится. — Путило! Помоги!.. Сто-ой!!

Шматок грязи хлётко залепил в лицо, мгновенно ослепив и наполнив открытый рот пресной горечью разведённого глинозёма. С натугой Круглов выдрал наружу одну руку, но лишь сильнее замазал глаза. Когда он проморгался, легковушки уже не было, а

успокоившаяся колея плотно зажала ноги и туловище, словно не земля была вокруг, а мгновенно твердеющий алебастр. И не за что было схватиться, чтобы вытащить себя, и не оставалось сил держать запрокинутую голову над поверхностью жижи, терпеливо ждущей, чтобы засосать и уложить его на дно колеи под гусеницы запоздалому трактору.

Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Он набрал воздуха, сколько вошло в сдавленную грудь, и попытался звать на помощь, но сумел издать лишь сиплый писк. Зато липучка, в которой он барахтался, словно проснулась и потянула его вниз. Ефим хлебнул холодной грязи, забился, понимая, что топит себя окончательно, и, булькая, закричал:

— А-а-а!..

— Ты чего? — спросил Путило.

Круглов попытался вскочить, но ремни удержали, заставив вновь откинуться на сиденье.

— Приснилось, — выдавил он.

— Бывает, — согласился Путило. — Здесь в два счёта может укачать. Но, заметь, дорога отличная. Сверху жижа, а внизу плотный грунт. Тут прежде тракт проходил, так до сих пор путь держится.

— Понял, — сказал Круглов, вытирая лицо. На зубах скрипело, во рту был вкус глины.

— А вот и деревня, — сообщил Путило. — Называется Горки. Хотели её переименовать, чтобы не путали, да руки не дошли. Так и осталось Горки.

Букву «г» Путило произносил мягко на хохляцкий манер, так что получалось «Хорки».

«Хорки, так Хорки, — подумал Ефим. — Главное, чтобы сухо было».

— Нам ещё версты полторы, — сказал Путило. — Склады там.

— Чего так далеко?

— Укрепрайон. Где немцы доты строили, там и склады.

Автомобиль наконец доплыл к первым домам. Здесь Путило не рисковал опрокидывать «Ниву» в переполненные колдобины, он слишком хорошо знал, как деревенские бутят ямы под окнами битой стеклотарой и прочими составляющими культурного слоя. Путило старался держаться тропки, протоптанной вдоль палисадничков, огороженных пряслами в одну жидкую жердинку. Обвислые розетки счерневших от мороза георгинов уныло размазывали грязь на дверцах раскачивающейся машины. Пару раз автомобильный бок шкрябнул по жердям, кажется даже сломал одну, но и после этого в деревне ничто не проснулось, она оставалась такой же молчаливой, серой и придавленной к земле, как и молчаливое, серое, придавленное к земле небо над ней.

Деревня была длинная, всяко больше километра, а домов Ефим насчитал десятка два. Между одинокими постройками, словно провалы в хорошо прореженной челюсти, пустыли заросшие бурьяном фундаменты, кучи деревянной трухи, угля. Казалось, здесь много лет кряду не утихала война, и теперь уцелевшие людишки нарочно живут победнее, зная, что всё равно налетят и ограбят. Не одни, так другие. Так что не стоит и наживать.

Возле одного дома у калитки Круглов заметил человеческую фигуру. Существо, кажется, женского пола и очень неопределённого возраста сухо смотрело на телепающийся в грязи экипаж. На существе была затёртая, пыльного цвета телогрейка, из-под которой свисал выцветший подол подозрительного покроя, а уж из-под него торчали преогромнейшие кирзовые сапоги. То был не человек даже, а как бы природное явление, такое же вечное и обязательное, как заросли пожухлой лебеды или покосившийся столб, неведомо

кем и когда вкопанный в стороне от дороги. Мимо сквозили века, народы, завоеватели какие-то, а существо стояло, опершись о плетень, строго глядя на разболтанную колею и не видя, кого несёт по этой колее мимо тихой деревни Хорки.

Оккупанты прыгивали с танковой брони и храпящих степных лошадей, бежали по избам, волокли кур, граммофоны и голосащих девок, с отяжкой рубили кривым булатом непокорных, жгли дома и сараюшки, но не обращали внимания ни на бурьян, ни на кривоватый столб, ни на безликую кирзовую фигуру. А зря, потому что проходило малое время, и следа не оставалось от захватчиков, самая память о них истиралась, а бурые стебли, подгнивший столб и согнутая фигура продолжали стоять.

Щёлкнув дверцей «опшеля», Ефим выскочил наружу. Настроение у него было прекрасное. Да и в самом деле, чего опасаться? — глубокий тыл, земля, можно сказать, своя. Смешная деревня, забавные люди, осень, яблоки... Хорошо! Автомат остался висеть на плече дулом вниз: всё кругом зер гут, яблоки не стреляют. Пропечатывая на скользких размывах глины рубчатые шрамы следов, Ефим приблизился к стоящему у плетня существу. Сдвинув на затылок пилотку, оглядел аборигена. «Пожалуй, это всё-таки женщина». Затем спросил:

— Шпрехен зи дойч?

— Ich verstehe nicht, — непонятно ответило существо, глядя насквозь прозрачными выцветшими глазами.

Ефим недоумённо пожал плечами, чётко, словно на плацу, развернулся. О чём говорить, с кем не о чем говорить? Нога, уютно упрятанная в сапог, проскользнула, словно под каблук попал небрежно брошенный огрызок яблока. Ефим изогнулся, стараясь удержаться растопыренными руками за воздух. Бро-

шенный «шмайссер» ударил дулом в поясницу, и Ефим всем телом грохнулся на дорогу, смертельно скользкую, но всё ещё твёрдую под тонким слоем жижи.

Коротко в три толчка ударила очередь.

«Совсем не больно... — успел удивиться Ефим. — Сейчас...»

— Опять что-то приснилось? — вопросительно произнёс Путило. — Здоров ты спать.

— Недосып, — севшим голосом выговорил Ефим. — Сессия. Экзамены сдавал.

— Какие же экзамены в сентябре? — недоверчиво поинтересовался Путило. — Сессия вроде весной бывает и зимой.

— Так получилось, — уклончиво ответил Круглов.

— Ага, — согласился Путило. — А что сдавал?

— Помогую. Профессор Рыгов — зверь. Душу вынимает.

— Ага, — повторил Путило, не отрывая взгляда от дороги.

«Нива», натужно завывая, ползла в гору. Деревня уже осталась позади, дорога оврагом вгрызалась в холм или, может быть, изначально была проложена по впадине. Время от времени по сторонам над обрывами являлись невысокие деревья, корячившие пустые ветви в провисшее небо.

— Яблони, — сказал Путило, мотнув головой. — Раньше тут сплошняком сады росли, торговля шла крупная, на ярмарке плодоводства в девятьсот одиннадцатом году отдельный павильон был — «Псковские яблоки», в Берлине — фирменный магазин, не помню чей. Потом, конечно, всё хизнуло, повалилось, при Хрущёве яблони порубили — ничего не осталось.

— Как это ничего? Откуда тогда склады?

— Ну кое-что, конечно, осталось. В основном — по заброшенным деревням, где рубить было некому.

Работаем помаленьку, но фирменного магазина на Seestrasse мне ещё долго не открыть.

— Ого! Ты глянь, Сергей Лукич! — перебил Круглов.

Влево от дороги, где холм приминался пологой ложбинкой, неприкрыто распласталось серое военное сооружение. На десяток метров в окружности земля была заменена замшелым от старости цементом. Его грубая фактура, выветренная и потемневшая, казалась камнем, искони росшим тут, забытым рассеянным ледником в далёкий мамонтовый период. Но сквозь эту твердь в свою очередь пробивалось иное творение чужеплеменных рук — стальной колпак неведомой толщины, столь мощный, что даже ржавчина не осмеливалась пятнать его. Раскосая прорезь амбразуры сторожила танкоопасное направление, неприязненно глядя на гражданский экипаж, вздумавший прошмыгнуть мимо.

— Это и есть укрепрайон? — с тихим восторгом спросил Ефим.

— Он самый.

— А где вход?

— Нам к нему ещё пилить и пилить. Он на той стороне холма, за бугром.

— Не слабо сказано, — оценил фразу Ефим.

Легковушка перевалила водораздел и юзом сползла вниз, где в сторону от дороги отходила ещё одна раздолбанная колея. С виду она была точь-в-точь как та, по которой они только что плыли, но, видимо, качество этой хляби было иным, потому что Путило вывел машину на обочину и заглушил мотор.

— Дальше — ножками, — произнёс он, распахивая дверцу. — Дальше только трактор пройдёт.

Вход в bunker открылся неожиданно: путники обогнули отрог холма и увидели, что часть склона словно срезана долой и на этом месте темнеет зало-

женная кирпичом арка. Когда-то, должно быть, она была замаскирована и страшна гордой неприступностью, но сейчас, выставив напоказ обшарпанное уродство, сооружение походило на брошенный за ненадобностью туннель, а никак не на крепость минувшей войны. Расколотые остатки бетонных тюфяков, некогда прикрывавших горжевую часть, теперь были свалены вниз и густо зеленели лишайником.

— Ну как? — спросил Путило, опуская тяжёлый рюкза́к на треснувшую плиту.

— Впечатляет, — согласился Круглов. — А что, тут никого нет?

— Да уж, — с неожиданной злобой произнёс Путило. — Был тут у меня один — сторож. И смотал. Объект бросил, даже вот смены не дождался. Хрена он у меня получит солёного, а не зарплату. Почему, думаешь, тебя сюда так спешно везти пришлось? Тут яблок лежит немерено, и оборудование завезено. А охраны — никакой. Всё для добрых людей. Во, гляди!

Путило подошёл к двустворчатой железной двери, украшавшей центр кирпичной кладки, пошарил под порогом и вытащил ключ. Тяжёлый амбарный замок со скрипом распался, открывая проход.

— Это тоже немецкое? — с сомнением спросил Круглов, кивнув на сварную дверь.

— Не, это потом. Тут всё было замуровано году в пятидесятом, чтобы не шастали кто ни попадя. Мы только проход пробили и дверь навесили. Ну и, конечно, вычистили оттуда гору дерьма.

Ворота завизжали на петлях и открыли вторую дверь из плотных деревянных плах.

— Это уже для тепла, — пояснил Путило, снимая крошечный контрольный замочек.

Жёлтые лампы под потолком осветили уходящую в глубь горы штольню. Она была широка, больше трёх метров в свету, как говорят строители, и до

половины заставлена заколоченными ящиками. Сделанные по трафарету надписи навевали мысли о чём-то техническом.

— Оборудование, — предупредил вопрос Путило. — Консервный цех, мармеладное производство... и всё стоит без дела, распутица строить не позволяет. А яблоки — в рокадной галерее и казематах. Там глубина — метров двенадцать, температура всегда комфортная, ни мороз там не страшен, ни жара.

— А боевая линия? — щегольнул знаниями Ефим.

— Это далеко. К тому же там постройки котлованного типа, они для фруктохранилища хуже приспособлены. — Видно было, что Сергей Лукич отлично изучил своё хозяйство и разговор поддержать может. — Там до сих пор пусто, только один из оружейных дотов оборудовали тебе под жильё.

— А почему не наблюдательный пункт? Он сторожу больше подходит.

— Да, конечно. Ты как-нибудь туда сходи, полюбопытствуй. А понравится, так и переезжай.

— Разрушен? — догадался Круглов.

— Не, что ты. Просто там потолки семьдесят сантиметров высотой. Очень удобно.

Они спустились вниз, засветив следующую цепочку сиротливо болтающихся лампочек. Проходы здесь были не так широки, но всё равно почудилось, будто стены раздвинулись и вольный простор дожнул в лицо.

Пахло яблоками. Сладостный винно-пряный аромат в недвижимом воздухе, казалось, стоял стеной, тонкие оттенки запаха слились, дух был так силен, что уже не имел отношения к чему-то съедобному — пахло как на кинофабрике: эссенциями и растворителями. Флюиды пропитывали старый бетон, возвращая ему призрак жизни, душистая сытость висела в воздухе, дыхание участилось, кровь прилила к щекам, жар охватил пальцы рук.

— Ишь как сладко, — пробормотал Путило. — Вентиляцию надо включить, а то как бы не заткнулись.

Он повернул рубильник. Где-то наверху заворчал вентилятор.

Яблоки были повсюду. Поддоны с розовкой наполняли галерею, ящики боровинки расписной в четыре ряда громоздились в тесных казематах, тускло зеленели грубой кожей рамбуры, желтела титовка, собранная в разорённых остатках некогда образцовой мызы господина Парамонова. Крошечные китайки, бруснички, сливки наполняли плетёные короба, очаровательная гвоздичная хорошавка алела в решётчатых барабанах. Болгарские щепные ящички, привычные к безвкусному джонатану, не могли вместить ребристые плоды снежного калльвиля — светло-жёлтые, лишь слегка затуманенные неярким румянцем, который, впрочем, берёт своё в глубине, так что на срезе яблоко заманчиво розовеет, исходя приятной кислотой. Стаканчатые гремушки королевского флейнера, бархатный анис, осенняя белая путивка, зимний золотой пармен, облитый багряными полосами черногуз... Артиллерийские погреба заполняла антоновка: жёлто-зелёная полуторафунтовка; каменичка — кислая, но стойкая в лёжке и бесподобная пользой хворым и слабым; румяный сорт, носящий нелепое прозвание «серая антоновка». Но всего больше собралось в подземелье короля и чемпиона окрестных садов — бесподобного, великолепеннейшего штрифеля. Крупные четырёхдюймовые яблоки, с нежной кожей, которую не смеет тронуть ни парша, ни загар; словно облитые растущёванным румянцем, с эффектно кинутыми пестринками более густого оттенка, и всё это радостное великолепие не режет глаз, а словно светится изнутри притягательным матовым светом. Нет чудесней яблока, и просто диву даёшься, как

скучно называют его в деревнях: «обрез», «старостинно», «осеннее полосатое». Нет, пусть уж будет дразнящее слово «штрифель», в котором слышится шорох осенней листвы и ожидание праздника.

Ефим взял одно яблоко, повертел в пальцах, понюхал. Даже в перенасыщенной ароматами атмосфере от яблока тонко и сладостно пахло. Пахло хорошим вином и жизнью.

— Той же яблочный дух, — медленно произнёс Ефим, — особна есть лечба тем, кои одержимы суть сухотною, тако же и тем, кои страждут меланколиевою болестию, понеже от того духу вредительное естество переминется.

Он осторожно вернул яблоко на место.

— Да ты ешь! — щедро предложил Путило. — Это коричное полосатое. Где ещё таких попробуешь?.. Кушай!

— Боязно что-то, — признался Ефим. — Смотри, сколько их тут. Аппетит отбивает.

— Ну, как знаешь. — Путило выбрал яблоко покрупнее и хрустко вонзил в него зубы. — Сочное, — сообщил он.

В следующую секунду лицо его искривилось, он судорожно заперхал, стараясь сдержать кашель, но, не справившись, согнулся, надрывно закашлял, размахивая руками и ударяя себя в грудь. Разжёванные куски яблока веером полетели изо рта. Ефим, не зная, чем помочь, беспомощно суетился вокруг, что-то спрашивал, хлопал ладонью по спине.

— А... а... н-не-е... А-ак-х!.. — пытался выговорить Путило и снова бился в кашле, переходящем в хрип.

— Я сейчас... водички! — крикнул Ефим.

Он прогрохотал по пандусам и ступеням, влетел в скупое освещённый тамбур, где они оставили вещи, дёрнул молнию на сумке. Там должен быть термос,

вместе с завтраком. Мать, когда собирала его в дорогу, приготовила завтрак. И термос с горячим чаем.

Под руку попало что-то круглое. О чёрт — яблоко! Где же термос? А, вот он!

С термосом в руках Ефим кинулся вниз. Там было тихо, и это пугало сильнее самых душераздирающих хрипов. Отчётливо представлялось бездыханное тело Сергея Лукича, его искажённое лицо в пятнах гематом от лопнувших вен. Что делать, как помочь?

Путило сидел на перевёрнутом ящике среди раскатившихся яблок и осторожно, боясь вызвать новый припадок кашля, втягивал в грудь воздух.

— Вот, — сказал Ефим, наливая в колпачок дымящийся чай. — Выпей.

Путило глотнул немного, кашлянул словно на пробу, потом сипло произнёс:

— Сладкий. Зря... Я соком захлебнулся, в дыхательное горло сок попал. А он тоже сладкий, — знаешь, как тяжело, если сладким захлебнуться? Я думал — не откашляюсь.

Путило допил чай, кашлянул ещё раз, окончательно освобождая грудь от едкого сока, поднялся и начал собирать раскатившиеся яблоки.

— Вот так живёшь, — сообщил он, — а потом скушал яблочко неосторожно — и конец. Пошли лучше, я тебе твоё хозяйство покажу.

По наклонной штольне они двинулись к боевой линии. По дороге Путило остановился возле одной из ниш.

— Тут вода, — сказал он. — Хорошая, вкусная.

Из заржавелой трубы в ванну беззвучно падала прозрачная струя. Путило наклонился, поймав воду губами, гулко глотнул. Ефим напрягся в нехорошем предчувствии, но всё обошлось. Тогда Ефим наклонился и тоже попробовал. Вода была очень холодная.

— Чего крана нет? — заметил Ефим. — Течёт без дела.

— Какой кран, чудик? Это же ключ. Его пере-
кроешь, так он снизу всё к чертям собачьим размоет.

Ефим наклонился к пленному роднику и ещё отпил воды, от которой ломило зубы и начинало болеть где-то над глазами.

— Там ещё нортоновский колодец был, — продолжал экскурсию Путило, — но местные колонку свинтили, считай, сразу после войны. Можно было бы восстановить, обсадная труба цела, но как туда штангу опустить — ума не приложу. Потолок мешает. — Путило стукнул кулаком по чёрным плахам обноски, уцелевшей в этом месте. — Ведь как строили, гады, а? Полста лет прошло, а всё цело, всё действует. Вот у кого поучиться... Хотя, если вдуматься, — на кой ляд они это мастерили? Чтобы я тут сегодня конверсией занимался? Сделали бы нормальный склад, куда как было бы лучше.

Минуя погреба, наполненные щедрым урожаем, они поднялись наверх и очутились в доте, возможно том самом, что попался на глаза по дороге сюда. Тесный объём укрепления позволял разместить кровать с пружинной сеткой, шкафчик, в котором хранился запас продуктов, и столик, вплотную придвинутый к кровати. На оружейной площадке стояла новенькая электрическая плита с духовкой.

Ефим выглянул наружу.

— Дот, да не тот, — сказал он после некоторого раздумья.

Пейзаж, открывшийся в бойнице, оказался незнакомым. Дороги видно не было, склон полого упирался в ржавое болотце. На середине склона корявилась старая яблоня. Поломанные сучья почти лишены листьев, вид у дерева был сиротливый. Станным казалось, как уцелело древнее растение, разве что дейст-

вительно никто не атаковал неприступные доты в лоб, а обошли их и брали с горжи — другой, не так защищённой стороны. Но всё равно крови в этих местах, должно быть, лилось преизрядно, потому и яблоня до сих пор жива. Яблоки, говорят, хорошо на крови рождаются.

На секунду Ефиму померещилось, будто в одном месте земля среди бурой опавшей листвы мазнута кармином. Ефим потряс головой — почудилось. А если и нет — мало ли что может краснеть под яблоней?

Он спрыгнул вниз. Путило деловито перегружал из своего мешка в шкафчик пакеты с провизией. Шкаф и без того был забит до половины. Что там есть, Круглов не знал, видел лишь жёлтые пачки «Геркулеса» да несколько картонных клеток с яйцами.

— А чего предыдущий сторож ушёл? — спросил Ефим. — Тут вроде хорошо. Тишина, воздух.

— А ляд его знает, — отмахнулся Путило. — Умом тронулся от воздуха. Позвонил, сказал, что ключ под дверью, а он здесь больше ни минуты не останется. Хоть дверь запер — и то хорошо.

— Понял! — сказал Круглов. — Это привидения. Где им ещё быть, как не тут? Забрёл мой предшественник куда-нибудь, где ещё свет не проведён, и наткнулся на светящийся скелет. В каске и с железным крестом.

— Ага, — сказал Путило. — Ты больше языком чеши — тоже рехнёшься. Только учти, мы, когда это дело размуrowывали, милицию приглашали и сапёров. Тут каждая щель осмотрена — ничего нет, одна труха. А труху вычистили даже в пустых помещениях. Мне гниль ни к чему.

— Скучный ты человек, Сергей Лукич, — сказал Круглов. — Я, можно сказать, только из-за привидений сюда и приехал.

— Ты сюда отсыпаться приехал, — оборвал Путило, — за казённый счёт. Вот и отсыпайся — месяц-полтора, пока зимник не станет. А привидения оставь в покое. Как путь установится, начнём товар вывозить, там уж без тебя обойдёмся. А пока — спи на рабочем месте.

Путило отдал последние инструкции, загрузил в багажник несколько ящиков затесавшихся летних сортов и укатил.

Ефим остался один. Он постоял на обочине, глядя вслед уплывающей «Ниве». Легковушка удалялась совершенно как во сне, то и дело заваливаясь в сторону и плюясь из-под колёс жидкой грязью.

Потом пришла тишина — пронзительная, какая только осенью бывает. Вроде и солнце на минуту высунулось из просевших туч, и стайка птиц пролетела с дробным щебетом, и день тёплый, а всё одно — не светло, глухо, мозгло. В такие дни нарочно ждёшь вечера, чтобы сидеть у печки, подкладывая тонкие полешки и слушая песнь закипающего чайника. Под открытым небом неуютно, всё время чудится, что сейчас упадёт темнота и холод и некуда будет податься.

Ефим поднялся на гребень холма, пошёл вниз, выискивая среди ложбин шапку дота. Ничего не попадалось — склон как склон, перерезанный оплывшими остатками траншей. Не верится, что внизу ледниковая морена изрыта бетонированными ходами.

Потом Ефим увидел знакомую яблоню и болотину, на поверку оказавшуюся жалкой лужей. Сориентировавшись по знакомым приметам, увидел и капонир. Он удачно прятался на местности — так просто и не углядишь. Застеклённая бойница светилась изнутри непогашенным электричеством. Сразу захотелось туда — домой. До чего же быстро человек привыкает к новому месту! Вот уже и бетонный склеп, в котором

предстоит провести месяц, для него стал домом. Обидно, что до входа почти километр по крутому склону — сначала вверх, потом вниз, а затем обратный путь, но уже под землёй.

Но прежде всего Ефим пошёл к яблоне. Он догадывался, что, вернувшись домой, будет глядеть через амбразуру на недоступное дерево и мучиться, что же это краснеет неподалёку?

Среди счерневшей листвы открыто, на виду у всего мира лежало большущее яблоко. Не верилось, как его могли пропустить и не заметить. Но ещё удивительней была мысль, что такие красавцы могут вызревать на искалеченном ветеране, каким представлялась старая яблоня.

Ефим поднял прохладный плод. Всё-таки хорошо, что это именно яблоко, краснобокий штрифель, а не выпцветшая кумачовая тряпка, размокшая пачка из-под сигарет или полусъеденная ржой консервная банка.

Яблоко удобно лежало в ладони, восковой налёт придавал коже особую приятность, хотелось погладить яблоко, словно доверчивого зверька. Светлые точки, проглядывавшие сквозь румянец, делали нахodka удивительно живой и настоящей.

Ефим понюхал яблоко. В осеннем профильтрованном воздухе лёгкая душистость штрифеля показалась ошеломляющей. Ефим только теперь понял, как он хочет есть. Плотная желтоватая мякоть с лёгким хрустом подалась зубам. Рот наполнился винной сладостью с лёгким привкусом не то земляники, не то ананаса. Казалось, от яблока можно кусать бесконечно и его не убудет. Но внезапно Ефим вспомнил, как пострадал час назад Путило, и тоже едва не поперхнулся соком. Он аккуратно доел яблоко, расшелушил огрызок, вытащив тёмно-коричневые семечки, и, зажав их пальцами, быстро расстрелял в разные стороны.

— Прорастайте, — великодушно напутствовал он разлетевшиеся семена.

Больше делать на улице было нечего. Круглов вернулся ко входу, заложил дверь изнутри на тяжёлый засов, поднял оставленные в тамбуре рюкзак и сумку и двинулся через скупо освещённое подземелье.

Теперь, когда он шёл один, путешествие доставляло куда меньше удовольствия, чем раньше. Шаги отдавались в переходах, всё время чудилось, что кто-то перебежками следует сзади. Шуточки о привидениях почему-то стали не смешны, и мысль, что наверху ещё день, — не слишком помогала. День — он наверху, а тут — ночь.

— Да-а!.. — нарочито громко произнёс Ефим. — Сейчас как выскочит фриц в каске и с железным крестом, как гаркнет: «Хенде хох!» — а я ему в ответ: «Штрифель зи дойч? Нонненапфель суислеп!»* Он и отпадёт. Так-то, знай наших.

На внутренней бронированной двери капонира Ефим не без удовольствия обнаружил ещё один засов, задвинул его; за неимением настоящей печи врубил электрическую и уселся разбирать вещи. Прежде всего вытащил заботливо приготовленный матерью пакет с завтраком: четыре бутерброда с рассечённой вдоль сосиской, помятая помидорина и пара яблоков сомнительной помологической принадлежности.

Ефим досадливо поморщился: ведь мама знала, куда он едет, могла бы догадаться, что яблок с собой брать не стоит. Вот куда их теперь девать?

Аромата у привезённого фрукта не было никакого, вкус травянистый, мякоть рыхлая. И вообще не мякоть это, а хорошо развитый мезокарп. И кутикула жёсткая как подмётка, из такой только урсоловую

* Нонненапфель, суислеп — сорта яблок.

кислоту добывать. И семенная камера поражена фузариозом.

Ефим запихнул надкушенных уродцев обратно в полиэтиленовый пакет, крепко завязал. Завтра надо будет отнести их подальше и выкинуть. Не хватало ещё занести сюда какую-нибудь заразу. Вот станет Путило миллионером, выстроит настоящий склад, повесит под потолком кварцевые лампы, и не будут страшны собранному урожаю ни фомоз, ни глесириозная гниль, ни трихотециоз. А я у него стану главным помологом. Путило — хороший мужик, ему плевать, что Рытов опять зарезал меня на экзамене.

Ефим вздохнул. Нестерпимо хотелось яблока. Настоящего. Но ещё сильнее не хотелось отодвигать засов. Ничего там нет, но всё равно тяжело одному в склепе. И чай в термосе остыл. Можно бы разогреть, да не в чем — посуда в кухонном углу грязная, покрыта засохшими малоаппетитными остатками. Завтра надо будет устроить могучую уборку, всё перемыть, вычистить. А пока — спать.

Как всегда на новом месте, спалось странно. Ефим бессчётное число раз не то просыпался, не то просто осознавал себя спящим. Снилось воспоминание о двух старинных, вручную кованных задвижках, это успокаивало, и Ефим, не проснувшись, засыпал вновь. Снилось, будто он встаёт и идёт за яблоками, чтобы принести их к себе и не бегать вниз каждый раз, когда захочется вкусного. Пол в катакомбах, словно листвой, засыпан хрусткими железными крестами, а сверху катаются яблоки, прогуливаются парами: гольден с белым наливом, грушовка с кандиль-синапом — беседуют о чём-то своём.

«Здесь не растёт кандиль-синап», — подумал Ефим и проснулся окончательно.

В бронированном проёме густела темень. Ефим попробовал закрыть глаза, но понял, что больше не

уснёт. Улежавшееся в мягкой пружинной люльке тело требовало движений. Ефим зажжёт свет, посмотрит на часы. Часы стояли, показывая полпервого.

Казалось бы, что за дело? Он не связан ничем, ему никуда не надо спешить, можно есть, когда проголодаешься, спать, когда сморит сон. Под землёй всегда ночь, а щёлкнув выключателем, всегда можно сделать день. Проснулся — так вставай — плевать, что снаружи темно, октябрь на дворе, скоро вовсе дня не будет.

И всё-таки остановившиеся часы словно отрезали его от жизни. Ефим чувствовал, что отныне не он хозяин всего, что творится вокруг, а окружающее ведёт его куда хочет, диктует свою волю. Ощущение времени — одно из новых чувств, подаренных человеку прогрессом. Потерять часы — то же самое, что лишиться зрения. Придётся, когда рассветёт, идти в деревню узнавать, который час.

А пока — нечего валяться. Работа — лучшее лекарство от меланхолии. Она действует даже вернее, чем «той же яблочный дух».

Ефим поднялся, разобрал свои вещи, сходил с ведром к источнику, нагрел воды и перемыл посуду. Разболтал в кастрюльке сухое молоко, поставил вариться овсянку.

Настроение понемногу возвращалось.

— Не торопись! Приободришься! Мы застрахуем твою жисть! — громко запел Ефим.

Овсянка традиционно считается мерзким блюдом, но если приготовить её как надо, то получится что надо. Например — овсяная каша с обжаренными в масле яблоками.

Ефим схватил полиэтиленовый пакет и, продолжая распевать, побежал вниз. Путило вчера наврал, но где-то внизу действительно есть коричневые яблоки. Господин Изивинский ещё сто лет назад утверждал,

что никакое другое яблоко не даёт столь вкусного варенья, как это. Старые знатоки понимали толк в яблоках, хоть и придумывали иной раз несусветные названия. Чего стоит хотя бы аппетитное словечко «свинцовка». Или — «серинка». Мерси боку, сами ешьте вашу серинку. Коричное кликали «коричневым», различая «зелёное коричневое», «жёлтое коричневое», «коричневое красное» и «ропсисное коричневое». Но зато они и яблонь не рубили, чтобы избежать налога на каждый привитый ствол.

Ага, вот они, ящички из хлипкой фанерки, армированные мягкой проволокой и облепленные цветастыми этикетками марокканских апельсинов. Такие ящички сотнями горели на задних дворах любого универсама, а у Путило и они приспособлены к делу. Так, посмотрим: плод средней величины, форма репчатая, уплощённая, без рёбер, блюдце просторное, воронка глубокая, чистая. Плодоножка толстая, но без расширения на конце. Ну-ка, теперь поближе к лампе — нет, не наливное. Потрясти — семечки не шуршат — значит, не гремушка. Так и должно быть, всё как учили. И за что Рыгов меня с экзамена выпер? Ещё должен быть слабый ананасный привкус, за который яблоко и прозвано коричневым.

Ефим набрал в мешочек десятка полтора яблок, прикрутил на место крышку, и в этот момент безо всякого предупреждения цепочка пыльных ламп под потолком погасла. Немедленно установилась тьма, столь плотная, какая только под землёй бывает.

— Так, — произнёс Ефим, стараясь успокоить себя. — Ничего страшного, выберемся. Главное — не паниковать.

Он протянул руку, нащупал горячую лампу, осторожно потряс. Никакого эффекта. Значит, придётся выбираться вслепую. Ефим двинулся вперёд, постепенно перебирая рукой стопки ящиков. Через минуту

рука провалилась, не встретив опоры, — вбок отходила какая-то галерея, которой тут не должно быть. Во всяком случае, Ефим не помнил, чтобы в этом месте были развилки. Ефим свернул было направо, потом вернулся и пошёл прямо. Теперь, когда темнота поглотила его, ему уже не чудились шаги и сдержанное дыхание за ближайшим поворотом. В том больше не было нужды, он попался, бездумно вляпался в ловушку, его больше не надо пугать, а можно подходить и делать с ним что угодно.

Неожиданно Ефим почувствовал, что в полушаге перед ним ждёт распахнутый в полу люк. Ну конечно, люк, не замеченный сапёрами, а внизу новая система ходов ещё сложнее и запутанней, чем эта, и, главное, никем не проверенная, не изученная... там может прятаться всё что угодно...

Ефим ухватился руками за ящики, выставив ногу, начал поспешно ощупывать дорогу перед собой. Простукал пол, сделал робкий шаг, снова принялся шарить ногой в темноте. В памяти всплыло воспоминание об оставленном на столе фонарике. Идиот! Ну что стоило захватить его с собой? Вот и мучайся теперь, жди, когда пол кончится, и ты кувырком полетишь в нижний подвал. И даже если там не подвал, а вульгарный поглотительный колодец, выгребная яма, нечищенная с сорок четвёртого года...

Ефим вспомнил свой сон, как он тонул в грязи, и его передёрнуло. Ну каким местом думал Путило, когда устраивал склад в подземных казармах? Тут ничьи нервы не выдержат, здесь самые стены убийством пропитаны, никаких призраков не надо, достаточно знать, что творилось вокруг во время войны. А потом полвека могильной тишины. И тьма. И подземный холод. И тлеющие останки, которые Путило, должно быть, велел сбросить вниз вместе с осколками разбитых надолбов.

Что-то невесомое коснулось затылка, не прикосновение даже, а лишь намёк, словно мягкая лапа воздух огладила вокруг вставших дыбом волос. Ефим вскрикнул и, забыв о ждущих под ногами провалах, кинулся бежать. Задетая плечом стопка ящиков с треском повалилась в проход, какое-то не в меру ретивое яблоко, чмокнув, распалось под ногой. Ефим поскользнулся и упал, не успев даже выставить вперёд руки. Мрачный дорожный сон сбывался наяву, но был ещё страшнее. Сон милосерден, он всегда позволяет взглянуть в лицо гибели, а здесь безликая темнота скрывала всё, не любопытствуя знать, что происходит с жертвой.

Лицо и тело ожгло, словно на них плеснули жидким огнём, ощущение было как от удара, поразившего разом все чувства. Ефим отчаянно забился и лишь тогда понял, что никто его не держит, а вокруг не пламя, а вода — ледяная до боли, до ломоты в суставах вода подземного родника.

Дрожа всем телом, Ефим выбрался из неглубокой ванны. Купание отрезвило его, и он уже не мог понять, чего испугался минуту назад. Ну да, колодец здесь неподалёку, но закрыт чугунной решёткой, и вообще провалиться в него невозможно — просвет меньше полуметра. В крайнем случае ногу сломает — и всё. Теперь осталось сориентироваться, в какую сторону идти. Впереди одна развилка на боевой линии и поворот к доту. У развилки сворачивать направо... или налево? Ефим почувствовал, как дрожь от холода вновь начинает сменяться нервным тремором.

— Ну хватит, — сказал Ефим, — хватит. Сейчас соображу.

Он чувствовал, что вокруг что-то изменилось, появилось новое ощущение. Дело не в сырости и холоде, к ним он уже притерпелся, а тут что-то совсем новое.

Ефим потёр ладонью лоб и засмеялся. Несомненно, то был нервный смех, но в нём звучало нескрываемое облегчение.

Ефим нашёл дорогу.

В воздух, напоенный дыханием зреющих яблок, вплеталась иная, резко отличная нота. Пахло пригорелым молоком. Каша, оставленная на плите, сгорела, и струйка чада, коснувшись носа, верно указывала нужное направление. Принюхиваясь, расширив ноздри, Ефим двинулся в путь. Вот и развилка. И глупый поймёт, что сейчас надо сворачивать направо. Теперь главное — не прозевать свой поворот. Если наверху рассвело, а дверь открыта — его можно просто заметить.

Едва он переступил порог, свет послушно вспыхнул. Ефим выругался и принялся стаскивать мокрую одежду. К тому времени, когда он переоделся, происшествие предстало перед ним в юмористическом ключе, тем более что и каша, как выяснилось, уцелела. Просто молоко частью сбегало и подгорело на конфорке. А потом, когда пропал свет, вырубилась и плита.

Ефим помешал вновь начавшую булькать овсянку и, захватив фонарик, побежал за брошенными в пакнике яблоками. Разумеется, на этот раз фонарь не понадобился.

В амбразуре медленно серело. Обозначилась кривая яблоня и заросли рогоза внизу склона. Пожалуй, можно сходить в деревню узнать, который час, и вообще провести рекогносцировку на местности.

Ефим плеснул в выскобленную ложкой кастрюльку воды — ему совершенно не улыбалось вновь оттирать от стенок засохшие остатки, — надел бежевый плащ и пустился в путь. По дороге задержался ненадолго, чтобы прибрать учинённый внизу разгром. Собрал яблоки, сложил ящики стопкой. Конечно,

сортность у плодов будет не та — помяты, побиты, поцарапаны. Теперь это то, что называется подручной падалицей. Хранить такой товар нельзя — сгниёт. Ну да ладно, как-нибудь. Пусть об этом у Путило голова болит, в следующий раз будет по-человечески свет проводить. А то бросил времянку на соплях и ещё чего-то хочет.

Неподалёку от выхода из катакомб, опираясь на причудливую можжевелевую палку, стоял старик. Он молча смотрел, как Ефим возится с замками, потом подошёл ближе и спросил:

— Стораж тутэйшы?

— Сторож, — признался Круглов.

— А я — Захарыч. — Старику явно хотелось поговорить.

— Не скажете, который час? — решил воспользоваться случаем Ефим.

— У мяне няма гадзініку, — огорчённо сказал Захарыч.

«Откуда он такой взялся?» — подумал Ефим, разглядывая колоритного дедка.

Тот приблизился и, ухватив Ефима за пуговицу, наставительно произнёс:

— Ты слухай. Я цябе навучу, якіы спосабы ховання яблык лепшы. Найлепше хаваць яблыкы у тарфяным парашку. Там працент псавання пладоу меншы, чым пры хаванні у стружцы. Яблыкы лепшы дробныя. Буйнейшыя даюць меншы выхад. Адсюль можна зрабіць вывад: неабходна захоуваць плады дробнага калібру, а буйныя уживаць у першую чаргу...

— Дедуль, а ты сам, часом, не буйный? — спросил Ефим.

— Якога д'ябла? Я яму о торфы, а ён... У торфы лепшы хаваць.

— Дед, ты пойми, я сторож, — проникновенно сказал Ефим. — У меня торфа нет.

— Ну, рабі як хочаш, — недовольно произнёс Захарыч и отпустил пуговицу. — Пажывём — пабачым.

— До побаченья! — крикнул Ефим и быстро пошёл к дороге.

Деревня оказалась гораздо дальше, чем можно было подумать, глядя из машины. Ругаясь про себя, Ефим брёл по обочине. Потом догадался завести часы, поставив их вслепую на двенадцать, и шёл ещё четверть часа. Наконец показались серые, обросшие завалинками избы. Ещё издали Ефим заметил приросшую к плетню фигуру, пристально всматривающуюся поверх его головы.

— Здравствуйте, — сказал Ефим, памятуя, что в деревне нужно первым делом здороваться. — Не скажете, сколько времени, а то у меня часы встали?

Для ясности он задрал рукав и постучал ногтем по стеклу часов.

В прозрачных глазах ничего не отразилось. Бабец отлепилась от забора и шагнула в сторону, пробормотав на прощанье:

— I verstah nuut.

— Чево? — спросил Ефим в удаляющуюся спину.

Заскрипела низкая дверь, он остался на улице один.

— Психичка, — пробормотал он. — Умом тронутая.

Однако от дома отходил осторожно, болезненно ожидая боком короткой автоматной очереди.

Большая часть домов в деревне стояла запертая, не то хозяева куда-то уехали, не то и не было этих хозяев. Но в одном из домов между окнами на растеленной газете лежало два преогромных семенных огурца, а сквозь двойные, к зиме приготовленные рамы слышался говор радиоприёмника. О чём он там талдычит, было не разобрать, но сам звук, интонация дикторской речи показались такими родными, что

Ефим решился и постучал в окно. Радио мгновенно смолкло, белая занавеска сдвинулась в сторону, и за стеклом замаячило старушечье лицо. Платок, повязанный в скобку, и рельефные морщины придавали ему совершенно иконописный вид.

— Yoboseyo... — донёлся дребезжащий голос. — Muosul wonohashimnikka?

— Простите, который час? У меня часы остановились, — по инерции произнёс Ефим заранее приготовленную фразу.

Слова старуха произносила вразяжку, словно пела, и ударения делала, кажется, на все гласные подряд. Ефим не мог разобрать ни единого слова.

— Kamapsumnida... — протянула старуха. — An-pyonghi kashipshiyo.

Занавеска вернулась на место. Очевидно, разговор был окончен.

Во дворе исходил злобой полкан. Громыхал лаем, громыхал цепью. Соваться туда, стучать, настаивать не имело смысла. Ефим покорно отошёл.

«Может — чухонка? — гадал он. — Старая, по-русски не понимает. Прежде они здесь жили: чудь белоглазая, ижора...»

Не решаясь больше стучать, он прошёл посёлок из конца в конец. Избы, не пригородные дачные домики, а кондовые хаты, исконное порождение этой земли, безрадостно смотрели из-под надвинутых на скрыню кровель. Они старались отодвинуться от чужака, отгораживались плетнями, укрывались за поветями и одринами, словно надолбы выставляли вперёд сложенные кострами поленницы позалетних дров. Повисшие на стенах драбины превращали их в подобие осаждённых крепостей, и цегловые трубы возвышались над крышами словно неприступный донжон. Клямки, зацепки и иные приспособления охраняли плашковые, крепко ошпугованные двери

со скрипучими дубовыми журавелями. Весь дом от подрубы до вильчика, до самого конька на нём ясно показывал, что незваному гостю лучше сразу уходить. Ничего он тут не поймёт, не узнает, не получит.

«Может, староверы? — продолжал мучиться Ефим. — Они пришлых не любят, у них, говорят, даже кружка есть специальная для чужих — так и называется: поганая. Да нет, ерунда, чего тогда говорят по-тарабарски?»

Возле колонки — должно быть, той самой, что свинчена в его подземелье, — Ефим заметил ещё одну фигуру. Опять женщина — не иначе у них тут матриархат, — но на этот раз помоложе, не совсем старуха. Женщина, расплёскивая серебристые капли, сняла с крана ведро, поставила его рядом с другим, уже полным. Зацепила дужку ведра крюком коромысла, затем, изогнувшись странным, немыслимым для человека образом, подхватила вторым крюком другое ведро, а коромысло при этом как бы само очутилось на плече. Неведомое, сверхъестественное умение, ещё одна тайна здешней жизни. Не оглянувшись на Ефима, женщина пошла по протоптанной вдоль обочины стёжке. Капли срывались с покачивающихся вёдер.

— Сударыня! Гражданочка! — крикнул Ефим и припустил бегом. — Я сторож тут со складов. У меня часы встали. Где можно время узнать?

— *Neka nesaprotu*, — сказала женщина то ли Ефиму, то ли самой себе.

— Вы что, с ума посходили все? — Ефим загородил дорогу. — Я вас по-человечески спрашиваю: который час?

— *Tu, maita, manī neaztiec!* — Теперь местная Венера точно обращалась к нему. — *Rokas nost!*

Ефим по-прежнему ничего не понимал, но движение, которым сопровождалась странная речь, недву-

смысленно показывало, что сейчас одно, а возможно, и оба ведра будут выплеснуты ему на голову. Вода даже на вид была холодной, ничуть не хуже, чем в роднике. Кроме того, у дамы есть ещё коромысло. Ефим отступил в сторону.

— Дура! — истово сказал он.

— *Ei tu dirst!* — отпаривала собеседница, не оборачиваясь.

Походка у неё была не по возрасту лёгкая, коромысло приучает красиво ходить.

Ефим сам не помнил, как вышел из деревни и направился в обратный путь. Шёл, стараясь понять или хотя бы просто уложить в голове происшедшее. Думалось трудно.

Может, у них свой говор? Вроде мазовецкого языка? Какой-нибудь разбойный язык. Прежде в этих краях целые деревни жили разбойным промыслом, на большую дорогу ходили. Стоит на карту взглянуть, как сёла называются? Большие Воры, Малые Воры, Сокольники, Лихославль, Люта... Только как они уцелели, такие дремучие? Хотя, может, потому и уцелели. А всё, что получше, — погибло. Путило говорил, тут прежде сады были. Где они? Торчат местами на крутизне останцы от яблоневых массивов. Старые, бесплодные. Редко какое из этих деревьев выхолит и уронит дивный плод — напоминание о том, что не просто абы что растёт здесь, а лучшие из лучших сортов.

Сад здешний был, конечно, не торговый, а скорее всего — обычный крестьянский, для своих нужд. На склонах, где ни пахать нельзя, ни с косой пройти, располагались, как правило, мужицкие сады. Но какие, однако, нужды были у тогдашних мужиков! А может — господский сад был. Места вокруг красивые. Стояла на холме усадьба, от которой ныне и камней не сыскать, вокруг зеленел сад, скакали по

аллеям всадницы в ярких амазонках, вечерами из комнат доносились звуки фортепиано.

А возможно, и скорее всего, всё было не так. Слишком уж эта картина отдаёт литературщиной, Толстым да Тургеневым. «Все врут календари», люди жили иначе, чем можно себе представить, но одно держим за верное: поля тогда не вырождались под сорной ивой, и никто не пилил яблонь. Просто было чуть больше людей с живую душой.

Куда они делись, знатоки и ревнители садоводства, патриоты русского яблока, прославившие отечественные сорта? Где вы, братья Гозер, пастор Авенариус и Иван Николаевич Гангардт? Вернитесь, граф Клейнмихель — без вас не растёт на Руси белое свечковое яблоко и пипка лимонная. Ольга Александровна Кох, где ваши карликовые ренетки, прозванные медуничкой за вкус и цвет? Госпожа Янихен, Вера Козьминична, хутор Сергеевка снесён с лица земли, нет больше сада на двухстах десятинах, и ничего нет. Куда делись псковские садоводы: Бельский, Гартциус, Мальм и господин со странной фамилией Иванов, год за годом поставлявший миру лучшие образцы антоновки обыкновенной? Все забыты, одного Ивана Владимировича Мичурина из города Козлова Тамбовской губернии помнят, и то в основном по анекдотам.

Ветер дует над пожухлой травой на месте бывших образцовых мыз и торговых садов, топорщат в небо безлистные сучья случайно уцелевшие корявины. Осень. Начало октября. Яблочная пора. Она теперь яблочная больше по названию. Ушли славные люди, и умерла русская слава. Один нувориш Путило хоронит в бетонном склепе остатки того, что было. Воистину, «то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрет».

Ефим вышел на склон, свернул к доту. Сквозь амбразуру не было видно ничего. Интересно было

бы отыскать эту точку изнутри. Скорее всего, там пусто, но всё равно интересно посмотреть. И ведь что замечательно: как они парами стоят — дот, а напротив яблоня. Может, и вправду дерево добра и зла лучше всего растёт на крови? Прежде считали: чтобы плодородное дерево скорее принесло урожай, надо при посадке закопать под него селедку. Ну а чтобы дольше плодоносило — кровушкой землю опрыскивать.

Проскальзывая в полегшей траве, Ефим спустился к яблоне. Немного не доходя, остановился. На земле лежало тяжёлое жёлто-зелёное в красноватых пестринах яблоко. Позёмковое — старинный польский сорт, вкусом напоминающий садовую землянику.

Медленным заученным движением Ефим поднял яблоко, обтёр рукавом плаща, надкусил. Нежная рассыпчатая мякоть таяла во рту. Ефим не чувствовал вкуса.

Психологи называют это состояние «ложная память», а если хотят выглядеть особо умными, говорят: *deja vu*. Хотя ничего ложного в его состоянии нет — вчера он точно так же стоял на склоне и ел яблоко. Странного в его находках тоже нет, не под берёзой же он поднял это яблоко. Яблоко от яблоньки, как говорится, недалеко катится. Оно и есть недалеко — правда, вверх по склону. Но это уже какая-то флуктуация. Нечего голову по пустякам ломать, домой пора, обед варить.

Подземелье встретило его привычным холодом и затаившейся тишиной. Ефим набрал внизу сетку штрифелей, вернулся в дот и заложил засов. Поковырялся в шкафу, выбрал пакетик куриного супа с макаронными изделиями и кашу московскую с мясом — тоже из пакетика. Пока закипала вода, сидел, жевал яблоки. Яблоки перед обедом не портят аппетит. Скорее — наоборот.

Обидно, что так получилось с часами. Странно и непонятно. Может, они нарочно — поиздеваться решились? Злобствуют, что Путило своего человека привёз, а не кого-нибудь из местных нанял. Ну и пусть. Чем скорее он забудет о сегодняшнем походе, тем больше нервных клеток сохранит.

Суп кипел. Каша загустела и уже не булькала, а сыто пыхала на плите. Ефим добавил в кашу кусочек маргарина и перемешал. Вкусно пахло глутаматом натрия и сублимированным мясом.

Ефим вытащил из сумки стопку привезённых с собой книг, сложил их под кровать, чтобы под рукой были. Хватит бегать, пора начинать размеренную жизнь. Завтра он напечёт блинов и сделает налистники. Когда ещё в наше время удастся попробовать налистники? А чужеземные деревни, склепы, привидения пусть живут сами по себе. Он приехал сюда ради яблок.

Во второй половине дня облака разошлись, солнце на недолгие пять минут заглянуло в стальную амбразуру. Мир озарился. Свет лучом упал на стол, заставил померкнуть усталую лампу. Ефим выглянул на улицу. Как всегда, когда смотришь с поверхности земли, самыми важными кажутся те предметы, что всего ближе к тебе. Отцветшие травинки с развешанными на них паутинками, круто падающий склон, идеально простреливаемый, без единой мёртвой зоны. И только потом — замшелое дерево, болотце, жидкий кустарник. Под яблоней в серо-зелёной осенней траве что-то краснело, словно нечаянный живописец выкрасил землю охрой.

Ефим поспешно отвёл взгляд. Померещилось. А если и нет — мало ли что может краснеть под яблоней? Обрывок кумачовой тряпки, смятая пачка из-под сигарет, изъеденная рыжей ржавчиной консервная банка... Что же — из-за каждой мусо-

рины под окном двухкилометровые пробежки устраивать?

Ефим отключил плиту, снял суп, отхлебнул немного, обжёгся, а потом как-то вдруг обнаружил, что уже спешит по проходу, сжимая в кулаке инстинктивно прихваченный фонарь.

Под деревом лежало яблоко. Мелба — новый сорт, районированный в Ленинградской, Псковской, Новгородской и, кажется, Костромской областях. Добротный кухонный сорт, вполне обыкновенный в пригородных садоводствах. Порой встречается и по деревням. Но не здесь же! Это же штрифель, он точно помнит!

Ефим поднял яблоко, отёр рукавом. Нет, никакого обмана, настоящее яблоко: зелёная кожица с ярким румянцем, на боку — след зажившей градобойны, а больше никаких дефектов. Непохоже, что это яблоко прибыло издалека, слишком уж оно свежее и чистое, сразу видно, что оно с этого дерева, здесь выросло, созрело, упало в мягкую траву и откатилось немного. Вверх по склону.

Пересиливая себя, Ефим поднёс яблоко ко рту. И вдруг опустил руку, поражённый простой до очевидности мыслью. Крысы! На этом дереве вообще ничего не растёт, яблоки, которые он тут находит, — с его склада. Крысы воруют их и укатывают в норы. Крыса — зверь умный, отбирает только самые лучшие плоды. Одна ложится на спину, другие вкатывают яблоко ей на брюхо, а потом тащат за хвост, как на салазках. Вот яблоко и остаётся целёхоньким. А он, кретин, ел их не вымыв! Какая пакость, не хватает ещё желтуху подцепить!

Ефим размахнулся и зафигачил яблоко подальше в болото.

Теперь чуткая тишина подземелья не удивляла. Шаги? — конечно шаги! Дыхание? — сколько

угодно! Крысы, всюду крысы. Пробираются между бочками, ползают под ящиками, точат, грызут. Не повезло Сергею Лукичу, не продумал, не предусмотрел. Испортят ему грызуны товар.

Но сторожа это не касается, он бережёт добро только от людей. И вообще, пора об ужине думать. В нижней галерее стоит несколько ящиков с овощами, значит, можно приготовить фальшивое рагу. И ещё хотелось бы попробовать винегрет с яблочным уксусом, надо будет завтра озаботиться этим вопросом. И вообще, довольно жрать концентраты. Времени у него много — да здравствует праздник живота!

Ефим вернулся в дот, вытащил из-под койки сочинение Констанции Буожите-Брундзене «Всё из яблок» и погрузился в чтение. О своих планах он вспомнил поздно вечером, когда заниматься готовкой уже не имело смысла. Пришлось ограничиться варёной картошкой и открыть баночку сетков с овощами.

Спалось плохо. Снились полчища крыс в касках и с железными крестами. Они подбирались к его кухонным припасам, а Ефим стрелял по крысам яблоками из 203-миллиметрового орудия.

Боевые действия не помешали ему замечательно хорошо выспаться, Ефим проснулся бодрым и свежим. За окном густела ночь, часы стояли, показывая полпервого. Настроение сразу испортилось, но всё же Ефим поднялся и затворил тесто для налистников.

Печь блины — вообще занятие исключительно мужское. Женщины психологически не могут ни сделать пресное тесто без комков, ни испечь тонкий до прозрачности блин на сухой сковороде. Стихия женщины — оладьи, пончики, пышки, в крайнем случае — блинчики, но не блины. Настоящий блин кругл и плотен, величиной во всю сковороду. Маслом его смазывают, когда он уже испечён. Попробуйте бросить масло на сковороду, и блин просквозит мил-

дионом крошечных отверстий. А это уже не блин: мясо, завернутое в него, — засохнет, яблоки — растекутся, хорошо приготовленный творог — полезет наружу, словно куча белых червячков. Попробуйте сказать самой опытной поварихе, что нельзя сыпать муку в воду или молоко, а надо делать наоборот — она вас просто не поймёт. Да что там говорить, поджарить мясо и испечь блин по силам только мужчине.

Ефим умел и любил готовить, но сегодня дело шло туго. Отвлекала тьма в оконной щели. То и дело Ефим вглядывался в неё, пытаясь разглядеть полусохший ствол, а под ним неясную красноту, словно жидкий сурик пролился из банки. Один раз даже бросил сковороду и, выставив окошко и погасив под потолком лампу, долго светил вдаль фонариком. Яблоня была на месте, а больше ничего разобрать не удалось.

Наконец на сковороде, теперь уже в масле, зашипели налистники. Дразнящий запах отвлёк Ефима от созерцания темноты. Обильная еда хорошо помогает от дурных предчувствий. Ефим позавтракал, пожалуй, излишне плотно, и его снова сморил сон. Размышляя, что прежде надо бы сходить за каменичкой для уксуса, Ефим улёгся в неубранную постель. Проснулся, когда сквозь амбразуру уже сочился свет. Ефим припал к холодному металлу. Снаружи всё было спокойно, осенний пейзаж изабеллина цвета не разнообразила ни единая яркая искра.

— То-то, — произнёс Ефим. — Не спорьте со мной. Слушайтесь, яблочки, деда Мазая.

Он хотел спуститься вниз, получше осмотреть подземное хозяйство, разобраться, что где лежит, чтобы потом не искать нужное яблоко вслепую, но решил, что грешно сидеть под землёй короткий световой день. Инвентаризацию он проведёт вечером, а сейчас отправится гулять. Не в деревню, боже упаси, туда

он больше не ходок, а просто по полю или в лес. Может быть, там ещё грибы есть. А нет, так просто пойдёт куда глаза глядят.

Перевалив вершину холма, Ефим понял, что глаза глядят в сторону яблонь. Этак он скоро туда настоящую тропу проложит. Впрочем, не всё ли равно? Главное, что дурным совпадениям пришёл конец. Под яблоней ничего нет, совсем ничего... кроме вот этого яблока... Желтобокая антоновка прекрасно маскировалась среди пожухлой травы. Не удивительно, что он не разглядел её сквозь амбразуру.

Ефим подобрал находку, отёр рукавом, положил в карман. Неспешно прошёлся ко второму дереву, поднял там небольшое яблоко сорта осеннее бергамотное. Повернул обратно.

«По косогору ходить — сапоги косо стопчу», — мелькнула глупая мысль.

Возле входа в подвал сидел, дымя беломориной, Захарыч. Меж колен он держал выдавшую виды складную линнемановскую лопату.

— Гэй, сторож! На вот. Тут балота поруч. Торфу льга богата накапаць!

— Сам копай, — невежливо ответил Ефим и канул под землю.

С фонарём в одной руке и планом подземелья в другой он облазил все доступные человеку ходы. Путило говорил правду: от прошлого здесь не осталось ничего, кроме старых стен. Отыскал все шесть дотов, два из них оказались наглухо замурованы, а два центральных капонира так и просто обрушены, скорее всего — взорваны; потерны, ведущие к ним, — завалены обломками. Обзор сохранился только из тех двух дотов, возле которых росли яблони. Поднялся на наблюдательный пункт, посидел в колодце для перископической трубы, на брюхе слезал в точку прямого обзора, покрытую старой корабельной

броней и залитую цементным раствором. Вид оттуда был хорош, а вот крысы там пробраться явно не могли. Туда, в подземелье, — сколько угодно, а обратно — увы. Не умеют пока что крысы по потолку бегать.

Амбразуру второго дота Ефим накрепко заколотил старыми досками.

Окончив это полезное дело, он вернулся в своё убежище. Если верить ксерокопии, снятой с плана военных времён, жил Ефим в правом крональном полукапонире. Два подошвенных полукапонира оказались сырыми и к жилью непригодными. С большим интересом Ефим обнаружил, что заиленная ручьевина у подножия холма представляет собой остатки противотанкового рва. Особенно порадовала его неразборчивая надпись: «контрэскарп разминир». А эскарп, значит, «не разминир»? Чудесно!

Ефим сам понимал, что и его интерес, и восторг, и занятость — неестественны, излишне аффектированы. Он нарочно убеждает себя в благополучии, распаляет хорошее настроение, чтобы не думать о главном. Здесь мёртвая, могильная тишина, темные ходы, запах зла и смерти, замаскированный садовым ароматом. Но и на воле ничуть не лучше. И больше всего не хочется представлять безнадёжно открытый сквозной простор и избитое ветрами дерево, под которым опять, наверное, лежит неведомо откуда взявшееся яблоко. Агарофобия — родная сестра клаустрофобии, но для горожанина она куда страшней.

— А мне всё это совершенно всё равно!.. — пел Ефим полузабытую песню.

Он натушил полную латку фальшивого рагу и наварил на два дня борща со свиной тушёнкой. Сметаны у него не было, поэтому незадолго до того, как снять кастрюлю с плиты, Ефим покрошил туда кислое яблоко. Получилось вкусно. И настроение

замечательное, и вокруг никого нет — можно петь во всё горло, не ожидая недоумённых взглядов:

— Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю!..

Хорошо.

С определителем в руках (помологию всё-таки придётся пересдавать) Ефим спустился в подвал и устроил себе небольшой практикум. Сорта обнаруживались самые неожиданные, видать, не перевелись на свете «спортсмены садоводства», желающие во что бы то ни стало выращивать челеби в Архангельске и антоновку в Крыму. Встретилась даже коротконожка королевская, что ещё пятьсот лет назад была известна во Франции под именем «карпендю». Считалось, что если съесть это яблоко перед сном, то сон будет вещим. Вот и славно, может, хоть сегодня ночь обойдётся без железных крестов.

День падал к вечеру, солнечный луч пролез в бойницу, прямоугольником лёг на стальную, с войны сохранившуюся дверь. Ефим не хотел выглядывать наружу, но свет был слишком ярк и не предвещал плохого.

Под яблоней что-то алело, будто киноварью тронули блёклый холст.

— А мне всё это совершенно всё равно! — запел Ефим.

Нехорошо запел, фальшиво.

Не одеваясь, Ефим вышел наружу, под одним деревом поднял солнечный экземпляр костиковки сладкой, под другим — коштеля, вновь польский сорт. Должно быть, здешние крысы равнодушны к польским яблокам. Но каковы зверюги, а? Успели-таки, пока он бродил по переходам, выкатить пару яблок! Но теперь с этим покончено. Ефим подошёл к доту, проверил: отверстие было заделано на совесть. Всё, лапушки, больше не поворуете, придётся на

месте есть. Странно, почему он не видел внизу ни одного погрызенного яблока?

Дома Ефим не глядя сунул беглянок в первый попавшийся ящик и замуровался в жилом склепе. Перед сном он покорно сжевал яблоко карпендю, и ему ничего не снилось.

Проснулся Ефим, как всегда, в темноте, но на часы смотреть не стал, и без того догадывался, что там увидит. Зажёг свет и лежал с книжкой, прикидывая, что бы этакое соорудить на завтрак. Остановился на штруделе. Печь пироги вообще-то дело женское, но плох тот мужчина, который с этим делом не справится. Ефим поставил тесто и вышел на улицу. Просто подышать свежим воздухом, очистить лёгкие от яблочных миазмов. А есть ли что под деревом или нет — его не волнует.

Он стоял, вдыхая холодный, очищенный туманом воздух. Вокруг потихоньку светало, где-то далеко на болотах кипели клики журавлей. Потом, заглушив их, возник иной, знакомый и родной звук. По дороге шла машина.

Ефим поднялся на гребень и увидел ползущий в гору фургон. На его стене красовалась чёткая надпись: «Автолавка». Ну конечно, Путило же говорил, что по средам в Горках хлебный день, приходит машина. Пожалуй, стоит сходить. Не может же быть, что там и продавец такой же дурной.

Ефим сбежал вниз, взял деньги, сетку для продуктов и стоящие часы и поспешил в деревню. Поспел он вовремя: автофургон с распахнутой задней дверью стоял неподалёку от колонки, а вокруг толпились, видимо, все обитательницы выморочной деревни. Некоторые уже отоварились, но не уходили, поддерживая светскую беседу. На продажу был выставлен чёрный хлеб, мятные пряники каменного свойства и яблоки крымского сорта козу-баш, от долгого и нерадивого

хранения и впрямь ставшие похожими на козью морду. Кроме того, была ещё пара импортных туфель производства местного кооператива. Каждая бабка брала их, осматривала и, оценив, возвращала обратно.

— Добрый день, — сказал Ефим, подходя.

Покрытые платками головы на мгновение повернулись к нему, затем вновь возобновился прерванный было разговор. Бабки говорили быстро со странными жалобно-вопросительными интонациями, обрывая фразы, казалось, на середине слова. Понять нельзя было ничегошеньки. Не ясно даже, по-русски они говорят или опять на своём мазовецком.

— Кто-нибудь может сказать, сколько сейчас времени? — громко, ни к кому в особенности не обращаясь, спросил Ефим.

Беседа вновь прервалась, потом одна бабка, наклонившись к товарке и указывая на Ефима зажатой в тёмной руке неошкуренной рябиновой палкой, отчётливо произнесла:

— Гэвэр музар. Мэдабэр ло барур, кэ'илу һу ло руси. Канир'э — йеһудон.

Всё было ясно. Ефим послушно умолк. Потом, решившись, прошёл мимо очереди, протянув деньги, сказал:

— Две буханки, пожалуйста. — И неожиданно получил и хлеб, и сдачу.

Старухи неодобрительно смотрели на нарушителя, но ни одна не вмешалась. Очевидно, вымершие мужчины пользовались в деревне льготами и преимуществами.

— У вас часов тоже нет? — обратился Ефим к продавщице.

Спросил, как в прорубь прыгнул.

— Nesaprotu, — ответила та, приветливо пододвигая бучанский ящик с отходами крымского производства. — Vai tu abolus negrili?

Ефим попятился. Он узнал местную диву, с которой повздорил намедни.

Из деревни Ефим вышел в полном раздрае чувств. Шагал, размахивая авоськой, и пел на прежний мотив:

— А хле-еба-а чѣрного я-а всё-таки купи-ил!..

Навстречу по дороге плелись ещё две старухи. Должно быть, спешили на большую распродажу из какой-то совсем уж затруханной деревни, куда и ворон костей не заносит, и автолавка не заезжает.

— Привет, бабуленьки! — крикнул Ефим. — Кумарет шалтравух!*

— Мен тусінбеймін, — ответила одна, а вторая добавила:

— Би олгох гуй.

— Ну конечно, — улыбнулся Ефим. — Чего ещё от вас ожидать?

Старухи засмеялись визгливо, и первая не без кокетства сказала:

— Келе алмайтынма катты экінмін.

— Я так и знал, — подтвердил Ефим.

Хорошо поговорили, содержательно.

Поднявшись до половины склона, Ефим свернул к ближней яблоне. Там лежал штрифель.

— Повторяетес-сь... — прошипел Ефим и со сладострастным наслаждением растоптал яблоко.

Потом он проверил баррикаду на амбразуре. Доски были сбиты и валялись в глубине дота.

— Ну я вас! — угрожающе прокрипел Ефим и помчался ко входу.

Захарыч ожидал его возле дверей. На этот раз он оставил где-то сапѣрную лопатку, зато приволок небольшой рогожный мешок.

— Гэй, сторож! — позвал Захарыч. — Глядзі, які торф добры. У торфы трѣба ховаць.

* Кумарет, шалтравух — сорта яблок.

Ефим раскрыл протянутый мешок. Там была какая-то сероватая пакость. Может, и в самом деле — торф. Ефим поднял мешок и высыпал торфяную муку на голову деду.

— Вон отсюда, — отдельно произнёс он. — Ещё раз тебя тут увижу — убью. Усёк?

Он с грохотом захлопнул стальную дверь, следом деревянную. Пробежал подземными ходами к жилому доту, припал к бойнице. Под яблоней ничего не было видно. Должно быть, опять зелёный сорт попался — не иначе — ренет Симиренко. Ненавижу! Но дед-то, а? Каков шутник? Ничего, я ему устрою «добры торф». Забудет, как шутки шутить. Дай срок, я тебя поймаю...

Ефим сбросил плащ, подошёл к столу. Тесто в деревянной дежке уже поднялось. Ефим примял его и вывалил на присыпанный мукой стол. Он месил это тесто так, словно перед ним был виновник всех последних событий. Хотя, собственно говоря, что такого произошло за эти дни? Да ничего! И психовать незачем. С Захарычем он разберётся потом, а сейчас предстоит печь штрудель. Настоящий верхне-немецкий штрудель с настоящим тирольским розмарином.

Спокойная размеренная работа вернула Ефиму благодушное настроение. Он готовил начинку, резал тонкими ломтиками восково-жёлтые с золотистым отсветом яблоки и рассуждал вслух:

— Ну и что такого? Главное — не нервничать. Я сюда отдыхать приехал. У меня всё в порядке. Просто края кругом дикие. И люди, которые остались, — тоже. Никто надо мною не издевался, они меня всего лишь не понимали. Мы чужие. Тут уже не разобрать, кто настоящий — я или они, мы просто разные. Нам договориться сложнее, чем элоям и морлокам. Я легче с немцем договорюсь, в каске и с железным крестом...

Лёгкий шорох заставил его оглянуться. Возле запертой двери стоял немец. Совершенно такой, как представлялось. В каске. С крестом. Курносое рыльце автомата смотрело в живот Ефиму.

— Штрудель зи дойч? — гортанно спросил фриц.

— Скрыжапель, — ответил Ефим. — Сюислеппер*.

— Зер гут, — согласился немец и немедленно растворился.

— Всё ясно, — сказал Ефим. — Я сошёл ума.

Как всё просто! Можно было догадаться сразу. Сначала — переутомление и огорчение от несданных экзаменов, потом могильная тишина, темнота, жизнь в склепе. И яблоки, что «мозг главной укрепляют, благовония ради своего». В малых дозах, может, и укрепляют, а в больших, если верить гомеопатам, действие будет обратным. Вот они, яблоки, за стеной. Сотни тысяч, миллионы яблок. Скороспелые, прошедшие климактерическую фазу, и зимние, ещё не улежавшиеся, кислые. Но все они живы, они не просто лежат, а дышат, забирают кислород, выдыхают углекислоту и этилен. А этилен, между прочим, наркотик, и не слабый. Действует, правда, лишь в очень большой концентрации, но кто знает, сколько они его тут надышали, все вместе-то? А запах? Он хорош, пока почти незаметен, но когда он в избытке... Если вдуматься, из какой пакости он состоит... Теперь Ефим чётко различал в пропитавшем всё яблочном духе отдельные компоненты: смердело бутылбутиратом, несло изобутанолом, пованивало ацетоном и этилацетатом. А ещё в яблочном аромате обнаружен метанол. Это уже полный конец. Недаром древние считали, что сырые яблоки есть вредно.

Ефим выставил стекло, принял пылающими щеками к стальным щекам амбразуры и долго стара-

* Скрыжапель, сюислеппер — сорта яблок.

тельно дышал. Потом как следует собрался, надел телогрейку и ватные непромокаемые штаны, в которых зимами ездил на рыбалку, и отправился в дозор. Запирая двери, вставил в контрольку листочек с самым вычурным из своих факсимиле — кто знает, вдруг у Захарыча есть дубликат ключей и в отсутствие хозяина он шастает по складу.

В сумерках Ефим вышел к дереву, без труда отыскал ожидаемый зелёный плод — крупнину антоновскую, невкусное яблоко, годное в мочку, а также на мармелад и пастилу. Топтать яблоко Ефим не стал — зачем? — так поступают душевнобольные, а он собирается выздороветь. Есть тоже не стал — мало ли какой гадостью мог начинить его Захарыч. Ефим отнёс яблоко под горку и утопил во рву. Потом вернулся к дереву, выбрал кочку поудобнее, уселся и стал ждать.

Темнота быстро сгустилась, лишь размывы туч над головой продолжали сереть на чёрном фоне. Ночи ещё не было, где-то в безудержной дали заунывно выл вакуумный насос, вытягивающий у колхозных бурёнок последние капли жидкого молока. Шла дойка. Потом и этот звук смолк. Пала ночь.

Ефим сидел недвижно, чутко вслушиваясь в мир. Летом и весной ночная природа непрерывно гомонит: щёлкает соловьями, трещит коростелём, орёт лягушками, звенит зелёной кобылкой и просто шуршит, пробираясь в траве и по ветвям. Осенью жизнь спит, осень тихо. В такой тишине невозможно потерять бдительности, Ефим невольно вслушивался, хотя и понимал, что Захарыч, ежели придёт, будет с фонариком. Впрочем, вряд ли это шутка Захарыча — слишком уж она сложна, громоздка и, главное, бесцельна. И всё-таки лучше грешить на Захарыча, чем на собственный психоз.

Смотреть в глубокой ночи было некуда, но Ефим регулярно обшаривал взглядом окрестности: не

мелькнёт ли где затаённый луч. По ассоциации вспомнился ломтик солнечного света, проникший сквозь амбразуру, и лицо Ефима вытянулось от неожиданной и дикой мысли. Ведь если вечером в доте солнце, значит, амбразура направлена на запад! Что же это за укрепайон такой? От кого собирались отбиваться засевающие под землёй фрицы? Может, это вовсе и не фашистские укрепления, а наши? Скажем, остатки линии Сталина. На Псковщине линия Сталина вроде не проходила, хотя кто знает? — всё было засекречено, да и сейчас об этом не слишком охотно пишут.

А с другой стороны, его дот — правый фланкирующий полукапонир и, значит, должен смотреть почти точно на юг. Это если взорванные центральные капониры ориентированы строго на восток. А если удар ожидался с юго-востока, от Москвы? И вообще, с чего он решил, что солнце показывается по вечерам? Часы у него стоят, всякое представление о времени — потеряно. Конечно, солнце, когда смотрит в его окно, стоит низко, но в октябре оно высоко и не поднимается.

Ефим криво усмехнулся. Вот так — три минуты логических заключений, и запад с востоком поменялись местами. Самого себя можно убедить в чём угодно, было бы желание.

Чуть слышный шорох коснулся слуха. Ефим замер, мгновенно подобравшись. Палец напрягся на кнопке фонаря, словно на спусковом крючке. По-прежнему вокруг было темно, но в этой темноте кто-то двигался. Тихо, слишком тихо для человека.

Ефим направил фонарь на звук и судорожно вдавил кнопку. Яркий луч рассёк ночь, вырвал из небытия кусок склона, примятую потоптанную траву и яблоко, катящееся вниз с холма.

— Стой! — заорал Ефим, вскочив и описывая фонарём дугу вокруг того места, где двигалось яблоко.

Потом он сам не мог понять, кому кричал в ту минуту: мерзавцу, подпустившему живой бильярдный шар, или самому яблоку.

Вокруг никого не было, не только людей, но даже трава не шелохнулась, потревоженная каким-нибудь мелким существом, на которого можно было бы списать происходящее. Яблоко лениво прокатилось ещё немного и замерло неподалёку от стоящего под яблоней Ефима.

Луч фонаря скачками шарил по окрестностям, стараясь осветить хоть кого-нибудь, хоть что-то, на что можно выплеснуть злобу и растущий страх, на кого можно закричать, облегчив душу, кого можно ударить или хотя бы просто обвинить в творящемся вокруг молчаливом и спокойном безумии. Но не было абсолютно никого и ничего, кроме яблока, которое лежало, полупровалившись в случайную ямку. Взглянув на него, можно было смело утверждать, что оно выросло здесь, созрело, упало с ветки в мягкую траву и откатилось вверх по склону. На пару шагов, не больше. Давно замечено, что яблочко от яблоньки недалеко катится.

— Вот, значит, как... — произнёс Ефим, нагибаясь. — Значит, прогуляться захотелось. Дубовый листок оторвался от ветки родимой... Нет уж, пойдём-ка домой.

Ефим обтёр яблоко рукавом ватника, спрятал в карман. Подошёл к доту, посветил фонариком в амбразуру. Окно открыто, правильно, он сам открыл его перед уходом. Дверь тоже распахнута, снаружи она не запирается. Вот только кто мог притащить яблоко из нижних галерей, пропихнуть через амбразуру и так точно направить под ноги сидящему сторожу?

Замок на внешних дверях был не тронут, листочек в контролке — цел. Ефим заперся изнутри, перевесив контрольный замок на дужку засова. Пройдя, как

сквозь строй, мимо рядов ящиков, вышел в дот, закрылся и заставил дверь кроватью. Извлёк пойманное яблоко, положил на свет. Долго и пристально разглядывал его, потом предложил:

— Признавайся.

Ответа не было. Совершенно обычное яблоко лежало на столе. Когда-то этот сорт был очень популярен на московском и петербургском рынках. Назывался он «чёрное дерево», поскольку кора яблонь, на которых он рос, отличалась тёмно-бурым, почти чёрным цветом. Яблоко непритязательное на вид: мелкое, одноцветное, лишь чуть подкрашенное тусклым румянцем, кожица исчерчена тонкой ржавого цвета сеткой. Зато аромат выше всех ожиданий — с лёгкой пряностью свежей малины. И хранятся яблоки до середины зимы, и путешествия переносят с лёгкостью, и даже, как видим, сами порой путешествуют.

Ефим достал широкий кухонный нож, протёр лезвие полотенцем. Яблоко безучастно лежало на столе.

— Ну, как знаешь, — произнёс Ефим и рассёк яблоко пополам.

Яблоко распалось на две половинки, и больше ничего не произошло.

Скрыв разочарование, Ефим продолжил исследование. Внимательно осмотрел срез: плоть белая, мелкозернистая, семенные гнёзда узкие, глубоко уходящие в тело плода. В каждой камере помещается по одному толстому, хорошо сформировавшемуся семечку. Ефим срезал тончайший до прозрачности ломтик, осторожно, словно яд, брал в рот, попробовал. Вкус, пожалуй, излишне островат, не улежалось ещё яблоко, в пору войдёт недели через две. Вот, кажется, и всё. А что, собственно, он собирался найти?

Ефим изрезал яблоко на мелкие кусочки и выбросил в ведро с картофельными очистками и прочим кухонным мусором.

Он проснулся, когда в секторе обстрела начало светлеть. Оставленное со вчерашнего дня тестокисло в деревянной лоханке, присыпанные сахаром ломтики розмарина потемнели и дали сок. Тесто Ефим выкинул, неудавшуюся начинку отправил в посудину, где бродил яблочный уксус. Обидно, но больше такого не повторится. Пусть хоть бомбёжка, хоть прямое попадание в бронеколпак, но завтрак, обед и ужин состоятся вовремя. Штрудель он испечёт потом, а сегодня сделает яблочно-картофельные галушки. Жаль, к ним нет кровяной колбасы. Но можно открыть баночку колбасного фарша.

Прежде чем взяться за готовку, Ефим выглянул наружу. Отблескивающее пурпуром пятно под яблоней было видно издалека, и не стоило гадать, что это там режет глаз.

На этот раз, чтобы выяснить принадлежность найденных яблок, пришлось перерыть весь определитель. Первым плодом оказался брейтлинг, известный также под названием «красный кардинал». Под дальним деревом отыскивалось красно-оранжевое гранатное яблоко, оно же — зимняя титовка. Справочник утверждал, что брейтлинг особенно вкусен в печёном виде, и Ефим понял, что надо делать.

Казнь! Причём не просто казнь, а децимация! Весь виновный сорт должен быть наказан. Конечно, ему не управиться даже с каждым десятым, но всё равно за бегство одного яблока должны отвечать все.

Где лежит гранатное, Ефим не знал, зато отыскал пяток картонных коробок с брейтлингами и, не выбирая, отсчитал десять штук яблок.

— Так будет с каждым! — заявил он громко.

Настроение было праздничным. Он наконец нашёл противника и теперь занимался делом.

— Яблочко, яблочко, — пел Ефим, — соку спелого полно!

...жестяной трубкой извлечь из целых яблок семечки, разложить подготовленные плоды на противне...

— Так свежо и так душисто,

Так румяно-золотисто...

...присыпать отверстия сахарным песком по половинке чайной ложки на каждое...

— Будто мёдом налилось!

Видны семечки насквозь...

...и в духовку, в самый жар, пока не подрумянятся, не примут насыщенный карамельный цвет.

Так будет с каждым! Он не позволит смеяться над собой!

Отправившись восстанавливать снесённую преграду в пустом доте, Ефим нашёл среди досок яблоко тульской духовой антоновки. Что ж, тем лучше. Всё равно слаболёжкая антоновка в этих условиях не сохранится до зимы. А я проверю, зря мне читали пищевую технологию или всё-таки нет.

Кучу пустых бочек Ефим отыскал в рокадной галерее, вытащил несколько штук наверх, разжёл неподалёку от входа костёр, вскипятил три ведра воды и как мог ошпарил бочки. У него не было ни ржаной, ни пшеничной соломы, чтобы застелить дно, ни солода, ни горчичного порошка; нельзя и надеяться получить в таких условиях качественный продукт, но Ефим всё же засыпал в бочки яблоки, потом, истратив половину запасов сахара и соли, приготовил маринад и залил подготовленные яблоки. Он неверно рассчитал диаметр бочек в пуче, заливки не хватило, и её пришлось дополнительно готовить. Ещё сложнее оказалось укупорить бочки. Сначала Ефим мучился, пытаясь установить дно, не сняв уторный обруч, потом не мог вернуть уторный обруч на место, потому что не догадывался осадить шейный обруч, а драгоценный рассол тем временем утекал сквозь щели.

И всё же он совладал с этой работой, набил на головки ригеля, разложил подготовленные шпунты вдоль бродильных отверстий и, нянча избитые в ссадинах руки, неведомо в каком часу ночи отправился домой. Жалел только об одном: что поблизости нет подходящего водоёма и нельзя, заколов бочки в паки, утопить их для подводного зимнего хранения.

Утром под яблоней привычно кровавилось пятно. Фрекен красный — французский сидровый сорт. Кто знает, как в условиях могильного хранения готовить сидр? А потом что, и до кальвадоса дело дойдёт?

Ефим метался по подземелью, кричал, грозил. Яблоки молчали. Большие и мелкие, румяные и зелёные, с плотной, рыхлой, зернистой и мармеладной мякотью, кислые и приторные, сочные и суховатые, с привкусом ананаса, крыжовника, бергамотной груши, клубники, монпасье, шампанского вина и вяземских пряников. Они были покорны, но не покорялись, позволяли делать с собой что угодно, но жили своей независимой жизнью.

Даже та партия антоновки, что была им замочена, оставалась как бы сама собой. Яблоки меняли свой состав, мацерировалась клетчатка, происходил солевой осмос и гидролиз фруктозы, уменьшалось содержание яблочной и лимонной кислот, а взамен накапливались кислота молочная, янтарная и альфакетоглутаровая. Но всё это происходило само собой, по закону яблока, а не по закону людей.

Ефим испёк штрудель, а вечером — американскую мечту: яблочный пирог со взбитыми белками. Наутро нового дня поставил тушиться яблоки со свёклой, а выйдя на улицу, принёс два новых плода, которые было уже поздно резать в кастрюлю.

Одержимый приступом трудолюбия, Ефим распаковал завезённое Путило оборудование. Агрегаты грозно мерцали нержавеющей сталью, но оказались

в данной ситуации вполне бесполезны. Шпарочной установке требовался острый пар под давлением в пять атмосфер, протирочной машине — силовой кабель. Сверх того, в поставке обнаружился некомплект: не доставало лужёного котла для повторной варки вытерок, не было и окорят из светлой чинаровой древесины. Пару часов Ефим читал найденную в ящиках документацию, изучал график зависимости скорости желирования от температуры и содержания пектина в мармеладной массе, потом убрал технические описания на место и всё своё внимание сосредоточил на кухне. Наварил кастрюлю компота и нажарил пряженцев с яблоками.

Ночью ему снились яблочные бенъеты, миротон и фруктовые тортелеты, которые суть маленькие торты, подаваемые вместо десерта и в качестве сахарного антреме.

Утром он обнаружил, что щит в пустом доте разбит в щепу, и всё ради двух ничтожных ренеток, обнаруженных в законном месте неподалёку от яблонь.

Преступниц Ефим изрезал и испёк с ними шарлотку. Два десятка отобранных в подвале ренетов Ефим пустил на рисовую запеканку с яблоками и острый соус из поджаренной муки, моркови и красного перца. Плита в доте не выключалась ни на минуту, над конфорками сохли длинные вязки изрезанных кружочками яблок.

Ефима мучили изжога и понос, но он продолжал изошённо уничтожать яблоки. Никто ему не мешал, в хранилище царили тишина и порядок. Ждущая, живая, могильная тишина. И порядок.

Ефим понимал, что если ещё не сошёл с ума, то сойдёт в самое ближайшее время, если не остановит странные блуждания яблок. Помощи в этом деле ждать было неоткуда. Не идти же в деревню, где опять скажут не на том языке, а в лучшем случае

сообщат «як краще зберігати яблука». Бросить всё и бежать в город, как сделал его предшественник, он тоже не может. Надо разбираться самому, а на это не хватает сил.

Ночь Ефим с топором в руках провёл в пустом доте. Ждал. Никого не было, ничто не шелохнулось в темноте, не потревожило чуткого ожидания. Вот только стекло в жилом могильнике оказалось выдавлено, да под яблонями виднелись багряные пятна паданцев.

Ефим вернул их на место — рдеющее уэлси и многосемечковый мэк-интош, выведенный в Канаде, но районированный почему-то в Ставрополе. Теперь надо придумать, что с ними делать. А что можно сделать? Кончается мука, кончился сахар, болит живот.

Тошнит от яблок.

Вот они — истинные виновники, покорные, сладкие, душистые. Подходи и делай с ними что угодно, они согласны. Нездешне красивые, безучастные ко всему. Затаившиеся. Что им надо? Кто они такие? Род *Malus*, откуда он взялся на нашу голову? Палеоботаники ничего не говорят об этом, словно не было никакого *Malus*'а в древние времена, будто появился он на свете вместе с людьми, кинут мстительным богом вслед изгнанному из рая Адаму. И с тех пор никакое волшебство — злое ли, доброе — не может обойтись без этого плода. Таинственный Аваллон — Яблочный остров — владения феи Морганы; наливное яблочко Бабы Яги, с помощью которого она наблюдает мир; отравленное яблоко пушкинской царицы; волшебные молодильные яблоки и хитроумный фрукт, от которого у дегустатора вырастают развесистые рога. Золотые яблоки — неодолимый искус для царственного вора и приманка на жар-птицу. Ради яблок обманут Атлант, яблоком обманута Кидиппа. Из-за яблок скандинавские боги-асы убивали

великанов-ётунов. И самое главное, самое знаменитое среди зловещих плодов познания зла — яблоко раздора, несущее беды всем, кто его коснётся. Яблоко — враг, проклятие рода человеческого. Недаром солдаты всех времён мишень называли яблочком. Они знали, куда надо стрелять.

А он, глупый, грешил на одичавших, забывших человеческую речь старух, обидел тронутого умом Захарыча, даже мёртвых немцев подозревал в замогильном коварстве. Да самый их дух выветрился отсюда, надёжно заглушён яблочной вонью.

Фигура в каске и с крестом возникла у двери. Чёрный автоматный зрачок уставился в живот Ефиму.

— Ты честное привидение, — сказал Ефим. — Тебе, должно быть, тоже неважно среди яблок.

— Йа, — гортанно произнёс немец. — Wo chemmo ue bu minbai.

— Спасибо, друг, — с благодарностью произнёс Ефим.

Он спустился в рокадную галерею, в самый ад, остановился среди ящиков и коробок.

Штрифеля вздымались над его головой, кучилась антоновка, бугрились кальвили, громоздились штрейфлинги. Плотно алел румянец, подкожные точки миллионом фасеточных глаз уставились на него.

Невыносимо пахло яблоками.

Ефим взял из ящика огромный царственный штрифель, пересиливая отвращение, откусил кусок. Следы зубов чётко отпечатались в желтоватом мясе.

— Ну что? — спросил Ефим. — Тебе безразлично, когда тебя едят? А мне — нет.

Яблоко невозмутимо смотрело на него. Укус на румянном боку казался нелепо разинутым ртом с ярко накрашенными губами.

— Я знаю, что делать, — сказал Ефим. — Я сегодня же пойду и срублю эти ваши деревья. Всё равно они никому не нужны. Я выкорчую всё до последнего корешка, землю выжгу...

Яблоко дёрнулось в руке. Вмятины зубов на укусе с сочным чмоканьем клацнули у самых глаз.

С нечленораздельным воплем Ефим отшвырнул яблоко, прыгнул в сторону, задел плечом стопку ящиков. Сверху, ударяя по плечам и голове, посыпались яблоки. Ефим отпрянул в сторону и едва не угодил под рушащуюся башню списанной тары. Яблоки хлынули под ноги.

Ефим бежал, прыгал, уворачивался, а навстречу из боковых коридоров, казарм, артиллерийских погребов, лазарета выкатывались яблочные валы. Круглые, продолговатые, гладкие, ребристые яблоки падали отовсюду, грозя засыпать его с головой. Это было бессмысленное тупое нашествие, — если бы в их движении оказалось хоть немного разума, Ефим не сделал бы и десяти шагов. Но даже сейчас взбесившимся яблокам не было до него дела. Они катились в разные стороны, рассыпаясь и перемешиваясь, сталкиваясь друг с другом, а Ефим бежал, давно потеряв цель и смысл бегства. Так, попав в слишком сильный прибой, избитый волнами пловец ещё борется, рвётся куда-то и остатками угасающего сознания видит злую волю в том явлении, что равнодушно топит его.

Впереди забрезжил тусклый свет, Ефим ворвался в пустой левофланговый дот, захлопнул дверь, вцепился в ручку, ожидая рывка. Вместо этого на дверь обрушился тяжёлый удар. Покрытая заклёпками сталь прогнулась, но выдержала.

Наступила тишина.

Ефим спешно собирал разбросанные по помещению доски, стараясь соорудить из них хоть какое-то

препятствие. Потом остановился, поражённый простой мыслью.

А ведь он в ловушке. Там, за дверью, потеряна до потолка забита ждущими яблоками, а другого выхода отсюда нет. Он не яблоко, ему не протиснуться в узкую амбразуру, а они, если захотят, могут обойти его и взять дот в лоб. Яблокам это не сложно.

Горбылина выпала из рук Ефима. Он понял, что никто не будет его убивать. Он не нужен. Не вредит — и ладно. Это было страшнее всего.

Ефим вскочил, подбежал к амбразуре, приник к холодному металлу. Нет, не пролезть. Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Да и кто услышит его здесь? Даже если и появятся на дороге ковыляющие бабульки, взывать к ним бесполезно, они побредут дальше, пробормотав на прощание: «Non capisco» — или, например: «Jo po comprendo».

— Спасите... — прошептал Ефим.

Ответа не было.

Ефим беспомощно закружил по доту. Как выйти отсюда? Ведь он погибнет здесь, умрёт от голода и жажды рядом с бессчётной громадой яблок. Путило появится не раньше чем через шесть недель, а то и позже. Столько ему без воды не прожить.

Ефим потолкал намертво заклиненную дверь, поднял и уронил несколько досок.

Бесполезно. Прочный свод не сломать.

В дальнем углу Ефим поднял смятый клочок бумаги. Должно быть, он валялся на полу с самого сорок четвёртого года, с тех пор как взвод сапёров разминировал под горой контрэскарп. Зря они это делали. Если бы дот был заминирован, его можно было бы взорвать. Замечательная вещь — минное дело, с ним не страшны никакие преграды. А ещё на свете есть минирующая моль. Она портит яблоки. Умница.

Ефим разгладил хрупкий листок, поднёс его к свету, начал читать:

«Разрушение бетонных оболочек при взрыве происходит в соответствии с формулой Сен-Венана:

$$q = 12,3 \frac{pt}{(2a)^3} \sqrt{\frac{EI}{m}},$$

где q — критическое давление; t — время действия взрыва; a — пролёт выработки; E — модуль упругости материала крепи; I — момент инерции поперечного сечения крепи; m — вес элемента кре...» — дальше страница была оборвана.

Ефим просиял лицом. Как всё просто! Взорвать дот можно, мудрый Сен-Венан давно решил для него эту задачу. Пусть пленник не властен над модулем упругости и весом крепи, но, чтобы разрушить стену, надо всего лишь увеличить время взрыва. Надо взрываться подольше.

— А-а-а!!! — завопил Ефим и забарабанил кулаками по бетонной плите.

Тяжёлые своды легко погасили крик. Слишком велик момент инерции и малы вес и плотность заряда. Он останется здесь.

Ефим расстегнул плащ, вытащил из брюк ремень. Сложил его двойной петлёй, как учили на «гражданской обороне». Так накладывают на раненую конечность ременный жгут. Если как следует потянуть за свободный конец ремня, то жгут можно будет снять только с помощью плоскогубцев или ножа.

Ножа у него нет. Плоскогубцев тоже.

Ефим осторожно просунул голову в петлю, потрогал свисающий конец ремня, сел на край оружейного стола и начал смотреть наружу.

Голый склон, полузасохшая яблоня, пустая дорога, брошенное поле, заросшее цеплючей ивой. Весь

мир ужался до размеров сектора обстрела. И нечем стрелять. Бодливой корове бог рог не даёт. А как хотелось бы сейчас иметь если не пулемёт, то хотя бы винтовку. Уж тогда он не стал бы беспомощно смотреть, как по склону среди бела дня катится яблоко — огромный, праздничной окраски штрифель. Катится вниз, — конечно, куда же ему ещё катиться?

Неприметная ложбинка увела его мимо цели, вбок. Штрифель остановился и так же мерно направился в гору. Неподалёку от древней бесплодной яблони он выбрал место и замер, уютно устроившись в мёртвой осенней траве.

Ефим закрыл глаза, чтобы не видеть.

Эх, яблочко, куда котишься?

МАШЕНЬКА



арина Сергеевна подклеила заговорённый пупок кусочком лейкопластыря, устало распрямилась, улыбнулась младенцу и пальцем пощекотала ему круглый мяконецкий животик. Ребёнок приоткрыл сонные глазки и довольно вякнул.

— Всё в порядке, — сказала Марина Сергеевна, — через два дня снимете пластырь, пупочек к этому времени подживёт, грыжки тоже не будет. Но на всякий случай следите, чтобы пацан поменьше плакал. А то мы у мамки головистые...

— Спасибо вам огромное, — говорила женщина, ловко пеленая мальчика, который, как это всегда бывает после заговора, уже спал. — Мы уж просто не знали, что и делать, ни один врач не помогал, на операцию хотели класть, такого махонького... — женщина всхлипнула, — да вот научили люди к вам обратиться... Спасибо...

Она полезла в сумочку, достала приготовленный конвертик, протянула его Марине Сергеевне.

— Не надо, — тихо сказала та. — Это был совсем простой случай, я за такие деньги не беру.

Вы только другим не говорите, а то ведь со стороны один заговор от другого не отличить.

— Может, всё-таки возьмёте? — робко предложила гостья. — Вы так нам помогли.

— Говорят, не надо! — Марина Сергеевна чуть не силком засунула конверт обратно в сумочку и пошла провожать гостью.

Вообще-то заговор был очень трудным, но Марина Сергеевна обладала невыгодной для себя способностью болезненно чувствовать, когда предлагаемые деньги шли от избытка, а когда это оказывались с трудом выцарапанные у нужды рубли. В последнем случае взять деньги казалось попросту невозможным. К сожалению, семьи с маленькими детьми редко могли похвастаться материальным достатком.

Оставшись одна, Марина Сергеевна прошла на кухню, села, прижалась лбом к холодному пластику стола.

Скрипнула дверь, на кухне появилась мать. Остановилась в дверях, пожевала губами, ворчливо спросила:

— Опять не взяла?

— Оставьте, мамаша! — зло ответила Марина Сергеевна. — Не ваше это дело!

Мать исчезла, слышно было только, как двигает она по комнате стулья, ненужной деятельностью заглушая бессильный гнев. А Марине Сергеевне словно бы полегчало после того, как она выговорила отвратительное словцо «мамаша». Слово это было ненавистно ей с детства, ведь именно так мать называла бабушку.

Бабушка жила в своём доме в лесу, или, как говорили в деревне, «на хуторке», но довольно часто появлялась в городской квартире, навещала дочь и внуку. Это всегда случалось как-то вдруг. Неожиданно маленькую Маришку охватывала дрожащая

нетерпеливая радость, и она, ещё ничего не слыша, мчалась открывать дверь. Очевидно, мать тоже что-то чувствовала, потому что резко мрачнела и шипела сквозь зубы:

— Припёрлась, ведьма!..

Бабушка, задышавшая от усталости, показывалась на лестничной площадке внизу, Маришка, перепрыгивая через ступеньки, с визгом мчалась ей навстречу, повисала на шее, звонко целовала дряблую старушечью щёку.

— И чего вам, мамаша, дома не сидится? — приветствовала бабушку мать.

— Ох, жаланная, — нараспев говорила бабушка, словно не замечая хмурого лица, — другой бы раз и сама рада дома посидеть, да люди не дают. Всем до старухи дело есть. Вот и этот уж так жалился, так просил, на «Волге», говорит, от порога до порога доставлю. Я и согласилась, а потом, грешным делом, думаю: дай-ко заеду к родной дочери, да и с Машенькой повидеюсь...

— Мамаша! — возглашала мать. — Сколько раз вам говорить, что девочку зовут Мариной!

— Это для тебя она Марина, а для меня — Машенька, — отмахивалась бабушка.

Она проходила на кухню, усаживалась на табурете, долго разматывала тяжёлые, домашней работы шерстяные платки. Пила жиденький материнский чай. Всё это время Маришка ни на шаг не отходила от бабушки, преданно заглядывала в побуревшее от солнца и ветра лицо; ткнувшись мордашкой, вдыхала далёкий деревенский аромат, который хранила бабушкина кофта. Баюкала в ладошках, а потом прятала до завтра привезённую в подарок плюшку, вкусно хрустящую и пахнущую русской печкой. Бабушка запускала корявые пальцы в волосы девочки, ласково трепала её и тихонько отвечала на незаданный вопрос:

— Ничего, Машенька, лето скоро.

Мать злилась на бабушкины визиты, однако охотно принимала от неё сиреневые четвертные билеты, полученные от благодарных бабушкиных пациентов, и приговаривала:

— И то дело, мамаша, куда они вам? В могилу с собой не возьмёте.

Но потом бабушка тяжело поднималась, говорила:

— Однако пора. Как бы к поезду не опоздать. — И начинала одеваться, наворачивать на голову и грудь широченные, с простыню, вязаные платки, на глазах превращалась в бесформенную толстую куклу. Целовала сникшую Маришку, утешала: — Ничего, жалостная ты моя, перемелется... — и уходила.

И праздник гас.

— Ну что ты к ней липнешь? — постоянно сердилась мать. — Тоже, нашла подружку! Ведьма, она ведьма и есть. На неё взглянуть-то страшно, ночью с такой встретишься, так умереть можно с перепугу. Лицо корявое, глаза красные, во рту полтора зуба. Баба Яга, да и только!

Маришка вспоминала морщинистое бабушкино лицо и убеждённо говорила:

— Бабушка красивая.

— Испортит девчонку! — сокрушалась мать. — Хватит, больше в деревню не поедешь!

Но подходило лето, и мать забывала о своём решении. Она была уже немолодой, но ещё очень красивой женщиной, и, конечно же, у неё была своя жизнь, которой страшно мешало присутствие большой дочки. Все каникулы от первого до последнего дня Маришка проводила на хуторе.

Там всё было непохоже на город, и радостные чудеса начинались ещё в пути. От станции до деревни вела грунтовая, плотно убитая дорога. Было в ней семь километров, но километров немереных, которые

хотелось называть вёрстами. За деревней кончались последние привычные человеческие приметы: радио, телевизор, электричество; впереди оставался лес, непролазное моховое болото с колышущимся под ногами клюквенником, и мимо всех этих чудес озорно извивалась тропка, приводившая к бабушкиному дому.

От старости дом осел, глядел подслеповато пыльными оконцами бесчисленных чуланчиков, дворовая крыша завалилась. Казалось, он вырос здесь из сосновых корней, такой же прихотливый, как они, и живёт своей жизнью, переплетшейся с жизнью леса.

В доме Маришку встречал сладкий запах сухой травы, неповторимый, как всё у бабушки. Пучки трав висели повсюду: в чуланчиках; на низком чердаке, где можно пройти лишь пригнувшись; даже в хлеву, пустовавшем с довоенных времён, но всё же сохранявшем неистребимый коровий дух.

Трав не было только в единственной жилой комнате, которую бабушка величала горницей. Половину горницы занимала печь, её чёрное нутро обещало прелести великолепных бабушкиных обедов. Самодельный стол помещался напротив божницы, откуда строго смотрели одетые в фольгу лики, по обеим сторонам стола, на приличном от него расстоянии, располагались два гнутоногих стула, ещё в восемнадцатом году вынесенных из разоряемой усадьбы. Высокая парадная кровать, крытая плетёными наволочками, разбиралась лишь в дни Маришкиных приездов, когда бабушка уступала ей заветное место на печке.

В деревне бабушку любили, в нужде и скорбности всегда обращались к ней, хотя заглазно называли и ведьмой, и Бабой Ягой. Старуха знала о том, но не обижалась.

Зимой избушку заносило снегом, сугроб на крыше почти смыкался с выюжным наметом у стены, в горнице было постоянно темно, тени плясали от горящей в светце лучины, изогнутые угольки чёрными змейками падали в медный тазик, подставленный снизу. Бабушка, сидя у огонька, либо прядла, если кто-нибудь из деревенских просил помочь управиться с шерстью, либо перебирала хрусткие травяные венчики; нараспев, словно давно заученное, рассказывала:

— Есть трава Смык, растёт белая, а иная желтая, ростом в иглу. Добра она, ежели который человек не смыслен. Ту траву потопи в вине и в ухо пусти, травую его парь и с молоке хлебай. Бог поможет...

Летом избушка волшебю менялась. Нетоптанные лесные цветы заглядывали по утрам в окошко, маленький огоролик за домом кудрявился всяким овощем, лес подступал словно бы ближе, даже сам дом начинал зеленеть: крыша покрывалась тонким мохом, на завалинках вырастала трава. Бабушка тоже менялась: ходила быстрее, веселей говорила, рассказы её становились понятнее.

— Вот щавель коневой — сорная трава. Коли будет кто битый человек, дай с листом конопляным пить, так кровь от сердца отступится и опух уляжется...

По утрам Маришка ходила с бабушкой брать земляничныи цвет — на чай да очи парить, коли ресницы падают; отправлялась за ландышем, что добро сердцу творит; или искала круглые листочки сорочьего щавеля, спасающего от змеиного ожога.

Всякую травку бабушка показывала: и какова собой, и где растёт, и как класть в запас. Лес был исхожен ими несчётное число раз, и не оставалось в нём ни тайны, ни страха. Маришка была там своей,

даже осы не жалили её. Из любого места девочка умела прямой дорогой выйти к дому и не понимала деревенских женщин, порой часами блуждавших в сосняке и боявшихся угодить на болоте в хлюпкое место.

— Ведунья растёт, — говорили на деревне.

Но девяносто солнечных дней как-то удивительно быстро кончались, и бабушка, вздыхая, что теперь-то самое время грибы брать, начинала готовить Маришку в дорогу. Давала ей помалу всякой травки, каждую с советом и наговором, собирала узелок гостинцев, последний раз они сидели подле самовара, пили цветочный чай с мёдом, а потом в громыхании поезда надвигался город, и ведунья Машенька становилась школьницей Мариной Шубиной.

В квартире мать, с трудом дождавшись бабушкиного ухода, презрительно кривя губы, отправляла в мусоропровод травки и корешки, оставляя только баночку с мёдом да полотняный мешочек сухой черники.

— Нечего! — отрезала она, не слушая робких протестов дочери. — Блажь это. Нынче пенициллином лечатся, из плесени. А тараканов в доме разводить не дам! Берись лучше за учебники, небось позабыла всё.

— Не позабыла, — тихонько отвечала Марина.

Это была правда. С того самого времени, как Марина пошла в школу и зимами стала появляться на хуторке лишь в недолгие новогодние каникулы, бабушка начала требовать, чтобы учебники она привозила с собой. Сама она купила в сельпо керосиновую лампу и круглую пятилитровую канистру под керосин. И теперь всё чаще бывало, что в горнице зажигался яркий покупной огонь и Марина, примостившись поближе к лампе, читала вслух недвижно замершей бабушке.

— Неужто так всё понимаешь? — спрашивала старуха.

— Понимаю.

— Ах ты моя жаланная! — умилилась бабушка. — А я вот только буквицы выучила, да и те перезабыла. Память-от дырявая.

— Это у тебя дырявая? — не верила Марина. — Ты же всё на свете знаешь...

— Всё знает один господь, да и то молчит.

А однажды произошёл такой разговор.

Марина читала вслух Пушкина, бабушка сидела, согнувшись над вязанием.

«Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..» —

размеренно произносила Марина. Бабушка вдруг подняла голову и попросила повторить. Марина перечла отрывок.

— Складно сказано, — похвалила бабушка. — Такой приговор ловко должен идтить. Хотя... скажи-ко ещё.

Марина перечла в третий раз.

— Нет, — сказала бабушка. — Не сгодится. Всякий человек для себя лучшей всех, покуда в себе не усомнился. А уж как усомнился, то и без зеркальца знаешь, кто тебя превзойдёт. И неужто царица того не понимает? Жалко, такой складный приговор, да дуре достался. Ты читай, читай...

— Бабушка, — сказала Марина, — а почему нам учительница говорила, что колдовства не бывает, что это просто сказки рассказывают?

— Может, и так, — согласилась бабушка. — Сказки-от тоже не с головы взяты. Ты учителей слушай,

они дело говорят. Может, в школе и не всю правду понимают, так то беда невелика. Одного спроси, другого — ин и выучишься.

— А чего они говорят, когда сами не знают?.. — пробурчала Марина.

— Ты, жаланная, других строго не суди. Вот дед Андрей, совсем мужик несмыслен, а как пчелу чувствует? И пчёлки его знают, не жгут никогда. Ты баешь, у него и учиться не надо, что он кашу пятернёй ест? Иль меня возьми. Я же тёмная совсем, в школу дня не бегала, отец не велел. Потом, уже как сиротой стала, к знахарке на выучку попала. Так и вышло, грамоте не знаю, а скорби людские все превзошла. Каждый человек свою науку имеет...

— Бабушка, — вставила Марина, — а вот мама говорит, что на травки просто мода такая, а на самом деле всё лечат плесенью, и раньше так не лечили.

— Ну, это не скажи...

Бабушка прошла в угол, где под висящими иконами стояло что-то вроде тумбочки, покрытой ветхой скатёркой. Бабушка редко заходила туда и никогда не трогала скатерть, так что Марина думала, будто под божницей всего лишь подставка для сменяемого раз в году пучка вербы. Но оказалось, что под скатертью прячется полочка, а на ней несколько толстых, чёрных от времени книг. Бабушка распахнула одну из них и, не глядя в страницы, пропела чужим, заученным голосом, каким, бывало, сказывала о неведомой Смык или Одолень-траве:

— «Аще у кого рана глубоко подсечена, возьми в бане из подполья ростёт, аки гриб белый или пена, изсуши насухо в вольном жару; изсуша, изтолки мелко и просей ситом, смешай с добрым уксусом, упари в новом горшочке, и станет густо; тем помазуй рану пёрышком помаленьку из глубины наперёд, а не сверху; помажешь сверху, ино не добро — верх

наперёд заживёт, а с исподи не заживёт, ино тяжело».

Маришка слушала разинув рот. Бабушка закрыла книгу, улыбнулась и спросила:

— Ладно ли я читаю?

— Ладно... — протянула девочка. — А что это?

— У меня тут и травнички, и заговоры, и Вертограды прохладные, и святые книги — всё есть.

Марина осторожно, двумя руками развернула книгу. Большие, неровно обрезанные листы густо покрывала вязь рукописных строчек. На широких полях располагались рисунки: заштрихованные кресты, а порой, видно для ясности, нарисованный разлапистый лист или корень о двух концах. Отдельные буквы были вроде бы знакомы, но сколько Марина ни пыталась, она не сумела прочесть ни одного слова.

— Это на каком языке? — спросила она бабушку.

— Русские люди писали, — был ответ, — вот выучишься — все книжки тебе отойдут.

Тем же летом бабушка стала приучать Марину к лечебному делу.

Как-то Марина прибежала из деревни в слезах. Она долго и бессвязно жаловалась, бабушка хлопотала вокруг неё, утирала слёзы передником, наконец осерчала, цыкнула, брызнула в лицо водой с уголька, отчего слёзы мгновенно высохли, и потребовала отчёта.

— У Вовки Козны ячмень на глазу выбросило, — рассказала Марина. — Ты говорила: если ячмень — плюнуть надо. Я три раза плевала, и вчера, и позавчера, а он всё пухнет. Ребята смеются, а Вовка прибить обещался.

— Эх, Машенька, видать, не так ты плевала. Харкнуть человеку в глаза всякий может, а тут с умом надо.

Бабушка наклонилась к уху и прошептала:

- У него на глазу паук сидит.
- Какой паук? — испугалась Марина.
- Злой. Вроде клеща, а не клещ. Впился, глаз сосёт, собой мохнат, жёлтый, глазки чёрные...

Марина вскрикнула. Прямо перед ней на полу сидел огромный, в локоть, паук. По жирному жёлтому брюху были раскиданы тёмные пятна и поросшие белесой щетиной бородавки. С жующих челюстей капал тягучий чёрный яд. Гадина глядела мимо Марины слепыми точками глаз и медленно перебирала цепкими суставчатыми лапами.

Волна чудовищного отвращения захлестнула Марину. Весь мир исчез, оставался только злой страшный паук.

— Плюнь! — откуда-то издалека истошно завопила бабушка.

Марина содрогнулась и, не соображая, что делает, плюнула. В ту же секунду паук лопнул и исчез без следа.

— Вот так и надо, — сказала бабушка. — Сейчас пойдём в деревню, и плюнешь своему Козне как положено.

— Я не пойду, — прошептала Марина.

— Что же, мальцу пропадать? — спросила бабушка. — Идём, у тебя получится.

С этого дня бабушка принялась учить Марину заговорам, тайным нащёптываниям, заклятиям. Главным в этом тёмном искусстве оказались не слова, которые неразборчиво бормотала ведунья, а те чувства, что она вкладывала в них. Бабушка и сама вполне понимала это и строго различала заклятья, что говорятся для больного, от тех, что нужны самому лекарю.

— Коли волосатик руку ест, то парь трижды на день по три дни берёзовым листом, а пока паришь, читай «Отче наш» до семи раз. А на четвёртый день

возьми пучок Золотухи-травы, листики с ней обери да завари крепко. Руку в той воде парь с двойным заговором. А уж как дойдёшь до слов: «Свят! Свят!» — то язву-от веничком и хлещи, не шибко, но сердито: «Свят! Свят!» Тут гной раной хлынет, и волосатик покажется. Ты его рукой не трогай, а на траву прими и мотай потихоньку, да заговор читай покуснее, рука чтобы не дрожала и больного не перепугать...

— Бабушка, а зачем молитва нужна? Ведь богато нет!

— Ну коли нет, так читай стихи. Только время заметь хорошенько, а то перегреешь руку, так один вред получится. Прежде часов не было, так и яйца под «Отче наш» варили. Один раз прочтёшь — всмятку, три раза — в мешочек. А совсем без заговора тоже нельзя — больной тебя слушает, ему и поспокойней.

С этим Марина соглашалась, тем более что из книжек уже знала и о психотерапии, и об аутотренинге.

Она с лёту схватывала бабушкину науку, умела заморозить младенцу пупок, изгнать из старой раны вросший осколок кости или свести с лица огромную багровую бородавку. Но она никогда не делала этого без бабушки. Стыдным казалось, даже ради психотерапии, изображать из себя верующую, брызгать по углам святой водой и бормотать неразборчиво:

— Изыди, злой дух, изверг рода человеческого, изыди аггел сатаны...

Ну о каком «аггеле» можно всерьёз говорить в наши дни? Первая же скептическая усмешка разбила бы Маринкину уверенность в себе. Но в бабушкины заговоры Марина верила крепко.

Именно в эту пору Марина решила стать врачом — желание, горячо поддержанное бабушкой, но из-за которого сразу же появилось множество дел,

нечувствительно отнимавших время, так что порой не было расчёта ехать в деревню на короткие весенние каникулы. Потом пошли экзамены, выпускные да приёмные, и суматошная студенческая жизнь с обязательной летней практикой и стройотрядами. И среди лета уже становилось трудно выбрать неделю, чтобы побывать на хуторке.

Но однажды Мариной, которая тогда училась на третьем курсе мединститута, овладело странное беспокойство. Несколько часов она металась, не находя себе места, а потом, махнув рукой на занятия и никого не предупредив, отправилась в деревню.

К тому времени до сто двадцатого километра пустили электричку, хотя дальше всё равно приходилось брести пешком по раскисшему от ноябрьских дождей просёлку. Однако первым, кого увидела Марина на платформе, был Володька Козна, друг детства, ставший трактористом и лихим ухажёром.

— Бабка просила встретить, подкинуть к деревне, — сообщил он. — Сапоги передала, а то не пройдёшь болотом.

Потом они тряслись в кабине «Беларуси» по налитым колдобинам осенней дороги, Козна увлечённо рассказывал, как живётся тут и как жилось в армии. Марина почти не слушала его, только одна фраза больно рванула по сердцу:

— Бабка твоя совсем плоха стала.

Однако на деле всё оказалось не так уж страшно. Бабушка встретила Марину на полпути от деревни, вдвоём они бодро дошлёпали до избушки. При встрече бабушка сказала лишь:

— Приехала, Машенька? Я знала, что приедешь... Звала я тебя.

В жарко натопленной избушке было всё как обычно, разве что трав по клетям сушилось в этом году менее обыкновенного. Из печки бабушка достала го-

рячие хрустящие калитки с картошкой и кашей. Заварила душистый сборный чай. Видно было, что она старается напомнить внучке всё, что так привязывало её к лесной избушке. А Марина с запоздалым сожалением думала, что не предупредила Серёжу о своём отъезде и он, наверно, будет ждать звонка.

Вечером в горнице засветилась лучина — бабушка, как и прежде, не жаловала керосиновой вони, и под тихое потрескивание огня и песню бессонного сверчка пошла беседа, которую Марина запомнила на всю жизнь.

— Так-от, Машенька, — начала бабушка, — девяносто пятый годок мне. Стара стала.

Марина молчала, не понимая, куда клонит бабушка.

— Мать твою меня не больно жалуёт, но вины её в том нету. Поздненькая она у меня, другие бабы в такие годы уж и не рожают. А расстались мы рано, четырёх годков ей не было, как нас разлучили. Не любили тогда, ежели какая женщина ведьмой слыла. А обо мне всякое говорили, тогда ещё больше, чем теперь. К тому же я одиночная. Так и подпала под закон. И нашла я её, мамку твою, уж после войны. Совсем большая стала девка и чужая. Глупая она, но ты её жалеешь, всё-таки мать. Хорошо, хоть ты у меня появилась, а то бы так и осталась я без наследницы. — Бабушка остановилась и вдруг попросила тихонько и жалобно: — Машенька, пожила бы ты у меня, а?

— Что ты, бабушка, — заторопилась Марина. — Я не могу сейчас, у меня институт, сессия на носу, ты же сама говорила, что учиться надо...

— Ох, жаланная, не уйдёт от тебя институт, а бабушка-от скоро уйдёт, не догонишь. Поживи пока у меня, поучись у старухи. Думаешь, я тебе всю мою премудрость показала? Я много умею...

— А на что мы с тобой жить будем? — защищалась Марина. — Денег у меня нет, ты тоже за свою жизнь не запасла, всё на мать stravила...

— На что они нам, деньги? Али плохо жили прежде, голодной была когда, исхудала? А ведь у меня, кроме грибов, да картохи, да травок разных, отродясь в дому ничего не бывало. Машенька, я ж для тебя всякую тряпицу самобранкой оберну, останься только. Я тебя всему выучу. Горько науку с собой уносить... Вот, гляди...

Бабушка повернулась в угол, где за печкой примостились рогатые ухваты, и один из них качнулся и медленно поднялся под потолок.

— Сама уж не могу, а тебя научу, будешь без крыльев аки птица по небу летать. И ты не думай, дурного здесь ничего нет, я уж восемь десятков лет ведуныя, а чёрта в глаза не видала. И есть ли он где? А коли грех какой в этом деле найдётся, так я его перед богом весь на себя возьму.

— Да при чём здесь чёрт? — воскликнула Марина. — Не верю я в чертей. Вот только как же... — Марина чуть не сказала: «Серёжа», но осеклась и выдавила: — ...как же город?

— Что тебе в том городе? Телевизоров не видала, что ль? У меня есть кой-что похитрее телевизора. Дай-ко сюда перстенёк твой...

Марина послушно сняла с пальца тонкое девичье колечко и протянула его бабушке. Та плеснула в миску воды, кинула туда звякнувшее кольцо и, наклонившись над водой, принялась шептать:

— Ты кажи, кажи, колечко, о ком думает сердечко...

Поверхность воды застыла, обратившись в блестящее ртутное зеркало, и в нём Марина увидела городскую улицу, подстриженные тополя, горящие фонари, в свете которых кружили первые в этом году

снежинки. И по этой улице шёл Серёжа. Он был не один, рядом с ним, держа его под руку, шла незнакомая Марине девушка. Она что-то увлечённо говорила, а Серёжа то и дело зашагивал вперёд и, смешно морща брови, заглядывал ей в лицо, совсем так, как глядел в лицо Марине, когда они вместе гуляли по городу. Но самое страшное, что в руках девушка несла три больших полураспустившихся тюльпана, завёрнутых в прозрачный целлофан. Это к ней, к Марине, он приходил на свидания с тюльпанами, а когда она спрашивала, откуда он берёт среди осени такое чудо, загадочно улыбался и отвечал:

— Секрет фирмы. Только для тебя.

Верно, бабушка сразу почуяла неладное, потому что забормотала:

— Не смотри, не смотри, это неправда, морок это... — а вода замутилась, тут же прояснилась снова, и Серёжа оказался в какой-то комнате сидящим над книгой. Обман был очевиден, комната казалась нарисованной, лицо Серёжи неживым, словно снятым с фотографии, и книги перед ним лежали, конечно не учебники, а скорее нечитаемые бабушкины манускрипты. Только три тюльпана, очутившиеся в стакане на краю стола, остались теми же, что и были.

— Не надо... — простонала Марина, и всё исчезло.

— Ну что ты, право, — уговаривала бабушка. — Не убивайся ты, беда невелика, ну, прогулялся парень с другой, не дурное же что сделал. А хочешь, я его так присушу, что шага от тебя не отойдёт?

— Не надо, — мучительно повторила Марина.

Они немного помолчали, а потом Марина тихо начала говорить:

— Бабушка, я поеду завтра в город. Ты не думай, я не из-за него, плевать я на него хотела, но просто лучше мне там быть. Не нужно мне пока твоё

волшебство, это всё потом, а сейчас... я ещё сама не знаю, что мне нужно...

Утром они попрощались возле избышки.

— Я обязательно приеду, — говорила Марина. — Вот сдам сессию — и тут же к тебе. Хорошо?

Бабушка молчала и часто крестила Марину, чего прежде никогда не делала. Наконец Марина оторвалась от неё и исчезла в припорошенном чистым снежком лесу.

Больше Марину не охватывало страшное чувство беды, но она всё время помнила, что с бабушкой может быть нехорошо, и торопилась разделаться с учёбой как можно скорее. Это было тем легче, что Сергей исчез из её жизни. Всё произошло удивительно просто и быстро. Марина лишь спросила при встрече, как зовут ту девушку. Сергей рассмеялся, хотел что-то рассказать, но Марина вдруг ясно поняла: врёт. И хотя там у него пока нет ничего, но и здесь тоже ничего нет и быть не может.

Она ещё не знала, что с этой минуты обречена понимать других людей и, значит, навсегда останется одна.

Зимнюю сессию Марина сумела спихнуть досрочно и уже на следующий день мёрзла в нетопленной электричке, спешащей прочь от города. Дорога до деревни была хорошо укатана, а дальше приходилось пробивать лыжню по нетронутой снежной целине. Особенно тяжело было в лесу, где снег лежал такими огромными и пушистыми холмами, что лыжи тонули в нём и не помогали, а мешали двигаться. За два часа Марине не попалось ни одного человеческого следа. Не было следов и возле избышки, перед дверью намело сугроб, её пришлось откапывать концом лыжи.

Избушка встретила холодом и непривычным порядком. Бабушки нигде не было. А посреди стола

лежало составленное у нотариуса завещание, согласно которому дом и всё имущество отходили «внучке моей Машеньке — Шубиной Марине Сергеевне».

На третий день приехала мать. Она вошла в дом со скорбным выражением лица, держа в руках заранее приготовленный платочек, но, увидев, что в избушке нет никого, кроме Марины, сразу же обрела деловитую уверенность. Не говоря ни слова, обошла горницу, поколупала ногтем стены, неодобрительно покачала спинки стульев.

— Труха! — наконец заявила она. — Всё можно выкидывать. Дом удастся продать рублей за восемьсот, сейчас такие дачки в моде, я уже покупателя присмотрела. А вещи никуда не годятся, вот только взглянуть, где-то платок должен быть пуховый. И ещё иконы, они теперь в цене... — Мать направилась к бабушкиной божнице.

— Не смей!.. — свистящим шёпотом выдохнула Марина.

— Что?.. — Мать обернулась.

Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, стояли не двигаясь, и с лица матери сползало выражение трезвой озабоченности, и пятнами выступал страх. Неизвестно, что почудилось ей, но вдруг она ойкнула, попятилась, а потом, тихо взыв, метнулась в сени и дальше на улицу. Только там к ней вернулся голос.

— Ведьма!.. — заголосила она и, проваливаясь по пояс в снежные заносы, бросилась прочь.

Марина сухими глазами смотрела, как барахтается в снегу эта чужая женщина.

В город Марина вернулась через неделю. О бабушкином наследстве больше не было сказано ни слова. Но именно с этих пор Марина усвоила в отношении матери злое словечко «мамаша» и пере-

шла к оскорбительному для родителей обращению на «вы».

А мать как-то сразу сникла, здоровье её хизнуло, из цветущей женщины, на которую даже молодые люди на улице порой оборачивались, она в одночасье превратилась в сгорбленную, морщинистую старуху. Она мгновенно растеряла аристократические замашки, перестала заботиться о внешнем блеске, стала нечистоплотной, приобрела способность непрестанно жаловаться и брюзжать.

Одна страстишка сохранилась в её дряблом сердце — копить уже ненужные ей деньги. Целыми днями она была способна раскладывать на столе разноцветные купюры, планируя фантастические, воображаемые покупки. Марина не препятствовала ей в этом и так же, как когда-то бабушка, щедро дарила сиреневые двадцатипятирублёвки.

Шло время. Из уходящих лет неприметно складывалась жизнь. Марина стала детским врачом. Вначале она ничем не отличалась от прочих участковых педиатров, разве что чаще других прописывала травы, а когда их не находилось в аптеке, то давала свои, почему-то помогавшие лучше покупных. От трав общеупотребительных постепенно она перешла к тем, что по редкости или неизвестности не попали ещё в фармакопеи. И наконец однажды, впервые со дня бабушкиного ухода, применила заговор. У неё просто не оставалось другого выхода — ребёнка надо было спасать.

Но и потом, когда о ней пошла молва как о ворожее, Марина Сергеевна пользовалась бабушкиными приёмами только когда аптека уже не помогала. По-прежнему было неловко твердить замшелые молитвы, Марина Сергеевна предпочитала просто бормотать неразборчиво и лишь иногда ловила себя на том, что шепчет в такт ювелирным движениям пальцев: «Свят! Свят!»

Слухи о чудо-докторе разбегались мгновенно. О её способностях рассказывали чудеса, но только сама Марина Сергеевна знала, как мало она умеет. Каждый отпуск и почти все выходные проводила она на хуторке. Читала писанные славянской вязью книги, собирала травы, рассматривала вещи, которыми не умела пользоваться.

Кое-что открывалось, но медленно и тяжело. Порой, когда было ради кого стараться, буквально из ничего возникал праздничный обед, иной раз удавалось непонятным образом позвать нужного человека, и он немедленно приезжал, как бы далеко ни находился. Как-то пожелтевшая от времени расписная бабушкина чашка сорвалась со стола, но не упала, а зависла в воздухе, так что Марина Сергеевна успела подхватить её.

Марина Сергеевна долго пыталась восстановить жуткое чувство грозящей потери, которое обдало её при виде падающей чашки. Она даже специально купила красивейший сервиз и, не обращая внимания на причитания матери, хладнокровно расколотила его в куски. Но через полгода она всё-таки поймала это ощущение, когда на улице какой-то мальчишка, разогнавшись на катульке, поскользнулся, кубарем полетел под колёса спешащим машинам, но на самом краю тротуара был остановлен взглядом задохнувшейся от ужаса Марины Сергеевны.

Но тайн всё же было больше. Взять хотя бы чудо с колечком: был ли это морок, как уверяла потом бабушка, стараясь успокоить Марину, или в самом деле смотрели они в тот день за полтора-два километра?

Бережно собирала Марина Сергеевна случайные находки, запоминала чувства, приёмы, но видела, что успеет ничтожно мало. А сколько сумеет передать? И кому?

Конечно, немало находилось народу, желающего стать её наследниками. Шарлатаны и хапуты, вертящиеся вокруг медицины, осаждали её со всех сторон, мечтая получить волшебный рецепт. Мистики всех сортов, от тупоголовых сектантов до моднейших телепатов, являлись косяками, пытаясь заполучить в свои ряды настоящего чудотворца. Всех их Марина Сергеевна узнавала за сто шагов по непрерывно тлеющей бессильной истерике и гнала беспощадно. Встречались и бескорыстные искатели истины. С ними было особенно трудно, ведь нельзя же открыть тайное искусство кому попало, не поймёт этого случайный, чужой человек. Чудо передаётся только с любовью.

Частенько теперь думала Марина Сергеевна, что, если бы у неё была ученица, ей самой было бы легче искать новое. К сожалению, поняла она это, когда своих детей заводить стало вроде бы уже поздно. Если же взять чужого... Ведь он должен стать больше, чем свой, а попробуй отними малыша ну хоть у той мамы, что приходила сегодня лечить младенцу пупок...

Но когда что-то очень нужно, то рано или поздно это найдётся.

Марина Сергеевна резко встала, пригладила волосы и вышла из квартиры. Спустилась на два этажа, остановилась перед дверью, плотно обитой жирным дерматином. Подняла руку и опустила, не коснувшись лаковой пуговицы звонка.

К ней смутно донёсся drobный топот бегущих ног, тяжёлая дверь распахнулась, и худенькая девчушка лет семи с виду, радостно взвизгнув, повисла на шее у Марины Сергеевны.

— Мила, что за шум? — послышался из глубины квартиры недовольный женский голос.

— Тётя Марина пришла! — возвестила девочка.

— Заходите, Марина Сергеевна! — Голос сразу изменился. — Извините, я немного неприбрана, обождите одну секундочку, я сейчас выйду!

— Тётя Марина, — тихонько спросила девочка, потянув Марину Сергеевну за край платья, — а мы поедем летом в бабушкину избушку?

— А тебя родители отпускают? — тоже шёпотом спросила Марина Сергеевна.

— Мама сказала, что ещё очень подумает, но я подслушала, как она говорила, что очень удачно сумела меня вам на лето спихнуть. Только они с папой боятся, что вы у них много денежек попросите...

— Ничего, — счастливо улыбаясь, шепнула Марина Сергеевна, — мне ведь не денежки нужны, а ты, правда, Машенька?

ЗАМОШЬЕ

Наша родина —
Псковщина да Донщина.

КОМАР



Весь август с Петрова дня держалась мокрая жара, травы никак не могли отцвести, а маслята и волнушки в березняке сгнивали, не успев появиться на свет. Зато в сентябре, когда все — и дачники, и деревенские — кинулись на мох за ягодой, в низовом бору высыпало видимо-невидимо лубянок и толстых слизких серух. И хотя Настя знала, что внучка с мужем не сегодня завтра прикатят забирать клюкву, но всё же отправилась в сосняк. Жить зиму чем-то надо, а кадка, в которой обычно солились грибы, с самой весны сохнет сверху дном в клетушке.

Идти в сосняк тем же путём, что и на мох: полем мимо огородов, а потом через ивовые заросли по дороге, пробитой трактором. Так просто через иву не пройдёшь — кусты переплелись и стали стеной. Сейчас стена поднималась сухая, безлистная и просматривалась насквозь. Кусты погибли летом, после того как полный день кружил над полями самолёт, поливая их сверху какой-то пакостью. Лётчик попался нежадный — досталось и огородам, и ивняку по ту сторону поля. Огороды оклемались, картошка выбросила новую ботву и пошла в рост. Лишь у дачников

(свои баловством не занимаются) сгорел горох на грядках. А вот ивняк засох, стоял чёрный и хрупкий. После зимы выгонят в поле коров, Ванька-пастух по бездельной привычке начнёт палить сухую траву, с нею заполыхают мёртвые кусты, а там и лес возьмётся негасимым низовым пожаром. Потом на пожарище явится вездесущая ивовая поросль, и через несколько лет всё станет по-старому, только леса будет меньше, а ивы больше. Дело знакомое, так уже бывало.

Налитая водой тракторная колея выходила к лесу и обрывалась. Дальше машине пути нет, трактористы, собравшись за ягодами, оставляли здесь трактора и шли своими ногами. Тропа на мох уводила прямо. Настя сошла вправо, где в черничном кочкарнике приглядела грибные места.

Жёлтая лубянка, каждая побольше блюда, гриб спорый и чистый. Червь её портит редко, боится белого сока. Попадались и подберёзовики с чёрной головой и синеющей мякотью. Их Настя тоже брала — сушить. А то Леночка придет, спросит ведь сушёных грибов. Скоро набирка оказалась полна. Настя присела на поваленную соснину, переложить грибы в заплечный короб.

Сзади захрустели под тяжёлыми сапогами ветки. Нюрка, соседка и дальняя свойственница, перешагнула через соснину и уселась рядом с Настей.

— Ага, — гулким басом сказала она, — а я-то гадаю, кто все грибы обломал...

— Лес большой, — отозвалась Настя. — Всё не оберёшь.

— Не говори, — прогудела Нюрка, — повадилось народу...

Она развязала мешок, принялась быстро перекладывать грибы. Берестяная набирка была у Нюрки чуть не с ведро, и короб вдвое побольше Настиного. За глаза Нюрку звали Хап-бабой. Она была чуть не

самой молодой в деревне, всего год как вышла на пенсию, и единственная держала справное хозяйство. Остальные по старости и одиночеству уже не могли исполнять всех работ.

— Комарья-то сколько, — ворчала Нюрка, на секунду распрямляясь и отмахиваясь рукой. — Когда они только пропадут, ироды? Сентябрь уже.

— А вот будет январь, так и пропадут, — подзудила Настя.

— Ну тебя, — обиделась Нюрка. — Как ты их только терпишь? Так и выются над тобой.

— Пусть выются. Они меня не кусают. Покружат и улетят.

— Ври-и-и!.. — протянула Нюрка. — Вон на лбу сидит, как нажрался.

Настя провела ладонью по лицу, с лёгким удивлением глянула на окровенившиеся пальцы.

— Значит, ему надо, — сказала она.

— Коли надо, зачем раздавила-то?

— А чтобы не хапал больше, чем унести может.

Нюрка поняла насмешку, сердито засопела, отбросила в сторону последний гриб — смявшийся старый подберёзовик с мокреющей губкой, по которой уже ползали жёлтые черви, затинула мешок и поднялась.

— Гляди, Наська, — пробасила она, — доегозишься. Семьдесят лет бабе, а дурная, ровно девчонка.

— За мою дурь с меня и спросится, — ответила Настя и тоже поднялась.

Добрать опустевшую набирку было делом нескольких минут, и Настя двинулась к тропе. Уже при самом выходе ей снова повстречалась Хап-баба.

— Наська! — крикнула она издали. — Я там комара пришибла! На тропе лежит, бедненький, смотри не задави!

Вот шалая баба! — Настя в сердцах плюнула и пошла в сторону деревни. И лишь через несколько шагов поймала себя на том, что зорче обычного смотрит под ноги, словно и впрямь может среди стоптанного мха углядеть прибитого Нюркой комара.

На болотную ягоду год случился удачным, и хотя целыми толпами бежали с поезда городские, Насте они не были помехой. Пришлых поджимал обратный поезд: не поспеешь на «шанхай» — куда деваться с ягодой? Городские паслись по окраинам, лишь длинноногие мужики успевали дошагать к островам в середине мха, но времени им оставалось совсем немного, и, стоптав ягоду, мужики убегали пустые.

Настя же, натянув поверх сапог сшитые из пластиковых мешков чулки, захаживала в такие места, где другие старухи опасались появляться. Парни в высоких болотниках, конечно, портили ягоду и там, но всё стоптать не могли, так что меньше чем по ведру Настя со мха не притаскивала. Нюрка тоже не боялась мокрющих мест, и иногда Настя замечала посаженный на верхушку усохшей сосенки ком мха, а где-нибудь неподалёку и согнутую спину товарки. Подходить друг к другу на мху, выхватывать из-под рук ягоду было не принято, и Настя сворачивала в сторону.

Осень шла богатая. В холодной кладовке добирался второй мешок клюквы, в кухне над печкой množились вязки чёрных грибов. Двухведёрная кадушка была уже полна, и пожелтевшие лубянки доходили под толстым слоем смородинного листа. Со дня на день должна была приехать Леночка.

К концу сентября пошли заморозки, по утрам трава седела инеем. Грибы пропали, только городские ковыряли зеленухи и опят, которые Настя за тонконогость почитала поганками. Зато клюква размягчела и стала сладить, на неё слетелась вся птица, клики журавлей прорезали холодный утренний туман.

Настя с мешком за плечами возвращалась со мха. Издали она заметила, что верхушки яблонь в саду возле дома ходят ходуном. По тому, как открыто, по-хозяйски обтрясали яблони, Настя сразу поняла, что Леночка приехала.

Возле дома стояли сколоченные из брёвен тракторные санки. На краешке санок сидел зять Володя и сосредоточенно курил. Увидав Настю, он поднялся.

— Вот и хозяйка! — сказал он. — А я уж хотел уезжать, не повидавшись.

Леночка, разроняв собранные яблоки, бежала из сада:

— Бабуля! А я ключей не нашла!

— Ты ещё реже приезжай, так и вовсе позабудешь и где ключи лежат, и где дом стоит.

Дома Настя первым делом стала затапливать печь. Раз приехала Леночка, значит, на столе должна быть драчёна. В плите её как следует не изготвишь.

Володя вытащил и уложил на санки оба клюквенных мешка.

— Негусто, однако, — заметил он. — Знал бы, что тут столько, Саню с трактором подрыжать бы не стал.

— Бабушка, это что, всё?.. — страшным шёпотом спросила Леночка. — Тут только-только самим хватит! Я же тебе говорила, что в этом году за сданную клюкву сапоги итальянские дают.

— Ноги за сапогами не ходят, — сказала Настя. — Молода была, так зараз по полмешка приносила.

— Пять рублей ведь Сане отдал, — посетовал Володя. — Ему всё равно, на тракторе сколько везти.

— Яблок возьми, — сказала Настя.

— К бесу яблоки, — вдруг оживился Володя, — ты, баб Настя, лучше скажи: лук родился?

— Родился. Возьми, сколько там надо...

За молоком и яйцами для драчёны пришлось бежать к Нюрке. Сама Настя не справлялась уже с

коровой, а в этом году и кур не завела. Только поросёнка за пятьдесят рублей купила весной. Яичками, молоком и сметаной на скоромные дни приходилось одалживаться.

Леночка уныло ковырялась в сковородке. Уплывшие сапожки не давали ей покоя. Володька быстро, почти не жуя, глотал куски драчёны.

— Эх, — сказал он вдруг, — такая знатная закуска и всухую пропадает!

Настя промолчала.

— Ну ладно, не жидись, — настаивал Володька. — Я же знаю, у тебя есть.

— Ты, что ли, привёз? — хмуро спросила Настя.

Водка у неё действительно была. Целая ещё непотертая поллитра. Но стравить её Володьке Настя никак не могла. Пора уже навоз под будущую картошку в огород вывозить, это значит, идти к Ваньке-пастуху или к одноглазому Лёхе в Андреево. А теперь, после постановления, мужики за деньги стараться не будут. Ныне в деревне без водки никуда. Не Володька же будет таскать навоз. И Настя осталась сидеть, не пошла за припрятанной бутылкой.

Володя понял, что угощения не будет.

— Жадная у тебя бабка, Леноч, — сказал он, вылез из-за стола и исчез в сених.

Под окном затахтел Санькин трактор.

— Вы уже? — спросила Настя. — И не заночуете?

— Я останусь до завтра, — успокоила Леночка. — А Володя поедет. Ему с утра на халтуру надо.

Настя убралась с посудой, вышла в сени. Все двери — на улицу, в хлев, кладовку — были распахнуты. Леночка, стоя посреди кладовки, сосредоточенно запихивала в мешок заплетённые в косы вязки чеснока. Два мешка с луком уже стояли рядом с клюквой. Красный от натуги Володька, обхватив двумя руками кадушку с грибами, волок её к саям.

— Кадушку-то куда? — тихо ахнула Настя.

— Не бойсь, никуда твоя кадушка не денется, — отдуваясь, сказал Володя. — Сказал, что привезу обратно, значит, так и будет.

Настя больше не вмешивалась и не помогала. Она только стояла и смотрела.

Встала на сани кадушка, рядом поместились три ведра пареной брусники и перевязанный старой юбкой короб с набранными Леночкой яблоками.

— Ой, тяжело как! — сказала Леночка. — Ведь в поезд не сядешь.

— Ничего, мужики на станции пособят, — успокоил Володя.

Он уселся на соломе рядом с вещами, обняв их сколько мог, чтобы не попадали от толчков, и кивнул ожидающему в тракторе Сане. Трактор дёрнул, санки, оставляя в земле две глубокие борозды, потащились следом.

— Как он там справится, бедный? — сказала Леночка.

— Грибы сушёные забыли, — словно отвечая ей, проговорила Настя.

— Ничего, они не тяжёлые. Я завтра поеду — захвачу.

Настя обошла дом, аккуратно прикрывая распахнутые двери.

Володька уехал — ну и ладно. Теперь они вдвоём с Леночкой посумерничают. Загребущие всё-таки руки у парня. Надо же, дубовую кадушку уволок! И назад не привезёт. Поленится. Теперь грибы в ведра запасать придётся. Лубянок уж не найти, остаётся опять брать. Ну так что ж, другие берут и хвалят. Опёнок, хоть и малый гриб, но тоже спорый, кучами растёт. Только сегодня, возвращаясь со мха, Настя заметила здоровенный выворотень, весь жёлтый от молодых опят. Вот и пригодится находка, всё-таки зима будет с грибами.

Леночка, отправившаяся в обход дома, спустилась с чердака.

— Что я нашла!.. — сказала она. — Там наверху ещё мои куклы лежат. Я думала, их давно в печке пожгли. А они лежат.

— Пусть лежат, — сказала Настя. — Пригодятся.

— Ты у меня запасливая! — засмеялась Леночка. — Пойдём чай пить.

Ночью спалось плохо. Вроде бы вечер прошёл как надо, за чаем и разговорами, а спалось плохо. Мыши ли громче обычного шуршали за обоями, или слишком жарко было в дважды топленной избе, но уснула Настя далеко за полночь. И почти сразу проснулась оттого, что сквозь сон ей почудился тонкий, зудящий комариный писк. Хотя какие тут могут быть комары? Пропали комары давно.

Настя медленно провела ладонью по лицу и вздрогнула, почувствовав, что пальцы стали влажными и липкими. И так странно-знакомо было это ощущение, что Насте померещилось, будто она различает в сплошной тьме кровавые пятна на концах пальцев.

«Зачем раздавила-то?» вспомнился Нюркин голос.

«А чтобы не хапал больше, чем унести может...»

Настя поднялась с постели. Непонятная тоска холодными пальцами сжала грудь. Шумно сдвинув стул, Настя сделала в темноте три шага, опустилась на холодные плахи пола. Где-то впереди в красном углу висели иконы. Настя не часто вспоминала о них. По праздникам ходила в церковь в Погост, остальные дни обходилась так. Домашнее благословение не казалось святым, и когда, случалось, по одиночеству Настя беседовала с ликами, то в этих разговорах было не много почтительности. Егория Победоносца фамильярно звала судариком, Николу — старичком, Деву Марию — так и вовсе «девахой».

«Что, деваха, жалеешь своего парня-то? — спрашивала Настя, обтирая пыль. — Жалей».

И вот теперь, стоя на коленях перед невидимыми досками, Настя била поклоны, не зная, на что жаловаться, чего просить.

Леночка заворочалась под одеялом и, проснувшись, испуганно позвала:

— Бабуля, ты что?..

— Грех... — выдавила Настя.

— Да какой у тебя грех? — Леночка нашарила на столе коробок, зажгла спичку.

— Комара убила. Совсем, насмерть.

— Ты что, с ума рехнулась?!

Леночка прошлёпала босыми ногами к выключателю. Комнату залил яркий, чужой свет.

— Что ты, бабуля, опомнись, какой комар?

— Комар, — повторяла Настя. — Он ко мне по-хорошему, без трактора, а я его насмерть убила. Грех...

ЯЩЕРА

Последние сотни метров дались особенно тяжело, кочкарник шёл, как специально, неровный, выдёргивать ногу из хищно хлюпающего мха было всё труднее. А под конец у самого берега, как это обычно бывает, встретилась топкая полоса, и пришлось тащиться вдоль неё, выискивая упавшую берёзу. И как странно было почувствовать под ногами твёрдую землю, идти, удивляясь скорости и лёгкости ходьбы.

Впрочем, лёгкости хватило ненадолго. Крутой, словно искусственно насыпанный склон и высокая, никогда не кошенная трава останавливали не хуже болота. Пройдя лишь несколько метров, мужчины, не сговариваясь, опустили на землю, отставили туески,

на дне которых перекачивались шарики морошки, и освободились от рюкзаков, полных всё той же твёрдой ягоды. Георгий принялся с кряхтением стаскивать сапоги, Артём, знающий, сколько ещё предстоит идти по мокрому, благоразумно не стал разуваться.

Дети же повели себя совершенно по-разному. Андрюха, впервые попавший в подобную передрыгу и не нашедший никакой прелести в хождении по болоту, даже не вышел на материк, — красный и потный, уселся на валежине, зло отмахиваясь от наседавших слепней. Даша, ради которой, собственно, был сделан этот почти двухкилометровый крюк, сначала вертелась вокруг Андрея, уговаривая его скорее бежать на вершину, где земляника и откуда всё-всё видно, но Андрей и от неё отмахивался, словно от кусачей мухи. Поняв, что от Андрюшки толку не добьёшься, Даша ускочила на вершину одна. Вскоре сверху донёсся крик:

— Папа, гляди, где я!

Артём отыскал фигуру дочки среди ветвей и крикнул:

— Молодец!

— Смотри, куда забралась? — удивился Георгий. — Как бы не убилась...

— Не убьётся, — успокоил Артём. — У неё тут все деревья освоены. Тарзанит вовсю, совсем одичала.

Мимо с независимым видом прошёл Андрей. Земляника и неохватные сосны с толстыми, удобными для лазания сучьями соблазнили и его.

— Пошли и мы, — позвал Артём. — С вершины вид потрясающий.

— Чего смотреть-то? Болото, — сказал Георгий, но тоже поднялся.

Остров, к которому они так долго шли, представлял собой крутой холм, метров на двадцать взлетавший над окрестными мхами. Он плотно зарос

строевым лесом и от этого казался ещё выше. Было совершенно невозможно понять, как на ровном месте могла образоваться эта чудовищная по величине и к тому же совершенно правильной формы куча песка.

Тяжело дыша, мужчины выбрались на вершину.

— Да!.. — потрясённо протянул Георгий.

Одно дело — знать, что находишься в самом сердце мохового болота, рассуждать, что в длину в нём километров сорок, а в ширину чуть меньше десяти; другое дело — увидеть это своими глазами. Пейзаж, казалось бы примечательный лишь своим однообразием, в таких масштабах обретал значение вселенского символа. Всюду, куда различал взор, топорщили японски-изогнутые ветки, усаженные почернелыми старыми шишками, чахлые, в рост человека сосенки. Свободные от карликовых сосен мокрые речажины уходили вдаль длинными ярко-зелёными языками. Пятна высокого красного мха казались каплями охры, сорвавшимися с кисти титанического живописца, осмелившегося писать этот слишком большой даже для него простор. И без того далёкий лес отодвинулся ещё дальше, окунувшись в голубой туман горизонта. Лишь несколько островков вроде того, на котором они стояли, но поменьше, создавали необходимую каплю разнообразия.

— Страшно, — сказал Георгий, кивнув вниз. — Туда спустишься, и ты как на блюде у кого-то. Или ещё хуже — под микроскопом. Ты — инфузория, а оно сверху, огромное. Теперь понимаю, почему предки бога избрали.

— Лось бежит, — перебил Артём, показывая пальцем на серое пятно, плывущее среди засохших вершинок. — Ребяшня, лося видите?!

— Ура!.. — завопили с соседних деревьев.

Лось продолжал двигаться, не меняя хода, и вскоре скрылся за одним из островов.

— А ведь нам пора, — спохватился Артём. — Дома уже волнуются, что нас с детьми так долго нет.

Когда они спустились вниз и гуськом двинулись по вымешенной ногами ягодников моховой тропе, Артём произнёс, обращаясь сразу и к товарищу, и к обоим детям:

— Больше всего меня на мху поражает несоответствие огромного пространства и тщательности отделки детали. Видели, сколько здесь всего, а ведь любая нитка плауна ювелирно отделана, всякая сосенка в сад камней просится, на каждой кочке росянка ютится, пьяника, другая травка. Лягушата разные...

— И слепни, — вставил Андрюха.

— И слепни тоже, — согласился Артём. — Живут, чем-то кормятся, ведь не нами же, мы для них — так, заблудший деликатес. Только тут понимаешь по-настоящему, что природа не для людей, а сама по себе. Все эти лоси, кабаны — они здешние, а мы — гости...

— Мой Андрюшка, когда маленьким был, — вставил Георгий, — не верил, что звери действительно в лесу живут. Утверждал, что они только в сказках по лесу бегают, а взаправду живут в зоопарке.

— Подумаешь, — сказал Андрей. — Ты так и сейчас веришь в динозавров. Будто в Африке динозавры водятся.

— А что? — возразил сыну Георгий. — Запросто. Видал, какая здесь глухомань? А в Африке болота во сто крат больше здешних, а людей во сто раз меньше. К тому же дикари, необразованные. Нашли же в Южной Америке тапира, так почему не найти и динозавра?

— Ты ещё про целакантуса расскажи, — подначил учёный сын, — и про дракона с острова Комодо.

По всему было видно, что Андрюшка не раз слышал отцовские доводы и изрядно наскучил ими.

— Вот она — современная молодёжь, — нравоучительным голосом лицемера сказал Артём, — полагают, что всё в мире уже открыто и упрятано в зоопарк. А между тем вовсе не обязательно ездить за динозаврами в Африку. Или ты думаешь, наши места менее глухие? Или деревенские бабки сильно образованные? Вон, Дарья Артемьевна соврать не даст, они тут все вместо «маринованные грибы» говорят «эмалированные».

— Что-то ты не туда разогнался. — Георгий не мог спокойно наблюдать профанацию любимой идеи. — Для динозавров здесь слишком холодно, а старухи местные хоть и малограмотны, а в родных местах каждую травинку знают. Знахарки все подряд.

— Не говорил бы, чего не понимаешь, — снисходительно усмехнулся Артём. — Вот, определи, что это за трава?

— Дудка! — в один голос откликнулись Георгий с сыном, а Андрей добавил:

— Мы не бабки, можем и не знать.

— Вот и неправда! — закричала Даша, заворованно слушавшая отца и ожидавшая минуты, чтобы встрять и поразить присутствующих своими знаниями. — Это горичник болотный, у него стебли красные, а на горе большущие дудки — дягиль лекарственный, а у деревни в старом мочиле — вех ядовитый, а вдоль дороги — купырь лесной и тмин. А называются они зонтичные, потому что у них наверху зонтик, как у укропа. И морковка тоже зонтичная, и пастернак, только у них зонтики на другой год бывают!..

— Видите?.. — засмеялся Артём. — Дашка всё знает, а попробуй местных спроси — тот же ответ: дудка. Есть у нас в Замощье одна — Панька. Знахаркой слывёт, чуть не ведьмой. Я с ней говорил, так для неё и репей, и татарник, и даже лесной василёк — все на одно лицо, всему одно название —

колючий дед! А вы говорите: динозавры вымерли. Хотя здесь их действительно нет, — продолжил он, перейдя на задумчивые и даже печальные интонации, как говорил всегда, когда начинал импровизировать какой-нибудь, чаще всего бесцельный розыгрыш. — Прав Жора, холодно для них. Здесь царство земноводных: тритоны в каждой луже, лягушки так из-под ног и брызжут. И сохранились здесь древнейшие земноводные, а вовсе не рептилии.

— Величайшее открытие века — неведома лягушка! — проскандировал Андрюха.

Артём прикинул, что они уже незаметно прочвакали почти полпути до леса, и, вздохнув, сочувственно обратился к Георгию:

— Плоховато твой сын естественную историю знает. Объяснил бы ты ему, что был когда-то на Земле каменноугольный период, и жили тогда стегоцефалы — симпатичные такие зубастые лягушата, а вернее — тритончики, длиной до пяти метров...

— Правда? — восторженно переспросила Даша.

— Чего мне врать-то?

— И ты говоришь, они тут сохранились? — спросил Георгий.

Было непонятно, спрашивает ли он всерьёз или разгадал приятеля и подыгрывает ему.

— Пятиметровых теперь, конечно, не встречается, — отступился Артём, — а вот метр, даже полтора, это запросто. Местные их называют гадами, как змей. А иногда говорят: ящера. Ящерка — маленькая, так обычных ящериц кличут, а ящера — большая, это стегоцефал. Лежит такая тварь в мокрой траве, пасть распахнута — живой капкан, да и только. Его не заметишь, пока прямо на хвост не наступишь.

— И тогда он тебя слопаёт.

Артём не разобрал, кто сказал это, но среагировал мгновенно:

— Нет, конечно. Стегоцефалы добычу целиком глотают, так что человека ему не одолеть, разве что Дашку. Они лягушек едят, зайца могут схватить зазевавшегося, куропатку. Ну, ещё падаль едят, дрянь всякую.

— Чего тогда его бояться? Пойти да поймать... — Голос Андрюхи звучал неуверенно, — боясь, что его сейчас поднимут на смех, он оставлял себе путь к отступлению, но серьёзный вид взрослых и правдоподобные детали начинали убеждать.

— Ты попробуй. Во-первых, стегоцефал зверь редкий, можно здесь всю жизнь прожить и ни одного ни увидеть. На открытый мох он не выползает, в сухом лесу не встречается, прячется в кустах у речажин, в мокрых завалах. Ты там без топора шагу не сделаешь, мимо пойдём — покажу. К тому же стегоцефалов ловить не так уж безопасно. Это тупая тварь, хватает всё, что движется. Стегоцефал — значит плоскоголовый. Здоровая зверюга, а ума ни на грош. Я с ними дважды встречался, и охоты их ловить эти встречи мне не прибавили. Первый раз я просто струсил и удрал. А второй — и того хуже. Я его не заметил, так он мне в сапог впился. Приличный экземпляр — сантиметров семьдесят. Сапог прокусил, я еле ногу успел вытащить. Потом полчаса мучился, пока сапог отнял.

— Зачем отнимать, он всё равно уже прокушенный, — скорее для порядка придрался убеждённый рассказом Андрей.

— Что же мне потом, в одном сапоге тащиться? Но главное не это. Желудок у стегоцефала, конечно, лужёный, что угодно переварит, но резинового сапога и ему не осилить. Заглотал бы сапог, а потом издох. Жалко.

— Я бы, — сказал Андрей, — схватил его, когда у него зубы в резине увязли, и связал.

— Чем? Штанами? — вмешался Георгий. — А потом тащил бы его на руках. Сколько там было вёрст?

— Пять.

— Вот именно. Тоже удовольствие хорошее.

— Я бы всё равно его поймал, — не сдавался Андрюха, но тут же, спохватившись, невпопад брякнул: — Только никаких стегоцефалов нет, это вы выдумываете.

— Есть! — сказала Даша. — Я сама видела. Вот такой, — она развела руки. — Только я думала, это крокодил. Он в кустах за деревней у ям, где раньше лён мочили, прячется.

«Вот и союзник появился», — подумал Артём, а вслух сказал:

— Зачем его ловить, пусть себе живёт. Сами подумайте, мы в Европе. До Питера триста километров, до Москвы немногим больше. Если там узнают о доисторических чудовищах, сюда миллион самодельных натуралистов нагрянет. Каждый первым делом захочет чучело набить. Так они за месяц не только стегоцефалов, но и простых лягушек повыведут.

Беседуя таким образом, путешественники добрались к следующему острову, низкому и болотистому, где, словно подтверждая слова Артёма, на каждом метре тропки нежились в лучах низкого солнца десятки разнокалиберных лягушек. Затем тропа по широкой дуге огибала повалившийся горелый лес. Покрытые мохом деревья лежали внахлёст в несколько ярусов. Мох и мелкая травка нивелировали местность, путь казался довольно ровным, так что Георгий неосмотрительно предложил пройти напрямиком.

— Давайте, — согласился Артём, но сам остался на тропе.

Андрюха, балансируя на стволах, углубился в завал метров на пятьдесят, но потом сорвался и по

пояс провалился в выгоревшую яму, по счастью сухую.

— Хватит, — испугался Георгий. — Ноги переломаем.

— Скажи лучше — стегоцефал утащит, — добавил Андрей.

Они сняли Дашу, качавшуюся, как на качелях, на конце елового хлыста, и вернулись на тропу. Дорога, обходя гиблое место, вывела их к лесу. В лесу уже начинало заметно темнеть, так что разговор сам собой прекратился. Лишь когда они вышли в поле и вдали в призрачном свечении белой ночи обозначились шиферные прямоугольники деревенских крыш, Даша спросила:

— Папа, а если стегоцефала очень-очень хорошо кормить, он пять метров вырастет?

— Вряд ли, — ответил Артём, — уцелела только мелкая разновидность. Полтора метра — предел. А что, тебе мало?

— Мало, — вздохнула Даша. — Я хочу пять.

— Да нет никаких стегоцефалов! — жалобно выкрикнул Андрюшка. — Дядя Артём, ведь это вы смётесь!

— Я смеюсь? — удивился Артём. — Ничуть. Я серьёзен, как никогда. Я даже ни разу не улыбнулся. А тебе, друг мой, не мешало бы осознать, что природа, равно как и наука, умеет много гитик. Скажи, где пролегает северная граница распространения цикады?

— Я почём знаю? — буркнул Андрюшка.

— Так я подскажу. На широте Москвы. Вернёшься в город — проверь в энциклопедии. А сейчас дойдём до поворота — и сам услышишь.

Они прошли ещё немного, Артём остановился, повелительно поднял ладонь. И словно в ответ на этот знак из травы грянул такой оглушительно-переливча-

тый серебряный звонок, что он сразу заглушил и самозабвенное стрекотание кузнечиков, и скучную песню коростеля, сходную с треском заводимых часов.

— Цикада! — восторженно выдохнул Георгий. — Ты волшебник, Артём. Где ты её раскопал?

— Здешняя. Второй год хожу слушать. Видишь, живёт. А наука говорит, что их тут нет.

В это время, перекрывая его слова и разливы цикады, из ближайших кустов раздался резкий, скрежещущий, какой-то отчаянный звук.

— Что это? — вздрогнув, разом спросили Андрюшка и его отец.

— Лягушечка кричит, — простодушно объяснила Даша.

— Чего она так? — Андрюшка, словно маленький, прижимался к отцу.

— Наверно, её змейка кушает.

— А не стегоцефал?

— Не... Стегоцефал сразу глотает — ам! — и готово, а змея потихоньку ест, вот лягушечка и кричит.

— Во где простота нравов! — пробормотал Георгий. — С вами поживёшь, в любую ящеру поверишь.

— Артём!.. Жора!.. — донёсся со стороны деревни крик.

— Нас кличут, — сказал Артём, повернулся в сторону деревни, сложил ладони рупором и заорал:

— Идём!..

На следующее утро Георгий с Андрюшкой уезжали в город. Дашу будить не стали, решили, пусть отоспится после вчерашнего похода. Провожать гостей пошёл один Артём. Через три часа, возвращаясь со станции, он встретил свою дочь. Даша топала по высушенной жарким солнцем дороге в полном обмундировании: в брюках, куртке и резиновых сапожках.

По дороге за ней волочился привязанный верёвкой и перемазанный в пыли дохлый кот. Всё это очень походило на известную сцену из Марка Твена, но никак не могло обрадовать Артёма, заставшего дочку за таким неожиданным занятием.

— Что это? — сурово спросил он.

— Это Тишка, — объяснила Даша, — баб-Танин кот. Его Туман задрал, собака большущая из соседней деревни.

— Я понимаю, что Тишка, — сказал Артём, — но для чего ты с ним таскаешься? Неужели лучше дела не нашла?

— Это для стегоцефала. Я решила его кормить, может, всё-таки вырастет пять метров. Я уже ворону отнесла дохлую, а теперь — Тишку.

— Ты знаешь, — осторожно сказал Артём, — я думаю, что стегоцефала здесь всё-таки нет. Во всяком случае, кормить его дохлыми воронами не стоит. Да и где он здесь будет прятаться, деревня рядом.

— Я же говорила, в кустах на льняных мочилах.

Артём преотлично знал это место. Как-то, желая спрямить путь из лесу, он попытался пройти через не слишком широкую полосу кустов. Выбрался назад через полчаса, изодранный ивняком и ракитой, мокрый до нитки, с болотными сапогами, полными воды, и с тех пор зарёкся ходить через мочила. Когда-то там действительно мочили лён, но за полста лет всё заросло непролазным кустом, а затянутые илом мочильные ямы превратились в настоящие западни. Пускать туда дочку одну было просто опасно. А запрещать... Какой толк запрещать, всё равно она ходит где вздумается.

— Знаешь что, — сказал он, — пошли вместе, покажешь мне своего стегоцефала.

— Тебе нельзя, — не согласилась Даша. — Там мокро, а ты без сапог. И вдруг он за ногу цапнет?

— Я сбегаю за сапогами. Быстро. Только ты никуда не уходи и Тишку не трогай. Ладно?

Вскоре они уже шли рядом по дороге, а Тишка пылил сзади грязным боком.

— Бросила бы ты его, — безнадежно попросил Артём.

— Это для Стеши, — отрезала Дашка и добавила другим, просящим голосом: — Можно, я стегоцефала буду Стешей звать?

— Зови как хочешь, — согласился Артём, кляня себя за дурацкую выдумку. Дёрнул же чёрт за язык! Захотелось над Андрюшкой подшутить, а получилось, что подшутил над собой. И девчонке голову задурил.

— Как ты думаешь, Стеша уже съел ворону?

— Вряд ли. Я полагаю, он испугался тебя и ушёл в другое место.

— Не, я тихонечко ходила. А что он зимой делает?

— Забьётся под валежник и спит, как все лягушки.

Под эти разговоры они дошли до мочил. Даша, хватаясь руками за ветки, юркнула внутрь. Артём с Тишей на верёвочке ломился следом.

— Здесь!.. — прошептала Даша, оборачиваясь. — Гляди, ворону съел.

На вытоптанном пятачке земли валялось несколько сломанных серых перьев.

«Лисица», — хотел сказать Артём, но в этот момент сбоку взметнулась трава, и серо-зелёная тень с жирным чавканьем сомкнула широкую пасть на его сапоге.

Сдавленно вскрикнув, Артём дёрнулся и потащил за собой из кустов всю тварь, в которой и впрямь было больше метра длины. Тварь извивалась, хлопая по грязи коротким треугольным хвостом, упиралась вывернутыми по бокам немощными лапками и постепенно всё глубже затягивала в глотку обутую в сапог ногу.

Всё было в точности так, как придумал он в разудалую минуту весёлого трёпа. Только сейчас это происходило на самом деле и потому было страшно.

— Ногу выдёргивай! — визжала сзади Дашка.

Артём рванулся ещё раз и, чувствуя, как раздрают кожу пронзившие литую резину зубы, выдернул ногу из голенища.

Плоскоголовый, закрыв глаза и судорожно давясь, жрал сапог.

Артём схватил Дашу в охапку и, прихрамывая на босую ногу, ринулся прочь. Сейчас он ничуть не удивился бы, если бы разом ожили все сказки, что он рассказывал когда-то дочери.

— Скорей, скорей! — бормотал он, продираясь сквозь кусты, а Даша извивалась у него в руках и кричала:

— Папа, отними сапог! Он его не переварит, ты же сам говорил!

СВЕЧКА

Боль сначала щекотнула под рёбрами справа и тут же ввинтилась в тело, разлилась по животу, стрельнула в спину. У Паньки ещё хватило силы повесить на гвоздь ковшик, сделать три шага в комнату и боком повалиться на кровать. Тело больше не слушалось, боль вползла в него, словно ядовитый гад, и теперь грызла и плевала обжигающим ядом. Панька мычала сквозь сжатые зубы, судорожно дёргала головой. Боль не позволяла даже кричать, не оставляла никакой надежды, что когда-нибудь она кончится.

Но всё же боль отступила. Не исчезла, только утихомирилась, забралась обратно под рёбра, затаилась там, давая передышку. И тогда Паньке стало страшно. Живо вспомнилось, что так же каталась по

расхристанной постели и выла, сжав зубы, столетняя бабка Тоня. А Панька, в ту пору совсем молодая, едва двадцать стукнуло, суежилась вокруг, предлагая лукового отвара или тёртой свёклы, надеясь, что ослабит старуху и непонятная хворь уйдёт.

Это теперь боль стала своей, знакомой, а тогда, в сорок шестом году, Паня и понятия такого не имела, чтобы хворать. Хотя чужих болячек навидалась довольно. В сорок первом партизаны забрали её на острова, пожалели оставлять пацаночку на глазах у фашистов. В партизанском госпитале на Ушкуйной горе Пани пришлось всяко, но оттого ли, что сама никогда не болела, или ещё почему, привыкнуть к чужой боли не могла.

Тогда же столкнулась Панька и с бабушкой Тоней. Древняя старуха, хорошо помнившая ещё барскую крепость, конечно, на острова не бежала, оставалась в своём доме в Рубшино, даже фотографии родных со стен не сняла, хотя многие изображённые там были военными и с орденами. По ночам часто раздавался стук в бабушкино окно, и старуха, изругав гонца, что из лесу в деревню за травой бежит, передавала вязки трав, вместе с наказом «вашей девке», как с этой травой поступать. Старухиных проклятий не боялись, напротив, опасались похвалы. Говорили про бабушку Тоню, что у неё дурной глаз, и не без причины говорили. Замечали люди за ней такое свойство. Но и помочь бабка Тоня умела лучше других, и в болезни, и просто в беде.

Война бабушку Тоню не тронула, а вот в голодную сорок шестую весну ей заплохело. Фельдшера в колхозе не было, люди по привычке послали за партизанской сестрой, хотя Паня ничем не умела помочь умирающей, но никак не могшей преставиться старухе.

Вечером бабке Тоне стало получше, она открыла глаза и позвала неожиданно ясным голосом:

— Подь-ка сюда, девонька...

Паня подошла, бабка Тоня глянула на неё, спросила:

— Ты, что ли, Панька замошинская?

— Я.

— Ну и как, помогали мои травки?

— Помогали.

— А теперь, девонька, ты мне помоги. Мне уже никакая польза не нужна, мне помереть осталось.

— Ну что вы, бабушка...

— Ты не бойся, я не отравы прошу. Свечку за меня поставь.

— Бабушка, я же комсомолка, — растерялась Паня, — нам в бога верить не положено.

— А ты не верь. Ты в церкву к заутрени приди, свечку поставь богородице скорбящей и скажи: «За спасение души грешницы Антонины». Обещаешь?

— Обещаю, баба Тоня.

— А я тебе всё передам. Слыхала небось, что про меня говорят? Молчишь. Значит, слыхала. И не испугалась, пришла. Это хорошо. Я тебе всё отдам, и доброе, и худое, а ты потом дальше передашь. Без этого помирать тяжко. Ты только смотри, завтра свечку не забудь. А власть когда твоя будет, ты про неё лучше не думай, для себя ничего не хоти, так легче... И до последнего, как я, силу не держи, отдай раньше, на покое поживи...

Обещание Панька исполнила, сходила в Погост и поставила свечку. И хотя из Замошья вышла ещё затемно, а обратно всю дорогу чуть не бежала, но к началу работы всё же не поспела.

В колхозе после войны не оставалось ни тракторов, ни лошадей, пахали на себе, а землю под картошку поднимали лопатой. Норма была две сотки в день. Отмерял урок Колька — бригадир, парень чуть постарше Пани. В сорок первом он успел уйти от

немцев, жил в эвакуации. В сорок четвёртом окончил школу младших командиров и очутился на фронте как раз в родных псковских краях. Только войны на долю младшего лейтенанта Покровского досталось ровно три дня, и теперь он ходил, дёргая контуженной головой и пряча от посторонних взглядов культю покалеченной руки с нелепо торчащим, случайно уцелевшим мизинцем. Верно, не мог Колька простить миру своей инвалидности, но только был он вечно зол, взвинчен и с людьми говорил не по-людски, а словно в атаку поднимал.

— Явилась не запылилась!.. — зловеще пропел Колька, увидав Паню. — Это где же ты гуляла?

— Бабка Тоня рубшинская помирает, — ответила Паня, — свечку просила поставить. Я в Погост бегала.

— Ди-ивно! — Колькин голос высох, стал ломким, как прошлогодняя солома.. — Посевная идёт, а она по церквям гуляет! Комсомолка... Ладно, иди на делянку, разбираться с тобой будем потом...

И, уже уходя, крикнул:

— А бабка твоя померла! Только что померла, рубшинские сказали.

«Небось ещё и свечка не догорела», — подумала Панька.

Панино дело Колька вынес на комсомольское собрание. Ячейка в колхозе была невелика, собрались быстро. Колька в две минуты доложил Панино представление и добавил:

— Обсуждать тут нечего, предлагаю — гнать её из комсомола, — и первый поднял руку. Зорко обвёл взглядом собравшихся, и руки остальных тоже неуверенно поползли вверх.

Только андреевский Лёха, Панин одногодок, продолжал сидеть, разглядывая сцепленные на коленях руки. Так же как и Колька, был Лёха бит войной, но не на фронте, а здесь же, на мху, в партизанах.

Осколочный шрам косо пересекал его лицо, невидящий глаз чуть поблескивал из-под опущенного века, поэтому казалось, что Лёха подмигивает кому-то.

— Ты почему не голосуешь? — Колькин голос поднялся на зловещую надрывную ноту.

— Я голосую, — сказал Лёха. — Я против.

— Как это против?

— А так. Ты Паньку без году неделя знаешь, а я с ней войну на островах мыкал. Панька в отряде за сестру милосердия была. Сколько народу они с бабкой Тоней из могилы вытащили. — Лёха провёл пальцами по шраму на лбу и продолжал, уставившись мёртвым, подмигивающим глазом в переносицу бригадиру: — И сейчас она и в церковь ходила, и на поле опоздала не из-за себя, а потому что о покойнице Тоне старалась. Ей учиться надо на фельдшера, а может, и на доктора, а ты из комсомола гнать! Кто ж её возьмёт после такого?

— Ясно... — протянул Колька. — У вас тут порука. Спелись. Но у меня это не пройдёт, здесь я партизанщины не допущу...

Паня увидела, как, багровея, полез из-за стола Лёха, и упредила его, сказала зло и хлётко:

— Дала бы тебе по морде за такие слова, да рука на калеку не поднимается. А ты к тому же и воин знатный. Так что живи, коли получится.

Колька хлебнул раскрытым ртом воздуха, сел, потёр лоб целой рукой.

— Хорошо, — сказал он дребезжащим голосом. — Позиции определились. Большинство за исключение. Переходим ко второму вопросу. А посторонних, — остро улыбнулся он, — попрошу очистить помещение...

Панька поднялась, боком вышла из-за стола. Клеёчатая дверь закрылась за её спиной. Последнее,

что расслышала Панька, были слова бригадира, обращённые к Лёхе:

— А ты будешь объяснять свой поступок на бюро.

И почему-то именно эта угроза, а не собственная беда, напугала её больше всего.

Ночь Паня промаялась без толку, перебирая горькие мысли, утром, хочешь не хочешь, пошла в контору. Никуда от Кольки не деться, и тут он власть, и там. Давно ли, кажется, в одну школу бегали, а теперь такой душегуб вышел...

За холмом на рубшинских полях что-то гулко треснуло, звук прокатился над головой, ударился о кромку леса, вернулся, слабея. Знакомый был звук, нехороший.

«Немецкая мина», — на слух определила Паня и, похолодев, бегом кинулась к конторе, зная, что там и будут её искать, если понадобится помощь. Через несколько минут к конторе принесли Кольку. Бригадиру вошло в голову лишний раз пройти полями, куда с утра хотел отряжать баб. Там и достала младшего лейтенанта Покровского ушедшая война. Взрывом оторвало ступню, осколки искромсали другую ногу. Колька потерял много крови и был без сознания.

Паня наложила жгут, обработала осколочные раны. На рану — полотно, сверху — партизанскую корпию, чистый болотный мох, свежий, зелёный. Этот мох берёг партизан, ложась вязким ковром под ноги карателей, чтобы гитлеровцы не сумели пройти те сотни метров, что отделяли лес от партизанских островов. Мох растил клюкву, спасая от цинги, мох веками процеживал воду, обеззараживал, очищая от всего скверного, недаром нет воды вкуснее, чем на верховом болоте. Мох и лечил: сфагнум на повязке останавливал воспаление, предупреждая гангрену; немало душ было сохранено скромным хозяином псковских болотин.

Всё, что надо, Панька сделала на совесть, лишь одно было не так: руки оставались холодными. Не жалко было бригадира.

С пахоты сняли единственного колхозного коня, белого жеребца по кличке Фулиган. Раненого положили на телегу, Паня уселась рядом, Мишка Баламут взялся за вожжи. Ехать предстояло в Доншину, в дорожную больницу. Ближе доктора не было.

По дороге Колька пришёл в себя. Сначала лежал, верно ничего не понимая, лишь постанывал от толчков. Потом взгляд стал осмысленным, Колька слабо позвал:

— Это ты, Панька?

— Я, — ответила Паня. — Вишь, опять не на работе, и Фулиган тоже гуляет.

Колька закрыл глаза и сказал словно про себя:

— Вот оно как... Меня мать упреждала, чтоб с тобой не связывался, мол, тебе бабка Тоня перед смертью силу передала, да я не послушал. Не поверил. А ты и впрямь сглазила... Ничего, я ещё вернусь. Такие, как я, не умирают.

— Лежи уж, — сказала Панька.

Остаток пути ехали молча, и Панька думала: неужто и впрямь получила от бабки Тони этакий подарок? Ничего не придумала, но решила: пусть будет, что будет. Коли нет ничего, так и жалеть не о чем, а есть... она же плохого никому не хочет, и Кольку вон перевязала как следует, хоть он и её сгубил, и Лёхе грозился. Всё справила как надо, и коли не выживет бригадир, так это не её вина. Нечего было Лёшку трогать.

Кольку довели и сдали в железнодорожную больницу. Он уже снова был без памяти и умер в тот же день, так и не придя больше в сознание.

С того времени по ближним деревням, сначала лишь среди древних старух, пополз слухок, что у

Паньки замошинской объявился дурной глаз. Сама Панька ничего о слухе не знала и, даже распрощавшись с мечтой об учёбе, надежды на хорошее не оставляла.

После собрания Паня стала по-особому смотреть на Лёху. Вроде невидный парень, ростом не вышел, и калека к тому ж, а запал в сердце. Не отпугивали ни малый рост, ни увечье, то ли оттого, что выбирать было некого в оскудевших парнями деревнях, то ли потому, что слишком хорошо Паня знала, как этот шрам лёг на Лёхино лицо.

В августе сорок первого партизанский отряд первый раз вышел с островов. Многого ещё не умели, но всё же забрали подготовленный к вывозу хлеб, порвали телеграфную связь и ушли обратно. В ответ немцы прислали карателей: пехоту и два танка. Техника дальше Замошья не пошла, сунулись было, да один танк утопили. Пехота выбралась к самому моху и здесь остановилась. Во мху человек ползёт, как муха в варенье, не то движется, не то на месте копошится. А тем временем с крутых высоток, прикрывающих партизанский Ушкуйный остров, можно бить наступающих не торопясь, словно мишени на стрельбище. Так и простояли немцы целых три недели до самых осенних дождей в двустах метрах от партизанского пикета. Притащили на руках через мокрый лес три миномёта и закидывали минами высотки. До самых Ушкуйников было не дострелить. А когда фашисты отошли к деревням, на ближнем пикете оставался живым один шестнадцатилетний Лёха. Он и стал первым и потому особо запомнившимся Паниным пациентом.

Теперь, через пять лет, все Панины мысли были о нём. Панька ходила по полю, пробивала тырчком лунки, споро закладывала в них по-лысенковски нарезанные дольки картошки, а сама нет-нет, но косила

глазом — не идёт ли Лёшка, хотя отлично знала, что он тоже на работах. А Лёха то ли не видел, то ли не хотел замечать новое Панькино горе. Встретит — здороваётся по-хорошему, с улыбкой, а повернуть так, чтобы чаще видаться, — этого нет. Панька в Замошье, Лёха в Андреево, дороги две версты, а они словно в разных районах живут. Как ни зайдёшь в свободную минуту — Лёха в Погосте.

Потом нашлись услужливые люди, порадовали — бегают Лёха в Погост к Любке Мироновой. Паня сперва не поняла, что за Любка в Погосте объявилась? Потом вспомнила: есть у Мироновых дочка, совсем девчонка, на пять, что ли, лет младше самой Паньки. И Любку припомнила — бледного с недокорма заморыша военной поры. Вспомнила и не поверила сплетне. Однако, выбрав вечер (сенокос уже кончился, а рожь ещё не выколосилась), пошла в Погост, в клуб. Сбежала оттуда через час, глотая обидные слёзы. Всё оказалось правдой. Дистрофик Любка умудрилась неизвестно как вытянуться и расцвести. Не один Лёха положил глаз на тонконогую, стройную девушку с огромными мерцающими глазищами.

Панька, пока торопилась к родному Замошью, вволю наплакалась, сравнивая себя с Любкой. Конечно, Мироновы приезжие, таких здесь не найти. Свои ростом невелики, а в кости широкие, приспособлены к работе, а не к радости. Панька, изворачиваясь, оглядела свою коренастую фигуру и вынесла окончательный приговор: «Вислозадая! И глаз к тому же худой... Эх, да будь у неё и впрямь худой глаз, рази ж ходила бы сопливка Любка королевной? Да Лёшка на неё и смотреть бы тогда не захотел!...» Панька размазала ладонью по щеке последнюю слезу и прибавила шаг.

Подошла осень. Убрали хлеб, повыдергали лён. Старики отпраздновали Покров. Со временем стало

свободно. На праздники Панька никуда не ходила, даже Седьмое ноября просидела одна в избе и потому не знала, как скоро и беспощадно сбылись её пожелания.

В красные числа приехал на побывку с флота Саня Ковасеров. Пришёл в клуб в морской форме, с тремя боевыми медалями, и стало ясно, что соперников ему в сельсовете нет. Вот только пожил он в родном доме недолго, уехал на службу, оставив по себе громкую память и бросив забрюхатевшую Любку.

И надо же, что со своей бедой Любка прибежала в Замошье к Пανε. Плакала, валялась в ногах:

— Панечка, ты всё можешь, сделай что-нибудь!.. Ведь стыдобы-то скоко!

— Оставь, — оборвала Панька. — Ты хоть понимаешь, что просишь? Я не повитуха и не знахарка. Дитё выводить не умею и не стану. В Доншину иди, в больницу.

— Не станут они делать, запрещено им. Только сраму наберусь. Панечка, что же мне, в пятнадцать лет с ребёнком? Я лучше удавлюсь...

— Перетерпишь, — уверенно сказала Панька. — А ребёнка, может, ещё и не будет.

Сказала сухо, без всякой жалости, выплакала давно всю жалость. Сказала, словно заказывала у судьбы, и угадала в точку. Вдоволь находилась Любка с пузом на глазах у всего колхоза, но не доносила, выкинула прежде срока. И с тех пор скурвилась, стала общей сахарницей, доступной любому, и разве что под одним Лёхой не лежала. Только Паньке это радости не прибавило. Не искать же утешения, что Лёхина жизнь тоже не сложилась. От Любки отвернулся, но и к Паньке не склонился. Так и жил при матери, словно пацан.

Панькина слава между тем росла. Малец ли где гадом укушен, или корова расщепит копыто, — всюду

Панькин злой глаз виноват. Стали Паньку обходить стороной. Кто и не верит, а всё бережёного бог бережёт, ноги не купленные, можно и крюка дать, обойти лихо подальше. Сначала Панька смеялась, а после взывала. На людях живёт, а как в лесу. Особенно худо стало, когда у соседей заболела дочка Маша. Долго лежала по больницам, в самом Пскове лежала, да ничего не вылежала, вернулась домой хромоногой. Врачи сказали, что болезнь не лечится, хорошо ещё, что не всю девчонку сковало, а то бы провела жизнь в инвалидской коляске. Но свои знали: не полиомиелит виноват, а Панькин сглаз.

Первым чувством, когда до Паньки доползли эти разговоры, была обида, вторым — страх. Ведь смотрела, завидуя, на счастливую Алёну — Машину мать? Смотрела. Так вдруг и впрямь завистью изурочила девочку? И не хотела, а сделала. Панька стала чураться людей, ходила опустив глаза, в бригаде старалась получить отдельную работу, чтобы ни с кем не встречаться. Чтобы не напакостить ненароком, пыталась не думать ни о ком, но всё равно думала, только мысли лёгкие неприметно сменились обидой на всех за свою пропащую жизнь.

А жизнь, как её ни суди, продолжалась. Вышло послабление колхозам, довелось людям вздохнуть по-свободнее. Тётка Феша в красный угол портрет Маленкова повесила, среди икон, за то, что снял непомерную тяготу. Потом подошла весна пятьдесят четвёртого, и начавшие оживать деревни забурили, переполнившись через край новостями. Вроде и знакомое, но не бывшее прежде на слуху слово «целина» теперь не сходило с языка. Народ мигом понял: целина — это свобода, паспорт на руках, высвобождение из колхозной крепости. Чуть не вся бездетная молодёжь засобиралась в Казахстан, и никто за общим шумом не видел, что родным сёлам грозит безлюдье.

Панька никуда ехать не хотела. Притерпелась уже, притёрлась к своему месту. Но уезжавших одобряла: верно, нечего тут преть. Одобряла до той поры, пока не узнала, что Лёха тоже написал заявление в райком. Панька ничем не выдала себя, но в груди всё разом перевернуло. Казалось — тридцать лет на носу, не только другие, но и сама себя давно записала в бобылки — ан нет! Жила, значит, в душе какая-то надежда. На людях Панька крепилась, лишь оставшись одна, шептала побелевшими губами:

— Милый, родненький, как же я без тебя? Не уезжай!

И Лёшка не уехал.

К тому времени он уже работал на гусеничном тракторе, и вот во время пахоты между траками попал кусок старой с палец толщиной проволоки. Услышав резкий скрежет, Лёха высунулся из кабины поглядеть. Подгадал он с этим в самый раз — ржавый крюк зацепил за голенище кирзовых сапог и сдёрнул тракториста на землю. Освободить ногу Лёха не успел, гусеница вдавила её в глину, только серо-розовая пена выступила по краям.

Паньку к раненому никто не звал, в Андреево давно был фельдшерский пункт. Но она сама почуяла беду, прибежала. Опоздала совсем немного — Лёху уже увезли. Не дрогнув лицом, Панька вернулась в Замошье. Затворила избу на крюк и повалилась на пол. Билась, молча выплакивая последние в жизни слёзы. Твёрдо знала: она виновата во всём, и никто больше. Жутко вспомнился предсмертный баб-Тонин шёпот: «Для себя ничего не хоти, так легче...» Да как жить-то, не хотя?!

Ногу Лёхе не отняли, но и здоровья не вернули. Никуда он, конечно, не поехал, ковылял по родному Андрееву, припадая набок, перед непогодой прятал изломанную ногу в валенок. Работать продолжал на

тракторе, на том же самом. Не держал зла на трактор и вообще ни на кого не держал. Словно и не менялось в его жизни ничегошеньки.

И в Панькином бытѣ ничего не изменилось. Так и куковала одна. Работала в совхозе, колхоз к концу пятидесятых разорился, и его переозвали совхозом. Сначала трудилась на ферме, выращивала ягнят, но это оказалось совхозу невыгодно, да и ягнята у неё начали болеть, тогда перешла на лён. Там частенько приходилось видеть Лёху, хоть это уже было ни к чему. Сломалось что-то в сердце, Лёха стал чужим. Хромает неподалёку невидный мужичонка, слепо подмигивает вышибленным глазом, — и пусть его.

Теперь уж Паньки не чурались, народа в деревне осталось совсем ничего, попробуй повыбирай, сам одинёшенек останешься, тут любая беседа дорога. А от Паньки нос воротить — так и вовсе неумно. Нюрка, жившая через четыре дома, попыталась было, да раскаялась. Нюрка была молодой, ровесница беспутной Любке, но характерной. Даже среди коренастых замосинских баб Нюрка выделялась особю. Ещё в девчонках её дразнили медведицей — за силу, ширину и трубный голос. А как вышла Нюрка замуж, отхватив заморыша Ваньку, и зажила своим домом, так открылось в ней стремление грести к себе, от которого родилось с годами едкое прозвище Хап-баба. И не то чтобы Хап-баба как-то особю не любила Паньку или обидела чем, а просто не замечала, свои заботы довлели. Паньку тоже не обида взяла, а больше любопытство: что станет? Подошла к Нюрке, волочившей со мха двухведёрную торбу ягоды, погладила по рукаву, ласково сказала:

— Ой, Нюша, всё ты в делах. И наредни бегала, и седни бежишь. Отдохнула бы...

— Некогда, — отрубил Нюрка, — зимой наотдыхаюсь, — стряхнула Панину руку и загрохотала сапогами к дому.

Назавтра Нюрка на работу не вышла, и на второй день тоже. А когда вечером Панька, возвращаясь с вязки дресты, проходила деревней, её остановил громкий стук в стекло. Нюрка махала рукой из-за рам, приглашая в дом. Пыталась выйти в сени встречать, да не смогла, страшный прострел скрутил поясницу и не давал даже встать по малой нужде.

— И что за наказание такое? — гундосила Нюрка. — Лежу, как гвоздём приколоченная, ничо не могу. Корова не прибрана, птица беспризорная. А ещё бычок у нас подрастает. Его сейчас не накормишь — в декабре сдавать нечего будет. И картошку копать пора подходит. Ваня один не справится.

— Прежде справлялся, — сказала Панька.

— Прежде он рядом пас, забегать мог, а сейчас вон куда гоняет, аж за линию.

— Ну не убивайся, — успокоила Панька. — Выздоровеешь. А другой раз, смотри, не только о работе думай, но и о спине. Своя, чать.

И верно, на следующий день Нюрка уже ковыляла по двору, а через неделю как ни в чём не бывало копала картошку и таскала её домой, спокойно вскидывая на хребтину трёхпудовые мешки. Но с Панькой стала отменно вежлива, а однажды вдруг появилась у Паниной избы с решетом.

— Я те гостинца принесла! — сообщила она. — Яичек вот, три пятка. У тебя своих-то курей нет...

У Паньки и впрямь не было ни птицы, ни скотины. Вроде бы с детства была приучена, всё умела, а не приживалась у неё никакая животино, тоже, видать, боялась сглаза. Панька сперва удивилась, чуть не

обиделась подарку, принялась было отнекиваться, а потом вдруг согласилась и взяла. Что ещё делать, раз своего нет? А Нюрке будет урок.

Потихоньку и другие деревенские стали покупать спокойствие мелкими подношениями: яичками, баночкой мёда, набиркой огурцов. Панька брала, сначала стесняясь, а постепенно привыкла и удивлялась, ежели кто из соседей медлил с подарком.

Во всей деревне свободны от оброка были двое — две Маши: хромоножка, которая выросла и тихо начала увядать в соседнем доме, и бабка Маша Антонова, жившая на дальнем конце. Перед хромоножкой Панька чувствовала себя виноватой и не то что поборы брать — сама старалась помочь чем можно. Маша к тому времени уже осиротела, жила одна, в совхозе по инвалидности не работала, но с хозяйством справлялась. Лёха, к старости пересевший с трактора на лошадь и за пол-литра поднимавший огороды всем окрестным бабкам, для Маши-хромоножки пахал за маленькую.

— Сам колченогий! — смеялся он. — Как не порадеть.

У Маши была одна любовь — цветы. Каких только гвоздик и георгинов не росло в палисадничке перед её домом! А пышный куст сирени у крыльца распускался раньше всех в деревне и держал цвет дольше всех. С Панькой Маша жила дружно, не раз предлагала ей корни и рассаду цветов, но Панька отказывалась намертво.

С бабушкой Машей Антоновой было совсем другое дело. Она просто жила, словно и нет на свете никакой Паньки с дурным глазом. В конце концов это взяло Паньку за живое, и она отправилась поглядеть на нелюдимую старуху. Нашла её на огороде, поздоровалась, заговорила о житье. Но бабка не приняла разговора.

— Моё житьё — лучше некуда, — отрубила она, — и тебе его не спортить.

— О чём ты, тётя Маша?

— Сама знаешь. И не зыркай тут, всё одно ничего не получится. Меня Тоня, учителька твоя, крепко любила, потому и власти твоей надо мной нет.

— Что-то ты, тётя Маша, городишь. Я лучше пойду.

— Ну иди, иди...

Панька сбежала домой в смятении, но с тех пор ревниво присматривалась к бабки-Машиному существованию, нутром чуя, что последнее слово здесь ещё не сказано и когда-нибудь наступит её час.

Время, казалось, остановилось. Если что и менялось в жизни, то только к худшему. Расползалась из деревень молодёжь, потихоньку вымирали старики. Закрывались фермы, на которых стало некому работать, пашни превращались в покосы, старые лесные делянки зарастали вербой. Закрылся магазин в Андрееве — не нашлось продавца. Потом ушёл на пенсию и уехал из села фельдшер, и старики вновь вспомнили про Паньку. Сама Панька тож давно была на пенсии, вышла при первой возможности — кому они нужны, совхозные заработки, если денег всё равно тратить не на что?

Лечила Панька за бесплатно, как в юности привыкла, а подарки брала, напоминая о себе забывчивым ломотой, прострелом или иной лихоманкой. Хотя так случалось редко, годы текли без треволнений, Паньке казалось, что ничто в мире не меняется, и меньше всего она сама.

Но новость всё-таки пришла и ударила под дых. Вечор ещё загадывала Панька ехать с утра на рынок, продать лишек оставшейся после зимы картопки, но ночью проснулась от тянущей и всё нарастающей боли. Утром едва хватило сил выйти и достучаться

к Маше-хромоножке. Маша накипятила воды, обложила Паньку горячими бутылками. Заваривала медвежьи ушки, что сама Панька рвала прошлым летом. Не помогало ни тепло, ни терпкий отвар. Вызвали врача. Он приехал на второй день, сделал уколы и направил Паньку в больницу. Там Панька и провела два лучших летних месяца. Врач сказал, что не в порядке печень. Шутил:

— Небось думала, что печёнка только у телят да поросят имеется? А она и у тебя есть.

Панька тяжело переживала болезнь. Привыкнув держать в руках чужое здоровье, не могла поверить, что собственное от неё не зависит. Мучило воспоминание о доме: стоит брошенный, огород забурьянел. За зиму Панька не тревожилась: прокормят, всем-то миром, пусть попробуют не прокормить. Бесило чувство беспомощности. Панька ещё не знала, на кого выльет копящееся недовольство, но домой после выписки ехала с таким чувством, словно собиралась мстить за кровную обиду.

А мстить оказалось не за что. Маша в её отсутствие позаботилась о доме, трава всюду обкошена, над низенькой оградкой палисадничка вскапывают, выплёскиваясь на дорожку, белые и лиловые шапки флоксов. Прибрано и в доме, а две гераньки, чахнувшие в горшках на окне, дали пышную зелень и зацвели.

Но уже на следующее утро подоконник был усыпан алыми лепестками. Один за другим спешно отцветали флоксы, побуревшие соцветия казались скомканными грязными тряпицами. Вскоре дом привычно оголился.

«Что же это такое?! — чуть не плача, думала Панька. — Как проклятая я какая-то. Всё не как у людей. И не пожалеет никто. Машку так все жалеют, что больная, а посмотреть — кто лучше живёт? Машка! Весь дом в цветах. А у меня и такая безделка не держится...»

Через день, выйдя поутру, Панька увидела, что цветы в Машинном садике погибли. Сама Маша с горестным изумлением разглядывала обвисшие, почерневшие георгины и гладиолусы, облетевшую шток-розу и флоксы. Пыталась что-то поправить, да нечего было поправлять.

— Как же это? — сказала Панька. — Морозом побилло?

— Не было морозу, тётя Паня. Тёпло было ночью, — тихо ответила Маша, бросила на землю пучок обобранных скукожившихся цветов и ушла, держась рукой за стену дома.

Панька почувствовала, как в душе поднимается обида.

«Гордая стала, жалости моей не хочет. А я-то к ней с душой. Что ей моя душа?.. Ей и так хорошо. Куры вон у ей лучше всех несутся. Как бы хорь не повадился...»

В непрекращающейся войне со всем миром прошла осень, зима и весна. Теперь и впрямь уже ничто в жизни не менялось — некуда больше. События только повторялись, наслаиваясь, как рыба чешуя. И с закономерной последовательностью летом пришёл приступ боли. Только некого было звать на помощь. Конечно, люди придут, сделают грелку, вызовут врача. Люди ведь, не зверьё. Но никто не пожалеет, руки останутся холодными.

Никого Панька звать не стала. Изнылась, заботясь об одном — как бы не закричать. Через сутки боль прекратилась, но долго ещё Панька лежала в изъёзанной постели, боясь резким движением вызвать новые мучения. Смотрела в потолок, оклеенный лопнувшей во многих местах белой бумагой, медленно думала.

Вроде не старость — тока-тока шестьдесят, а жизнь покончилась, сгорела как свечка. И кто же её поставил и зажёл? Может, не стоило тогда держать данное

умирающей знахарке слово? А кто мог знать, что так повернётся?... Сама бабка Тоня жизнь сполна прожила: семья была, дети, внуки, правнуки. Жалела старуха лишь об одном, что не освободилась от власти раньше, не пожила на покое. Значит, можно так сделать: передать проклятие вместе с недоброй славой и нестерпимой болью. Доживать оставшееся незаметно и спокойно. И пусть кто-нибудь другой разбирается, как прожить, чтобы твоя сила не стоптала тебя самого. Только где найти такую дуру, чтобы поставила свечку за спасение пропащей души грешницы Прасковьи? А может, свечка здесь и ни при чём, может, надо, чтобы та другая просто согласилась взять всё на себя? Нет, нет, конечно нужна свечка, а то и вовсе никого не отыщешь... а так, глядишь, и согласится кто, не зная...

Панька тяжело поднялась, пересела к столу. Последняя мысль неотвязно мучила её. Придёт кто ни есть в церкву и просто по доброте, не подумав, поставит свечку, вместе со свечкой сгорит вся Панькина беда и придёт освобождение. Но кого просить? Сама она с того сорок шестого года в церкви не бывала, и не кабы почему, а просто ноги не шли. Ровесницы — те, что когда-то исключали её из ячейки, — все, кто не уехал, стали такими богомолками, что любо взглянуть. Только и знают в Погост шастать. Но за Паньку ни одна не сходит. И Маша не сходит. Прежде, может, и согласилась бы; но не теперь. Гори сама вместо свечки!..

— А теперь начинаем все вместе через две! — раздался с улицы звонкий детский голос.

Панька встала, качнулась к окну. В проулке у её дома играла дачниковская девчонка. Чтобы не месить по осени грязь, в землю проулка были уложены стальные диски от тракторной бороны, а перед самой дверью вместо ступени вкопан старый жёрнов от ручной мельницы. Здесь и играла девочка. Присев на жёрно-

ве, шептала что-то и с громким счётю прыгала с одного диска на другой, стараясь не наступить на землю.

Панька замерла, поражённая простой мыслью. Попросить девчонку — что ей, трудно? И сама она освободится, и с девчонкой ничего не станется, у малых дурного глаза не бывает.

Панька распахнула окошко, позвала:

— Тебя как кличут, доча?

— Меня — Даша. — Девочка выпрямилась и быстро перебежала на самый дальний диск. — А вы — Баба Яга?

— Скажешь тоже. Я баба Паня. Поди сюда, я тебя медком угощу. Любишь ведь медок?

Улыбки на лице девочки уже не было, Даша смотрела серьёзно, но продолжала стоять на железяке, значит, игра не кончилась.

Панька налила из кувшинчика на блюдце мёда, торопливо спустилась по ступеням, отворила дверь:

— На-ко, Дарёнка, сладенького...

И в этот момент Дашка сорвалась с места и исчезла за плетнём, крикнув:

— Не догонишь!

Панька стояла в растерянности, руки её тряслись. Мёд прозрачными слезами стекал с блюдца.

— Куда ты, Дарёнка? — шептала Панька. — Не убегай. Свечечку поставь...

ДАЧНИКИ

Дом Тиху достался плохой, одно название, что дом, а по совести, скорее, амбар. Жить в таком — невеликое удовольствие, в иное время сказал бы: «Пушай там овинник живёт, а мне не с руки». Но выбирать не приходилось, не только свои, но и люди сидели бездомными, ютились по земляным норам и

банькам. А многие и вовсе ушли на мох, жили на островах, отгородившись от пришлых людей топью, в родные деревни ходили как на охоту, с ружьями, и, бывало, сами поджигали избы, а потом палили в выбегавших чужих. В такую пору всем худо живётся, одни вороны жиреют.

Но вот чужие люди снялись и ушли, а за ними, переодевшись в солдатское, двинулись и местные — добывать. В деревне остался лишь немощный люд: старики, калеки да бабы с детишками, кто уцелел. Только и немощным надо где-то жить. И вот собрался народ с силёнками, наскребли где смогли инструмента — пил да топоров — и начали рубить избы. Первой была Тихова изба. Семья в ней поселилась невеликая: Мишка с женой. Детей у них прибрала война, а на двоих нескладного домишки вроде и хватало.

Как вселились в дом люди, так пришёл и Тих. Ночью пришёл, чтобы никого не тревожить. Обошёл дом со всех сторон, задрал голову, осмотрел соломенную крышу: добротнo крыто, под лопату, для себя старались. Постучал пальцем по брёвнам. Брёвна, ещё не улёгшиеся в стене как следует, пахнувшие лесом, а не избой, молчали. Тих стукнул сильнее.

— Миш, никак стучит кто, — раздался в избе женский голос. — Посмотреть бы...

— Спи, ветер это, — отвечал Мишка.

Тих огладил бревно ладонями и постучал согнутым пальцем в третий раз. Дом наконец понял, что пришёл хозяин, открыл проход. Тих юркнул за печку.

Мишка был тележником, мастерил колёса. По тем временам неплохо зарабатывал, но в доме ничто не держалось. В деревне Мишку кликали Баламутом. Вроде несильно пил мужик, а всё одно — достатка нет. Заработает чуток и просвистит куда-то. Дом ока-

зался под стать хозяину: его продувало со всех сторон, и не было в нём хорошего укромного угла.

Тих устроился на житьё за печкой. От тяжёлых сыромятных кирпичей тянуло мокретью, но всё же здесь было потеплее. Да и где ещё жить хозяину? Или за печью, или в клетки. Но клеть Тиху сразу не понравилась. Немцы, отступая, сожгли лесопилку, в деревне не было досок, и для клетки Мишка натаскал зелёных ящиков, что валялись брошенные за деревней. Дощечки в ящиках были сухие, звонкие, пропитанные мёртвым ядом. Чёрные буквы по зелёной краске говорили непонятно. Тих немного разбирал азы, но что значит: «Осторожно, ВВ» или «Пушка зенитная 23 мм», — понять не мог. В клетки Тих жить не стал.

Не пришёлся дом по душе и соседям. Шир и Топ, обитавшие в добротных, довоенной постройки домах, пришли на новоселье, осмотрели владения Тиха, и Топ сказал:

— Что поделаешь? Выбирать-то не из чего...

В первую же ночь после новоселья Тиха разбудил шорох за стеной. Из плохо проконопаченного угла вылетел клочок сухого мха, и в отверстии показалась усатая морда. Тих ударил кулаком по чёрному шевелящемуся носу. Крыса с визгом исчезла. И правильно, пусть знает, что здесь хозяин есть.

Поначалу дел у хозяина оказалось предостаточно. Надо было проследить, чтобы дом оседал ровно, не кренился набок, приходилось выбирать короеда из неоструганных жердей, на которых лежала солома, — поленился баламут Мишка окорить жерди! Бывало, даже в огород ночами выбегал: гонял вредную гусеницу. Потом попритих, начал скучать.

После войны жить стало лучше. Бабка Феша, Мишкина жена, завела козу. Нрав у козы был скверный, но Тих к ней приспособился, порой даже

молочком разживался. Коза стояла в жердяном закуте, хлева у дома не было.

К тому времени можно было бы и другой дом найти, но Тих уже привык и не уходил. При налаженной жизни годы текут неприметно. Чернела солома на крыше, сгибалась от старости бабка Феша, на смену одной одряхлевшей козе приходила другая, молоденькая, но с таким же противным норовом. А потом привалила беда. Пришёл Мишка домой после гулянки — его, как знакомого гармониста, на все свадьбы звали, — лёг на постель, сказал:

— Что-то, Феша, мне грудь зажалло. Никак поми-
раю, — да и впрямь помер.

Мишку свезли на погост, повесили над домом белый флажок. Осталась бабка Феша одна. С мужем, хоть и непутёвым, всё легче, он где поправит, где починит. Теперь дом остался на Тихе, а что Тих один может?

Феша с козой, Феша на огороде, Феша у печки, а той порой стала протекать под лопату крытая крыша. Сколько ж лет соломе бессменно стоять? Начали стены проседать: в затенённых жгучей стрекавой брёвнах завелась гниль. Тих бегал, старался, страдал, но потом у него опустились руки. Устал. А бабка Феша, продав козу, уехала в город, жить Христа ради казённой богаделкой.

Дождь лил сквозь сопревшую крышу, от сырости просел свод печи, трухой рассыпался нижний венец. Обнаглевшие крысы шныряли по дому, не обращая внимания на свернувшегося калачиком Тиха. Тих тоже ни на кого не обращал внимания.

Зашёл сосед Шир. Долго сидел, вздыхал, а потом вдруг сказал, что хочет перебраться в город. Его дом тоже стоял безлюдный.

— Как в кирпичах-то жить будешь? — вяло любопытствовал Тих.

— Не знаю. Приткнусь где-нибудь. Всё лучше, чем здесь.

Шир забрался ночью в стоящий грузовик и уехал неведомо куда.

Иногда снаружи появлялись люди, ковыряли пальцами стены, говорили друг другу:

— Дом-то ещё не старый, мог бы стоять. Хозяина вот только надо.

— Я хозяин, — говорил Тих, но его не слышали.

Изредка отпирался заржавевший висячий замок, люди заходили в дом. Тих знал, что это покупатели. Он прятался и следил за людьми, надеясь, что дом купят и будут жить. Но с каждым разом надежда становилась всё призрачней.

Купили дом неожиданно и как-то легкомысленно, так что Тих даже не понял, всерьёз ли это. Покупатель не слезал в подпол, не заглянул на чердак. Он лишь восхитился соломенной кровлей и сказал, слово самому себе:

— Была бы цена, а то... Три года дом простоит — считай, окупился.

В другое время слова эти насторожили бы Тиха, но сейчас главным было то, что дом всё-таки купили.

Счастливым Тих помчался с новостью к Топу. Топ по-прежнему жил в справном доме, хотя и дом, и сам Топ всё больше ветшали, а от когда-то большой семьи осталась в деревне одна бабка Настя. Ну, да это прежде говорили: поросёнок не скотина, — а по нынешним временам так: поросёнка кормят, цыпки по двору бегают, — значит, справный дом.

Топ выслушал соседа, покачал кудлатой головой:

— Слышал, слышал. Ты погоди больно радоваться — знаешь, кто твой дом купил? Дачники.

— Как это?

— Не знаю. Но Настя ворчала, что неладно это.

Вскоре въехали в дом новые жильцы: владелец с женой и дочкой — востроглазой девчонкой лет семи. Эта-то сразу всё в доме облазала, Тих уж не знал, куда и прятаться: влез под печку и сидел не шевелясь. А девчонка волокла показывать матери найденные сокровища: прялку, старые серпы, недоделанное тележное колесо, оставшееся ещё от Мишки.

Дом проветрили, обкосили репё и стрекаву, выгребли из подпола годами копившийся хлам, и гниль приостановилась, ушла вниз, где от земли, хошь не хошь, всегда прелью пахнет. Хозяйка было подступилась к печи, но только дыма напустила, а стряпать приспособилась на электрической плитке и вонючем керогазе.

Тих суетился больше всех. Ночью даже на кровати взбирался и шептал на ухо спящим, что надо сделать: кровлю латать, сменить нижний венец, править печь. Вроде бы его и слышали: заговаривали за обедом о делах, но не делали ничего. Шатались по лесу да на мох, варили ягоду, понемногу ковырялись в огорошке, но тоже как-то не всерьёз: картошки почти не посадили, а всё больше развлекались с редиской и зелёным салатом.

— Дачники, — сердито скрипел Тих незнакомое слово.

Потом пошёл дождь. Сразу закапало: на печь и в другом углу, где стояла Дашкина кровать. Тут уж и дачникам пришлось шевелиться. Завезли шифер, жердей. Полетела вниз солома, на которой уже ромашки начинали цвести, и дом оделся в серую волнистую кровлю. Дошла очередь и до обвалившейся печи: её попросту разобрали и, выписав аж из самого Дна печного мастера, поставили плиту. Хорошую плиту, со щитом, но уж больно маленькую.

Для Тиха совсем не осталось в избе укромных углов. Ну да это ничего, лишь бы дом как следует

устроили. Опять приходилось следить, чтобы правильно оседали стены под весом стопудовой крыши, подбивать клинья под главную балку, недовольную, что по-другому, чем печь, давит на неё плита.

Жить Тих приспособился в закутке, где Феша когда-то держала козу. Худое место, не для хозяина, а что делать? Вот устроится семья, наладит быт — появятся и уголки, куда по неделям никто не заглядывает. А пока и так сойдёт.

В закутке тоже было негде особенно прятаться, так что в один прекрасный день Тих попался на глаза девчонке. Бежать было поздно, и лишь в последний миг Тих успел перекинуться лесным зверем. Есть у хозяина такое умение, помогающее остаться неузнанным: когда некуда уйти от нескромных глаз — можно обернуться мелкой лесной тварью. Только одна метка, чаще белое пятнышко, отличает перекинувшегося хозяина от настоящей лесной живности.

— Ёжик! — закричала Дашка и быстро скатала Тиха в клубок.

Тих сердито затукал, хотел поддаться колючками, но раздумал, жалко, своя всё-таки. Тиха притащили в дом, показали родителям, положили на пол. Тих молча ждал. Наконец, понимая, что так просто от него не отступятся, Тих выглянул наружу. Много раз он видел эти лица спящими или подглядывал за ними исподтишка, а теперь не только он смотрел, но и на него смотрели.

— Развернулся... — зашептала девчонка. — Ручной!

— Смотри, у него коготь белый. — Отец осторожно дотронулся Тиху до лапки. — Назовём его Белый Коготь.

Тих даже фыркнул от возмущения: тоже нашли имечко! — но говорить ничего не стал.

В конце концов дело кончилось благополучно: через полчаса Тиха отпустили обратно в закут, и теперь вечерами он, перекинувшись ежом, бродил вокруг дома, не опасаясь, что его заметят. Люди привыкли к нему, считали своим и не трогали. Вдобавок изредка — чаще об этом забывали — в закутке стало появляться блюдо с молоком. Давно Тих молока не пробовал...

На берёзах задрожали первые жёлтые листочки, вместе с ними явились новые заботы. Тих сокрушённо качал головой, недоумевая: надо мох сушить, заново конопатить избу, а люди знай себе бруснику таскают. О чём думают, холодно ведь будет зимой! И дрова не запасены. Летом можно и остатками плетня топить, а зимой?

Но людей это, казалось, вовсе не интересовало. Зато вдруг они собрались и, заперев избу на старый замок, уехали. Два дня Тих ждал, думал, что в гости уехали и вот-вот вернутся. Потом понял — насовсем. Лишь теперь до него дошло, что значит слово «дачники»: дом им не дом, а так. Пожили сколько получится и дальше двинулись. Как перелётные птицы. Не люди в доме жили — дачники.

Изба быстро выстыла и потеряла жилой дух. Зимой дверь завалило снегом, ветер вбивал снежную пыль в щели, снег длинными языками лежал на полу. Крысы сперва остерегались появляться в доме, но потом поняли, что хозяин занедужил, и, как в старые времена, принялись хозяйничать, тем более что крупу дачники спрятали плохо, и длиннохвостые скоро добрались до неё. Тиху не было дела до всего этого, тяжело было Тиху, знал бы куда — вообще ушёл бы из дому.

Возвратилось солнце, стаял снег. Полезли из земли лопухи и иван-чай. Начал зарастать огород, закрапивело вдоль стен, брёвна снова засырели. Тих

вышел из дому, перекинулся ежом. Лучше в лесу сгинуть, ящере на обед попасть, чем смотреть, как всё рушится.

По дорожке раздались шаги, из-за поворота показались люди. Впереди, размахивая руками, бежала Дашка, за ней с двумя рюкзаками — один на груди, другой на спине — шёл её отец. Мать приотсталла, но Тих понимал, что придёт и она. Дачники вернулись.

— Хо-хо! — воскликнул мужчина, ломясь напрямиком через высокую траву. — Стоит хибара! Из снарядных ящиков сколочена, а стоит, ничего ей не делается!

«Как же, не делается... — подумал Тих. — Полный подпол плесени».

Секунду Тих колебался, потом юркнул в щель между жердями, а оттуда сквозь сырую стену домой.

Один за другим пошли дни почти нормальной жизни, только теперь Тих всё время помнил, что это ненадолго и скоро дом опять опустеет.

Однажды Тих сидел в закутке и от нечего делать перебирал наломанные из ветхих жёрдочек поленья, чтобы сухими были, когда понадобятся, как вдруг услышал крик.

— Ёжик! — кричала Дашка. — Папа, смотри, наш Белый Коготь бежит!

Во дворе послышалась возня, потом мужской голос произнёс:

— Нет, это другой, наш не такой.

— Давай его с Белым Когтем познакомим? Вдруг это ежиха, тогда у них семья будет.

Тих невесело усмехнулся: ну вот, теперь его собираются женить на ежихе.

Пленника поднесли к лазу, и он, спасаясь от жадных человеческих рук, сразу протиснулся в закутку. Это был не ёж, а кто-то из своих. Тих долго смотрел на гостя, пока наконец не признал. Перед ним был

старый приятель и сосед Шир. Толстяк Шир, исхудавший и облезлый, со слезящимися глазами, несчастный и больной.

Тих заволновался, всплеснул руками, побежал в дом, принёс горстку гречневой каши и тёплого чаю, даже варенья в банке зачерпнул, чего прежде себе не позволял. Уложил Шира поудобнее, в головах взбил жомку сухого клевера. Шир смотрел благодарно, из глаз текли слёзы.

— Как же тебя так? — причитал Тих. — Неужто в городе?

— В городе, Тихушка, — зашептал Шир. — Страшно там. Жилья нет, домища каменные, огромные; стены мёртвые — не пройти. Люди не живут, а только бестолкуются. Ты, Тихушка, не поверишь, мне там, чтобы прокормиться, в поганую крысу приходилось перекидываться. Только крысам там и вольготно. А у тебя тут славно.

Тих вздохнул и не стал ничего рассказывать.

Понемногу Шир выправился и остался жить при Тихе. В дом не заходил — нельзя в чужой, разве что раз в год, в гости. Тих тоже всё больше сидел в закуте среди дров. Иногда целый день жили ежами, забывая принять свой облик.

Зашёл в гости Топ. Строго осмотрел их житьё, сказал недовольно:

— Скучно живёте и позорно. Где это видано, чтобы в доме два хозяина было?

— Тих хозяин, Тих, — заторопился Шир. — А я так, рядом живу, ни во что не мешаюсь.

— Почему своего дома не заводишь? — допрашивал Топ. — Даже в войну такого непорядка не случалось...

— Его дом давно на дрова свезён, — вступился Тих, — а новых не строят. Вспомни, в войну-то в деревне изб поболее оставалось.

— Всё одно, — не унимался Топ, — одичали совсем, вид потеряли, старые обычаи похерили. Это вас дачники испортили — у них порядка нет, и у вас тоже.

Топ ушёл сердитый, не попрощавшись.

— Ему легко нас строжить, — сказал Тих, — а вот погоди, помрёт бабка Настя, Леночка со своим мужиком дом заграбастают и так дело повернут — похуже любого дачника. Наши ещё ничего, хоть лето живут.

Сказал и загрустил. Знал, что лету обозначился конец. И как в воду глядел: через день дом опустел. Начиналась осень, дачники улетели.

Шир уже вовсе жил ежом, даже спал свернувшись клубком, выставив иглы. Тих слонялся по дому, жалобно бормотал, словно убытки подсчитывал. Главного опять не сделали — не подрубили нижний венец. Холодильник зато привезли, стоит белый, чужой, с распахнутой дверцей. Странные люди... Если им дом на три года нужен, зачем холодильник везли? А ежели надолго, то чего тогда ждут? Пока дом завалится? Не хозяева они, ей-богу, и жалеть о них не стоит. Одно слово — дачники. Скорей бы снова лето, скорее бы возвращались...

ИЗБА С КРАЮ

Если очень долго ждать, то всякая мечта, порой и ненужная уже, всё-таки сбудется. А он с детства хотел нужного. Никому не говорил, но хорошо для себя решил, что вырастет и будет хозяином в своём доме, без чужого окрика и приказа. Сам большой, сам маленький. С того голозадного детства представлялась картина: рубленый пятистенный дом, перед окнами цветы и скамейка. Перед каждым домом есть скамейка, на которую выбирают вечерами отдыхать

хозяева. Иной раз сходят в гости, посидеть на соседской скамье, но чаще на своей.

Эта картина, словно взятая из цветного журнала: распахнутые окошки с белыми занавесками, мясистые георгины, а в самом центре скамейка, — не оставляла его никогда. И вот есть свой дом. Такой как надо: пятистенка, крытая почерневшей от дождя дранкой. Крепкий дом, сто лет простоит. Брёвна без гнилинки. Только двор, срубленный позже из всяких остатков, завалился и просел.

Василий вошёл внутрь дома. Дверь открывать не пришлось, её давно сняли с петель и унесли хозяйственные соседи. Не мудрено: три года изба пустует. Осмотрел две комнаты, заваленные всяким мусором, кухню с полуразобранной на кирпич плитой и ещё целой печью. Через распахнутый лаз заглянул в подпол, нервно поёжился и пошёл на улицу.

Перед окнами цвёл задичавший куст черёмухи.

Василий выдрал из стены завалившегося двора толстенное бревно и взялся за пилу. Отрезанные столбы он глубоко вкопал в землю, покрыл сверху пудовой доской — осиновый самопил в полтора вершка толщиной. Скамья получилась слишком высокой, но это не смутило его — востанет. Распахнул рамы с выбитыми стёклами и сел на скамью. Сидел прямо, положив руки на колени, строго глядел в поле. Сразу за окнами начиналось поле, изба была крайней в деревне.

Через десять минут встал, закрыл дверной проём крест-накрест двумя жердинами и пошёл в правление ночевать.

Конечно, не всё время без перерыва Василий вздыхал о доме и скамье среди цветов. Были и другие дела, поважнее. А по-настоящему душа заболела о том, когда надолго укатали Васю туда, где холодно

и несвободно. До сих пор он не мог взять в толк, как это произошло.

Жил он в Андреево с матерью и тётёй Дусей (отец тогда уже ушёл из семьи), а работал на тракторе. Без трактора в деревне никуда: ни дров привезти, ни за керосином для матери скатать. Халтурил для соседских старух — за маленькую. И в совхозе зарабатывал прилично. Словом, хорошо жил. Но только двадцатипятилетнему парню этого мало, и Василий частенько «скучал». Вечером, отработав полный день, снова без всякой надобности заводил свой «ДТ» и отправлялся гулять. Бывало, что и совсем тверезый гулял. Колесил лугами за деревней, вламывался в березняк и пёр напрямиком, глядя, как падают перед машиной надломленные деревца. И в конце концов — доездили.

Лето стояло жаркое и сухое, речушка за деревней встала, превратилась в цепочку длинных бочажин с цветущей зелёной водой. И скучающий Васька приновился мыть ходовую по бочажинам. Трактор, резко кренясь, ухал в бочажину, с рёвом полз по бурлящей воде, натужно взбирался на другой берег, измалывая его гусеницами в чёрную грязь. По воде плыли радужные пятна солярки и изжёванные стебли рогоза.

Хорошо было, весело. Но однажды на ровном дне трактор вдруг накренился, словно собираясь съезжать в ещё одну бочажину. В кабину хлынула вода, а мотор, хоть и высоко стоит он у «ДТ-75», закашлял и, окутавшись белым паром, смолк. Вася вброд добрался на берег, побежал в деревню за Лёхой. Но когда Лёха на своём тракторе приехал к речке, от «детешки» виднелась лишь верхушка кабины.

— Дурак ты! — ругался Лёха. — Должен бы знать, что у фрицев здесь в сорок первом в этих самых бочажинах танк утоп. Не вытащили. А ты с трактором. Ну ныряй, заводи трос. Попробуем.

Вытащить трактор не удалось, а а следующую весну и верхушка кабины ушла под воду. Но этого Василий уже не видел.

Впрочем, утопленный трактор ему простили. Бригадирша, крутая баба, изругала матерно, потом складно ругали на собрании для протокола, лишили всех премий, назначили вычеты из зарплаты в счёт частичного погашения ущерба, но всё же выдали новый трактор, стосильный; с большой квадратной кабиной.

На этом тракторе он и поехал спустя неделю в Погост на танцы.

Совхоз большой, а клуб в нём один — в центральной усадьбе. Поэтому собирались туда парни с девяти деревень. Сначала заезжали в магазин заряжаться, а потом катили к клубу. Водка тогда была вольной, так что заряжались основательно. В дни танцев клуб напоминал МТС, так густо обступали его тракторы и мотоциклы, на которых приезжали местные женихи. Парни даже после армии долго ходили холостыми, не было невест, девчонок на танцы приходило человек пять-шесть. Они и танцевали друг с другом, а парни тёрлись вдоль стен. Если кто-то пытался приглашать девушек, то был потом бит, нахальства не прощали. Хотя и так через раз случались драки, жестокие, с выдёргиванием колов. Но Василию, бывшему герою дня (как же, трактор на сухом месте утопил — и хоть бы хны!), кольев показалось мало, и он выхватил монтировку...

— В голову метил, — показала на суде случившаяся тогда неподалёку бригадирша, — а что по плечу попал — случай.

— Дура ты! — закричал на весь зал Василий. — Мы с Юркой кореша, что же, я его убивать стану? Тебя бы я с удовольствием прибил, а Юрку зачем?

Судьи слышали эти слова и впоследствии расценили как угрозу. А пока получил Васька за пьяную драку, в которой сломал приятелю ключицу, два года условно. И почувствовал себя неправильно обиженным. Ему бы затихнуть, да некому ни одёрнуть, ни проследить. Мать от огорчения слегла, её увезли в район с сердцем. А когда бригадирша послала его не в поле, а в силосную траншею, утаптывать гусеницами зелёнку, Василий и вовсе слетел с нарезки. С полдня бросил траншею, направил трактор сначала к магазину, а потом гулять. К деревне подъехал круто за полночь. Припарковал трактор у сенных сараев, зло сплюнул на сиденье изжёванную беломорину и ушёл домой спать.

Разбудил его крик тёти Дуси.

— Пожар!.. — кричала старуха.

По потолку плясали красные отблески. Горел трактор, от него уже взялось сено, и тушить было некому. Приписали Васе поджог из мести и, учитывая прошлые заслуги, припаяли на полную катушку. Не скоро ему пришлось вернуться домой.

В родные места воротился совсем другой человек. От прежнего Васьки, умевшего отбрезаться от чего угодно, и следа не осталось. Воры и драчливые бакланы скоро приучили его, что прав тот, у кого глотка шире и больше кулак. Ходил теперь Василий не поднимая головы, в разговорах старался отмолчаться и даже выпимши на люди не лез, забивался в угол и замирал там. Хотел вовсе мимо дома ехать, тем более что ни матери, ни тётки Дуси в живых уже не было. Только куда податься? Вернулся в свой же сельсовет, откуда увозили.

Старухи соседки сочувственно ахали, глядя на серое Васькино лицо, ловили в широком рукаве

тощую, обортанную пустой кожей кость руки, горевали:

— Ишь, истошал как! Так кормят плохо?

— Кормят как положено, — отвечал Василий, — естся плохо.

Старухи поминали матку, что не дожила повидать сына, и хоть ни одна не осудила Ваську напоминанием, отчего прежде срока кончилась мать, но ни одна и не пустила в дом, даром что полдеревни приходились ему двоюродными, троюродными и иными тётками. Приткнуться было негде.

Выручила бригадирша, та самая, что когда-то помогла сесть в тюрьму. Оставалась она всё такой же норовистой и злой на язык. Она уже давно выслужила пенсию, но власть отдавать не хотела и бригадирствовала по-старому.

— В центральную усадьбу не поедешь, — сразу определила бригадирша, — найдётся дело и тут. Поселю тебя в бывшей конторе, там уже один твой дружок живёт, вот и ты с ним. А трактора не дам, не надейся. Оформись разнорабочим.

Контора, в которой поселили Ваську, представляла собой нелепую бревенчатую сараину об одной комнате. Торчала в той комнате высокая голландская печь, быть может, и экономная, но в деревне вполне бесполезная. У печи стоял топчан, а на нём валялся Селёха — новый Васькин сожитель, такой же бедолага, не нашедший себе лучшего места. Вообще-то звали его Серёгой, но неповоротливый Селёхин язык перевирал даже собственное имя, так и получился Селёха.

С Селёхой Васька жил мирно, в работе был исправен, пил редко, стараясь урвать за Селёхин счёт. Разнорабочий много не выколотит, но с первого же аванса Васька начал откладывать деньги на дом. Знал, что нет в деревне уважения тому, кто своего

угла не имеет. Сбережения, опасаясь Селёхи, дома не хранил, отдавал бабке Зине, одной из своих тёток. Селёха был мужик широкий, получив зарплату, щедро поил Ваську, а потом мог так же легко пропить и Васькины деньги. У бабы Зины было не в пример надёжнее. Прижимистая старуха Васину мысль одобряла и переданные ей десятки обещала вернуть только все разом на покупку. По мелочам же деньги не отдавала, и правильно делала, иначе ничего бы он не накопил. А так за два года отложил шестьсот рублей.

Пришла весна, время работы. Всех, кого можно, поставили на технику, отправили в поле. Лишь опального Ваську послали на склад, засыпать минералку в бункера разбрасывателей. Работа копеечная, но Василий не протестовал, он теперь всё принимал молча. Послушно таскал мешки и к себе вернулся поздно, весь просоленный вонючей амофоской.

В конторе жарко топилась печь, вусмерть пьяный Селёха валялся поперёк растерзанного, со сбившимся тюфяком, топчана. Стук двери привёл его в себя, он поднял голову и уставился на Василия мутным взглядом:

— А! Плищёл, жмот! Я тебя ждал, но не дождался. Тли бутылки были, но не дождался. Всё сам... Так вот... Ты вкалывай давай, может, блигадилша по головке погладит. А я не буду, мне эта Валентина во где сидит!..

Селёха уже вторую неделю не выходил на работу и вообще догуливал последние деньки, ожидая ареста. Сгубило его великое умение загнать и пропить любую вещь. Со свойственной ему широтой Селёха раскулачил половину тракторов, стоявших за конторой и приписанных к отделению. В другое время такое, может, и сошло бы с рук, но не в посевную. Так что Селёха был озабочен лишь одним — успеть пропить добытое.

— Ну чо смотришь? — говорил Селёха. — Думаешь — самый умный? А я скажу — дулень ты! И дома у тебя никогда не будет, Валентина не позволит. Думаешь, зачем она в депутаты лезла? Нынче вся власть ейная...

— Я и спрашивать не стану, — отозвался Василий. — Домов на продажу полно, я прописанный и могу покупать.

— А и купишь, что с того? Кому ты нужен с твоим палшивым домом? Да за тебя ни одна блядь не пойдёт, так и загнёшься в своём доме... Вот у меня пожито... я столько выпил, ты столько и не видал никогда. И ещё выпью, а ты как был шестаком... — Селёха заснул, не договорив.

Васька долго смотрел на его припухшее лицо, на погасший окурок, прилипший к окантованным щетиной губам.

«У других так и хабарики вовремя гаснут», — всплыла неожиданно обидная мысль.

Дрова в печке прогорели, рассыпавшись красным мигающим углем.

«Куда так топим, не продохнуть», — подумал Василий не в такт первой мысли.

Он встал, чтобы закрыть дверцу, но вместо этого начал подкладывать на угли поленья и смотреть, как они сначала чернеют по краям, затем занимаются живым жёлтым пламенем. Через пять минут печь снова была набита до отказа. Длинные казённые поленья не давали дверце закрыться.

Селёха громко храпел, дёргая налившим окурком. Сбитый тюфяк свешивался чуть не к самой топке. Три пустые бутылки валялись рядом с топчаном.

«И ничего ему не делается», — третья мысль легла к первым двум, словно отдельное полено в поленицу.

Василий поискал на столе и в тумбочке, невесть как попавшей в их логово. В доме было шаром по-

кати. Варёные картохи, принесённые бабкой Зиной, и селёдку, купленную в Доншине, Селёха схарчил на закуску.

— Пойду к Зине, может, покормит, — решил Василий и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

Конечно, тётка оставила его ужинать. На это у неё был свой расчёт: картошку одной сажать сильно хлопотно, а Васька — мужик благодарный и всегда поможет.

Василий плотно поел и умиротворённо прихлёбывал из кружки горячий отвар зверобоя, который считался у бабки Зиной за чай, когда с улицы донёсся истошный крик:

— Пожар!..

Контора сгорела дотла. Сильно обожжённый и едва не угоревший Селёха в последний момент успел вывалиться из огня. Он ничего не помнил и не отвечал на вопросы, лишь дико вращал воспалёнными без ресниц глазами и непрерывно перхал, размахивая вспухшей рукой, словно хотел, но не решался ударить себя в грудь.

На совхозном «газике» прикатила бригадирша. Раздвинув людей, подошла к дымящемуся пожарищу, зацепила взглядом Ваську, зло брякнула:

— Твоя работа?

— Ты чо, Валентина? — завступались вокруг. — Ты глянь, он тверезый. У Зинки он гостевал. Это всё Селёха, пьянь беспутная!..

Пожар списали на Селёху. Даже сам Селёха не отказывался: может, и он, с кем не бывает... С ним соглашались: верно, бывает, коли спьяну. На том и успокоились. Поверили в Селёхину вину. И Василий поверил.

Теперь перед бригадиршей встала новая проблема: куда селить погорельца? И решить её Валентина сумела блистательно. Переговорила со старухами,

потом подошла к искренне огорошенному неожиданным поворотом дела Василию:

— Говорят, дом хочешь покупать?

— Ну, — ответил Василий.

— Так покупай.

— Не скопил ещё на дом.

— Ты не с рук покупай, у совхоза. За пять сотен продадим своему. Как на дрова.

— Мне абы какой дом не нужен...

— Хороший дом. В Замошье. Старухин бывший, бабы-Машин. Или боишься? — Бригадирша прищурилась.

— Чего мне бояться? Я ничо не боюсь, — сказал Василий и тем решил свою судьбу.

Может, для кого-то деревня Замошье и оказывалась за мохом, но для ближних посёлков — Рубшино, Поповки и Андреева — Замошье стояло по эту сторону моха. Прежде были и другие деревни, ещё плотнее подошедшие к болотам, но теперь от них остались лишь камни фундаментов да умирающие загложные сады. А в Замошье люди жили. От когда-то большой деревни, растянувшейся без малого на километр, уцелело семнадцать домов. Но и из них десяток зимой пустовал, лишь летом на пару недель приезжали городские владельцы.

Среди постоянных жителей числилась девяностолетняя бабка Маша. Жила одна, ни с кем почти не беседуя и редко выходя за ограду. Дочь свою, сильно некрасивую, оставшуюся из-за войны в девках, бабка Маша пережила и схоронила. А двух сыновей расстреляли летом сорок второго. Про этот случай на деревне говорили всякое: одни — что немцы расправились за связь с партизанами, другие — что партизаны приговорили братьев Антоновых как предате-

лей. Хапуга Нюрка, бывшая в ту пору малолеткой, но, по её словам, всё помнившая, отзывалась проще всех:

— А леший его знает, кто расстрелял? У этих Антоновых так: немцы придут — они в полициях, немцы уйдут — в партизанах. Вот и попали кому-то под горячую руку.

Дожила бы бабка Маша свой век втихую, но вдруг в её голову запала мысль, что сын жив. Который из двух, она сама не могла сказать, но твёрдо знала, что жив и скоро вернётся. И чтобы жилось сынку хорошо и удобно, купила бабка Маша дом, самый большой и новый во всей деревне.

Дом стоял на отшибе у колонки, чтобы за водой далеко не ходить. Когда дом строился, ещё были рядом соседи: Феша с Мишкой, потом сама баба Маша в своей развалюхе и лишь за ними дырами зияли пустыри от сvezённых изб. Строился Юра, мужик молодой и непьющий, женатый на Светке, Васиной троюродной никак племяннице. Устраивался надолго, да просчитался: подросли детишки, старшей девчоночке пришла пора в школу. А ближайшая школа — два перегона поездом ехать и до поезда три километра пешком. Из Андреева ездили школьники, человек пять, но Юра свою посылать не стал, нашёл другую работу и переехал в Доншину. А дом, в котором и пожили-то всего лет пять, купила бабка Маша за две с половиной тысячи.

Для хорошего дома это не цена, но откуда у одинокой старухи такие деньги?

— С пензии, — отвечала бабка Маша.

И верно! Ведь старухе девяносто третий год идёт, почтальон каждый месяц пенсию, тридцать рублей, на дом приносит, а траты у бабки какие? Магазин в Андреево пять лет как закрыт, на разъезде дважды в неделю хлеб с поезда дают, так и там Маши не

видать, с одного огорода живёт. Даже свет вечерами не зажигает — зачем старой? А пенсия капает и капает, большие тыщи, должно быть, накопили.

Прозвали бабу Машу багатежкой, на том бы народе и успокоиться, но только злыдня Панька возьми да и каркни на людях:

— Позарится кто на Машкины тыщи, и пропала баба. Живёт на отрубе, кричи не кричи, никто не услышит.

Так и случилось. Зимой соседки заметили, что бабка Маша неделю за водой не выходит и дверь снегом примело. Вошли в дом и сыскали старуху в подполе среди картошки придушенной. А денег не нашли.

Милиция даже дела заводить не стала — больно нужно из-за такой дряхлой! Участковый, правда, приглядывался: не загудит ли кто из выселенных уголовников, разжившись лихими деньгами, но всё было тихо. У деревенских на этот счёт имелось своё мнение. Твёрдо знали: покончила с бабкой родная невестка — вдова младшего сына. Прежде она приезжала, хоть Маша и не привечала её, а тут ни на похороны, ни наследства добиваться не появилась. Значит, она и придушила, больше некому.

Выморочный дом отошёл государству. Стоял пустой, исполкомовская печать болталась на двери. Через год приезжие ягоdniки, чтобы переночевать, сорвали печать и сбили замок. Затем в раскрытую избу потянулись деревенские. Первой Нюрка с мужем, за ними остальные. За посудой, мебелью, дровами. Потом за досками и кирпичом. Ещё бы немного, и за сруб бы принялись, всё одно ведь ничейный. Но этого бригадирша не допустила. Дом задарма отдали Ваське.

Первые недели Василий крутился как заведённый. Времени на новоселье бригадирша дала два дня, за это время только и успел, что привезти из Дно стёкла

да разжиться в центральной усадьбе новой дверью. Остальное пришлось делать вечерами. И дом в порядок приводить, и садом заниматься. Сад при доме был хороший, молодой, насаженный Юркой и бесплатно перешедший к новым владельцам.

Но как бы ни был Василий занят, перед закатом, когда старухи одна за другой тянулись к колонке за водой, он убирал инструмент и садился на самодельную скамью. Неспешно отвечал на приветствия, сам первый не здоровался, он тут дома, пусть с ним здороваются. Даже черёмуховый куст вырубил на две трети, чтобы не заслонял владельца.

Хозяйки с коромыслами на плече здоровались и шаркали дальше по тропе. Скрипела ручка колонки, плескала вода в вёдра. Согнувшись дугой, старухи тащились обратно. Лишь однажды добрая бабка Настя поставила вёдра и подошла к заборчику.

— Ты гляди, совсем обжился, — не то спросила, не то просто сказала она.

— Да уж, — ответил Василий.

— Теперь тебе ещё обжениться бы, а то как одному?

— Меня не любят женщины, — неохотно сказал Василий.

— Поди? Найдётся какая молодуха Ты уж не зевай...

Эти слова больно царапнули Василия, напомнив последний разговор с Селёхой. В самом деле, кому он тут нужен?

Перестали радовать дом и скамья, Василий затосковал. Может, и вовсе запил бы горькую, но после указа водку стали давать по карточкам, какой тут, к чёрту, запой... Нелюдимый Василий вдруг почувствовал, как не хватает ему людей. После работы, шагая через деревню, останавливался у чужих окон, пытался заговаривать со старухами.

— Чо, соскучал никак? — прищурилась, встретившись с ним, Панька. — Не бойсь, скоро соседи приедут, дачники. Повеселеешь.

С той поры, как покойница Маша порушила свою прежнюю избу, на дальнем конце оставалось всего два дома: тот, в котором жил Василий, и другой, закрытый после отъезда бабки Фешки. Позато лето его купили ленинградцы, но вот уже июль на носу, а они всё не появляются.

Панины слова сбылись, и, как всегда, не тем боком. Ленинградцы приехали, но ничто в жизни не изменилось. Слышались неподалёку голоса, иногда Василий замечал, как кто-нибудь из соседей выходит на огород, порой, вернувшись с работы, видел, как дачники, все трое, идут из лесу с черникой. Знакомиться с Василием соседи не пришли, а самому идти казалось обидным, да и робел отчего-то. Девчонка дачниковская, правда, прибежала. Сунулась через дыру в плетне, посмотрела снизу вверх на сгребавшего ветки Василия, спросила:

— Вы тут живёте, да?

— Живу, — отвечал Василий.

— Раньше в этом доме одна бабушка жила, и её убили, — сообщила девочка.

— Сам знаю.

— А мы рядом живём! — Девчонка крикнула это, уже убегая.

Вот и все разговоры, и всё веселье.

Когда началась уборочная, Василия перевели на ток. Работа чистая и, главное, рано кончается, так что можно успеть до вечера к Змеинному острову пощипать брусники. Тащиться с ягодой на рынок не было времени, и Василий сдавал бруснику на пункт по госцене. Решил, как накопится сумма, взять не деньгами, а цветным телевизором. Приёмщица сказала, что так разрешается.

На Змеинный идти тропой через заброшенные куги, а потом мохом. Василий шёл, помахивая самодельным, склёпанным из пятилитровой жестянки, ведёрком. Утром у сушилки полетел вентилятор, работа на току встала, и Василия отпустили домой с обеда. Солнце жарило не по-августовски горячо, но Василий привычно шагал, застегнув рабочую куртку и глубоко надвинув старую замасленную кепку.

Тропа круто сворачивала, Василий прошёл поворот и вдруг остановился. Навстречу шла соседка-дачница. Раздетая. Не совсем, конечно, но даже не в купальнике, а в белье. Трусики и белый лифчик. Должно быть, возвращалась с моха и решила здесь, на безлюдье, пройтись по солнцу раздетой, чего нельзя в деревне под строгим взглядом всевидящих старух.

Василий устоял на молодое, не тронутое загадом тело дачницы и неожиданно для самого себя громко сглотнул слюну. Женщина вздрогнула и попятилась от выросшей перед ней фигуры. Казалось, она сейчас закричит, но в этот момент из-за кустов показалась её дочка, а следом муж с двумя корзинами на согнутых руках.

Василий с трудом отвёл взгляд от белой, выпирающей из лифчика груди и, хрипло откашлявшись, поздоровался. Мужчина ответил, недружелюбно глядя на Василия.

— А я вас знаю, — сказала девчонка.

— За брусникой ходили? — спросил Василий, затылком чувствуя, как панически быстро одевается за его спиной женщина.

— Да, набрали, — ответил мужчина. Ему тоже было неловко, верно, понял: в том, что его жена по лесу голой ходит, виноват не Василий.

— А я только иду, — натужно продолжал Василий. — Я всегда так: вечером сбегая, за час ведёрко наберу, на пузырёк и хватит.

— С пузырьком теперь трудно...

— Это кому как. Я знаю тут, которые сами гонют. Чужому, конечно, не дадут, а мне завсегда... Меня тут каждая собака знает...

Дачница наконец привела себя в порядок, её муж облегчённо вздохнул, сказал невпопад:

— Извините, тяжело с корзинами, я пойду... — И исчез за поворотом.

А Василий в сердцах добежал аж к самой Ушкуйной горе и вернулся назад уже в темноте, не сорвав ни единой ягоды.

Всю ночь он проворочался, вспоминая встречу, ругая сам себя: «Да что же, баб у меня не было, что ли?» — и тут же признаваясь: «Таких не было. Эта настоящая, нетраченная».

И на работе не мог прийти в себя. Как всегда, ходил, кидал деревянной лопатой на транспортёр вываленную самосвалами свежеемолоченную рожь, отгребал текущее из шнека высушенное зерно: чистое, жёлтое, горячее. Привычно ни о чём не думал, но был какой-то квёлый, словно после сильного похмеля. Несколько раз влез, не глядя, под струю воздуха из барабана, которая накидала за шиворот колючей половы и замусорила глаза.

После работы отправился к Любахе — шалой бабёнке, известной всему району, и на полный аванс купил литровую бутылку самогона. У Любахи можно было бы на ночь остаться, как случалось прежде, но Василию стало противно. Стара Любаха, на десять лет старше его, и воняет от неё кислятиной. Забрал бутылку и пошёл домой. Совхозная развозка уже уехала, пришлось переться из усадьбы пешком. Дорогой несколько раз прикладывался к бутылке, дома ещё раз приложился для храбрости, пригладил пятернёй волосы и пошёл к соседям знакомиться.

Дачница стирала бельё в проулочке возле дома. Увидав Василия, она поздоровалась и тревожно посмотрела на дверь, верно ожидая оттуда помощи.

— Здравствуйте, — сказал Василий. — Я тут шёл мимо и решил зайти. Я сосед ваш буду.

— Да, я знаю, — ответила женщина.

Василий присел на край скамейки. Плохая была скамейка, хлипкая. Закурил. Потом спохватился:

— Это ничего, что я курю?

— Нет, нет, курите.

— Напугал вас давеча, — начал разговор Василий. — Вы меня не бойтесь, я сам всех боюсь, и вас тоже.

— Нас-то зачем бояться? — Женщина уже успокоилась, но говорила нарочито громко, чтобы слышали наконец в доме.

— Я в совхозе работаю, на хлебе, — говорил Василий. — Зарабатываю хорошо. Могу и больше, но не хочу ломаться. Телевизор купил цветной. — Василий вдруг испугался, что его уличат во вранье, и добавил: — Как антенну поставлю, приходите смотреть. Ни у кого в деревне цветного нет.

— Спасибо. Только нам в городе телевизор житья не даёт.

— А вы здесь отдыхаете...

— Да, в отпуске.

— Большой отпуск?

— Сорок восемь дней.

Василий присвистнул:

— Это кому же столько дают?

— Учителям.

— И муж тоже?

— И муж.

Василий прикурил от окурка вторую папиросу. Учительница, значит. Он посмотрел на пухлые руки

соседки, перебивавшие в тазике детские одёжки. Сам бы и не догадался. Культурная, значит. А он-то разлетелся...

Из дома вышел муж, тоже поздоровался, присел на другой конец скамьи.

— Поговорить зашёл, по-соседски, — сообщил Василий.

Дачник вопросительно посмотрел на него.

— Вот вы ходите, — продолжал Василий, — знать меня не хотите...

— Почему же, мы со всеми здороваемся.

— Это вы так, а я по-человечеству. Я такой, прогоните, уйду и не подойду больше никогда...

— Разве вас гонят? — сказала женщина.

Василий, не докурив, смял папиросину, достал новую.

— Я ведь тутошний, — сказал он, забыв, о чём говорил только что, — вот вы уедете, а я останусь. Если что надо достать или привезти, то я запросто, вы только скажите.

— Спасибо.

— На всю деревню только я да Нюркин Иван. Но Иван ничего делать не станет, не надейтесь. А я могу!.. Всё!.. И если меня кто обидит, я тоже никогда не прощу. Ничего не скажу, но не прощу. Я тут остаюсь в деревне единственный. Меня уважать надо, а то я и поджечь могу...

Сказал и сам испугался своих слов, поняв, что не туда завёл пьяный язык. А дачник словно не обратил внимания. Пожал плечами, спокойно спросил:

— За что же нас жечь? Мы, кажется, никому зла не сделали.

Василий встал, держась за столбик ограды.

— Пойду я, — сказал он, — у меня ещё дела по хозяйству. А вы, когда надо, сразу мне говорите, я помогу.

Войдя в дом, Василий зажёл свет и обвёл взглядом большую комнату, ту, в которой жил. Дощатый стол, рядом одинокая табуретка, тюфяк с сеном на кровати — вот и вся обстановка. Даже простыней нет, а он — гостей звать! Да какие там простыни, веника в доме и то нет... Василий, шаркая по полу стоптанными кирзачами, принялся сгонять в угол валяющиеся всюду окурки. Но тут же остановился, поражённый простой мыслью: а ведь позови он сейчас соседей в дом, они бы не пришли. Мужик, может, и зашёл бы из приличия, а она — нет.

— Культурные!.. — пробурчал он, косо сел за стол и потянулся за бутылкой.

К декабрю работы на току закончились, и Василия отправили сначала в отпуск, а потом в отгулы, которых он много заработал в пору сенокоса. Свободное время Василий сидел дома. Скучал. От тоски даже пробовал искать баб-Машин клад: рылся на чердаке, ковырял землю в пустом подполе. Ничего не нашёл. Потом съездил в Доншину, постоял возле винного. Водку давали по талонам, а свои талоны он пропил давным-давно. Вернулся домой ни с чем.

И дом уже не радовал Василия. Неуютен был и гадок, весь провонял грязным бельём и табачной копотью. Главное же, не принёс ни уважения, ни счастья. Тысячу раз прав был Селёха. Лучше без дома, да на людях. Как когда-то: он стоит среди клуба, а парни, теперь уж почти все разъехавшиеся в Дно, Псков, а то и в Ленинград, толпятся вокруг, уважительно задают один и тот же вопрос:

— У тебя чо, верно, трактор в бочажине утоп?

А он отвечает, сплёвывая на пол:

— Спрашиваешь тоже...

Знала бригадирша, чем достать его. Упекла в гнилое Замошье. И не в деревню даже, а на выселки. Где тут деревня?

Василий вышел из дому. Вроде не поздний час, а на улице темень и тихо как на кладбище. Спят старухи. Им теперь до самой могилы больше делать нечего.

На огороде в рассеянном свете, пробивающемся через застрехи, шевельнулась тень, красными искрами мелькнули глаза. Никак волк? К самому дому вышел, не боится. Василий попятился к дверям. Тень пропала. На том конце деревни смертно затосковал, заливаясь, Рыжок — Ванькин пёс. Господи, далеко как! Сквозь ветви облетевших слив смутно угадывается Фешин дом. Давно уж заперт, уехал дачник, сейчас небось в городской квартире с женой жирует... А дальше — одна пустошь за другой, камни да одинокие старые ивы, когда-то посаженные у окон. За ними опять заколоченные дома с завьюжинами снега вдоль стен. Лишь затем Настин дом — и снова пустыри. Дом Маши-хромоножки, Панькина изба — редкие с промежутками островки тепла, и в каждом одинокий человек среди четырёх стен. А самый одинокий, последний человек — он. За ним только лес и мох, ветер метёт снежную крупку по натянутой простыне болота, и волки выходят к дому, словно здесь никогда не было людей.

Василий понял, что больше так не выдержит. Ему надо, чтобы вокруг были люди, стояли, смотрели на него, с криком бежали со всех сторон.

— Я тут! — хотел крикнуть он, но горло не издало ни звука. Отвык.

Василий спешно вернулся в избу, выдернул из кучи ветоши в сенях какую-то тряпку, щедро смочил её керосином из канистры и пошёл через сад к соседнему дому.

— Я же тебя предупреждал, — бормотал он. — Я же говорил...

Приставил к стене случайный чурбачок, взгромоздился на него, пропихнул тряпку в застреху и чиркнул спичкой. Керосин сразу взялся большим пламенем. Волк, шедший за Василием следом, шарахнулся в сторону.

Василий бегом вернулся к себе. Ничего, следы в саду затопчут, и тряпка прогорит, следа не останется. Василий спешно мыл руки, ежесекундно ожидая за домами до озноба знакомый крик. Торопливо намыливал пальцы затвердевшим хозяйственным мылом, оттирал с ладоней предательский запах, смывал ледяной водой. Покрасневшие пальцы задубели и не гнулись. Сквозь узкое оконце в сенях давно уже врывался красный пляшущий свет, а деревня всё молчала, ни единого звука не долетало к нему, словно и впрямь он оставался последний человек.

MONSTRUM MAGNUM



темноте орали лягушки. Их страстное кваканье, бульканье, трели перекрывали и шум деревьев, и ровный, ставший фоном жизни рокот реки, пенящейся на камнях неглубокую, но стремительную воду. Но сейчас ночной гомон, так мучающий на юге приезжего человека, сливался в единый оркестр, а гитара, звеневшая у костра, солировала в нём, придавая мелодии определённую.

Сухие стебли плюща сгорали мгновенно и жарко, сидеть рядом с огнём было попросту невозможно, все отодвинулись в темноту, растворились в ней, лишь лица белели нечёткими пятнами.

Антон, подсев ближе к гитаристу, пел, напряжив до предела горло, стараясь как можно выше выводить звук:

По пустым площадям
Мы обнявшись идём...

Магна расположилась где-то позади, тьма полностью скрыла её, оставался лишь голос — тёплый и

низкий, удивительно обволакивающий рвущийся тенор Антона.

— У меня для тебя... — звал Антон.

— У тебя для меня... — вторила Магна.

— Много есть нежных слов...

— Много есть тёплых слов...

Эту песню они всегда пели вдвоём. Остальные молчали и слушали. Каждый раз Антону казалось, что замолкнет последний звук, но останется радостное чувство единения и близости, но едва песня кончалась, Магна словно отодвигалась от него, становилась непостижимо чужой.

Отцвела песня, опал костёр. Лоза прогорает быстро. Народ начал разбредаться по палаткам. Хотелось бы посидеть у костра ещё, но завтра рано вставать, расписание в экспедиции жёсткое: в шесть утра надо быть в поле, поскольку через два часа после восхода растительное сырьё собирать уже нельзя.

Антон тоже поднялся, огляделся и заметил на фоне тёмного неба чёрный силуэт. Чей-то фонарик, вспыхнув среди палаток, ослепил глаза, но Антон успел узнать Магну. Она медленно шла к дороге, извивающейся вдоль реки. Чертыхнувшись и прикрыв ладонью бесполезные глаза, Антон поспешил следом. Зрение постепенно вернулось, снова впереди замаячила тонкая фигура. Антон догнал её, несколько шагов молча прошёл рядом.

— Ну? — произнесла Магна.

— Хочу с тобой рядом пройти, — сообщил Антон. — Можно?

— Нет.

— Я же не чего-то такого прошу... — начал оправдываться Антон.

— Чего-то такого я бы тоже не позволила.

— Почему? — ляпнул Антон и тут же осознал весь идиотизм своего вопроса.

— Знаешь, — сказала Магна, — а ведь твоё имя тоже расшифровывается. «Ан» — частица отрицания, «тон» — и есть тон. Антон — человек лишённый музыкального чувства.

— Неправда! — запротестовал Антон. — Мы же так пели...

— Это там, на виду. Ты же прямой как рельс, потому и ведёшь первый голос. А в жизни чаще нужны подголоски, только ты этого не умеешь. Одно слово: Ан-тон.

«Обиделась, — решил Антон, — за *monstrum magnum*. Болван я!»

Сколько раз уже подводил Антона невоздержанный язык! И сейчас — то же самое: сидели у костра, трепались, случайный разговор коснулся значения имён. А как миновать эту тему, когда рядом черно-волосая красавица с таинственным именем Магна, в которую слегка влюблены и за которой слегка ухаживают все парни экспедиции, но на более близкие отношения не осмеливается претендовать никто?

Что значит имя Магна? Сразу вспомнили слово «магия», кто-то пошутил насчёт «магмы» и вулканического темперамента. Но вмешался в разговор Антон, объяснил, что «магна» по-латыни — великая, и привёл нелепый пример: *monstrum magnum* — великий монстр, владыка чудовищ. А о себе с гордостью объявил, что этимология его имени неясна. Короче, покрасовался, распустил павлиний хвост, и вот — готова обида.

— Магна, — позвал Антон, — да не сердись ты, ну пошутил неудачно, а ты сразу дуться...

Никто не ответил — за секунду до того, как он начал говорить, Магна шагнула в сторону и растворилась в темноте мгновенно и беззвучно.

Антон беспомощно оглянулся. Никого. Вокруг бархатная тьма, редящая к зениту, а позади, как

маяк, багровое пятно кострища, да пара фонариков мечется по лагерю — студенты укладываются спать.

Теперь обида багровым маяком зажглась в груди Антона. За что, спрашивается, такая непруха? Да не влюблён он в Магну, не влюблён... Досадно другое: почему именно с ним происходит такое, проклятый он, что ли? Ни одна девушка ни разу не обратила на него внимания, не выделила среди остальных, словно он не человек, а так, статистическая единица. Неужели у него на лбу написано, что он не такой, как все, и достоин лишь насмешки?

Антон, сглатывая копящуюся в груди тяжесть, лез по склону. Он давно потерял дорогу, под ногами скрежетал щебень. Потом он ворвался в заросли, и колючки разом охладили пыл, разогнали огорчения и заставили думать о насущном.

Антон остановился, начал в растерянности осматриваться. Не было ни костра, ни огней, и реки не слышно, одни цикады разливаются в зарослях. Антон попытался брести наугад, надеясь выйти к реке и по ней спуститься к лагерю, но ветвь терновника остро мазнула по щеке, и Антон остановился, опасаясь лишиться глаз.

Оставалось звать на помощь.

— Э-гей! — неубедительно крикнул Антон, но тут же понял, что дальше вопить не стоит, всё равно никто не услышит. И отсутствия его в палатке не заметят, в крайнем случае решат, что прибилась парень к соседкам, — Антон нервно усмехнулся, — это он-то!

— Гей!! — в отчаянии рывкнул он в темноту, но, не услышав отклика, уселся на жёсткую землю ждать света.

То ли Антон умудрился в этих условиях задремать, то ли ночь просто выпала из памяти, но только

вокруг неожиданно быстро посерело, обозначились пологие склоны, из темноты выступили кусты, появилась возможность видеть.

Антон поднялся, попрыгал, разминая затёкшие ноги.

Местность вокруг была незнакомой, но Антона это не смутило. Ещё ночью он решил, что следует спуститься к реке, а потом уж по бережку добираться к лагерю. Вряд ли ночью он сумел умотать больше чем на километр. Антон направился вниз и действительно через пять минут вышел к реке. Вода привычно кипела на камнях, и Антон ещё успел подумать, что речка здесь шире, чем у лагеря, хотя лагерь должен стоять ниже по течению.

Потом он увидел мост.

Мост был мраморный. И резной. Весь целиком. Но самое главное — он никуда не вёл. Белая дуга повисала над рекой и упиралась в грязно-серую известковую скалу.

Антон в растерянности подошёл ближе. Уже достаточно рассвело, и Антоновым глазам ясно представало узорчатое неправдоподобие моста. Выточенные из единого камня листья плюща, гроздья винограда, небывалые плоды, младенцы-сатиры, чьи смеющиеся личики мелькали среди хрупкой листвы, а рожки на детских лобиках торчали смешно и задорно. Всё было новым, без единой царапины, словно только что отполированным. Даже там, где у других мостов находится проезжая часть, искрилась убийственная в своей бессмысленности искусная резьба.

Антон снял сандалии и ступил на мост. Гладкий мрамор охлаждал босые ноги. Антон шагал осторожно, выбирая те места, где змеились арабески, и с ужасом представляя, как от одного неловкого шага может хрустнуть под ногой точёный мраморный цветок. По

мосту явно было нельзя ходить, да и не вёл он никуда, но глухой обрыв того берега тянул подобно магниту. Скала поднималась с отрицательным дифферентом, вздыбленные пласты камня косо падали к воде, мраморное кружево на половине завитка вливалось в искрошившуюся стену.

Здесь, в самом конце невероятного тупика, Антон увидел следы. Влажные контуры босых ног чётко обозначались на матовой поверхности. Следы были небольшими, узкая ступня могла принадлежать только женщине, и вели следы к берегу. словно неведомая дама выпорхнула из известковых плит и, роняя с мокрых после купания ступней капли воды, перебежала на противоположный берег. Первый след тоже наполовину остался в камне, лишь кончики пальцев отпечатались на сухом мраморе.

Антон ткнул кулаком в скалу, желая убедиться, не мерещится ли ему эта вполне обычная каменюка. Рука неожиданно не встретила опоры, Антон покачнулся и опрокинулся в серую мглу.

Открыв глаза, Антон обнаружил себя на площади. Он точно знал, что не терял сознания и не спал, он отчётливо всем телом ощущал, как потерял только что равновесие, как проскользнула под босой ногой полированная мостовая, как окунулся в серое... а дальше увидел, что лежит на земле, кисти рук ушли в мельчайшую горячую пыль, и спину припекает высоко стоящее солнце.

Это была поселковая площадь. Проезжая через кубанские степи, они видели немало таких деревенок. Одноэтажные домики, так густо побелённые, что не разобрать, из чего они построены, окружали круглую площадку. Обычно посреди такой площади высился щит с каким-нибудь патристическим лозунгом, выцветшим под беспощадным

и аполитичным солнцем. Майданчики эти всегда бывали пусты, и облако пыли от проехавшей машины часами недвижно висело в жарком воздухе.

Всё это мгновенно мелькнуло в памяти, едва Антон ощутил свои руки, тонувшие в текучей пыли. Перед ним плотно смыкались домики, в открытых окнах сплосняком белели задёрнутые занавески. По периметру площадь была обсажена серыми пирамидальными тополями и шелковицами. Абсолютно привычная картина. Вот только где он и как сюда попал?

Антон поднялся, попытался выбить ладонью пыль из одежды, но сразу понял безнадёжность своей затеи. Джинсы, бобочка — всё было в грязи. Вообще вид у Антона был подозрительный, так что проходивший через площадь мужчина покосился на памятную Антонову фигуру и довольно отчётливо пробурчал себе под нос:

— Ещё бродяга, носит их тут...

— Скажите, куда я попал? — обратился Антон к пешеходу, но тот уже удалялся, сердито размахивая туго набитой кожаной папкой.

Антон хотел догнать прохожего, но, развернувшись, замер.

Там, где должен был бы торчать щит, разрисованный знамёнами и оклеенный передовыми физиономиями, высилась башня. Старинное оборонительное сооружение, круглое и безоконное, всем неприступным видом опровергало само себя. Ничего подобного нет ни на Кубани, ни в северных предгорьях Кавказа. Оставалось надеяться на галлюцинацию или считать, что его каким-то образом занесло в Закавказье.

Антон покусал губы, желая убедиться, что не спит. Осторожно ступая, подошёл к зияющему проё-

му башенного входа. Внутри он готовился встретить что угодно: загаженную пустоту, поселковую контору, краеведческий музейчик или кооперативное кафе. Но увидел обычную жилую комнату. Не защищённый от уличных взглядов и пыли ни дверь, ни даже занавеской, предстал перед ним чей-то дом. У стен из ноздреватого известняка стояла богатая двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, оттоманка с двумя подушками и валиками по краям, сервант, уставленный разнокалиберными подарочными чашками, застеленный кружевными салфетками комод, на котором высился мраморный ночник и располагались фигурки, представлявшие крыловский «Квартет». Всё это уютно пряталось в полутьме, лишь круглый стол, застеленный льняной скатертью, выдвинулся на свет, ближе к дверному проёму, высокому и полукруглому, словно вход в туннель.

Несомненно, в реальности такого быть не могло, и Антон, уже не скрываясь, вцепился зубами в запястье. Потом нащупал болевую точку в основании большого пальца и нажал так, что слёзы выступили из глаз. Ничего не помогало, идиотский сон продолжался.

— Гость пришёл! — раздался сзади мягкий женский голос.

Антон обернулся. За спиной стояла розовая старушка. Она была низенькой, немного полноватой, а одета в розовое платье с оборками. Серые волосы уложены в аккуратные букли и прикрыты розовым кружевным чепцом, какой разве что в кино увидишь. Губы, сложенные в умильную улыбку, подкрашены в тот же розовый цвет, а щёчки с ямочками, бывшими, должно, полвека назад очаровательными, покрывал бледный старческий румянец.

— Простите... — Антон попятился в сторону, но старушка ухватила его за рукав, повлекла в распахнутую комнату, приговаривая:

— Гость, гость дорогой!

Антон шёл, ничего не понимая. В башне оказалось удивительно прохладно, раскалённую уличную жару словно отрезало на пороге. И так желанна была прохлада, что Антон, прекратив внутреннее сопротивление, позволял усадить себя на диван и принялся отхлёбывать вишнёвый компот из чашки, неведомо как очутившейся в его руках.

Хозяйка порхала от стола к серванту и обратно, повторяя словно припев:

— Радость-то какая! Гость дорогой!

— Скажите, — прервал её излияния Антон, — где я? И как сюда попал?

— Зачем? — улыбаясь, ответила розовая старушка. — Я в чужие тайны не заглядываю. Пришёл гость — и живи. А как пришёл — это твоя тайна.

Пока Антон пытался осознать ответ, старушка быстро вышла, оставив Антона одного. Он сидел на оттоманке, переводя взгляд с предмета на предмет. Над головой на высоте пятнадцати метров скрещивались балки перекрытий и виднелись серые плиты природного шифера, которым была крыта башня. Лишённая потолка комната казалась бутфорской. Не покидало ощущение, что мебель, стены, домики на улице и деревья нарисованы на кусках фанеры, а сзади у них приколочены подпорки, чтобы не упали от неловкого толчка.

Антон подошёл к выходу. Площадь пребывала в сонной неизменности снесты. Давешний мужчина в светлом пиджаке и при галстукe шёл теперь в обратную сторону. Казалось, он вязнет в неподвижной жарe. Взгляд у него был снулый и не выражал ничего, кроме усердия в топтании пыли. Не хотелось

встречаться с этим человеком, ничего он, конечно, не скажет, а вот документы спросить может, поскольку весь облик говорит о его начальственном происхождении. Документов у Антона не было, и с мелким начальством объясняться он не хотел, пока сам не разберётся, что к чему. Антон отшагнул в комнату.

Здесь он заметил телефон, стоящий у самого входа на маленькой полочке. И, словно дождавшись, чтобы на него обратили внимание, телефон затренькал. Звук был такой знакомый, родной и домашний, что Антон поднял трубку прежде, чем сообразил, что не знает здесь никого и ничего не сможет ответить абоненту.

— Алё, — сказал он.

— Тётя? — зазвенел в трубке девичий голос. — Это я, Магна. У меня всё нормально, добралась хорошо...

— Я не тётя! — рявкнул басом привычно расшвиравший Антон. Его постоянно принимали по телефону за женщину. И лишь через секунду он понял, что ему сказали, и заорал, боясь, что Магна повесит трубку: — Магна, ты? Это Антон говорит. Я тут влип в какую-то дурацкую историю...

— Антон? — Голос Магны изменился. — Откуда ты там?

— Не знаю! — страдальчески закричал Антон. — Там мост какой-то нелепый, а потом деревня...

— Следил? — недобро спросила Магна.

— Да нет, ты ушла, а я заблудился и вышел к реке, а там мост...

— Ладно. — Казалось, Магна приняла решение. — Хныкать будешь потом, а сейчас слушай и запоминай: сиди там тихо, ни на что внимания не обращай, ни с кем, кроме тётки, не разговаривай, да и с ней лучше тоже... И не бойся ничего, там

никто ничегошеньки тебе сделать не сможет, если сам не полезешь. Понял? Я приду за тобой через две недели.

— Как через две недели?! — взывл Антон. — Мне сейчас надо!

— Ты с ума сошёл? Сейчас день стоит.

— Что же мне — до ночи ждать? Ты объясни, куда идти, я сам дойду.

— Никуда ты не дойдёшь! — отрезало в аппарате. — Попробуй, если нервов не жалко. И ночью не дойдёшь. Этой ночью новолуние, кто же при ущербной луне мост строит?

— Так там вправду мост был? — опешил Антон, уже почти убедивший себя, что хотя бы мост ему померещился.

— Ты и впрямь как рельс, — сказала Магна. — Прямой и звону много. В общем, слушайся тётку и жди, пока я за тобой приду. А из башни лучше всего не выходи. Целее будешь.

— Через две недели экспедиция уедет!

— И слава богу. Ни с кем объясняться не придётся. И угораздило тебя... Шефу я совру что-нибудь, а вот что ребятам говорить — ума не приложу. Ну, будь...

— погоди!.. — взмолился Антон, но в трубке уже коротко гудело.

Антон грохнул трубкой и выбежал на улицу. Его трясло от негодования. Две недели сидеть, ожидая какую-то фазу луны! обойдёмся и без луны, и без мраморных мостов. Вброд через речку, не сахарный, не растаю.

На улице Антон остановился, выбирая, в какую сторону идти. Обычно с майдана расходилось пять, а то и семь улочек, и угадать, какая из них выведет на шоссе, было непросто. Но здесь не оказалось ни одного проулка. Палисаднички переходили друг

в друга, заборы из штакетника смыкались, образуя правильный круг. Дома отгораживались опущенными занавесочками, и на стук никто не отвечал. По ту сторону домов росли деревья: вишни и дикий абрикос-жерделька. За деревьями угадывались какие-то холмы, а может, это только казалось.

Прыгать через заборы и лезть чужими огородами не хотелось, и Антон решил всё-таки найти кого-нибудь и расспросить о дороге. Он огляделся и увидел, что площадь который уже раз за это время пересекает гражданин с бумагами.

— Эй! — закричал Антон и, пыля сандалиями, побежал наперерез.

Мужчина, не обращая внимания на крики Антона, промокнул залысины большущим платком и скрылся за башней. Антон запыхтел следом, огибая круглую стену. На той стороне никого не было. Зато у самой стены Антон обнаружил пристройку. Каменный сарай явно позднейшей постройки лепился к крепостному боку. И так же как в башне, у сарая зиял вход, на этот раз обычный прямоугольный проём.

Антон шагнул туда.

Потом он шагнул обратно.

— О-уй!.. — выдавил он с подвывом. — Убили...

Склеп был перед ним, а не сарай. Каменный пол пересекали три глубокие ниши как раз в рост человека. В крайней из этих могил, ярко освещённая заглянувшим в проём солнцем, лежала мёртвая хозяйка. Платье с оборками, розовый чепец, букли, румянец, даже улыбочка — всё было как полчаса назад, но холодная восковая застылость с одного взгляда позволяла угадать труп. И, чтобы довершить картину, могила в обрез с землёй была затянута прозрачным целлофаном, словно коробка с кооперативными пирожными.

— Гость дорогой! — мурлыкнуло сзади.

Антон стремительно развернулся. Перед ним живая и невредимая стояла хозяйка.

— Та-ам!.. — проблеял Антон, тыча через плечо пальцем.

— Посмотреть пришёл, — разулыбалась хозяйка. — Посмотри. Здесь мои родители похоронены, все трое, только третий беспокойный достался, ни-когда его на месте нет.

Антон, не дожидаясь приглашающего жеста, повернулся к склепу. Покойница лежала, скрестив пухлые ручки на груди, в такой же позе стоял над ямой её двойник, можно было решить, будто хозяйка отражается блестящей целлофановой плёнкой — или это вода налита вровень с землёй?

«И ничего удивительного, — уныло размышлял Антон, — может, у них принято хоронить около дома. А что похожи — так тётка сама сказала, что это её родители — все трое. Так что — ничего удивительного».

Антон стоял, прислонившись плечом к кладке, опустив погашенный шоком взгляд на могилы. Одна из них и впрямь была пуста, а в центральной находился ещё труп — давний, полуразложившийся. Одежда его превратилась в лохмотья, сквозь прорехи проглядывали обнажившиеся кости. Свалявшиеся ключья волос и бороды отпали и лежали отдельно. Но даже сейчас при взгляде на эту кучу тлена оказывалось видно, насколько силен и велик был умерший. Тело не уместилось в нише, ему там было, очевидно, тесно, так что Антон принял за само собой разумеющееся, когда истлевший остов начал судорожно выгибаться, пытаясь сесть и выбраться наружу. По масляной целлофановой поверхности пошли волны.

Не было здесь ничего невероятного или жуткого, всё происходило удивительно буднично, только

странно становилось Антону, что так спокойно он созерцает, словно не с ним это творится, а просто крутят по видео западный триллер, а он, заплативши рубль, проводит перед экраном свободный час.

Медленно, не потревожив плёнки, поднялась копия хозяйки, перегнувшись в соседнюю яму, неслышно шепча что-то успокаивающее, уложила бьющийся скелет, сложила ему на груди фаланги пальцев, пристроила к обнажившейся челюсти колтун бороды, потом, слепо скользнув по Антону закрытыми глазами, вернулась в свою могилу, замерла в покойной благодостной неподвижности.

— Старички мои родимые, — произнесла хозяйка. — Жили себе, а потом померли. Сирота я.

Хозяйка ухватила бесчувственного Антона за руку, повела в башню. Антон шёл, старательно переставляя ноги. Потом сказал:

— Нельзя так.

— Чего нельзя, гость дорогой? — всполошилась хозяйка.

— Нельзя могилы открытыми оставлять, — назидательно произнёс Антон, — а то как же получается — такое на всеобщее обозрение? А если дети увидят? И вообще — нельзя!

«Что-то я не то говорю», — устало отметил он про себя.

Но старушка ничуть не была ни удивлена, ни возмущена.

— Так они же закрыты! — воскликнула она и потащила Антона обратно.

Больше всего не хотел Антон возвращаться в склеп, но шёл послушно, не имея сил сопротивляться. Хозяйка подтолкнула его к проёму. Все три могилы были наглухо задвинуты тяжёлыми чёрными плитами, которых ещё минуту назад не было и в помине.

— Ну как, нравится? — спросила хозяйка, выглядывая из-за плеча.

— Нравится, — попугаем отозвался Антон.

— Одно беда, гостенёк, с родителем-то с третьим как быть? Придёт, сердечный, а могилка-то заперта...

Антон молча двинулся в уличное пекло. Он вдруг осознал себя не просто действующим лицом неприязненной комедии, а человеком, с которым всё это происходит. Исчезновения, башни, двойники, ожившие мертвецы. Даже если предположить, что он сошёл с ума, то такая яркая галлюцинация запросто убьёт его. Где-то поблизости бродит ещё один «родитель»... Антон затравленно огляделся: никого, лишь мужчина с папкой вновь пересекает площадь; парусиновый пиджак на спине потемнел от пота. Может быть — он?

— Это наш председатель совхоза, — певуче пояснила хозяйка. — Всё по делам, горемычный, то ропись и не отдохнёт никогда...

Антон оторвался от голоса, нырнул в башню. Магна сказала ему сидеть здесь, наружу не выходить и ни с кем, кроме тётки, не разговаривать. Однако родственнички у неё — не приведи господь! И впрямь *Monstrum magnum* — великое чудище! В самый раз подгадал он со своей этимологией. А с чего он взял, что здесь будет в безопасности? Магна сказала? Так она ещё сказала две недели ждать... И вообще, может, это вовсе и не она звонила...

Антон подошёл к телефону, решительно набрал 02. Трубку сняли.

— Милиция? — спросил Антон.

— Во псих! — произнёс в ответ дребезжащий голос, и загудел отбой.

Звонить не имело смысла.

Антон опустился на кушетку, тут же вскочил, присев на корточки, заглянул в пыльную темноту под сиденьем, сунулся под кровать, под стол. Кто скажет, откуда может появиться очередная напасть?

Переступая дрожащими ногами, Антон подошёл к выходу. Никого. Антон глубоко вздохнул и, пригнувшись, перебежал через площадь. Надо уходить отсюда, пока его никто не видит. Потом может оказаться поздно.

Зацепившись штаниной за штакетину, он полез через забор и поскакал между грядок. С той стороны огорода тоже торчала ограда. Беглец преодолел её и очутился во дворе дома. На мгновение возникла мысль постучать уже не в ставень, а в двери дома и расспросить о дороге, но Антон отверг искушение и направился дальше. Он заносил ногу, чтобы лезть через следующий заборчик, когда из будки возле дома выползла собака.

— Вор пришёл, — сказала собака.

Псина была здоровая, настоящий волкодав, но вместо морды приветливо улыбалось человеческое лицо.

— Радость-то какая — вор пожаловал! — говорила собака, торопливо стягивая цепь.

Антон взвизгнул и, прочертив штакетником пузо, свалился в гряды. Он мчался, сминая плантации кинзы и помидор, сигал через заборы, и в каждом дворе число преследователей увеличивалось, уже целая свора с заливистым лаем неслась по пятам. Лишь первая из собак оказалась с человеческим лицом, остальные были обычными лохматыми зверюгами, они неслись, чуть видные в стремительно сгущавшихся сумерках, лишь клыки блестели в свете молодой, чуть народившейся луны.

Антон уже ничего не соображал, он задышался, сердце колотилось в горле, наполняя горечью рот.

Ноги подкашивались, но ещё несли его, движимые одним животным ужасом.

— Вор! Вор! — влаивали за спиной псы.

Огороды резко кончились, впереди встал тёмный контур башни. Антон, едва не сбив с ног бредущего председателя, вкатился в проход. Краем глаза он ещё успел заметить, что псы с людоликим вожаком рвут председателя совхоза, а тот слабо орёт и отмахивается кожаной папкой. Покружив по комнате, Антон залез в шкаф и попытался закрыться изнутри.

Дверцу шкафа неожиданно и сильно дёрнули, Антон вывалился наружу. Перед ним стоял насупленный председатель. Свою потрёпанную папку он держал двумя руками, словно дубину.

— Гражданка Монструм здесь проживает? — спросил он.

— Я... не знаю... — выдавил Антон.

— Вот как? — Председатель уселся на оттоманку. — А вы кто, собственно, будете?

— Я... живу тут, — Антон не знал, как объясняться. — Гость я. Я в экспедиции был и заблудился. Скажите, как мне назад попасть?

— Ясно... — протянул председатель и раскрыл папку. — Гость, значит. За свет она, получается, не платит, а квартиру, видите ли, сдаёт. Сколько вы ей, выходит, в сутки отдаёте?

— Да нисколько! — закричал Антон. — Я здесь случайно. Мне в лагерь надо.

— Так она, выясняется, случайным людям сдаёт, да ещё, так сказать, лагерникам! А потом, спрашивается, почему в посёлке хулиганства происходят? — Председатель поглядел на разодранный рукав пиджака. — Кому-то, стало быть, неизвестно, что собак с цепи вечером спускают. Обнаруживается, что кое-кто днём спускает — и нате вам, пожалуйста! —

Председатель ткнул папкой в тьму на улице. — А я ещё, к вашему сведению, не обедал.

— А я и не завтракал, — сказал Антон. Страх перед председателем прошёл, Антон понимал, что этот человек ничем ему не повредит и не поможет. — Вы бы лучше, чем с бумажками гулять, разобрались, что у вас происходит. Мертвецы бродят, собаки разговаривают...

— Раз бродят, — отрезал председатель, — следовательно, им позволено. Не иначе как мною и позволено, ибо я тут председатель совхоза, и без моего ведома здесь бродить, пардон, нельзя.

— Вошь ты затухлая, а не председатель! — заорал вдруг Антон. — Гады вы все, гады! И ты всё врёшь! Не бывает у совхоза председателя — директора в совхозах, а за вашу чертовщину вы ещё ответите!

Наконец Антон встретил хоть кого-то, с кого можно было спросить за ужас минувших часов. Антон размахнулся и ударил председателя в лицо. Кулак врезался словно в подушку, не причинив никакого вреда. Антон бил ещё и ещё, председатель лениво уклонялся, и удары падали в пустоту. Антон бесновался, размахивая кулаками, председатель же, словно ни в чём ни бывало, продолжал беседу:

— Прежде, разумеется, были директора, их, как известно, сверху назначают. Теперь же начальство вроде как избирают, а это, кажется, совсем другая должность. Впрочем, мне пора. А вам, так сказать, желаю спокойной ночи, — председатель кивнул снисходительно и канул за порог.

Антон остановился. Только теперь он понял, какую глупость совершил, бросившись с кулаками на собеседника. Председатель ушёл, оставив Антона один на один с ужасами нагрянувшей ночи.

В башне сгустилась темень, но не уютная домашняя темнота, а враждебное отсутствие света. Казалось, кто-то сидит рядом, пригнувшись стоит за буфетом, ждёт под неразобранной кроватью. Округло светлел выход на площадь, и там, уже не скрываясь, начиналась ночная жизнь. Целлофаном разливался ущербный лунный свет, в нём скользили тени, издалека доносился не то вой, не то песня.

Пересиливая себя, Антон подошёл к комоду, нащупал выключатель, щелкнул. Ночник — прессованная из мраморной крошки сидящая сова — засветился изнутри, рассеивая черноту. Потом сова повернула голову, заухла, хлопая каменными крыльями, снялась с постамента и полетела к выходу. Ввинченная в постамент лампочка залила комнату беспощадным светом. Антон, физически ощущая, как разглядывают его сейчас с улицы через огромный, даже занавеской не прикрытый проём, кинулся к выключателю. Фарфоровый квартет на комодке взмахнул смычками и запиликал нечто какофоническое, но, заметив бегущего Антона, музыканты побросали скрипки, виолу и контрабас и с разноголосым писком кинулись к нему. Они лезли в рукава, за пазуху, путались в волосах. Антон отрывал цепкие холодные лапки, швырял фигурки прочь. Звенел разбитый фарфор, дзенькнув, погасла лампа.

Антон перевёл дух, но тут же понял, что успокаиваться рано. Его взгляд упал на площадь.

Сначала могло показаться, что вся она освещена луной, лишь потом становилось ясно, что тонко остриженный ноготок луны не даст столько света. Свет застилал уснувшую пыль, обливал спящие дома и шелковицы, скапливался у порога и медленно просачивался сквозь него. Знакомые, жирно-блестящие целлофановые лужи здесь и там пятнали пол, медленно заливая комнату.

Одним прыжком Антон взлетел на оттоманку, поджал ноги, обречённо глядя на подступающую напасть. Он не знал, что это, но ни за что на свете не согласился бы прикоснуться к светящейся могильной жидкости.

А на улице продолжалось гулянье. Тени оформились, стали определённой. Пробегали улыбающиеся людолокие псы, шествовал некто голенастый, он то и дело останавливался, выхватывая узкой зубастой пастью из мертвеющих луж толстых червей. Черви извивались и плакали детскими голосами.

Антон сидел, загородившись подушкой, не мигая смотрел в дверной проём. Пятна света гипнотизировали его. Вот в поле зрения появились новые фигуры. Рыжебородый истлевший великан шагал, разгоняя круги светящихся волн. Он вёл под руки обеих хозяек — живую и мёртвую, а сзади торопился ещё кто-то, безвидный и полупрозрачный. Группа направлялась напрямик ко входу в башню, к спасавшемуся за диванной подушкой Антону. На пороге они остановились, глазницы рыжебородого уставились на Антона.

— Гость там, — слышались объяснения хозяйки. — Магnochка гостя привела.

— Гость — это славно, — отвечал кто-то плавающим, словно у патефона на исходе завода, голосом. — Тащи сюда гостя.

— Не наш он, — возражала хозяйка, — непривыкший. Магnochка просила поберечь для начала.

— Тогда пусть спит! — Пустые глазницы налились синим, на грани видимости, светом, и это было последнее, что запомнил Антон. Он отключился мгновенно в неудобной полусидячей позе, не сумев даже лечь как следует.

Разбудил его крик хозяйки:

— Гости! Гости дорогие!

Антон вскочил, ужаснувшись мысли, что спал и, значит, был абсолютно незащищен, в то время как рядом, а может, и прямо с ним творились неведомые сверхъестественные непотребства.

Первым делом Антон оглядел башню. В ней ничего не изменилось, только лампочка под мраморной совой оказалась разбита и медведь с ослом поменялись инструментами. Антон подёргал фигурки. Звери были вылеплены, покрыты глазурью и обожжены вместе с инструментами. И тем не менее медведь теперь держал виолончель, а осёл с трудом обхватывал огромный контрабас. Криво усмехнувшись, Антон поставил игрушки на место.

И тут с площади рванул паровозный гудок, а следом вновь хозяйкин вопль:

— Гости дорогие! Приехали!

Антон бросился на улицу, где снова сиял жаркий безоблачный день.

Перед башней, по ступицы утопая в пыли, стоял поезд. Допотопный паровозик с пузатой трубой и три вагончика, вернее платформы, потому что всё остальное было сломано, лишь металлические остовы бывших теплушек ржаво корёжились над платформами. От этого транспортного безобразия направлялась к башне толпа гостей.

Впереди, тяжко ступая кирзовыми говнодавами, шла невероятных габаритов бабища. Ростом под два метра и соответствующей толщины, она была одета в вылинявший ситцевый сарафан, опускающийся до голенищ стоптанной кирзы. Вязаная кофта с засученными рукавами открывала чудовищные ляжки рук, белая в мелкий горошек косынка повязана по самые брови. Под мышкой бабища несла холёного разъевшегося кота. Кот, ничуть не смущаясь неудобством положения, пребывал в позе спящего сфинкса. Розовая хозяйка юлила вокруг, забегала то спра-

ва, то слева и непрерывно твердила свою коронную фразу.

Следом, влекомый собственной музыкой и лишь благодаря ей не падающий, тащился в дымину пьяный гармонист. Он во всю ширь растягивал меха и умудрялся на ходу наяривать что-то разудалое.

Дальше толпой валили гости. Их было много, Антон не сумел рассмотреть ничего, в памяти осталось ощущение потока — орущего, размахивающего руками, пёстрого и одновременно почему-то серого. Может быть, потому, что никто в этой толпе не выделялся и не бросался в глаза.

Процессия прокатилась мимо Антона и скрылась в башне. В ту же секунду оттуда хлынули звуки пьяной оргии. Разливалась гармошка, что-то иное голосила радиолка, громко звенела посуда, невнятно гудели разговоры, перекрываемые выкриками то ли танцующих, то ли дерущихся. Путь в башню — единственное место, где ему, по всей вероятности, не грозила серьёзная опасность, теперь был закрыт.

«Какого чёрта! — Антона вдруг охватило бешенство. — Хозяйка сама поселила его в башне, на две недели отдала башню ему, а раз так, то нечего устраивать там бардаки! Но он им покажет!»

Антон развернулся и, как на приступ, ринулся в башню. Он не очень чётко представлял, как именно и кому он будет «показывать», но «показывать» оказалось нечего и некому. В башне было пусто, прохладно и тихо, а приглушённые стеной звуки пьянки явно доносились снаружи — из склепа. Антон пробежал через раскалённую сковороду площади и нырнул в склеп. Пусто, прохладно, тихо. Ровный каменный пол — и никаких следов вчерашних могил. Шум и рёв несутся из башни.

Антон остался в дверях склепа, бесцельно глядя на площадь. Та млела в пыльной неподвижности

полудня. Здесь ничто не могло меняться, поэтому особенно дико было видеть утонувший в пыли железнодорожный состав. Председатель совхоза с усердием мимического актёра шагал вдоль поезда, не двигаясь с места. Холёный кот, тот самый, которого несла приехавшая баба, вышел из-за башни и улёгся в позе спящего сфинкса в тени вагонных колёс.

Окружающий мир жил по своим неведомым законам, Антон видел, что не сумеет изменить в нём ничего. Он может кричать, плакать, лезть на кулаки, мир этого даже не заметит и по-прежнему будет творить своё мерзостное действие. А когда придёт час, наигравшаяся нечисть расправится с самим Антоном, и всё равно ничего вокруг не изменится.

Антону не стало страшно, бояться он уже устал. Вместо того пришло забытое с детства ощущение драки с бесконечно сильнеешим противником, когда забываешь о правилах и о собственной шкуре, когда остаётся единственная не мысль даже, а чувство: «Меня ударили, а я — нет...» И стремишься только достать и вцепиться. Но во что вцепляться здесь?

— Ненавижу!.. — выдохнул Антон.

Дремлющий в тени кот вскочил, одним прыжком взлетел на платформу, выгнул спину и заплевался в сторону Антона. Поезд мягко дёрнул и, набирая ход, поехал с площади. Неожиданно он оказался очень длинным. Мимо Антона всё быстрее и быстрее проплывали пассажирские и товарные вагоны, чёрные нефтяные цистерны, рестораны и рефрижераторы. Мелькали платформы со щебнем, полувагоны с брусом и досками, беззаконные почтовые и красные пожарные вагоны. Скорость всё нарастала, погромыхивание колёс на стыках сменилось дробной стукотнёй. Проносились пузатые цементовозы, самораз-

гружающиеся тележки и снова целые серии товарных и пассажирских вагонов, уже неразличимых в вихре.

Наконец последний с красными фонарями вагон свистнул мимо, и Антон увидел, что поезд уезжает с площади. Домики разъехались в стороны, открыв перспективу, ограниченную грядой близких холмов. Было хорошо видно, как развивший чудовищную скорость поезд — паровоз и три покалеченные платформы — ползёт по изумрудному склону, постепенно приближаясь к горизонту.

Антон не знал, что происходит, но чувствовал, что это свершается помимо воли хозяев, и потому стоял, замерев в напряжённом ожидании, надеясь, что в башне ничего не заметят.

— Котик уехал! — трубный вопль резанул слух.

Чуть не сбив Антона с ног, из склепа вырвалась приехавшая утром бабища. Продолжая трубить, она помчалась вдогонку поезду.

«Скорее же!» — мысленно понукал Антон поезд. Паровозик послушно рванул, скорость, и без того чудовищная, увеличилась стократно, но на движении это ничуть не сказалось, состав продолжал неспешно ползти. Бабища в несколько громадных прыжков догнала его, вскочила на платформу, ухватила котика, зажав его под мышкой, а потом принялась делать что-то со сцепкой последнего вагона. Поезд поднажал ещё, скорость, с которой он уезжал, превысила всё мыслимое, телеграфные столбы вдоль путей слились в ровную серую ленту, пейзажа по сторонам было не разглядеть, лишь ежесекундно мелькали одинаковые здания станций, мимо которых пролетал состав. Но при этом убегающий поезд начал медленно, словно нехотя, приближаться. Бабища монументом возвышалась на платформе.

Этого Антон спокойно наблюдать не мог. Он судорожно схватил ртом воздух, напрягся, упёрся взглядом в сцепку вагона и истошно, изо всех сил принялся отталкивать его. Должно быть, скорость ещё возросла, просто чувства не умели воспринимать такое. И вновь состав мучительно медленно двинулся вверх по склону.

Бабища завывала. Выронив котика, она двумя руками ухватила Антонов взгляд и принялась выламывать его, пытаясь оторвать от сцепки. Дикая боль вспыхнула в глубине лба под бровями. Антон мычал сквозь сжатые зубы, но продолжал упираться. Он не знал, зачем это делает, просто ему удалось достать обидчика, и он вцепился в него и бил, не раздумывая о причинах. Неожиданно оказалось, что склеп за спиной полон народу: какие-то существа пытались выбраться наружу, и приходилось, раскорячившись в дверях, держать ещё и их. Обе розовые хозяйки лезли с боков, твердя в унисон: «Ай, гость! Ай, гость!» — и щипались мягкими бескостными пальцами. А сверху в пространство дверного проёма ввинчивались длиннейшие телескопические шеи. На их концах серыми мешками болтались головы, с унылым любопытством глазающие на происходящее.

Бесконечно долго подползал состав к гребню пологого холма, и всё это время нельзя было ни отвести в сторону изодранный взгляд, ни вдохнуть полной грудью, ни расслабиться хотя бы на долю секунды. И всё же, когда, казалось, сердце лопнет от перенапряжения, паровоз коснулся колёсами окоёма. Зацепившись, он словно реально обрёл свою призрачную скорость и мгновенно исчез, лишь ударил болезненно в глазницы сорванный взор.

Тогда Антон ухватил взглядом край горизонта и задержал его, словно молнию на куртке.

Потом он шагнул в сторону, выпуская тех, кто был в склепе. Ему было всё равно, что станут с ним делать сейчас. Он всё-таки сумел ударить врага, а остальное его не интересовало.

Наружу никто не вышел, склеп был пуст. Пусто было в башне, пустынно на площади, лишь фигура с кожаной папкой продолжала бессмысленное подвижничество. Антон заметил, что сквозь председателя просвечивают пыльные деревца и голубой штакетник оград.

Антон отёр со лба пот, хотя жарко ему казалось скорее по привычке. Солнце, впаянное в синеву, жгло условно, лишь обозначая понятие жары, но не создавая её. И вовсе не струи горячего воздуха поднимаются вверх, заставляя дрожать и расплываться окружающее, а на самом деле дома, башня, и холмы колеблются, истаявая, словно кусок рыхлого дорожного сахара.

Беспокойство овладело Антоном — он никак не ожидал столь всеобщей реакции на происшедшее.

— Что вы ещё задумали?! — крикнул он и не услышал своего голоса.

Призрачные деревья, выцветшее призрачное небо с солнечным пятаком в зените.

Жуткое подозрение пришло на ум. Антон опустил взгляд и убедился, что сквозь его ноги просвечивает нетронутая уличная пыль.

Дико вскрикнув, Антон бросился в просвет между разошедшимися домами. Под подошвами сандалий тонко зазвенели железнодорожные шпалы.

Сначала Антон бежал. Потом задохнулся и перешёл на шаг. Потом успокоился.

— Всё-таки я победил, — сказал он себе. — Я ушёл из этой проклятой деревни. У меня есть дорога, а дороги ведут к людям. Дойду. Жаль, когда мимо столба пробегал, не посмотрел, сколько там километров. Ничего, у следующего посмотрю.

Идти становилось всё труднее, Антон брёл, стараясь не признаваться, что ноги хуже слушают его. Он упрямо не смотрел вниз, лишь на потемневшее небо, где росла, набухая светом и округляя ущербные бока, луна.

«Уже ночь, — подумал Антон. — Должно быть, кто-то собак спустил».

Луна округлилась, заняв четверть неба. Тогда Антон неожиданно заметил, что рядом идёт кто-то, трясёт его за плечо и кричит:

— Что ты наделал, дурак?! Что же ты наделал?!

— Магна, — сказал Антон. — Пришла. А я, видишь, сам выбрался. Ты не бойся, я их всех победил и уничтожил. Ты знаешь, там такое творилось! Там такие чудовища!..

— Это ты чудовище! — надрывно крикнула Магна. — За что ты их убил?!

— Ты не понимаешь, — пытался вразумлять Антон. — Там всё как есть не по-людски...

— А тебе что до того? Они занимались своими делами, тебя не трогали, а ты... Какое же ты страшное чудовище!

— Ладно, Магна, — примирительно сказал Антон. — Не сердись. Я же не знал. Пойдём отсюда.

— Ну нет! — Магна мстительно рассмеялась. — За всё надо отвечать, миленький. Чтобы сделать то, что ты сотворил, надо принять правила иного мира, стать его частью. Тебя больше нет, ты исчез вместе со всеми. Посмотри на себя!

Антон опустил взгляд и ничего не увидел.

— Нет, — хрипло сказал он. — Я не хотел так. Магна, ты должна мне помочь, ты же не можешь бросить меня...

— Могу, — сказала Магна, — потому что здесь нечего бросать. Прощай.

Она легко пробежала по вспыхнувшему лунному мосту и скрылась. Антон остался один. С трудом переставляя неуправляемые ноги, он двинулся вперёд.

— Оставила, — шептал он, — бросила меня...

Луна погасла, зажглось медное солнце. С каждым шагом Антон двигался всё медленней и неуверенней. Дорога плавно уходила вдаль. Единственным ориентиром на ней был одинокий километровый столб. На нём чернела поваленная набок восьмёрка — символ бесконечности.

«Всё равно дойду, — подумал Антон. — Одним километром уже меньше».

ЧАСЫ



Севодняева остановились часы. Он купил их два месяца назад и с тех пор уже трижды ремонтировал. Теперь они остановились окончательно.

— Дешевле новые купить, — сказал знакомый мастер, возвращая замолкший механизм.

Севодняев покорно забрал часы. На всякий случай он зашёл ещё к двум знакомым часовым мастерам, но получил тот же самый ответ. Нет ничего удивительного, что у Севодняева было столько знакомых часовщиков. Часы у него ломались каждую неделю и непременно требовали капитальной починки. Так что большую часть жизни Севодняев ходил, имея самое смутное представление о течении времени, а приёмщики ремонтных мастерских знали его в лицо.

Часы вообще давно и прочно не любили Севодняева. Свои первые часы Севодняев получил в подарок на шестнадцать лет и проносил ровно один день. К вечеру на запястье болтался лишь целёхонький ремешок, а подарок исчез бесследно.

Ругали за часы долго.

— Подарили вещь, — жаловалась в воздух мать, — так ему непременно надо сгубить!..

Из этого первого урока Севодняев вынес только убеждение, что часы — это «вещь», — но что такой вещью ему никогда не обладать, дошло до него много позже.

С тех пор Севодняеву ещё не раз дарили часы, и сам он покупал их, но конец всегда был плачевен. Часы или терялись, или безнадежно ломались, и их безжизненные корпуса отправлялись в ящик серванта, который с годами всё больше напоминал склад металлолома.

Негативное влияние Севодняева распространялось и на чужие часы. Если родственники или друзья давали Севодняеву поносить свой хронометр, вскоре он уже стоял, и только немедленное возвращение в хозяйские руки могло спасти впавший в коматозное состояние механизм. Бывало, случайный прохожий, к которому несчастный Севодняев обращался с сакраментальным вопросом: «Который час?» — бросив взгляд на циферблат, недоумённо шевелил губами, тряс рукой, подносил её к уху, а потом извинялся:

— Ничем не могу помочь. Мои остановились.

Над Севодняевым смеялись, ему не верили. Потом знакомые, уступая фактам, признавали, что дело неладно, и начинали искать причину. Причин не было. Севодняев отличался аккуратностью, часы не бил и заводил всегда в одно и то же время. Говорили, что он пережимает пружину, когда заводит часы. Тогда Севодняев предлагал эксперимент: пусть скептик сам заводит севодняевские часы в удобное ему время. Обычно эксперимент прерывался на четвёртый день — часы переставали ходить.

Один приятель, слегка свихнувшийся на почве самосовершенствования, объявил, что Севодняев обладает мощным биополем, и посоветовал наклеивать под часы кусочек лейкопластыря. Кисть, стянутая лейкопластырем, болела, а часы всё равно не ходили.

Не помогал и лейкопластырь, наклеенный прямо на корпус часов. Тогда приятель начал таинственно рассуждать, что в присутствии инопланетян часы тоже не ходят.

Севодняев не был инопланетянином. Он хотел иметь нормальные часы, по которым можно узнавать время. Поэтому, сгубив очередной механизм, он вновь пошёл в ближайший универмаг. Деньги на покупку были отложены давно, раньше, чем предыдущие часы первый раз попали в починку.

Знакомая продавщица, увидав Севодняева, приветливо заулыбалась. Когда-то она полагала, что Севодняев так часто появляется в её отделе потому, что влюблён, но потом узнала о его печальной способности и сразу уверовала в неё, поскольку эта способность поддерживала в девушке веру в сверхъестественное и помогала выполнению плана.

Часы, которые продавщица предлагала Севодняеву, неизменно отличались элегантным внешним видом, прекрасно смотрелись на руке, но, к сожалению, были недолговечны. Продавщица ставила свой эксперимент — испытывала на Севодняеве надёжность различных часов и потому каждый раз предлагала изделие новой марки.

— Опять? — воскликнула она.

— Опять, — признался Севодняев.

— Шестьдесят три дня! — радостно сообщила продавщица, справившись по записной книжке.

— Двенадцать дней были в ремонте, — поправил пунктуальный Севодняев.

— Всё равно, результат хороший... А для вас я припасла новинку. — Искры восхищения в глазах девушки потухли, она приступила к выполнению профессиональных обязанностей.

— Но ведь это электронные!.. — вырвалось у Севодняева, когда он открыл коробочку.

— Ну так что? Они теперь в моде, ходят прекрасно, а элемент вам в любой мастерской сменят. Заводить их не надо. К тому же недорогие, стоят как часы марки «Полёт»...

Севодняев взглянул на экранчик. На нём нервно прыгали цифры. Кончиком пальца Севодняев нажал кнопку подсветки. Сбоку мрачно мигнул багровый глаз.

— Ладно... — неуверенно сказал Севодняев, — давайте.

Через несколько дней Севодняев привык к молчащим часам, научился с одного взгляда определять время. Правда, за неделю часы ушли на минуту вперёд, так что Севодняеву приходилось делать в уме поправку. Пользоваться утопленной кнопкой, чтобы изменить показания, Севодняев не решался, боясь испортить их окончательно.

Может быть, именно потому, что часы терпеть не могли Севодняева, сам он не представлял себе жизни без часов. В этих случаях она становилась на редкость пустой и бессодержательной и, собственно говоря, состояла из одного ожидания. Расчёты, которые Севодняев делал на работе, оседали в бумажных зава-лах, не внося никаких изменений в вяло текущий производственный процесс. Так что можно считать, что восемь служебных часов состояли из чая и рассматривания неспешно ползущих стрелок. Те периоды, когда Севодняев лишался тикающего браслета и не мог следить за истаиванием рабочего дня, превращались для него в пытку.

Вечерами и в выходные дни жизнь без часов поворачивалась к нему другой, не менее печальной стороной. Минуты и дни убегали, просачиваясь сквозь пальцы. Пока соберёшься позвонить, пригласить к себе гостей, становится так поздно, что звонить уже неприлично. Хочешь сходить в кино, пусть даже

один, но и тут целый день уходит на то, чтобы собраться, найти по газете кинотеатр с подходящим репертуаром, а потом так никуда и не пойти.

Часы дисциплинируют, в это Севодняев верил свято. Появятся хорошие часы — появится много времени, и жизнь волшебным образом переменится.

И вот часы, кажется, появились. Они работали уже почти месяц, и Севодняев, боясь обмануться в обретенном счастье, исподволь начал готовиться к новой жизни.

В начале декабря Севодняев собрался в гости к бабушке. Бабушку он навещал и прежде, причём часто, потому что она была уже совсем дряхлой и не могла сама таскать из магазина тяжёлые сумки, но в этот раз Севодняев вкладывал в визит особый глубинный смысл. Это был первый официальный выход из дому в новых часах.

Кроме обычной сетки с картошкой, он нёс в подарок кулёк конфет с мармеладной начинкой. Желейные конфеты были бабушкиными любимыми, и сам Севодняев любил их больше других.

Бабушка жила на бывшей окраине города, которая давно стала центром. Здесь было царство старых доходных домов, дворов-колодцев, коммунальных квартир. Здесь властвовал отстоявшийся за десятилетия, неизменный быт. В бабушкиной комнате под выцветшим оранжевым абажуром стояла резная деревянная мебель, многочисленные полочки украшались слониками и фарфоровыми собачками, а посреди комода на кружевной салфетке громко тикал старый, как сама бабушка, железный будильник.

Это были единственные в мире часы, которые не боялись прикосновения Севодняева. Что бы ни происходило, будильник исправно стучал, а его звонок дребезжал ровно в назначенное время, побуждая

юного Севодняева, который в ту пору жил вместе с бабушкой, к непрерывной полезной деятельности. Однажды в припадке неистребимого любопытства семилетний Севодняев по винтику разобрал будильник, но бабушка, вооружившись щипчиками для сахара и отвёрткой от швейной машины, сумела собрать и снова запустить его.

От старости механизм истёрся, однако бабушка быстро заметила, что будильник продолжает работать, если его поставить вверх ногами. Так что последние годы будильник стоял на звонке, и, чтобы разобрать цифры, приходилось наклонять голову, неудобно выворачивая шею.

Бабушка усадила Севодняева пить чай со вкусными конфетами. Чаепитие затянулось до самого вечера, бабушка пересказывала все телевизионные передачи, что видела за последнюю неделю, а Севодняев не перебивал её. Наконец и конфеты, и бабушкины новости кончились, Севодняев поднялся, чтобы идти домой. Скособочившись, глянул на будильник, сравнил время со своими. Электронные часы убегали на две минуты.

— Ещё новые купил? — спросила бабушка.

Она по-хозяйски задрала рукав севодняевского пиджака, критически оглядела электронное чудо и вынесла приговор:

— Модные. Я такие не люблю. Не понимаю, что они там показывают...

Севодняев опустил рукав. На улице был мороз, и Севодняев опасался, что жидкий кристалл застынет.

Выйдя во двор, он окунулся в темноту декабрьского вечера. Фонари горели на улице, а здесь лишь отсветы окон редили мрак. В подворотне Севодняев придержал шаг, чтобы взглянуть на часы. Не мог он отказать себе в удовольствии определить время в полной темноте.

— А часики придётся снять! — прозвучал рядом хрипловатый юношеский басок.

Севодняева ухватили за локоть, чужая лапа полезла в карман.

Севодняев совершенно не испугался. Прежде его никогда не грабили, да и денег у него с собой не было. Происходившее напоминало игру, и Севодняев игру поддержал.

— Я-а!.. — красиво заголосил он, саданул ребром ладони по серевшей на фоне подворотне фигуре и тут же получил ответную плеху в лоб. Севодняев покачулся и впечатался затылком во что-то мягкое. Стоявший сзади взвыл от боли, выпустил левую руку Севодняева и наугад ткнул кулаком. Это уже не был грабёж, в подворотне происходила глупая мальчишеская драка, в которую зачем-то втянули взрослого человека.

Неизвестно, как бы всё это закончилось, но вдруг Севодняев почувствовал, как стал просторным тугой ремешок часов и часы, в которые он уже почти поверил и к которым почти привык, уклонившись от судорожно сжавшихся пальцев, скользнули вниз.

«Раздавят!» — ужаснулся Севодняев.

От страха он замер, но первый же пинок привёл его в себя.

— А-а-а!.. — завопил Севодняев, вслепую размахивая кулаками. Напор был таким неожиданным, что трое юнцов, карауливших среди мусорных баков более смирную добычу, в панике бежали.

Севодняев исчиркал полкоробка спичек, прежде чем отыскал удравшие часы. Найдя, он осторожно поднял беглеца, вынес к свету, осмотрел. Часы показывали нечто несусветное. Менялись не только секунды, но и число, показывающее час, тоже непрерывно мигало, словно его бил нервный тик. Севодняев бегом кинулся к ближайшей мастерской. Ему

казалось, что он слышит скрип и скрежет, доносящийся из электронного тела часов, мнилось, будто каждая вспышка доламывает их окончательно.

Мастер, разумеется знакомый, выслушав несвязную речь Севодняева, усмехнулся, ткнул утопленную кнопку кончиком шариковой ручки, привычно сверился по казённым часам, поколдовал ещё немного, и Севодняев получил свою драгоценность обратно.

— Сколько с меня? — выдавил он.

— Нисколько. Они у вас исправные, я только минуты подвёл.

— А почему тогда мигали?

— Кнопку перевода задели. Или сама нажалась от удара. Часы вообще-то бить не следует. Вам повезло, ваши в порядке, а то эти электрошки иной раз так чудят, что не знаешь, смеяться или плакать...

Клиентов в мастерской не было, часовщик, обрадовавшись возможности развлечься, принялся рассказывать одну историю за другой, а Севодняев стоял, с нежностью наблюдая за бегом секунд. И вдруг ему показалось, что как-то по-особому дрогнули мерно снующие цифры. Вроде бы ничего не изменилось, но Севодняев мог поклясться, что часы с напряжённым интересом прислушиваются к очередной байке мастера. Севодняев поспешно втянул браслет в рукав, зажал его перчаткой, но всё же продолжал чувствовать дрожащие толчки, словно второй пульс проснулся в предплечье.

На следующий день Севодняев опоздал на работу. Вышел из дома вовремя, шёл привычным ровным шагом и... опоздал на двадцать минут. И ровно на двадцать минут отстали часы на руке Севодняева.

«Неужто снова в мастерскую?» — тоскливо подумал Севодняев.

Однако к вечеру «Электроника» показывала время совершенно точно. Весь рабочий день часы

мчались как угорелые, и вслед за ними лихорадочно торопился Севодняев. За день Севодняев подготовил к согласованию нормы расхода пара на единицу продукции, а часы вернули себе славу точного инструмента.

С этого дня между Севодняевым и его часами установилась прочная, хотя и не очень понятная связь. Часы уже не вихлялись на ремешке, не старались незаметно потеряться, они сидели как влитые. Кроме того, больше Севодняев никуда не опаздывал, в ответственные минуты часы были точны, как хорошо вышколенный секретарь. И всё же Севодняев знал, что с часами неладно.

Порой секунды на циферблате засыпали, время цедилось по каплям, и вместе с часами впадал в спячку и их владелец. В такие моменты Севодняеву казалось, что весь мир, взбесившись, галопирует куда-то и догнать его нет никакой возможности.

Иногда же вселенная замирала, один Севодняев оставался нормальным человеком среди всеобщей лентаргии. В недолгие периоды просветления Севодняев узнавал, что его видели стремительно несущимся куда-то.

— Бег трусцой, — вынужденно врал Севодняев. — Очень полезно.

— Ничего себе — трусца, — возражали знакомые. — На рекорд шёл.

Такое положение дел привело к тому, что Севодняев, вместо того чтобы вести, как собирался, активную жизнь, перестал поддерживать какие бы то ни было контакты с другими людьми и остался один. Теперь Севодняев подолгу сидел за столом, наблюдая, как часы откусывают от настоящего одну секунду за другой, превращая их в прошлое. Серый экранчик двадцать на десять миллиметров заменил ему и многих друзей, и развлечения, и даже телевизор.

Иногда Севодняев вспоминал, что надо бы сходить к бабушке, поздравить её с приближающимся Новым годом, но наплывала ленивая истома, и Севодняев оставался за столом.

Новый год Севодняев встречал возле часов. За стеной глухо играла музыка, в окнах дома напротив разноцветно мигали ёлки и голубели пятна включённых телевизоров. В комнате разливался полумрак, цифры на экране различались с трудом. В последний момент Севодняев врубил подсветку. Двадцать три часа, пятьдесят девять минут, пятьдесят девять секунд... Ещё чуть-чуть — и перед Севодняевым выстроился ряд нолей. Вот и весь Новый год.

Правда, где-то в полупроводниковой глубине произошли изменения. Сменилось число, передвинулся месяц. Время идёт, оно уходит, даже если непрерывно смотришь на часы, стараясь поймать его.

Севодняев коснулся выступающей кнопки, чтобы взглянуть на наступивший в часах январь. Ему нравилось манипулировать с часами, сам себе он казался в эти мгновения пианистом или оператором изысканно-сложной машины.

Цифры послушно переменились. Теперь часы показывали число и месяц. Тридцать второе декабря.

У Севодняева больно кольнуло под лопаткой, волной отдало в руку.

Опять ремонт! Опять жить по чужим часам, не понимая, куда уходят твои минуты и годы. Опять мечтать, что вот попадутся хорошие часы, и время перестанет исчезать впустую, и жизнь наладится. Опять...

Севодняев отёр пот. Может быть, ещё ничего страшного не произошло, просто надо подвести месяц, как это делал мастер. А ещё лучше второго числа с утра сбегать в мастерскую, пусть часы переведут специалисты.

Севодняев вздохнул, успокаиваясь, и запоздало откупорил бутылку шампанского.

Проснувшись в одиннадцать часов, Севодняев первым делом поинтересовался месяцем. Тела внутри надежда, что всё исправится само.

Часы по-прежнему показывали прошлый год.

Весь день Севодняев провалялся в постели, лишь к вечеру встал, поджарил яичницу и допил выдохшееся шампанское. Делать было нечего, и Севодняев снова завалился в смятую постель. Завтра на работу. Время там тоже уходит безнадёжно, но всё же рядом люди, присутствие которых разбавляет пустоту.

Часы бесшумно лежали под подушкой. Какое число они показывают, Севодняев не смотрел. Он ждал утра.

Утром тридцать третьего декабря Севодняев отправился на завод. Неспешно прошёлся пустынной улицей, зная, что всё равно не опоздает. Ведь ему лишь кажется, что он идёт не спеша, потом скажут, что он нёсся как на пожар.

Так и случилось. В отдел он пришёл первым. Севодняев уселся, разложил перед собой листы прошлого года отчёта, чтобы ещё до начала рабочего дня создать на столе деятельный беспорядок.

«Сейчас придут сотрудники, — мелькнула мысль, — и кто-нибудь обязательно сострит, что год новый, а отчёт у меня старый. А я отвечу, что и год у меня тоже ещё старый».

Севодняев посмотрел на часы. Они показывали восемь двадцать пять, а отдел был по-прежнему пуст. Севодняев вышел в коридор, нервно выкурил сигарету. Прошло ещё пять минут, никто не появился. Севодняев схватил пальто, выбежал на территорию.

Цеха, начинающие работу в семь, были безлюдны. Севодняев не удивился, он уже ждал подобного. В проходной — никого, на улице — пусто, магазины

закрыты, транспорта нет. Звонки в квартирах, которые отчаянно нажимал Севодняев, ударяли гонгом или залихватски дребезжали, но ни в одной из квартир в ответ на звонок не раздались шаги хозяина.

«Уехали! — стучало в висках. — Эвакуация, война!.. А меня забыли!»

Севодняев ринулся на ближайший вокзал. Там властвовала та же пустота. Гулко отзывался на шаги вестибюль, в круглосуточном буфете покрывались пылью жареные цыплята, в киоске «Союзпечати» пестрели обложки нераспроданных осенних журналов. Табло прибытия и отправления поездов были погашены, лишь на самом верху жёлтые лампочки образовывали короткую надпись: число и месяц... Тридцать третье декабря.

Севодняев попятился и сел на ступени.

Значит, правда. Часы не испортились. Часы точны. И люди тоже никуда не делись, они просто живут в новом году, а он остался здесь. Ему всегда не хватало времени, он мечтал задержать прошлое, и вот — задержал. Вернее, прошлое задержало его. Теперь времени хоть отбавляй, оно никуда не денется, вслед за тридцать третьим декабря придёт тридцать четвёртое, потом тридцать пятое, тридцать шестое...

— Я не хочу! — крикнул Севодняев.

Всё своё отчаяние вложил он в крик, но лишь сиплый писк вырвался из горла и тут же умер, не пробудив чуткого вокзального эха.

Севодняев слабо помнил, как он вернулся домой. Сидел голодный, не решаясь выйти на улицу, и тупо ждал следующего дня.

— Ну пожалуйста... — шептал он, — я не могу больше...

Часы безразлично меняли секунды. Полные сутки вымучивали они ждущего Севодняева. Когда цепочка

нулей обозначила начало новых суток, Севодняев коснулся пальцем кнопки и увидел, что декабрь кончился. Наступил постдекабрь — тринадцатый месяц года.

Кажется, Севодняев кричал и плакал. Потом впал в оцепенение. Привёл его в себя холод. Батареи в комнате медленно остывали. Севодняев пощёлкал выключателем — света тоже не было. Водопроводный кран ответил шипением и бульканьем уходящей вниз воды. Голубые венчики газа вспыхнули было как обычно, но скоро давление в магистрали упало, огонь погас.

Лишь теперь Севодняев осознал, в какую ловушку он попал. Будут меняться дни и месяцы, но новый год не наступит. Он останется один, а жить будет всё труднее. Пока длился декабрь, в домах топили. Кто топил — это вопрос другой, но положено топить — и топили. Подавали электричество, качали воду. В постдекабре таких услуг не предусмотрено, а морозы обычно стоят суровые.

К утру термометр за окном показывал минус сорок, квартира выстудилась, изо рта шёл пар. Севодняев натянул на себя всё что можно из верхней одежды и потопал на улицу искать тёплого пристанища.

На первое время он пристроился в строительном вагончике, где нашёл круглую печку-буржуйку. Потом вместе с печкой перебрался в чужую квартиру на первом этаже.

Мороз свирепел. Севодняев завесился в своей берлоге одеялами, где только мог заложил стены подушками, но всё равно мёрз.

Продукты он добывал в ближайшем магазине. Сначала было неловко входить в служебные помещения и опустошать замершие холодильные камеры. Потом наступил период бессмысленного хулиганства,

когда Севодняев принялся громить всё, до чего мог дотянуться. Но чаще он просто сидел, глядя на браслет, и ждал, пока пройдёт время, которого прежде так не хватало.

На тринадцатый день иссяк постдекабрь, и начался месяц четырнадцатый, которому вообще нет названия.

В ту ночь Севодняев вышел во двор. Не то чтобы он надеялся встретить вернувшихся откуда-то людей, но просто пошёл посмотреть. Мороз спал, начиналась оттепель. Ночное небо, не по-зимнему чёрное, пугало близким космосом. Тающие строчки метеоров чертили дорожки среди звёзд.

«Звездопады в августе бывают, — отрешённо подумал Севодняев, — хотя сейчас тоже могут быть, почему бы и нет, никто ведь не видел, как тут живётся, в пятом квартале».

Пылающий шар пронёсся над головой, на секунду озарив мир, и упал где-то за домами. От глухого удара подпрыгнули стены, посыпались стёкла. Со страху Севодняев присел, недоумённо взглянул на небо. Огненные капли беззвучно струились из зенита. Ещё один болид с гулом рассёк воздух и ушёл за горизонт.

Петляя и пригибаясь, Севодняев кинулся к парадной.

Ночь он продрожал в квартире, прислушиваясь к далёким взрывам и подавляя бессмысленное желание забраться под кровать. Утром, едва рассвело, Севодняев был на улице. Осторожно пробираясь вдоль домов, он заглядывал во все дворы, искал бомбоубежище. Особых разрушений он не заметил, хотя откуда-то упорно несло гарью.

В одном из дворовых садиков Севодняев нашёл бетонный куб с железной решёткой. Вокруг куба были навалены заледеневшие сугробы. Попасть внутрь

Севодняев не умел, к тому же вовремя понял, что если его засыплет в убежище, то никто не придет на помощь.

Севодняев отправился домой. Он уже не пробирался вдоль стен, а спокойно шагал посреди мостовой. Всё равно от судьбы в подворотне не спрячешься.

По счастью, в четырнадцатом месяце оказалось всего четырнадцать дней, и ещё в середине второй недели каменный дождь начал стихать.

Наступила оттепель, они часто случаются в начале пятнадцатого месяца. Ураганный ветер перемешивал в воздухе снежную кашу, которая тут же растекалась талой водой. Мокрые сугробы, наметённые сквозь разбитые окна, кисли в квартирах. Взамен хондритовых дождей страшного двухнеделья ветер начал хлестать дома ветками, сорванными где-то листьями железа, всяким мусором. Город стремительно разрушался.

Потом и ветер утомился, вернулся небольшой морозец. Залитые водой улицы превратились в ледяное поле. По успокоившемуся небу гуляли северные сияния.

Севодняев сполохами не интересовался. На голову не падают — и ладно. Часы! Вот что увлекало его больше всего на свете. Ведь это они отделили его от остального человечества и молчаливо увлекают в неведомое Никуда. Севодняев вовсе перестал снимать часы, целыми днями он сидел и разглядывал их. Лишь иногда мелькала у него недозволенная мысль: а что, если «Электроника» досталась бы обычному человеку, который всегда ладил со временем? Неужели они шли бы нормально, तोпили хозяина или успокаивали, но не заставляли? Были бы советчиком, а не погонщиком? В такие мгновения казалось, будто ремешок впивается в за-

пятье, сдавленная кисть синела, наливаясь венозной кровью.

К исходу шестнадцатого месяца в городе проснулось эхо. Собственные, живые звуки: стук шагов, ветер, удары падающих с карнизов сосуллек слышались как сквозь вату, зато воздух наполнился отзвуками былой жизни. Играла музыка, хлопали двери, звучали голоса. Прислушавшись, можно было разобрать, как невидимый диктор читает последние известия далёкой августовской или октябрьской поры.

Сначала Севодняев заинтересовался феноменом, всё-таки вокруг создавалась иллюзия жизни, но потом потерял к нему интерес. Сходил, правда, на завод. В разорённом непогодой отделе звонили телефоны, слышались знакомые голоса, пересказывавшие давно знакомые вещи. Севодняев сидел нахохлившись и поплотнее запахнувшись в шубу. Но скоро ему всё надоело, и он ушёл. Своего голоса услышать ему не удалось.

Севодняев вновь засел в доме, выходя наружу лишь для того, чтобы пополнить запас консервов. Все остальные продукты на складах уже давно испортились. Однако и дома спокойной жизни не получилось. Квартира, в которой поселился Севодняев, оказалась очень шумной. Телевизор вопил целыми днями, по ночам плакал младенец, а молодые супруги, жившие здесь когда-то, слишком громко обсуждали личные проблемы. К тому же с приходом новой оттепели сверху начала просачиваться вода.

Пришлось думать о новом жилье.

Убежище было решено искать в старых районах. Столетние дома с метровыми стенами лучше сопротивлялись разрушению. Пятого семнадцателбря Севодняев отправился на поиски. Хотел выйти с утра, но сначала залежался в постели, глядя на часы, потом

долго собирался, потом вспомнил, что забыл поесть. Вышел из дома далеко за полдень.

Опасаясь падающих со стен кирпичей, облицовочной плитки и глыб подтаявшего льда, Севодняев шёл по самой середине мостовой. Лишь иногда звук автомобильного мотора заставлял его отпрыгнуть на тротуар. Севодняев злился, пытался не обращать внимания на шум, но у него ничего не получалось, прочный инстинкт горожанина был сильнее.

Зимние дни коротки, на улице быстро темнело. Севодняев, так ничего и не нашедший, торопился вернуться к себе. Мест, по которым он шёл, Севодняев не узнавал — громады домов давно перестали ассоциироваться у него с городом, в котором он когда-то жил.

Сзади надвинулся рёв автобусного дизеля, Севодняев метнулся к подворотне, затем остановился и выругался. Незримые шины прошелестели мимо.

— А-а-а!.. — ударил из подворотни истошный крик.

Севодняев остановился, шагнул под тёмный свод арки. Ему стало интересно, что там происходит, вернее, происходило когда-то.

— А часики придётся снять! — раздался из темноты хриловатый юношеский басок.

Послышалось какое-то пыхтение, шарканье ног, и снова взорвалось истошное: «А-а-а!..» Севодняев расхохотался. Ведь это он сам кричит, спасая от гибели часы, электронную гадину, которая не сумела потеряться и не могла испортиться, и вот из мести затащила его сюда!..

— А часики придётся снять! — патефонно повторял грабитель.

Севодняев замер. Ведь верно, он уже несколько месяцев не снимал часы! Надо выбросить их, и тогда всё вернётся.

Севодняев вздёрнул рукав, вцепился пальцами в ремешок. Тот не поддавался, а в руке вспыхнула и запульсировала нестерпимая боль. Тогда Севодняев кинулся в серый сумрак двора, стремясь увидеть, в чём же дело, почему часы не снимаются.

Часы сидели на запястье нелепым наростом. Пластиковый ремешок слился с кожей, корпус пустил в плоть металлические метастазы корней. По экрану безучастно бежали угловатые цифры.

Севодняев молча сбросил шубу, как следует закатал рукав, подошёл к кирпичной стене, размахнулся, чтобы разбить чудовище, а там — пусть хоть конец света...

И в эту минуту он увидел на седьмом этаже освещённое окно. Оно манило мягким вечерним светом, совсем как в ту эпоху, когда город был полон людей.

Севодняев бежал по лестнице, нащупывая в кармане брюк связку ключей. Распахнул дверь бабушкиной квартиры, ворвался в комнату.

Там было тепло и уютно. Под оранжевым колпаком абажура неярко горела лампа, на полках выстроились слоники и собачки. И лишь один звук нарушал бездонную тишину. Железный будильник, стоя на голове, громко отщёлкивал секунды.

У Севодняева затряслись губы.

— Вот, — сказал он, протягивая вперёд изуродованную руку.

В будильнике что-то щёлкнуло, и он зазвонил. Дребезжащий звук, чуть приглушённый кружевной салфеткой, показался набатом. Этот треск когда-то будил его по утрам, не давал залёживаться в постели по праздникам, вечно подгонял, всегда чего-то требовал. Это был голос времени, которое он так старательно убивал.

Часы на руке Севодняева вдруг ярко засветились, словно прожекторный луч ударил изнутри. По экрану стремительно понеслись цифры. Раскалившийся корпус прожигал тело насквозь. Но сильнее боли терзал звонок старинного будильника.

Севодняев взвизгнул и побежал.

Он нёсся по улицам, солнце над головой бешено чертило круги, откуда-то появилось множество людей, Севодняев, освещённый прожектором подсветки, метался между ними, что-то бесконечно быстро говорил, делал, а ему отвечали невнятными скороговорками, которые тут же забывались в бестолковом кружении.

— А часики придётся снять! — пробасил юный грабитель, и Севодняев покорно снял часы, протянул их вперёд, но неожиданно обнаружил, что стоит перед прилавком, держа часы дрожащими пальцами, а девушка-продавец профессионально отработанным голосом говорит ему:

— ...Они теперь в моде, ходят прекрасно, а элемент вам в любой мастерской сменят. Заводить их не надо. К тому же недорогие, стоят как часы марки «Полёт».

Севодняев взглянул на экранчик. На нём нервно прыгали цифры. Кончиком пальца Севодняев нажал кнопку подсветки. Багровый глаз обречённо мигнул и погас. Цифры с экрана исчезли.

— Не ходят, — сообщил Севодняев.

— Батарейка села, — быстро сказала продавщица. — Иногда попадают часы с неисправным элементом. Сейчас я принесу другие или сменю элемент, у нас есть...

— Не надо, — сказал Севодняев. — Дайте лучше «Полёт».

Он шёл по улице, ежеминутно прижимая круглый циферблат к виску, наслаждался чуть слышным ти-

каньем и размышлял, что уж эти часы, привычные и знакомые, никогда не затащат его в одинокое безвременье. Но Новый год он на всякий случай станет встречать в самой шумной компании, какую сможет найти.

И кто знает, может быть, именно эти часы, такие простенькие и невзрачные, приживутся у него, будут замечательно ходить, и жизнь волшебным образом переменится, времени, которого теперь так не хватает, сразу появится много, его хватит абсолютно на всё...

Часы остановились через два дня.

ЗАКАТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ



Вечер — время особое. Солнечный шар медленно наливается красной усталостью, от кипарисов и елей падают густые тени. Но, словно не желая признавать близость ночи, всё живое вскипает яростно и своевольно. По сухому песку стремительно проносятся ящерицы, необычно шустрые в это время суток, в ветвях розовеющих магнолий разногласно вопит пернатое население, а там, где серый песок незаметно переходит в гниющее болото, начинают бурно готовиться к ночи рыбы и мокрокожие — гулкие шлепки, уханье и дробное кваканье разносятся в вечернем воздухе особенно далеко.

И в этот же час, перед тем как погрузиться в ночное подобие смерти, свершается главное таинство жизни.

На пологой горушке у самого края болота сдвинулся, рассыпаясь, песок. Что-то зашевелилось там, отчаянно барахтаясь, стараясь выбраться из надоевшего плена к воздуху, багровому исчезающему свету, свободе. Родившееся существо ещё облепляли кожистые плёнки яйца, задние конечности вязли в глубине, но существо извивалось, размахивая миниатюрными

ручками, билось... разлепило один золотистый глаз, впервые увидав мир, затем — второй и наконец выдралось наружу и неуклюже поползло по песку, волоча за собой смятую скорлупку, бывшую прежде его вселенной.

По всему пригорку, сухому, насквозь прогретому за день, творилось то же самое. Братья и сёстры родившегося взрыхлили поверхность холма. Одни ползли куда-то, подчиняясь инстинкту, другие уже стояли на ногах, смешно раскачиваясь, не умея опереться на ненужный пока хвост. А из песка появлялись всё новые, рвущиеся к жизни существа.

Родившийся подполз к воде, ткнулся носом в её нечувствительную плоть. Вода понравилась, но откуда-то он знал, что в воду ему нельзя. Пока нельзя. Детёныш пополз вдоль воды и здесь, на мокром песке, наткнулся на улитку. Сама ли она выползла на берег, или её оставила отошедшая вода, детёныша не заботило — он сразу понял, что надо делать. Он перевернул улитку, даже не успев удивиться, как ловко справились с работой пятипалые, с далеко отстоящим мизинцем, руки, и куснул мягкое тело. Улитка пыталась спрятаться в раковине, но детёныш мгновенно, словно всегда этим занимался, разгрыз раковину и принялся за еду.

Другой детёныш, точно такой же, мокрый, с налипшим на хвост и лапы песком, подобрался к найденной улитке. Первый недовольно забил ногами, отгоняя соперника, но неожиданно всем существом осознал, что новенький — его брат, и почувствовал, как нестерпимо тому хочется добраться до улитки и попробовать, что это такое. Детёныш подвинулся, пропуская брата, вдвоём они живо разделались с остатками улитки, отползли от воды и растянулись на песке.

Солнце спустилось, быстро начало темнеть. Исчезающая красная полоса заката не грела, не грели и звёзды, раскрывшие свои глаза. Песок остывал. Детёныш чувствовал, что начинает проваливаться в небытие, подобное тому, которое он испытывал, лёжа в яйце. Он ещё видел, слышал, осязал, но конечности и хвост не подчинялись ему. Детёныш лежал, тараща глаза в сгущающуюся темноту, не видя ничего, кроме звёзд на небе. Но потом две звезды, красных и пристальных, оказались внизу. Они двигались, и их сопровождал лёгкий шорох и фыркание. Кто-то возился в темноте, постепенно приближаясь к детёнышу. Вот он остановился совсем рядом, там, где лежал брат. Брат пискнул, потом детёныш услышал хруст, чавканье и понял, что «пришедший ночью» ест их так же, как они ели улиток.

Глаза придвинулись вплотную, детёныш ощутил чужое дыхание и прикосновение волосков, ощупывающих его. Улитка могла хотя бы прятаться в хрупкую раковину, он же не мог ничего. Ночная прохлада сковала крошечное тельце и не давала пошевелиться.

Детёныша коснулся мокрый нос, но в это мгновение от болота, откуда прежде доносился лишь нескончаемый лягушачий концерт, прилетел низкий рокочущий рёв, и кто-то двинулся к берегу, тяжело ступая и поднимая при движении волну. Ночной хищник замер, отпрыгнул в сторону — красные звёзды описали дугу — и исчез.

Детёныш не испугался и не обрадовался. В его теле осталось слишком мало тепла. Он засыпал. И, уже засыпая, всем существом почувствовал, как волной нарастает вокруг нечто могучее, не голос даже, а хор, говорящий сам с собой, сам себя спрашивающий и сам себе отвечающий. Но сил понять, что это, уже не было.

Утром солнце согрело песок и пробудило к жизни застывшего детёныша. Сперва он лежал неподвижно, лишь часто дышал, дёргая тонким горлом, затем взорвался суматошными движениями. Рывком поднялся на ноги — впервые в жизни! — шагнул раза два, остановился. Перед ним валялся бесформенный серый клочок, а из него торчала крохотная рука с зажатými в кулачок пальцами. То, что осталось от брата. Секунду детёныш стоял неподвижно, потом, раскачиваясь, побежал дальше. Вечер был ещё так не скоро, а внизу, в просвеченной лучами тёплой воде, ползали улитки.

Но вечер всё же пришёл. На багровую землю легли чёрные тени, солнце, коснувшись горизонта, погасло. Холодел воздух, остывал песок, и детёныша охватила вялая усталость. Беспокойство, овладевшее им при наступлении темноты, сменилось безразличием. Один страх тлел внутри: скоро придёт сверкающий глазами, и на этот раз ничто не остановит его, — это была даже не мысль, а лишь обречённое представление.

Однако ночной хищник медлил. Тьма сгустилась, от болота потянуло пахучей сыростью. Прохлада сковала тельце детёныша, но его брюшко было плотно набито едой — и это немного согревало его; так что сознание не ускользало окончательно, и когда вновь в бескрайних просторах, ещё неведомых детёнышу, родилась могучая музыка, сотканная из множества голосов, детёныш понял, что это не сон, это на самом деле кто-то говорит, радуется и негодует, удивляется и получает ответы, живёт, не желая признавать смерти, приходящей после заката.

И детёныш присоединился к ночному хору, послав в пространство своё первое беспомощное «почему?». Он не ждал ответа, но ответ пришёл.

«Спи, малыш, — сказали ему. — Ты ещё мал, но ты вырастешь. Мы ждём тебя. А страшный с

красными глазами больше не появится — мы не пустим его...»

Ночь набирала силу, и успокоившийся детёныш подчинился приказу, уснул, свернувшись клубком в ямке, полной пустых скорлупок.

Третий день жизни был наполнен событиями. Детёныш испещрил следами весь берег, разузнал великое множество вещей. На дальнем склоне холма он нашёл траву. Она оказалась вкусной, но слишком жёсткой. Зато та трава, что росла в воде, понравилась ему необычайно. Кроме того, в воде плавали серебристые рыбёшки и шустрые головастики. Детёныш хотел поймать одного — головастики казались ужасно вкусными, — но тот скрылся в глубине, а детёныш, кинувшись следом, нахлебался от неожиданности воды. Потом он обнаружил, что умеет плавать, и снова погнался за головастиками. Другие детёныши тоже плавали и тоже гоняли головастиков, но неожиданно из глубины метнулась плоская тень — и у детёныша стало одним братом меньше.

Детёныш торопливо выбрался на берег. Ему казалось, что сейчас в тёмной воде мигнут два красных глаза и на песок вылезет ночной страх.

Впрочем, через минуту детёныш успокоился и словно забыл о недавней трагедии. Он поймал стрекозу, но та ударила ему по глазам жёсткими радужными крыльями, вырвалась и улетела. Детёныш побежал за ней следом, перевалил через горوشку и здесь наткнулся на большую ящерицу. Ящерица была вдвое больше его, она раскорячилась на земле, не мигая рассматривала детёныша и медленно распахивала широко пасть.

Хотя ящерица ничем не напоминала ночного убийцу, на секунду детёнышем овладел ужас. Ящерица могла запросто заглотить его целиком. Детёныш сдавленно пискнул и издал громкую, как крик, мысль:

«Меня нельзя есть!.. Уходи!»

Ящерица судорожно зевнула и побрела прочь, чертя по песку длинным хвостом. Детёныш понял, что большой зверь подчинился его крику, что он теперь может ходить за ящерицей и дёргать её за лапы, а она не тронет его. От сознания своей власти у него закружилась голова, он побежал вперёд, не разбирая пути, быстро переставляя окрепшие ноги и подняв для равновесия хвост.

Остановился он, наткнувшись на живую гору. Это живое превосходило всё, что встретилось ему за три дня. Но почему-то у детёныша не было страха, одно лишь любопытство. Детёныш подбежал ближе, и навстречу ему опустилась огромная ладонь, каждый палец которой был больше всего детёныша. Детёныш живо вскарабкался на эту ладонь, его подняло на неизмеримую высоту к золотистым озёрам глаз. Детёныш ощутил снисходительную усмешку, доброту, лёгкое удивление, идущее от великана.

«Вот ты какой, — сказали ему. — Не уходи далеко, там ты пропадёшь».

Тогда, слившись с этим огромным, детёныш сделал своё главное открытие — осознал себя.

— Это я! — закричал он, подпрыгивая. — Я! Я живой! Я ел траву и улиток, а меня никто не съел! Я могу бегать, я дрался со стрекозой, я приказал ящерице, и она послушалась. Это же я! Меня зовут Зау!

Проходили дни, Зау рос. Он привык не спать по ночам, а, замерев, слушать беседу великанов, — это было огромным удовольствием, хотя он почти ничего не понимал. Самому говорить ещё не хватало сил: задав вопрос, Зау почти сразу проваливался в небытие. Но все же Зау многому научился. Он узнал, что

добрые великаны — это такие же существа, как и он сам, что, когда он вырастет, он тоже станет огромным и сильным. Он выяснил, что зубастая рыба никогда не выплывает на мелководье. А потом увидел, как пришёл взрослый и, взбаламутив воду и перетоптав половину улиток, поймал рыбу и съел её на глазах у восхищённых братьев Зау.

Теперь стало безопасно плавать по всему болоту, можно было нырять, разгоняя ряску и путаясь в толстых стеблях кувшинок. Можно было доставать улиток с самой глубины, ловить мальков и головастиков.

Впрочем, улиток, головастика и мелких рыбёшек осталось гораздо меньше, чем вначале, и приходилось порой повозиться, чтобы раздобыть себе обед. К тому же Зау подрос, и ему уже не хватало обычных трёх-четырёх улиток. Всё чаще малыши жаловались по ночам беседующим взрослым, что они голодны.

И вот однажды на берегу вновь появился взрослый великан и принёс улитку. Такой огромной улитки никто из братьев Зау не видывал. Завёрнутая спиралью раковина казалась целым холмом, а длинные щупальца улитки свисали до земли, даже когда взрослый поднял улитку на вытянутых руках.

Зау вместе со всеми подбежал к расколотовой раковине и стал есть упругое серое мясо. Давно он так не пировал. Но радость была омрачена неожиданным открытием. Он вдруг заметил, как мало осталось их на берегу. Некоторые, самые нетерпеливые, ушли в дальние заросли, где было много травы и мелкой живности, но где попадались звери, не понимавшие или не слушавшие приказов, поэтому оттуда почти никто не возвращался. Многие братья Зау уродились слабее остальных, а потом не сумели выправиться. Они чахли и умирали один за другим. Но самый большой урон нанёс ночной страх.

Зау знал: того, кто приходит ночью, зовут молочником. Когда холод заставляет засыпать живущих, один лишь молочник не подчиняется ему и выходит на охоту. Ещё дважды с момента рождения Зау молочник ухитрялся преодолеть ловушки, поставленные взрослыми, и устроить на берегу побоище.

К тому времени Зау настолько подрос, что мог, хоть и недолго, двигаться ночью. Правда, через несколько секунд непослушные конечности замирали, и Зау засыпал так крепко, что не слышал ночных разговоров, которые любил больше всего на свете. Поэтому запас энергии Зау берёг, чтобы, лёжа в полной неподвижности, беседовать с маленькими и взрослыми, далёкими и близкими братьями. Многого в разноголосом хоре он не понимал, многое забывал к утру, но приходила новая ночь, и Зау снова учился.

Однако, когда молочник пришёл в четвёртый раз, Зау, хотя мысли его были далеко, вскочил и побежал. Он не знал, что запаса дневной силы хватит ему лишь на десять шагов, а молочник видит в темноте и неутомим в беге. Просто крошечное тельце не желало быть съеденным, и Зау спасался. Сослепу он влетел в воду, а молочник, которому хватало добычи на берегу, не полез за ним.

Сидя по горло в воде, Зау обнаружил, что вода остывает гораздо медленнее песка. В тёплой воде способность двигаться не покидала его, и Зау на ночь стал забираться в воду. Другие малыши последовали за ним, но потом случилась очень холодная ночь, вода на мелководье выстыла, и несколько братьев утонуло.

Такие холодные ночи почему-то стали повторяться всё чаще. Зелень на берегу стояла скучная, не было молодых побегов. Выросли и пропали головастики. Если бы не помощь взрослых, в береговой колонии начался бы голод. Взрослые, беседуя между

собой, называли случившееся бедствие «зимой». Са-
мих взрослых зима не пугала, у них было что-то под
названием «дом», в котором было тепло даже зимой.
Взрослые строили дом из деревьев, и Зау тоже решил
построить дом. Насобирав палок и воткнул их во
влажный песок. Бегать между торчащими палками
было очень интересно, но от ночного холода они не
помогали.

Зима не нравилась всем. Ящерицы скрылись меж-
ду камней, глупые мокрокожие зарылись в ил и не
всплывали даже, чтобы глотнуть воздуха. Одни мо-
лочники любили зиму. Это было их время.

То, что молочник не один, что их много, потрясло
Зау до глубины души. Когда ночью он услышал
тяжёлый удар, а потом резкий незнакомый визг, он
не подумал о молочнике. Молочник ходит в тишине,
лишь пофыркивание выдаёт его. Утром Зау побежал
смотреть, что произошло за холмом, где стояли за-
падни, настоженные взрослыми.

Застрав в узком проходе, оставленном в ограде,
лежал незнакомый зверь. Он был невелик, лишь не-
много больше изрядно подростшего Зау, но вид зверя
был чудовищно отвратителен: вытянутое тело покры-
вали какие-то нити, словно убитый успел прорас-
ти небывалой травой или покрыться мерзкой чёрной
плесенью. Хвост, слишком длинный и тонкий, чтобы
помогать при ходьбе, тянулся нелепым червяком. В
раскрытой пасти белели длинные тонкие зубы, а гла-
за, так страшно сверкавшие во тьме, теперь были
почти неразличимы. Зау никогда не видел молочника,
но сразу понял, что это он и есть. Только молочник
мог быть столь беспредельно гадок. Длинные нити
на кончике морды — ведь это они касались Зау в
первую ночь его жизни! — обвисли, в ноздрях запе-
лась густая кровь. Молочник был мёртв, раздавлен
упавшим сверху толстым куском бревна.

Зау, охваченный неожиданной радостью, начал подпрыгивать, раскачиваясь и размахивая руками:

— Молочник умер! Большая деревяшка упала и убила молочника! Никто больше не придёт ночью, никогда не раздастся шорох, красные глаза больше не засветятся! Молочник умер!..

Услышав мысли Зау, со всего берега сбегались остальные детёныши. Они смотрели, раскачивались на хвостах, подпрыгивали и пели:

— Умер молочник!..

Но потом пришёл взрослый, веткой брезгливо отшвырнул раздавленный труп и начал приводить ловушку в порядок.

— Молочник умер! — закричал ему Зау. — Больше не надо бояться!

— Нет, малыш, — ответил взрослый. — Этот умер, но есть другие. Вам ещё рано жить самим.

— Другие? — переспросил Зау. — Ещё молочник?.. Много молочников?..

Это не уместалось в голове. Ужас может быть только один, и лишь один может быть молочник. И всё же это была правда. Через несколько ночей молочник пришёл и загрыз одного из братьев. А потом и этот молочник попал в капкан и был раздавлен. Зау смотрел, как взрослый вытаскивает убитого убийцу, и вдруг понял, что больше не может бояться.

— Когда придёт молочник, — громко подумал он, — я возьму большую деревяшку и убью его. Я прямо сейчас возьму деревяшку, найду молочника и убью его.

Взрослый опустил на землю чурбан и сказал, не глядя на малышей, копошащихся у его ног:

— Эти молочники ещё молодые, они недавно родились, у них мало опыта. Поэтому они так часто попадают. Но если вы встретитесь со старым молочником, деревяшка не поможет.

— Он большой, как ты? — спросил кто-то.

— Он маленький, но вам лучше с ним не встречаться.

Зау понуру пошёл к берегу.

Снова потянулась невесёлая зимняя жизнь. Но всё же Зау разыскал палку поувесистей и клал теперь её рядом с собой, чтобы ударить молочника, когда тот придёт за ним.

Через несколько дней пошёл дождь. Такого дождя на памяти Зау ещё не было. Струи воды впивались в землю, разбрызгивали песок, секли траву, сшибали с веток старые листья. Случись подобное полгода назад, когда Зау только родился, он был бы убит — с такой силой падала с неба вода. Зато сразу после дождя отовсюду полезла трава, деревья украсились свежими побегами. Зима кончилась. Не только днём стало тепло, но и после заката Зау мог долго бродить по берегу. Правда, он почти не видел в темноте, но и просто осознавать себя хозяином собственного тела было приятно. К тому же он мог теперь сколько угодно беседовать по ночам — и Зау непрерывно учился, узнавая тысячи новых вещей.

Почти ничего из того, о чём говорили взрослые, Зау не встречал, но образы, возникавшие в голове, были столь подробны, что Зау казалось, будто он знает всё о мире, раскинувшемся за пределами болота и песчаного пляжика. Этот мир манил и отпугивал одновременно. Но Зау догадывался, что скоро желание видеть и делать пересилит страх.

С приходом весны молочник стал появляться реже, но Зау всё равно таскал с собой палку и часто, воинственно взвизгивая, врубался с нею в камыши, круша их направо и налево и представляя, что вместо смиренных растений перед ним злобный молочник. Однако, когда молочник пришёл на самом деле, палка оказалась забытой.

Красные глаза просверлили темноту, обдав Зау волной ужаса. Но прежде чем молочник кинулся на него, Зау прыгнул сам. Он понимал, что бежать некуда и на этот раз смерть не обойдёт его стороной. Челюсти Зау, привыкшие дробить ракушки и перемалывать стебли, сомкнулись на холке не ожидавшего нападения хищника. Молочник издал скрежещущий визг, зубы его полоснули Зау по руке. Целой рукой Зау судорожно искал палку, но её не было, а сила убывала, движения становились всё слабее, медленнее. Острые, как осколок раковины, резцы молочника вновь рванули по пальцам, но Зау не почувствовал боли. Расход энергии был слишком велик, Зау засыпал в самый неподходящий для этого момент. Он не чувствовал, как кривые когти дерут чешуйки на его животе, как извивается и верещит зажатый молочник. Последняя мысль, с которой Зау провалился в темноту, была: «Только бы не разжать зубы...»

Зау очнулся позже обычного, когда берег уже бурлил. Вокруг Зау толпились братья, а рядом на песке валялся задушенный молочник. Молочника подцепили на палку — она лежала совсем близко! — и потащили к границе участка. Зау поплёлся следом. Искалеченная рука безвольно висела, мышцы были разорваны, два пальца словно сострижены начисто. Самое печальное, что молочник отгрыз мизинец, и Зау, глядя на болтающуюся руку, подумал, что больше он ничего не сможет ею схватить.

Пришёл взрослый, забрал дохлого молочника, потом принёс комок битума и помазал раны Зау. Услышав смятение в мыслях детёныша, сказал:

— Ты храбрый и сильный. А с рукой ничего страшного не случилось. Ты молодой, рука заживёт. К осени вырастут новые пальцы.

Боли Зау почти не чувствовал, и, хотя облепленная смолой рука мешала ему, вскоре он уже носился по песку вместе со всеми. Вот только беготня больше не приносила радости. Если прежде от кромки воды до зарослей, отгороженных заборами и рядами ловушек, Зау добирался больше получаса, то теперь покрывал это расстояние за пару минут. Днём проходы в ограде были открыты, но Зау лишь однажды, на третий день своей жизни, выбрался наружу, сам не заметив этого. Теперь он частенько околачивался возле зарослей, не смея углубиться в них, но и не имея сил отойти. Эта странная игра — ходить взад-вперёд через ворота — отнимала у него всё больше времени.

Другие подростки всюду бегали в заросли, с каждым днём уходили всё дальше и дальше. Возвращались возбуждённые, обменивались впечатлениями. Некоторые не возвращались, и Зау не мог понять: погибли они или просто остались там жить, не захотев вернуться.

Сам Зау боялся уходить. Воспоминание о зубах молочника мучило его. Он понимал, что с одной рукой в лесу делать нечего. Сначала надо дождаться, чтобы выросли новые пальцы.

И вот, когда эти мысли окончательно определились, Зау решился и ушёл. Кусты сомкнулись за его спиной, но он не остановился, не повернул назад, а продолжал идти, кося в разные стороны любопытными глазами, боясь и ожидая нового.

Кустарник сменился лесом, туи и тяжёлые ели закрывали небо, лишь с полян можно было увидеть голубой простор, в котором на страшной высоте парил владыка воздуха — беззубый птеродонт. Вниз он спуститься не мог, каждый сучок опасно грозил его нежным крыльям, поэтому лес был отдан птицам. Эти смешные летуны перепархивали

с дерева на дерево, наполняя воздух хриплыми криками.

Мрачный хвойный лес сменился светлым лиственным. Здесь было гораздо больше птиц, а внизу встречались не только безмозглые мокрокожие, но и настоящие звери: змеи, ящерицы, дикие двуногие зверушки, удивительно похожие на самого Зау, но бессмысленные и пугливые. Зау вначале решил, что это его пропавшие братья, и радостно кинулся к ним, но зверушки, услышав его мысли, в панике умчались. На бегу они громко щебетали и пересвистывались.

Двуногие очень понравились Зау, но догнать их он не смог. Тогда Зау спрятался в кустах, а когда двуногие вернулись, он приказал им стоять. Потом он попытался заставить их маршировать строем, но умения приказывать всем сразу у него не хватило, двуногие снова разбежались и больше уже не вернулись.

На полянах, заросших кустарником и высокой сочной травой, паслись другие звери. Они были столь колоссальны, что Зау на всякий случай обходил поляны стороной, опасаясь, что его раздавят, не со зла, а просто не заметив.

А потом он наблюдал, как один из этих гигантов был повержен хищником, ворвавшимся на поляну. Хищник тоже передвигался на двух ногах, и Зау даже не стал прятаться, до того зверь был похож на взрослых его племени. Хотя настоящий взрослый едва достал бы ему до плеча, а руки пожирателя были такими же беспомощными, как у щебечущей мелкоты, да и безлобая голова оказалась лишь придатком к пасти. Зау, замерев, следил, как чудовище раздирает сбитого великана на части. Но через несколько минут ошеломление прошло, Зау расслышал самодовольное ворчание, заменявшее хищнику мысли, и понял, что

тот хоть и огромен, но глуп и не опасен. Из памяти эхом ночных уроков всплыло название зверя: тарбозавр. Зау подумал, что можно было бы отнять у тарбозавра добычу, приказав ему уйти, но не решился, догадываясь, что тот может и не разобрать приказа.

Зау развернулся и побежал через лес, громкой мыслью предупреждая всех, что идёт пусть маленький, но настоящий хозяин. Ни зубастый тарбозавр, ни толстолапая эупаркерия не посмеют тронуть того, кто умеет говорить, а древним глухим хищникам не справиться с ним. Мокрокожий стегоцефал, что порой встречается на болотах, не сможет его проглотить, и широкооротая рыба уже не смотрит на Зау как на добычу. Он вырос, он большой, никто не страшен ему.

«А молочник?» — кольнула мысль, но Зау отогнал её. Сейчас день, молочник прячется в потайных норах, а если он вылезет оттуда, Зау снова задушит его.

Впереди раздался громкий треск расщепляемой древесины. Зау кинулся на звук. Несколько неосмысленных гигантов, натужно упираясь, ломали деревья, другие — четвероногие, зацепляя брёвна изогнутыми рогами, волокли их куда-то. Всё это было абсолютно ненужно им, и в воздухе, казалось, висело удивление, излучаемое работниками. Но Зау прекрасно знал, что заставляет их трудиться. Где-то рядом находились его взрослые собратья, их приказы и выполняли большие, но неразумные звери.

Зау миновал взрытую изуродованную полосу, где проводилась ломка леса, и по краю широкой дороги поскакал смотреть, для чего нужно столько стволлов.

Заросли кончились, Зау увидел окаймлённый осокой песчаный пляж, поверхность воды, знакомо блестящую под лучами солнца. Но сходство этим и огра-

ничивалось, потому что вместо небольшой болотистой лужи перед Зау расстился огромный водный простор. Противоположного берега было не видно, ветер, разбежавшись над водой, вспенивал волны с крутыми гребешками.

По всему берегу шла работа. Рогатые монстры, распахивая песок, заталкивали стволы в воду. Там их поджидали взрослые братья Зау. Они отгоняли всплывшие брёвна и что-то складывали из них в воде. Несколько пленных тарбозавров заколачивали в дно сваи. Зау восхитился, глядя, как лупят они безмозглыми башками по дереву, словно пытаясь нанести смертельный удар упавшей на землю жертве. А чтобы первый же удар не разбил тупую морду вдребезги, зубастая пасть каждого хищника защищена здоровенной дубовой нащёпкой. Зау взвизгнул от восторга, глядя на работу живых кувалд. Он не знал, что строится здесь, — дом или ещё что-нибудь интересное, его просто переполняла радость и желание быть вместе со всеми.

— Я тоже хочу строить! — закричал он, бросившись вниз, к урезу вспененной грязной воды.

Ночь выдалась на редкость холодной, Зау влез в самую середину садка, где поднимающиеся снизу тёплые струи не давали ему застыть. Рядом тёмным горбом выпирала из воды туша Хисса. За прошедшие два года Зау сильно вытянулся, но всё же не доставал старшему товарищу и до пояса. Хисс был невероятно стар и огромен. Тело его, словно у мокрокожих, было покрыто бородавками и наростами, тяжёлые руки с годами стали неповоротливыми, будто лапы манжурозавра. Никто, даже сам Хисс не мог сказать, сколько времени он живёт на свете. Иногда он упоминал зверей, которых никто уже не

встречал, или говорил об эпохах, когда не было зимы, а молочники даже ночью боялись высунуться из нор. Но чаще Хисс молчал или тяжело перебирал в уме, что сделано за сегодняшний день и что предстоит сделать завтра.

Уже два года Зау работал вместе с Хиссом. Они обслуживали садки. После того как строители вбивали в илистое дно лагуны сваи и укладывали брёвна, наступал черёд Хисса и Зау. Они заваливали дно мелким древесным мусором и травой, засеивали садок дрожжами и личинками белого червя, и вода в садке начинала бродить. По поверхности растекались масляные разводы, со дна поднимались пузыри. Жадные рыбы-воздухоглоты копошились на гниющем дне, их вылавливали сотнями, но они не убывали, пока весь сор и щепки не перегнивали и не ложились на дно плотным чёрным слоем. Тогда Хисс с помощником ремонтировал садок, вновь забивал его трухой и засеивал. А если стены садка приходили в полную негодность, начинал на этом месте строить новый.

Первое время Зау полагал, что все говорящие занимаются подобной работой, и удивлялся, зачем другие взрослые приезжают к ним за рыбой и жирными моллюсками в витых и двустворчатых раковинах. Неужели у них самих нет всего этого? Рыбы Зау было не жалко, её вылавливали очень много, и Зау помогал укладывать живых вздрагивающих рыбин на повозки, запряжённые меланхоличными горбатыми стиракозаврами.

Но потом он узнал, что говорящие занимаются множеством разных дел. Оказывается, рыбу увозили в посёлок, где жило много говорящих. Зау тоже стал наведываться туда, чтобы походить среди настоящих домов (он уже знал, что это такое), полакомиться сладкими плодами, что выращивались вдоль реки,

многоногой морской улиткой или куском мяса, отнятым охотниками у беспомощного в своей глупости хищника.

Хисс в посёлок не ходил, в еде довольствовался рыбой да иногда словно игуанодон объедал верхушки окрестных деревьев. Зау не знал, возраст ли причиной такому поведению, или просто когда-то все говорящие жили так.

Дома у Хисса не было, ночевал он в садке, погрузившись в воду по самую шею. Зау, ещё не забывший обычаев детского пляжа, тоже залезал на ночь в воду. Вода в садке была тёплой и вонючей, зимой над ней поднимался пар.

Молочников Зау больше не боялся, но ненавидел, как и прежде. Как-то одно из этих существ, не дождавшись темноты, выбралось на пляж и, крадучись, направилось к раздавленным остаткам рыбы. Зау, ночью не видевший ничего, всё же разглядел в сгущающихся сумерках юркую тень и удивился, каким маленьким оказался грозный некогда враг. Зау выскочил на сушу, чтобы растоптать отвратительную тварь, но молочник шмыгнул в сторону и мгновенно исчез — напрасно Зау метался по берегу. Потом, уже сидя в воде, он долго не мог успокоиться.

Утром Хисс подозвал Зау к небольшому обрывчику, где старые садки высушили берег, заставив воду отступить. Хисс поднял обломок бревна и мощным ударом обрушил бывший берег. Оказалось, что обрыв источен ходами: мелкие молочники брызнули в стороны. В этот день Зау не работал. Зато он расковырял весь берег, истребляя молочников: взрослых, пытавшихся подпрыгнуть и вцепиться ему в живот, и детёнышей, слепых, беспомощно сбившихся в норах. Зау мстил за год страха, за братьев, из которых почти никто не выжил. Утолить ненависть

он не смог, а устав, понял, что так с молочниками не справиться.

Хисс к молочникам относился спокойно, говорил, что они всегда крали яйца и всегда убивали детёнышей, так что ничего особенного в этом нет. Если бы детёныши не погибали в первый год жизни, то в мире просто не хватило бы места для разумных. Значит, и молочники тоже нужны. Зау слушал, соглашался, потом вспоминал ледянящее ожидание гибели — и не соглашался.

И был ещё один вызывающий недоумение вопрос. Дремучая мысль Хисса была, насколько воспринимал её Зау, понятна ему, однако в ночном хоре Зау слышал голоса, обсуждавшие нечто невообразимое. Речь там шла не о садках и рыбе, а о вещах сложных и не имевших к повседневной жизни никакого отношения. Взрослых волновали тайны памяти, они спорили, что из чего состоит и во что переходит. Любой вопрос в их спорах разрастался, усложнялся; Зау терял нить рассуждений и, словно в самом раннем детстве, слушал ночной разговор как вдохновенную, но непонятную музыку, где лишь изредка мелькнёт и западёт в память знакомый звук.

Если ночью и поминались знакомые Зау садки, то говорилось о них с тревогой. Беспокоились, что всё меньше остаётся мелких бухт, но главное, почему-то взрослых тревожило, что брёвна старых садков пропадают под водой, заносятся илом. Всё равно ведь старые брёвна уже никуда не годились. Однажды Хисс выволок со дна такое бревно — оно было тяжёлым и твёрдым, как камень: Зау лишь потерял время, пытаясь выпилить на нём пазы и снова пустить в дело.

Хисс в таких разговорах не участвовал, неясно даже, понимал ли он их. Он лишь порой одобрительно-иронически фыркал, а на вопросы Зау, о чём

говорят дальние взрослые, пренебрежительно отмахивался:

— Маются. Хотят больше, чем могут.

Ненадолго этот ответ успокаивал Зау, но потом он снова вслушивался в песнь мысли, ожидая время, когда сможет не только задать вопрос, но и сказать сам — громко и сильно.

В холодные ночи Хисс порой засыпал словно новорожденный, хотя забродившая вода в садках всегда была тёплой. Мысли Хисса прерывались, дыхание останавливалось, Хисс с головой уходил под воду и неподвижно лежал там. Лишь редкие удары его сердца доносились до Зау.

Начиналось утро. Зубастые птицы, разжиревшие на отбросах, орали в ветвях. Солнце начало пригревать, и Зау собрался на берег. Прежде всего он толкнул полузатонувшую тушу Хисса, чтобы старик очнулся от забытья. Но на этот раз Хисс не поднял иссечённую шрамами голову, даже не шелохнулся. И Зау вдруг осознал, что не слышит гулких ударов Хиссова сердца.

— Хисс! — закричал Зау.

Он нырнул в гнилую воду, обхватил руками тяжёлую голову, поднял к свету.

— Хисс! — просил он. — Дыши, пожалуйста!

Хисс медленно открыл мутные глаза, затем снова закрыл их. Зау, хрипя от напряжения, пытался сдвинуть Хисса, подтащить его к берегу, но огромное тело оставалось неподвижным. А потом медленно из неслышимых глубин, нарастая и заглушая всё, возник тяжёлый вибрирующий звук, мрачное гудение, парализующее, лишаящее сил и воли.

Зау, спотыкаясь, добрался до берега, упал на песок. Рёв и гул, идущие от умирающего Хисса, захватили его целиком. Звук складывался не в слова, а в картины и ощущения. Зау не понимал, что творится

с ним, он лежал, словно размазанный по гальке, и ему казалось, что его нигде нет. Был Хисс. Он, Зау, был Хиссом, древним, живущим несчётные тысячелетия, а вокруг бушевал невообразимо праздничный юный мир. Забытые звери и сгинувшие чащи окружали его, солнце палило в выцветшем небе, не знавшем зимы, прозрачные хвойные леса покрывали сухие плоскогорья. Казалось, ничто не может поколебать благополучия мира; говорящие жили повсюду: ловили рыбу, растили перистые пальмы с нежной сладкой сердцевинкой, истребляли в сохнувших болотах последних гигантских мокрокожих, прожорливых и неумных. Ничто не могло угрожать разуму. Услышав звук мысли, двуногий горгозавр бежал прочь, судорожно дёргая хвостом, изумлённо замирала ненасытная челяшевия, послушно сворачивал с пути упрямый моноклон.

Голос Хисса разносился на много дней пути, и никто вокруг, сколько хватало слуха, не занимался сейчас делами: говорящие стояли, где застал их звук, и, замерев, слушали прощальный рассказ старика, голос его памяти.

Так же как и сегодня, из тысяч рождённых выживали единицы, но век их был долог, а умирая, они оставляли свою память. Теперь Хисс говорил от имени тех ушедших поколений, и нельзя было понять, идёт ли счёт на сотни тысяч или сотни миллионов лет. Двигались, сталкиваясь и расходясь, континенты, истекали огнём горы, высыхали и рождались моря. Там, в забытой стране, бродил, низко опустив тяжёлую голову, хирозавр — зверь с ловкой пятипалой рукой, которая сделала его владыкой сущего. Это его потомки расселились по землям, вопль ужаса превратили в разумную речь, построили дома и рыбные садки, насадили рощи, подчинили всех живущих — от безногой ящерицы до парящего в выси птеродонта.

Но что-то сдвинулось и сломалось в мире. Произошло это задолго до того, как новорожденный Хисс впервые замер в жуткой неподвижности, ожидая прихода молочника. Беда не торопилась, она накапливалась постепенно, не привлекая внимания мудрых говорящих. Ночи становились холоднее, но взрослые в тёплых домах не замечали этого. Исчезали некогда процветавшие виды животных, но ведь большинство из них уничтожили сами говорящие, потому что неразумные соседи были не нужны или попросту мешали.

Немногие видели беду, но среди них оказался и Хисс. Он бросил дом, других говорящих и жил так, как жили его предки в те времена, когда они почти не отличались от бессловесных. Столетия Хисс молчал, сlysывая чужаком, и лишь теперь раскрывал перед другими свою боль и своё неумение предотвратить копящуюся угрозу. Его предостережение звучало мудро, но беспомощно.

Звук медленно замер. Зау шевельнулся, отыскивая своё крошечное «я» в том огромном, что растворило его. Потом вскочил и, вспенивая воду, кинулся к Хиссу. Но остановился, поняв, что Хиссу уже ничего не нужно.

Через час к садкам пришли все говорящие, что жили в посёлке. Тело Хисса достали из воды, положили на высокий штабель из брёвен, заготовленных для ремонта садков. Вспыхнул огонь, столб чёрного дыма поднялся к небу. Зау стоял, не принимая в происходящем никакого участия. Казалось, за первый год жизни он мог бы привыкнуть к смерти братьев, но Хисс был вечен, его голос ещё звучал в голове, и там не оставалось места, чтобы понять, что всеисильные взрослые тоже умирают.

Когда погребальный костёр прогорел, собравшиеся двинулись обратно в посёлок. Между собой они

не говорили, в каждом слишком сильно звучал голос Хисса. Зау поспешил следом за уходящими. Он знал, что завтра в садках будут работать другие, знал, что и сам может остаться работать и никто не прогонит его. Но гремело в голове завещание Хисса, и Зау спешил. Он хотел знать, что происходит. Он просто хотел знать, а здесь его больше ничто не удерживало.

Город можно было узнать издали. Собранные из камня и дерева дома окружали большие площади. На утопанной множеством ног земле ничего не росло. Пустынен был и морской залив, на берегу которого раскинулся город.

В посёлке, где бывал Зау, стояло всего два десятка домов, почти во всех жили разумные, и лишь в двух занимались работой: мастерили разные предметы из дерева и заготавливали впрок отнятое у хищников мясо.

В городе домов были многие сотни, но только половина из них оказалась жилой. В городе трудились, и даже сам воздух пах дымом, загнившей водой и ещё чем-то резким и неживым. Этот запах пугал и притягивал одновременно. Звери в городе попадались редко и были словно придавлены непрерывной работой. Хотя в самом центре города оказалось несколько небольших озёр, но мокрокожие здесь не встречались вовсе — вода была мертва.

А ещё над городом разливалось монотонное басовитое гудение. Зау даже не сразу понял, что это не обычный звук, что гудит в мыслях. Ревело так мучительно, что даже собственные мысли Зау начали путаться, и он уже не понимал, зачем сюда пришёл. Самое удивительное, что этот рёв не был живым: в нём не было ни следа разума или чувства.

Понемногу Зау приспособился к шуму и начал различать мысли говорящих, хотя ничего не мог в них разобрать — шум был слишком силен.

«Как здесь можно жить? — недоумевал Зау. — Кто это сделал? Зачем?»

Выло со всех сторон, но Зау всё же определил направление наиболее мощного рёва и пошёл туда. Он ничуть не удивился, оказавшись на самой грязной площади. Из ворот каменного здания лениво тёк ядовитый ручей. Едкая жидкость, растекаясь лужами, жгла ноги. Это было не самое лучшее место в мире, но всё же Зау вошёл в ворота.

Он увидел ряды странных ёмкостей, похожих на крошечные рыбные садки. В них бурлили вонючие жидкости. Рёв стоял невыносимый. Зау осторожно приблизился, наклонился над одной из ёмкостей. Для этого ему пришлось схватиться за блестящую полосу, идущую над садками. В это же мгновение жестокий удар сбил его с ног. Зау свалился на промасленный асфальтовый пол. Руку свело судорогой, обожжённые пальцы не разгибались.

Казалось бы, удар должен был отбить у Зау охоту знакомиться с неприятным зданием, но именно в эту минуту Зау понял, что останется здесь. Он поднялся и побежал искать кого-нибудь, кто помог бы ему разобраться во всём.

Вскоре он встретил говорящего, который вытаскивал из бурого раствора сетку. В сетке бесформенными комами лежали какие-то предметы. Незнакомец промыл предметы в воде, несколькими ударами сбил с них корку, и Зау увидел блестящий металл. Теперь он знал, что тут делают! Топоры и гвозди, буравы и стальные скобы — всё, что требовалось для работы в посёлке, готовили здесь! Ради этого можно было простить вой и вонь, едкую землю и мёртвую воду.

Зау подошёл ближе.

— Я хочу помогать! — сказал он.

Ревущие медные полосы заглушили его голос, но всё же незнакомец обернулся, смерил Зау недоброжелательным взглядом.

— Убирайся, я ничего тебе не дам! — прокричал он.

— Я хочу работать! — завопил Зау.

На этот раз взрослый расслышал. Он усмехнулся и рывкнул:

— Попробуй!

Зау с готовностью кинулся вперёд и тут же получил ещё один сокрушительный удар. Медная полоса над ваннами была беспощадно. Пока Зау поднимался, рабочий ушёл в другой конец помещения. Зау, спотыкаясь, побежал следом. Он не понимал, почему незнакомец так безразличен к его боли, душу Зау заливала обида, но выше боли и обиды было желание самому научиться делать металл.

Взрослый повернул рычаг в каком-то ящике, встроенном в стену, в глубине ящика оглушительно треснули искры, и сразу наступила тишина.

— Нароботался? — спросил взрослый, глядя на пошатывающегося Зау.

Лишь теперь Зау как следует разглядел странного собеседника. Несомненно, он был взрослым, хотя ростом превосходил Зау едва ли на палец. Вид у него был неважный: воспалённые глаза, нездоровое дыхание, изрытая оспинами кожа с редкими, неправильной формы чешуйками. Хвост он держал на весу, словно собирался бежать. Зау не сразу понял, что хвост Изрытого покрыт язвами от едкой дряни, выплёскивающейся из ванн.

Не дожидаясь ответа, взрослый повернулся и пошёл прочь. Зау поспешил следом.

— Мне негде ночевать, — сказал он.

— Ну и что? — слышалось в ответ.

— И я хочу есть.

Вместо ответа Изрытый остановился и ударил Зау в грудь:

— Не ходи за мной!

Зау покачнулся. Изрытый был слишком тщедушен, чтобы ударить сильно. С ног сбивал сам факт, что его ударил говорящий.

Ночь Зау провёл на замусоренном городском берегу. Он не разбираал хора мыслей — мешало электрическое гудение не выключенных где-то машин. А ведь сегодня ему предстояло осмыслить самое невероятное: старший брат, такой же говорящий, как и Зау, не услышал его, не понял его боли, усталости и голода. Это было почти так же невозможно, как молочник.

Зау сполоснулся в нечистой воде залива, хотел было поискать на дне улиток, но раздумал — вода скверно пахла, по поверхности плыли нефтяные разводы; даже если здесь водятся улитки — есть их нельзя.

Сначала Зау хотел дожидаться утреннего света и тепла и немедленно уйти из города. Но постепенно к нему вернулась решимость узнать о городе всё. Утром, едва потеплело, Зау пришёл на площадь. Изрытый появился чуть позже. Он шёл, не глядя по сторонам, и поднял голову, лишь когда Зау преградил ему путь.

— Я хочу работать! — крикнул Зау. — И знать!

Изрытый оглядел напрягившегося, готового отпрыгнуть от удара Зау и проворчал:

— Ладно, одному всё равно не справиться. Пошли...

За месяц Зау вполне освоился с новой работой. Он больше не боялся электрического тока, хотя истошный вой находящихся под напряжением проводов по-прежнему выводил его из себя. В памяти словно

сами собой всплыли понятия, как под действием тока выделяется из раствора металл. Через месяц Зау управлялся с электролизными ваннами так ловко, что мог делать работу совершенно недоступную его туповатому учителю.

А вот жизнь в городе по-прежнему оставалась загадкой для Зау. Не менее странен был и Изрытый. Зау так и не узнал, как его зовут, а может быть, сам Изрытый не захотел выбрать себе имени. Порой Зау сомневался, говорящий ли его напарник. Старик Хисс тоже почти всегда молчал, но в нём угадывалась мощная работа интеллекта, которую Зау по малолетству не умел понять и лишь удивлялся тяжело-весной неповоротливости того, что долетало к нему. Изрытый не думал ни о чём. Дневной труд был ему неинтересен. Он любил много и вкусно поесть, но, нажравшись, терял интерес и к еде. Задолго до наступления прохлады он замирал, затянув веками воспалённые глаза, и не думал ни о чём. Вместо мыслей он издавал негромкое жужжание, тягучее и монотонное, почти не модулированное по амплитуде, примитивное, как вой электролизёра. Причём Изрытый был не один такой. Где-то в соседних домах начинали зудеть другие пустоголовые, и в этом подобии общения, ничего в себе не содержащем, Изрытый находил наркотическую сладость. Когда с приходом тьмы раздавались голоса подлинных говорящих, Изрытый находился уже в полном трансе и не слышал ничего.

Теперь Зау жил в доме, потому что ночевать в городе на улице было совершенно невозможно. Тем более опасно оказалось проводить ночь в воде залива, куда сбрасывались стоки мастерских. Несколько ночей Зау промаялся без приюта, а потом нашёл дом. Говорящий, поселивший Зау в доме, объяснил, сколько он должен работать, чтобы иметь право здесь жить.

В системе оплаты Зау разобрался довольно быстро, не понимал лишь, зачем она нужна вообще, но, познакомившись поближе с Изрытым, понял и это. Если бы Изрытый мог получить кров и пищу даром, то он нигде бы не работал, лишь стоял бы под струями тёплой воды, бегущей с потолка, и, закрыв глаза, гудел. Необходимость за всё платить заставляла его работать. Та же система распределения была, оказывается, в посёлке, но Зау попросту не заметил её, поскольку брал со складов много меньше, чем полагалось им с Хиссом.

Городской дом был великолепен. В нём была большая сухая комната и вторая, поменьше, где из труб под потолком лилась вода. В душе Зау проводил чуть не всё свободное время. Днём и ночью, летом и зимой в доме было одинаково тепло. Деревенские дома согревались пузатыми газовыми реакторами, в которых бродили всякие отбросы. Реакторы грели слабо, и их приходилось то и дело чистить. Здесь тепло подавалось по трубам, и Зау не знал, откуда эти трубы идут.

С Изрытым Зау сработался, хотя старший товарищ по-прежнему был хмур и неприветлив. Изрытый предпочитал однообразную работу, он мог часами следить, как медленно вытягивается из ванны наращиваемая труба. Зау нравились хитрые многоконфигурационные детали, которые ещё не сразу догадаться, как делать, поэтому работу они делили мирно. Лишь иногда Изрытый, глядя на старания Зау, презрительно произносил:

— Университет!

Это слово было для него высшей степенью неодобрения и одновременно служило для обозначения всего ненужного и непонятного.

Через несколько месяцев работы Зау заметил, что его ноги и хвост начинают болеть. Обожжённая

разлитыми реактивами кожа трескалась, чешуйки на хвосте расслаивались. Тогда Зау заказал в столярной мастерской широкие деревянные решётки, которые было легко мыть. Ходить между ванн стало безопасно. Но Изрытый, увидав решётки, устроил Зау скандал.

— Что это за университет! — бесновался он. — Я и без них хорошо обходился!

— Но так удобнее... — возразил Зау.

— Удобнее должно быть дома! Я за твой университет работать не стану!

— А я, — сказал Зау, помолчав, — больше не буду отдавать тебе половину сделанного. Всё равно ты уже давно ничему меня не учишь.

Изрытый размахнулся и хотел ударить Зау, но тот отскочил, и Изрытый упал. С этого времени они больше не разговаривали и даже работу делили молча.

Так прошло два или три года — Зау точно не знал: зима в городе мало заметна. Зау вырос и сильно превосходил ростом Изрытого. Теперь Изрытый уже не пытался драться, а молча признавал превосходство бывшего ученика. В остальном их отношения не улучшились. Изрытый механически исполнял свои обязанности и при первой возможности уходил домой, запираясь там, купался, жрал и жужжал. Он больше не восставал против нововведений, что время от времени изобретал Зау, но относился к ним с нескрываемой враждой, даже щипцы, которые Зау собственноручно смастерил, Изрытый не принял и продолжал лазать в ванну изъеденными кислотой руками.

Как-то Зау не выдержал и, нарушив привычное молчание, спросил, почему напарник работает именно здесь, а не отправится, например, в деревню или, как когда-то сам Зау, на рыбные садки. Сначала Изрытый хотел по обыкновению пройти молча, но взглянул на повзрослевшую фигуру Зау и ответил:

— А ты пробовал жить в деревне? Задарма грелки чистить, землю рыть. Здесь у меня дом — лучше не бывает. У меня всё есть. Ты на садках хоть раз пробовал печень плезиозавра?

Зау пожал плечами. Печени плезиозавра он не пробовал. Не хотелось.

Единственная за три года беседа ясности в понимание города не прибавила. Зау продолжал жить один, перекидываясь несколькими словами лишь со служителями на складах, когда раз в неделю сдавал работу, получал новое задание и заодно набирал на неделю вперёд продукты и немногие нужные вещи. Больше он не говорил ни с кем — заговаривать со встречными в городе было не принято. Если бы не ночной хор, Зау вообще мог бы разучиться говорить.

Провода, находящиеся под напряжением, своим воем мешали разговаривать, но возле домов, там, где жили разумные, их не было, и каждую ночь, когда в мире темнело и ослепшие глаза могли различать лишь точки звёзд и слабое пятно Луны, Зау, замерев от предвкушения счастья, посылал неведомым собеседникам привет.

Зау давно научился выделять в разговоре отдельные темы, узнавать голоса. В этих беседах тоже больше всего беспокоились о конкретных проблемах, но это были интересные проблемы. Зау и сам не раз спрашивал, как устроить то или иное новшество, и получал если не ответ, то дельные советы. Порой Зау отвечал на чужие вопросы, и это случалось всё чаще. Но среди внешних разговоров звучали и иные речи. Говорили о глобальном: о смысле жизни, о тайнах мира.

Иногда голоса сами собой сливались в единый зов, и он был слышен на непредставимо огромном расстоянии. Тогда им отвечали другие говорящие. Они рассказывали о своих землях, находящихся за морем,

куда никто не мог дойти. Эти земли были недостижимы, и ничто, кроме голоса иных говорящих, не долетало оттуда, но всё же они были вместе, потому что когда слышишь голос брата, то значит, он рядом с тобой. В эти минуты Зау чудилось, что он вновь слышит рокот умирающего Хисса и миллионы лет плывут перед ним. Хотя Зау понимал, что такое случается очень редко. От природы говорящие были долговечны, именно поэтому мало кто из них доживал до естественной смерти, когда разумный прощается с миром, но не оттого, что умирает, а потому, что перестаёт жить. Гораздо чаще живущего подстерегали несчастный случай или разрушительные болезни. Печальный пример Изрытого подтвердил это.

Изрытый с каждым месяцем чувствовал себя хуже, хотя и не придавал этому никакого значения. Он с трудом ходил, вяло работал, без радости жил в удобном доме, без удовольствия ел редкие фрукты или пресловутую печень. Ночами он, убаюканный собственным мычанием, младенчески засыпал и, хотя в доме всегда было тепло, лежал застыв и ничего не слышал. Жизнь проходила мимо него, но Изрытый этого не замечал. Постепенно и Зау привык не обращать на Изрытого внимания, стал относиться к нему как к бессловесной твари, которая покорно делает, что ей прикажут.

Теперь Зау был полным хозяином в мастерской. Он делал то, что хотел, и Изрытый не злился, что Зау тратит слишком много электричества. Теперь Зау раздражался, что Изрытый не способен понять, как сделать тот или иной диковинный предмет. Всё реже в гальванических ваннах выращивались молотки, зубила или оси для тележек. Среди всевозможных заказов Зау выбирал самые сложные, радуясь, что создаёт части машин, о которых он лишь слышал по ночам. Иногда он делал деталь, не дожидаясь заявки,

и сдавал её в ту самую минуту, когда приходил заказ. Хотя случалось, что такая работа оказывалась зряшной, ибо никто не спешил заказывать любовно обдуманный и тщательно оговорённый предмет. Эти изделия Зау хранил некоторое время, стараясь угадать, чем они могли бы служить и отчего не потребовались изобретателю, а потом растворял их в ванне, пуская в переделку.

В тот день Зау привычно задержался после ухода Изрытого, чтобы без помех сообразить, как разместить в ванне громоздкие заготовки. Они казались зеркальным отражением друг друга, в ванне размещались удобно, и раствор равномерно обтекал их. А вот для растворяющегося анода места не было. Зау решил положить никелевую пластину на дно и не знал только, как лучше подвести к ней ток.

Зау возился с обесточенной линией, прикидывая так и этак, когда сзади раздался голос:

— Ты красиво думаешь.

В дверях стоял незнакомый говорящий, вернее говорящая — в последнее время Зау начал обращать внимание на это прежде неважное различие. Польщённый похвалой, Зау молчал, а незнакомка продолжала:

— Ты, должно быть, тот самый металлург, который умеет делать всё что угодно. У тебя сильный разум, и хотя я не интересуюсь металлургией, но твой голос различаю уже давно.

— Меня зовут Зау, — нашёл что сказать смущённый металлург.

— А меня — Меза, — представилась незнакомка.

Зау был в растерянности. Впервые говорящий прямо признался при нём, что он тоже участвует в ночном хоре. До сих пор никто об этом с Зау не говорил, можно было лишь догадываться по богатой образной речи, что тот или иной говорящий не просто

дребезжалка наподобие Изрытого, а подлинный Говорящий. И теперь Зау не знал, как себя вести, всё это было настолько личным, что не поддавалось обсуждению.

Зау кивнул и натужно выдавил:

— Я могу быть чем-нибудь полезен?

Ответом был спутанный клубок мыслей.

— Да... То есть — нет... — И лишь потом Меза произнесла: — Вообще-то мне нужны некоторые детали, но мне нечем платить. Металл дорог.

— Что именно надо сделать? — спросил Зау так решительно, что Меза против воли послала в ответ чёткий, до осязаемого зримый образ. — Это же очень простая вещь, — сказал Зау. — Я делал этот предмет на той неделе, но заказа на него не поступило.

— Мы не давали заказа — нам нечем платить.

— Я сделаю всё, что надо, без всякой платы, — сказал Зау, — только куда их потом отнести?

— Это далеко, на том конце города, за озёрами, — произнесла Меза. — Я работаю в университете.

— Где?! — изумился Зау. — В университете?..

Большой, много крупней, чем обычные, молочник кружил по вольеру. Голый хвост волочился среди опилок. Время от времени тварь подбегала к стальной решётке и, приподнявшись на задние лапы, просовывала в отверстие покрытую бурым волосом морду.

Зау смотрел, и в нём медленно поднимался вопрос: «Зачем нужно плодить эту пакость, мастерить для неё клетку, кормить молочника, вместо того чтобы убить его и постараться побыстрее забыть об отвратительном создании?»

Давно уже Зау не испытывал к молочникам никаких чувств, кроме безразличия. Ушёл в прошлое обречённый детский страх, погасла ненависть, когда-

то заставлявшая ломать берег и гоняться за верещащей мелочью с обломком бревна. Теперь он был занят более важными делами, а осторожные молочники старались не показываться днём, так что Зау позабыл о них. Но при виде спящего по клетке паразита тягучая боль проснулась в руке, покалеченной в детстве зубами молочника, — выросшие, взамен оторванных, пальцы вспомнили о давней ране. Зау выронил принесённые решётки — которые, оказывается, он изготовил для молочников! — и, сумев наконец объединить расстроенные мысли, задал вопрос:

— Для чего это здесь?

Меза появилась из-за стеллажей в дальнем конце помещения. Она послала приветствие, но, почувствовав неладное, быстро подошла, спрашивая:

— Что случилось?

— Вот, — Зау показал на клетку с молочником.

С трудом разобравшись в сумятице мыслей, Меза ответила:

— Это и есть моя работа, точнее, её часть. В университете собрались те, кто *знать* хочет сильнее, чем *иметь*. Я изучаю животных. Всех. В том числе и молочников.

Это был довод. Зау на себе испытал тягучую муку бессилия, когда не мог найти ответа на вопрос, а хор говорящих не отвечал ему. Значит, для поиска ответов приходится заниматься и таким...

Зау наклонился, рассматривая мечущуюся гадину. Молочник, как и весь их род, был глух, он не слышал мыслей, не умел оценить ситуацию, но всё же беспокойство ощутил, засновал по клетке, издавая время от времени дребезжащий писк. Волосины на кончике морды нервно шевелились. Зау передёрнуло от отвращения, он поспешно выпрямился и потребовал:

— Расскажи о них.

— Это странные существа, — сказала Меза, — не-
лепая боковая ветвь, тупик. Они произошли от древ-
них мокрокожих и потому остались так неразвиты.
Их внутреннее устройство ещё дисгармоничней внеш-
ности. Они ушли из воды и не мечут икру, но без
воды не способны прожить и нескольких суток, по-
тому что сохранили примитивные лягушачьи почки.
Шкура молочников не служит защитой от сильного
солнца, поэтому они обычно прячутся днём. Это един-
ственные животные, ведущие преимущественно ноч-
ной образ жизни. И здесь видно их родство с лягуш-
ками, ведь те тоже не засыпают, если вода тёплая, и
тоже имеют влажную кожу. Но из-за того, что по
ночам, особенно зимой, холодно, молочники выра-
ботали у себя адскую способность. Их тело всегда
сильно нагрето. На это уходит прорва энергии, из-за
чего молочники вынуждены непрерывно и неустанно
жрать. Пища им ещё нужнее, чем вода, они воистину
ненасытны. Зубы — единственное, что они развили
у себя выше всякого представления. Вряд ли тебе
приходилось когда-нибудь готовить такой набор ин-
струментов, что каждый из них носит в своей челюс-
ти. Если им дать волю, они сожрут весь мир.

— Среди говорящих тоже есть такие, — сказал
Зау, вспомнив Изрытого.

В мыслях Мезы мелькнуло что-то сложное и про-
тиворечивое, не оформившееся в слова, так что Зау
даже не смог понять, к чему относится этот всплеск.
Казалось, Меза смотрит на чужую мысль сразу с
нескольких сторон, одновременно соглашаясь и от-
вергая её. Зау так не умел.

Меза распахнула двери, так что стал виден за-
хламленный берег и чёрная поверхность одного из
городских озёр. Зау ждал, не понимая, зачем пока-
зывают ему эту давно знакомую картину. Молчание
тянулось.

— Да, — наконец сказала Меза, — мы тоже способны сожрать мир, и делаем это довольно успешно. Город появился здесь потому, что на озёрах могло кормиться много говорящих. Сегодня в озёрной воде убита даже плесень, а мы травим залив. Так поступают не только пустоголовые, которые хотят поскорее заглотить свой кусок и отключиться, но и разумные говорящие тоже. Мы куда более непостижимые существа, чем молочники. Мы способны воспринимать боль и радость соседа как свои собственные, мы поднялись на вершину единства душ. Но мы спокойно смотрим на гибель ближнего, ведь из ста родившихся вряд ли один вырастет взрослым. Только разумные способны быть столь добры и жестоки, так предусмотрительны и беспечны, бесчувственны и сострадательны. Природа не создавала прежде и не создаст больше никогда существ, которые сравнились бы с нами в благородстве и мерзости одновременно. Возможно, это общее свойство разума, но, каких бы иных разумных существ ни представить, мы всё равно останемся непревзойдёнными и в дурном, и в хорошем. Наши мысли сливаются в единое целое, но в делах мы разобщены. Взгляни: каждый, даже думающий о вечном, делает лишь сиюминутные дела. От этого страдает Земля. Мы уничтожаем животных, перекраиваем растительный мир, пачкаем почву, воду и воздух. Скоро на Земле станет невозможно жить, а мы спокойны, словно чешуя покрывает не только наши тела, но и сердца...

Зау молча слушал. Это была знакомая нота беспокойства, всегда звучавшая в хоре, но впервые Зау слышал её так ясно и видел, кто произносит слова тревоги.

— ...Мы с умиротворением и радостью, во имя дивной цели — облегчить жизнь говорящим, уничтожаем всё, до чего можем дотянуться. А руки у нас

длинные, достать мы можем далеко. Боюсь, что история разума закончится тем, что на Земле останутся одни молочники...

— Уж эти-то точно не выживут, — возразил Зау, — сожрут сами себя.

Вместо ответа Меза прошла между рядами клеток и террариумов, где копошилась всевозможная мелкая живность, и остановилась возле небольшого вольера, в котором на слое нечистых опилок лежал молочник. Рядом копошилось ещё несколько вредителей, совсем крошечных. Молочник ткнул носом в одного из мелких. Зау ждал, что сейчас шкурка окрасится кровью, а затем послышится с детства до озноба знакомый хруст плоти, но всё было мирно. Детёныш барахтался в опилках, а молочник вылизывал его, не торопясь вонзать зубы. Потом он перевернулся на спину, и мелкие все разом кинулись к нему. Они карабкались на голое розовое брюхо, тыркались беззубыми мордами, слизывая выступающую из бугорков на брюхе белую, похожую на гной слизь. Больше Зау не мог смотреть. Он чувствовал, что ещё немного, и ему станет дурно.

— Они едят большого? — спросил он, отвернувшись.

— Не совсем. Тот сам кормит их. Это его детёныши, молочники не бросают своих детей, как мы, а заботятся о них, выкармливают своим телом, пока детёныши не подрастут. Вот почему они так живучи и неистребимы. Все иные животные угнетены нами и вымирают. Процвetaют одни молочники. Мало того, они меняются. Меня это тревожит. Посмотри, раньше таких крупных не встречалось. Ты знаешь, я иногда фантазирую, что было бы, если бы на Земле не стало говорящих. Древо жизни тогда уродливо искривилось бы, случайная боковая ветвь оттянула бы к себе жизненные соки, молочники несказанно размножились

бы, подавив и уничтожив все остальные виды. Не сдерживаемые главной ветвью, они дали бы огромное разнообразие форм и лишь разума не смогли бы создать из-за своей глухоты, неумения сопереживать, слышать чувства других. Но и без разума им придётся решать: что в них сильнее — жадность, рождённая тёплой кровью и требующая сожрать всё, или удивительное стремление сохранить и накормить другого. Тогда мне начинает казаться, что прекрасные говорящие и безмозглые молочники, живущие в норах, очень похожи.

— Не надо, — попросил Зау. — Я не хочу себе этого представлять.

После похода в университет Зау решил начать реконструкцию мастерской. Кислота и ядовитые растворы солей из ванн стекали по дренажной системе в залив. Зау решил уменьшить количество стоков, а остатки отвести в мёртвые озёра посреди города, полагая, что там они принесут меньше вреда. Для этого требовались насосы и трубы. Зау мог бы изготовить их сам, если бы на дело годился металл. Но Зау лучше всех понимал, как быстро будет съедено железо, а тем более хром или никель, жгучими электролизными растворами. Приходилось искать другие материалы, для чего надо было часто покидать мастерскую. Вот только оставить её было не на кого — Изрытый слёг.

Он не появлялся на работе пятый день подряд, и Зау, потеряв терпение, отправился к нему домой. Издали он услышал самозабвенное жужжание — Изрытый предавался зуду. Зау попытался разбудить напарника, он звал его, расталкивал, но всё было напрасно. Изрытый глаз не открывал, конечности его были расслаблены и лишь иногда коротко дёргались.

Язвы, тут и там изъевшие кожу, нагноились, чего прежде не было.

Зау забеспокоился, подумав, что Изрытый может умереть, но тут же постарался отогнать эту мысль. Ведь Изрытый молод, ему не исполнилось и ста лет, даже рисунок на чешуйках, где они целы, не стёрся.

Зау отнёс тщедушное тело во влажную комнату, промыл под душем язвы, потом стал искать какие-нибудь лекарства. Изрытый лежал неподвижно, его зудение наполняло дом.

Лекарств Зау не нашёл. Не было даже ароматической смолы, чтобы покрыть раны. Нашлись протухшие остатки еды, заплесневелый настой дурманящего корня, увядшие листья табака. Не слишком много удовольствий получал Изрытый от своего большого заработка.

Жужжание усиливалось. По распростёртому телу волнами пробегала дрожь. Зау понял, что Изрытый действительно умирает. Бессмысленное гудение — единственная радость пустоголовых — захватило весь мозг, блокировало жизненно важные центры. Изрытый не только не мыслил, он не дышал, не билось сердце, остановились зрачки, а истощённое тело не могло заставить мозг вернуться к жизни. Звук оборвался неестественным взвизгом. И хотя у Изрытого ещё вздрагивало сморщенное брюхо, подёргивался хвост, Зау видел, что всё кончено. Он вышел из дома, прикрыв дверь. Надо было позаботиться о погребальном костре.

Тело Изрытого вывезли за город и сожгли. Двое пустоголовых, занимавшихся этим делом, не могли понять, зачем Зау увязался за ними и помогает им. Ведь они предупредили, что работа эта случайная, они справятся сами и заработком делиться не станут.

Домой Зау вернулся не сразу. Сначала он пошёл прочь от города, вверх по встретившейся реке. Шёл

и думал, пытаясь понять, зачем жил Изрытый, что собой представлял. Не было ответа ни на один из этих вопросов. Не жил Изрытый, а тянулся через годы, старательно убивая себя. И никем не был, даже имени себе не нашёл. Был он функцией от еды, функцией от работы. Плохо, когда ты не существуешь и обозначаешься всего лишь функциональным прилагательным: «учёный», «рабочий», а не... — Зау запнулся и произнёс ещё одно прилагательное: — «Говорящий».

Струи реки переливались под солнцем. В чистом негородском воздухе гудели жуки, тритон опускался на дно, мигая оранжевым пятном брюшка. Голенастые фламинго стояли на мелководье, выискивая добычу прямыми розовыми клювами, а потом, вспенивая концами крыльев воду, летели прочь, спасаясь от подползающего тонкомордого крокодила. Природа жила ради самой жизни, безразличен ей был разум, блестящие знания, мудрые откровения ночного бытия... Но когда *говорящие* начинали *делать*, то дела эти больно ранили природу.

Зау почувствовал, что не хочет возвращаться в нечистый город; настоящим счастьем было бы поселиться здесь, и жаль только, что Меза не видит всего этого.

Зау развернулся и поспешил обратно к городу.

Меза, как обычно, была в лаборатории. Она вообще старалась как можно меньше времени тратить на самое себя и предпочитала сидеть голодной, чем зарабатывать на жизнь. На университет средства выделялись скупо, так что большинство говорящих, которые вели там исследования, работали где-нибудь ещё.

Меза промывала в большой кювете икру какого-то редкого мокрокожего. Сквозь полупрозрачную

оболочку были видны чёрные запятые свернувшихся зародышей.

Зау подошёл, положил руку Мезе на затылок. Он не знал, что говорить, но даже неформулированные его чувства звучали громче слов. Меза замерла, и целую вечность они стояли неподвижно. Слова были не нужны, но всё же прозвучали и они. Меза вздохнула и произнесла:

— Не надо.

Зау показалось, что он ослышался. Он же знал, видел, как Меза всем существом говорит «да», но то, что она произносила, опровергало очевидное.

— Не надо, — повторила Меза и, почувствовав, что сейчас Зау заговорит обиженно и недоумевающе, поспешила добавить: — Не сердись, я не хочу тебя оскорблять, ты хороший. Если бы эти отношения были для меня приемлемы, я не хотела бы никого, кроме тебя. Но это невозможно. Ты ещё совсем молод, ты не понимаешь, зов тела кажется тебе прекрасным, а на самом деле мы ничем не отличаемся вот от них, — Меза встряхнула кювету с икрой. — Липкий стегоцефал выльет из брюха икру, а через день, забыв обо всём, сам же её пожирает. Я так не могу, прекрасное должно быть долгим.

— Ты считаешь, что лучше быть как молочки? — ошеломлённо спросил Зау.

Меза запнулась, а потом, словно бросаясь с обрыва, произнесла:

— Да. У них лучше.

Через два дня Зау женился. Произошло это просто и буднично. Зау высмотрел себе жену на улице, подошёл, сказал:

— Ты мне нравишься. — И дальше они пошли вместе.

Какой-то пустоголовый пытался остановить их, твердя, что он подошёл раньше, но Зау лишь взглянул на него коротко, и тот проворно отпрыгнул, ожидая удара. И в эту минуту Зау действительно мог ударить. Это потом он со стыдом думал, что был, должно быть, похож на Изрытого.

Зау привёл подругу на берег реки, где дышали спорами шапки плаунов и изгибал тонкую шею маленький пресноводный плезиозавр. Там они провели неделю. А потом Зау так же внезапно остыл. Подруга, имени которой он не удосужился узнать, стала ему совершенно безразлична, и он сразу заметил, что вода в реке не так уж и чиста — рудники в верховьях спускают в неё какую-то дрянь, а за узкой полосой леса курятся залитые чёрной жижей поля, и тянется лента дороги, по которой доставляют от далёкой вулканической гряды пахучий порошок серы и бочки с кислотой для его электролизных ванн.

Сезон любви кончился.

Зау знал, что пройдёт чуть меньше месяца, в теле его случайной знакомой созреют яйца, тогда она закопает их в песок одного из детских пляжей, и для неё тоже всё кончится.

Зау вернулся в город. В университет он больше не ходил и делал лишь ту работу, на которую приходили заказы. Не начал он и переброску стоков от залива к радужным озёрам. Всё равно одна мастерская ничего не меняла. А если во время бдений речь заходила об угрозе животным и растениям, об изменении условий, Зау отмалчивался, стараясь не откликаться на этот разговор.

Ежегодно весной Зау без труда находил себе новую подругу, а через неделю-полторы так же легко забывал её. И его не тревожило, что так мало приходит в город молодых говорящих, и не волновало, есть ли среди них те, кто обязан своим существованием ему.

То есть порой Зау задумывался об этом, но немедленно вспоминалось оскорбительное сравнение Мезы, и Зау гнал из головы ненужные и вдвойне неприятные размышления.

Среди заказов Зау по-прежнему старался выбрать самые неординарные, требовавшие сообразительности и ловкости в работе. Особенно его привлекали задачи, связанные с изменением структуры металла. В зависимости от примесей и условий изготовления одна и та же стальная пластинка могла быть покорно-гибкой или до звона упругой. Постепенно Зау вновь начал делать недоговорные работы, но теперь уже только для самого себя: не считаясь с расходом энергии, наращивал различные образцы, калил их в оглушительно визжащей муфельной печи, которую сам и сконструировал. Зау понимал, что то, чем он занимается, — тоже «университет», но бросать любимого дела не хотел, он лишь не произносил слово, которое однажды и надолго стало ему отвратительным.

Постепенно удивительные возможности металлов обрели известность среди говорящих, и наконец пришёл первый заказ изготовить пружину. Описание заказа было составлено так, что Зау не понял точно, что именно нужно изготовить. В ближайшую ночь он пытался обговорить подробности, но на его вопрос никто не откликнулся. Зато на следующий день заказчик пришёл сам.

Пальн, так его звали, был невысоким говорящим со странно замедленными осторожными движениями и необычайно тихим голосом. Не удивительно, что Зау ночью не расслышал его. Однако разум у Пальна оказался гибок и быстр, так что понять, что именно следует сделать, не составило труда. Но самое странное, что этот, второй за все годы предмет, заказанный не через склады, а лично, тоже был связан с

молочниками! Только пружина, в отличие от клетки, должна была не сберегать, а убивать, так что Зау мастерил детали капкана с удовольствием, а потом вызвался сам установить звонко щёлкающий механизм.

На рассвете шепотун Пальн зашёл за ним. Зау взял не один, а четыре изготовленных капканчика и отправился вслед за проводником. Они вышли из города и двинулись вдоль берега залива, мимо рыбацких посёлков, прочно связанных в памяти Зау с именем Хисса.

Теперь Зау и сам видел, как уступами отходит тесное садками море и как отступает истребляемый говорящими лес. Исчезли жавшиеся к воде последние кордаиты и легкоперистые гинковые — их было слишком легко ломать, и реликтовые посланцы древних лесов покорно исчезли с лица Земли.

Зау остановился, тряхнул головой, отгоняя наваждение. Это же было не с ним... Кордаитовые чащи помнил Хисс, а при Зау оголилась прибрежная дюна, началась ломка леса в болотистой низине за ней, и в воды бухты легли стволы тёмной туи и призывно пахнущей магнолии. Знакомые места, которые он никогда не вспоминал, но, оказывается, никогда и не забывал.

Пальн свернул на дорогу, пропаханную хлыстами поваленных деревьев, потом двинулся напролом через кусты терновника, разросшиеся на месте бывших лесосек. Зау ломился следом. Через полчаса перед ними открылось небольшое, затянутое ряской болотце и пологий песчаный склон, огороженный забором, едва доходящим Зау до пояса. Они пришли к цели, преодолев за полдня путь, на который когда-то Зау потребовалось три года жизни.

— Тише! — предупредил Пальн. — Здесь нельзя громко. Оглушишь малышей.

Весь его мир, когда-то казавшийся бескрайним, лежал перед ним, и всего-то в нём было с десяток шагов. Но этот мир, как и прежде, был населён. Миниатюрные существа, крошечные копии самого Зау, скакали по песку, бултыхались в воде, разгрызали витые ракушки прудовиков — какими огромными казались когда-то эти улитки, какими маленькими представлялись теперь! Сознание Зау наполнилось тонкими криками, визгом, звонкими восклицаниями бессмысленной радости. Перед ним, невообразимо уменьшившееся, — лежало его детство.

— Им три дня, — прошепел Пальн.

Один из детёнышей, покинувший общую кучу, давно и целеустремлённо штурмовал осыпающуюся песком горку. Вот он выбрался наверх и поскакал, размахивая хвостиком. Проход в заборе он миновал, похоже, даже не заметив его, и остановился, лишь когда уткнулся в ногу Зау. Зау наклонился, подставил ладонь, малыш без тени сомнения вспрыгнул на неё, такую большую, что там могло бы разместиться десяток таких, как он. Зау поднёс ладонь к лицу, разглядывая и узнавая себя самого.

— Это я! — кричал малыш, подпрыгивая. — Меня зовут Тари! Я живой! Ночью приходил страшный с красными глазами, но я зарылся в скорлупки, и он не нашёл меня! Я тоже вырасту большим. Я буду!..

— Беги, Тари, — прошептал Зау, боясь, что голос его чересчур громок. — Ты обязательно вырастешь, но пока не выходи за ограду. Здесь для тебя слишком опасно.

Детёныш умчался, щебеча что-то. Зау смотрел ему вслед, стараясь ни о чём не думать, а потом пошёл настораживать ловушки, чтобы «страшный с красными глазами» не пришёл за маленьким Тари.

Но вместо молочника пришёл другой «страшный». Вечером за холмами появилось багровое за-

рево. Там у нефтяных озёр располагались мастерские, в которых варили асфальт и готовили пластмассы. От завода тянуло гарью и тошнотворно-сладким запахом растворителей. И вот там случилась авария, несколько мастерских сгорело. Клубы непроницаемого дыма окутали берег, дым рвал горло, разъедал глаза. Зау почёл за благо не дышать, пока не выбрался из отравленной зоны, хотя и знал, что будет расплачиваться за это неделями головной боли. Детёныши остались в дыму, сами они выйти не могли, найти их в темноте полуослепший Зау не сумел.

Когда дым рассеялся, Зау вместе с Пальном вернулся к детской площадке. Берег был усеян комочками свернувшихся детёнышей. Где-то среди них лежал и трупик крошечного Тари, который уже никогда не будет.

Через день Зау возвратился в город. Он шагал по захламленному берегу, топча взбитые прибоем серые шапки пены, смотрел на промасленную убитую землю, на отравленную зелень, местами ещё вылезавшую из изуродованной почвы, и пытался представить себе: где здесь были рыбные тони, где выращивали рис или низкие пальмы с мучнистой сердцевинкой, а главное, где могли лежать детские площадки, искрящиеся первыми звонкими словами, давно отзвучавшими, площадки, залитые сегодня мазутом и кислотой, среди которых новорожденный не прожил бы и четверти часа.

Несколько недель Зау не выходил из мастерской, готовя детали ловушек и всевозможный инструмент, который мог потребоваться ему в дальнейшем, а потом собрался и ушёл к опустевшему болоту. Он понимал, что новая работа будет далеко не так интересна, как прежняя, знал, что будет обречён на многомесячное молчание и сможет лишь слушать других.

И всё же Зау не колебался, делая выбор, поскольку видел, что самые остроумные железки теряют смысл, если окажется, что с ними некому возиться.

Молчальник Пальн без лишних слов принял его помощь, показал изнанку знакомого с детства нехитрого хозяйства площадки. Главным в работе оказалась тишина — близкий голос портил слух детей и мешал слушать общий хор, из которого детёныши сами выбирали нужные сведения. Даже шептать без особой надобности Пальн не советовал. Жить Пальн предложил вместе с собой в примитивном деревенском доме, без душа и с отоплением в виде пузатого, булькающего самовара дрожжевой грелки, необходимость чистить которую так пугала Изрытого. А через несколько лет Пальн так же просто оставил дом Зау, а сам ушёл на другую площадку, где не осталось почему-то ни одного воспитателя.

Каждый год по весне, когда у других начинался сезон любви, Зау, ворча про себя (единственное время, когда он мог себе это позволить!), здоровенными граблями прочищал дно болотца, которое без этого давно бы заросло, и засеивал мелководье микроскопической икрой улиток и зернистыми комьями лягушачьей икры. Потом, поглядывая на припекающее солнце, сгребал в кучи песок и начинал ждать рожениц. Те приходили, не глядя ни на кого, разрывали ямки, быстро оставляли кладки, присыпали яйца разогревшимся на солнце песком и уходили с сознанием выполненного долга. Зау с ними не разговаривал, и они не обращали внимания на него.

Когда на жарком склоне не оставалось мест, Зау перегораживал вход на площадку и отправлял всех дальше, за город, где в нескольких часах пути на краю больших болот были оборудованы ещё две площадки. Иногда роженицы спрашивали, нельзя ли

найти на площадке дополнительное место, тогда Зау молча отказывал им. Конечно, песчаных куч можно было насыпать сколько угодно, но тогда слишком много малышей погибло бы в перенаселённом детском саду. Однажды среди опоздавших Зау увидел Ме-зу. Видно, и в ней голос крови взял верх над рас-судком. Ме-за, услышав, что Зау узнал и вспомнил её, заколебалась, но всё же подошла и спросила о лишнем месте, хотя заставленные ворота говорили яснее слов.

— Я не могу идти к болотам, — сказала она. — В лаборатории не осталось никого, животные за это время погибнут.

Зау отвернулся. Он хотел сказать, что у него погибли разумные, напомнить, как сама Ме-за твер-дила о необходимости заботиться прежде всего о сво-их детях, вспомнились и молочники, поставленные ему в пример, и думы о бессмысленности самой жиз-ни, если она кончится вместе с тобой... Всё это про-питалось давней, но неугасшей обидой и сплелось в такой клубок горечи, что, когда Зау повернулся, что-бы коротко ответить: «Нет», — Ме-за уже уходила, вздрагивая, словно её стегал источающий вопль ого-лённый электрический провод.

Две недели после появления яиц Зау жил спокой-но, следил лишь, чтобы не добрались до песчаного инкубатора прожорливые ночные воры. А потом на-чиналась суматоха. За несколько часов тёплый берег покрывался сотнями маленьких, неистово галдящих фигурок. Углядеть за всеми детёнышами не было никакой возможности — они лезли в воду, срывались с забора, убегали и не возвращались. Многие болели, а бывало, что из целой кладки так и не появлялось ни одного живого...

К осени на площадке оставалось лишь несколько десятков воспитанников. Их Зау различал по головам, заботился о них, подкармливал в голодный сезон, снисходительно, вполголоса беседовал с ними и вообще относился к ним как к состоявшимся говорящим, хотя и понимал, что первую зиму переживёт меньше половины детей.

Временами эта селекция, отбор на выживаемость, казалась Зау жестокой, но тогда он вспоминал краткие наставления Пальна: разум родился в борьбе за выживание, и каждый разумный обязан повторить этот путь. Если слишком заботиться о новорожденных, они вырастут слабыми, и среди них не окажется ни одного по-настоящему разумного, а лишь пустоголовые жужжалки. Такие опыты ставились и обходились говорящим слишком дорого. Потом на память приходили чадолюбивые молочники — безмозглые, хищные и глухие. Этот врезавшийся в душу образ помогал балансировать между равнодушием и ошибкой.

За неделю до нового сезона любви последние малыши покидали площадку. Обычно Зау сам отводил их в ближайший посёлок, откуда они разбредались кто куда в поисках места. А Зау возвращался к песчаному холму и готовил его к приёму нового поколения.

Следующий год повторял предыдущий, а потом сам повторялся с началом нового сезона. Катастрофы случались редко, хотя химические мастерские были восстановлены и даже разрослись.

Обычно больше всего жизней уносили холодные зимы и хищные враги. Порой случалось, что по весне Зау некого было отводить в посёлок. Особенно досаждали молочники, изобретавшие всё новые и новые каверзы. Теперь Зау жалел, что Меца куда-то исчезла и её голоса давно не слышно. Может быть, она,

первая заметившая мутации среди молочников, могла хоть что-то посоветовать. А так приходилось бороться вслепую, почти не зная противника.

Воспитатель — это была работа, все признавали её нужной; и хотя Зау не сдавал на склады изделий, всё же за ним резервировалась и еда, и кое-что из вещей. Заработок воспитателя было бы смешно сравнивать с тем, что получал Зау, когда был металлургом, но, с другой стороны, в университете вообще ничего не платили, Мезе с товарищами приходилось полагаться лишь на себя и щедрость таких, как Зау. Хотя теперь Зау не смог бы делиться с другими своим достатком. Впервые он столкнулся с ситуацией, когда заработка стало не хватать. Не на жизнь, разумеется, здесь его требования всегда были скромны, а на работу. Молочники наносили свои безжалостные визиты уже с появлением яиц, и Зау, видя, что капканы не спасают от напасти, решил испробовать яд. А поскольку личных фондов не хватало ни на яд, ни на приманки, Зау пришлось зарабатывать их на стороне.

Большие болота назывались так то ли по традиции, то ли по недоразумению. На самом деле это были большие поля. Затянутая илом и залитая водой низина ежегодно засеивалась съедобным тростником, рисом, другими влаголюбивыми растениями, которые охотнее прочих употреблялись в пищу говорящими. Туда и отправлялся Зау, когда ему не хватало нищенского содержания воспитателя. Приходилось по колено в жидкой грязи укоренять стебли рассады, убирать урожай, но больше всего трудов уходило на борьбу с вредителями. Невидимая глазу мушка дырвила листья, портила цветки. Трижды в сезон следовало обходить посевы и опылять их толчённым в пудру порошком серы. Жёлтый налёт плыл по воде, не смачиваясь, взлетал с её поверхности,

но потом всё же тонул, накапливаясь в торфяных толщах.

Туда же, под воду, попадали и другие вредные вещества. Семена перед зимним хранением окуривали, убивая жучков удушливым ядом, что варился на нефтяных озёрах. Перед посадкой зерно смешивали с чёрным порошком урановой смолки. Когда Зау узнал об этом, он удивился и испугался. Он знал, как действуют на живое соли урана и тория, и даже в гальванических мастерских никогда не пользовался ими. Но потом ему объяснили, что без радиационной обработки нельзя надеяться на дружные всходы, а что касается ядовитых солей, то смолка нерастворима, в зерно она не попадает, а надёжно задерживается рыхлым илом и остаётся там, в торфе.

Поработав на полях, Зау хорошо познакомился и с ядами, и с приманками. Молочники и здесь были первыми среди вредителей, безжалостно портя урожай. А вот яд на них почти не действовал — привыкли к яду сотни травленных поколений! Теперь дозы отравы на полях употреблялись такие, что Зау рисковал погубить детёнышей, даже в том случае, если никто из них не тронет ядовитых приманок.

Химическую войну Зау благоразумно прекратил не начиная, но продолжал работать в двух местах, потому что решил строить дом. Новый дом потребовался для детей. Один год не приходился на другой, хотя обычно они отличались друг от друга не сильно. Но потом случилась страшная зима, солнце не показывалось несколько дней кряду, и к концу этих дней на песке не осталось ни одного живого детёныша. Их маленькие тела не смогли прийти в себя после слишком долгого оцепенения.

Тогда-то, получив печальную возможность нарушить обет молчания, Зау обратился к говорящим,

требуя от имени погибших малышей большей к ним заботы. Он просил поставить на пляжике дом, чтобы в слишком холодные ночи детёныши могли в нём спастись.

Ответом было повторение общеизвестных истин: о детях нельзя слишком печься, лишения оборачиваются к их же благу. А годы, когда погибал весь выводок, случались и прежде. Жалко, но... ничего не поделаешь.

Не получив поддержки, Зау решил строить дом сам и вновь отправился в ту слишком свободную весну на поля, чтобы на заработанное приобрести не полагающийся ему лес и немудрёное домашнее оборудование. В строительстве Зау никто не помогал, но и не мешал. Это было его дело, его право на эксперимент, пусть даже то был эксперимент над будущими поколениями. Зау сам укладывал брёвна, конопатил стены, устанавливал грелку. Родившиеся новой весной малыши толклись вокруг него, лезли под топор, и каждый предлагал в дело свою щепочку, палочку или веточку.

Строительство дома было приостановлено лишь однажды. Зау устанавливал потолочные перекрытия, когда среди бела дня послышался звук, словно сразу на полную мощность заговорил ночной хор. Но на этот раз в хоре был всего один голос. Зау обмер, забыв, что неудобно держит на весу потолочную балку. Он понял, что где-то, может быть на другом континенте, повторяется высокая трагедия Хисса. Мудрый говорящий, достигший предела своих бесконечных лет, последний раз держал речь перед разумными. Эта речь сильно отличалась от того, что говорил Хисс. Неведомый старец не только передавал живущим память предков, но и кричал о многом, что он сам познал и увидел в жизни. Не только животный мир менялся, беднее на глазах долгожителя, не

только уничтожались леса и отравлялось море. Гибла вся планета. Жизнь на холодной земле существовала лишь благодаря укутывавшему её одеялу из углекислого газа, создающего парниковый эффект. Не будь его, тепло уходило бы в пространство, и в мире стало бы так холодно, что выжить смогли бы разве что птицы да вездесущие молочники. Что-то подобное уже было в мире двести миллионов лет назад, и возвращение доисторических времён казалось невозможным. Но тем не менее в углекислотном одеяле уже зияли рваные дыры, которые продолжали расползаться. Носитель жизни — углерод оседал в меловых отложениях морских рифов, огораживающих пастбища аммонитов и белемнитов. Уголь уходил под песчаные наносы на месте иссушенных рыбных садков, пропадал вместе с отравленным илом полей, оставался в настилах гатей и фундаментах состарившихся домов. Каждое лето безвозвратно уносило из атмосферы углерод, и всюду эти страшные процессы подстёгивались умелой, знающей рукой говорящего. Не случайны суровые зимы — они будут ещё суровей, не случайны дожди — ветры, рождённые ещё тёплыми и уже холодными зонами, поднимают с океана массу воды. Не зря Зау строит дом, скоро без него детёныши вообще перестанут выживать. Только поможет ли и дом?

Детёныши не много поняли из услышанного, а Зау долго стоял в прострации, привычно сдерживая мысли, но чувствуя, как против воли созревает в нём план очередного эксперимента.

Когда был достроен дом и отпущено в жизнь первое поколение побывавших там малышей, когда вновь пришёл краткий весенний отпуск, который Зау уже давно не посвящал любви, когда наконец появилось

свободное время, Зау позволил себе обдумать появившийся полгода назад замысел.

Он хорошо помнил свою неудачную попытку вновь пустить в дело морёную древесину, долгие годы пролежавшую под водой. Но сейчас он и не собирался использовать что-либо по второму разу. Надо было всего лишь вернуть атмосфере похищенный у неё углерод. Для этого не годились затонувшие брёвна и тем более напоённый водой слежавшийся торф. Зау остановился на древнем угле, отложившемся в незапамятные эпохи и превратившемся в камень.

Неподалёку от города, там, где река, на которой Зау проводил свою медовую неделю, бурлила, переливаясь через пороги, на поверхность выходило несколько пластов каменного угля. Минерал этот за полной ненужностью никем не разрабатывался, так что всякий мог использовать его в любых целях. Зау решил вернуть углю жизнь. Сделать это можно было только с помощью огня.

С вечноживым, подвижным всепожирающим пламенем говорящие сталкивались лишь в смерти. Мёртвых сжигали, так чтобы от них не оставалось ни единой кости, освобождая место на Земле новым живущим. Нигде больше опасный огонь не употреблялся, так что Зау пришлось идти на выучку к могильщикам. В грязных городах всё больше погибало повзрослевших, но ещё молодых говорящих, так что появилась и такая профессия. Это было невесёлое учение, в могильщики шли почему-то исключительно пустоголовые, которые не умели толком объяснить, как добыть и поддержать огонь. Но всё же Зау разобрался в этом, обзавёлся он и необходимым для добывания огня инструментом.

Развести огонь среди чёрных глыб угля оказалось несложно, хотя сам уголь долго не хотел разгораться.

Наконец он взялся жарким беспламенным огнём. Лёгкий смолистый дым костра сменился беспросветными удушливыми клубами, так напоминавшими ядовитую гарь нефтяных мастерских. Зау, лихорадочно вспоминая, нет ли поблизости детских колоний, кинулся гасить огонь. К сожалению, этому его не научили вовсе. Задыхаясь и перхая, Зау голыми руками растаскивал исходящие багровым жаром угольные комья, лишь сильнее разнося огонь. Он не чувствовал жара и сперва не обращал внимания на то, как трескается чешуя на запястьях и вздувается волдырями ошпаренная кожа. И лишь потом острая боль заставила его прекратить бестолковую работу и вывалиться из пламени.

Дымное облако расплзлось по окрестностям. Зау бежал сквозь едкую тьму, нечленораздельно мыча от боли, словно дошедший до экстаза пустоголовый. Руки, вначале не чувствовавшие огня, вспухли и болели нестерпимо.

Пожар остановить не удалось. Огонь ушёл в глубь земли, и ещё несколько лет из расщелин поднимались дымные фонтаны, а берег реки был усыпан крупной копотью. Гарь мешалась с водой, поганя чистое дно, в реке исчезли заводи с жёлтыми точками кувшинок, погибло, быть может, последнее в мире лежбище карликовых речных плезиозавров.

Год Зау не работал: болели руки. Зау надолго превратился в инвалида. Его из милости кормили, а жил он на детской площадке в собственноручно построенном доме. По утрам уходил от детей на безопасное расстояние и думал. В праздную голову приходили невероятные идеи, представлялось, будто сожжённый пласт угля был когда-то, задолго до появления говорящих, залитым водой полем, и кто-то, опасаясь за урожай, посыпал его удушливым серным порошком, обрабатывал радиоактивны-

ми коллоидами. О чём тревожиться? Ил всё поглотит, уголь всё впитает. Вот и ушёл уголь в землю навсегда, остудив воздух и море, и беда тому, кто вздумает ковыряться в старых помойках, добывать антрацит и сланцы: вместе с углём освободится и упадёт кислотным дождём пленная сера, и вонючая гарь, и невидимая урановая гибель. А без этого углерода, когда-то кутавшего и гревшего землю, в мир явится — и уже идёт — Великий Холод.

Логично всё получалось и стройно. Почти как у Мезы в её бредовых фантазиях. Вот только кто мог в древности возделывать эти поля? Неповоротливый мокрокожий мастодонтозавр или клыкастая иностранцевия со скошенным лбом? Или гигантский диплодок с мозгом улитки, первый из зверей истреблённый предками Зау за то лишь, что был слишком лёгкой и большой добычей? Конечно, никто из них не смог бы так надёжно уничтожить мир, это под силу лишь разуму.

А спасти мир вряд ли сумеют и разумные.

Однажды, в минуту надежды, Зау посчитал, сколько углекислоты он так катастрофически вернул в оборот. Результат получился столь ничтожен, что не стоил и упоминания.

Болели руки, болела голова. Выхода впереди не было.

Вторую неделю лил дождь. Мелкие капли, не пол-летнему холодные, безнадёжно выравнивали песок пляжа, которому давно пора быть взрытым сотней маленьких ног. Но берег оставался пуст, и холмики кладок, сбережённые от набегов молочников, почти сровнялись с землёй. За последнее десятилетие это был второй такой год, и Зау уже

знал, что ему ожидать. Он разрыл один из холмиков. В нос ударил запах смерти. Никто не выльется из яиц, равнодушно брошенных в холодную мокреть.

Опустив тяжёлые, в шрамах и струпьях давних ожогов руки, Зау побрёл к дому. Он привычно сдерживал мысли, хотя сейчас можно было говорить в полный голос, можно было кричать...

Вечером Зау разложил у воды погребальный костёр для неродившихся. Когда огонь прогорел — залил угли, теперь он знал, как это делается. Смотрел на курящийся белый пар, перебирая в уме варианты поведения.

Тёплый дом, уже не первый на этом пляже — первый давно сгнил, — мог спасти и до поры спасал малышей. Но для яиц дрожжевая грелка не годилась, им было нужно горячее солнце. Хорошую температуру могли бы дать электрические нагреватели, но их шум ещё в яйце убьёт разум детёнышей, они родятся глухими. А глухой говорящий — всё равно что мёртвый. Есть ещё огонь, но он слишком горяч, и к тому же вряд ли найдётся сила, которая заставит его развести огонь в доме.

Впереди пустой год, за это время можно было бы что-нибудь придумать, — но что можно придумать одному? Давно уже говорящие, задавленные бедой, которую сами же вызвали, решают лишь сиюминутные вопросы. Много лет нет в городе университета — братства разумных, готовых бескорыстно взяться за исследование любой проблемы. Они не сумели помочь в главном, и их стало накладно кормить.

И теперь остаётся, вопреки очевидному, надеяться, что следующий год окажется удачнее предыдущего, а освободившееся время тратить на подготовку к зиме, потому что зимой теперь и взрослого гово-

рящего тянет в сон, если он слишком долго пробудет на улице.

Летние месяцы ушли на пустые заботы о себе самом, а зима уничтожила последние надежды на чудо. Зимние дни стали такими холодными, что брожение в грелке почти прекратилось, и даже дома приходилось быть начеку, чтобы не уснуть ненароком.

И вот однажды утром, с трудом продержавшись до света, Зау увидел, что комната выстыла совершенно. Мороз победил грелку.

Зау распахнул дверь и собственными глазами увидел смерть — то, что он знал лишь теоретически, что предсказывали чудаки из университета. Вода замёрзла и стала твёрдой, вместо дождя с неба сеялась мелкая белая крупка.

Жизнь на берегу кончилась, надо было уходить.

Зау собрал свой инструмент, постаревший, как и он сам, стёршийся от времени, аккуратно притворил дверь дома, последний раз обошёл пустой детский пляжик. Ветер нёс над песком снежную пудру. Снег зализывал пятипалые следы, оставленные ногами Зау, одинокая белая цепочка рассекала мир детства. Зау наклонился, погрузил в песок обе руки. На смёрзшемся песке рядом со следами ног чётко отпечатались две пятерни — оттиски рук, искалечивших мир. Выемки заносило снегом, потом поверх снега их забросает песком, и если никто больше не будет жить на этом пляже, то следы так и останутся там, в слежавшейся толще, уйдут в глубь земли, окаменеют, и, может быть, это будет самым долгим, что оставит он после себя.

Зау страхнул ледяную сонливость, начавшую охватывать его, и поспешил к городу.

Зиму он провёл в городе вместе с немногими оставшимися там собратьями. Колония жалась ближе

к электрогенераторам, превращавшим всех в подобие пустоголовых, но в то же время несущих тепло. Питались жители старыми запасами, которые приходилось разваривать в горячей воде.

Окрестности города, когда-то плотно обжитые, были отданы во власть молочников. Молочники вышли из нор. Притерпевшиеся ко всему, травленные ядом и радиацией, привыкшие к холоду и темноте. Теперь их ничто не сдерживало — они множились и менялись на глазах. Какой удачей было бы для Мезы увидеть это разнообразие отвратительных форм! Иные грызли дерево и питались, кажется, одной корой, другие пожирали собственных собратьев, но все были мерзки и многочисленны. Они появились даже в домах, так что капканы Зау никогда не оставались без работы.

Жить в городе, мучаясь от круглосуточного рёва электропечей, было невыносимо тяжело, и, с трудом дождавшись весны, когда зазеленел, казалось, напрочь убитый морозом ивняк, а со дна оттаявших луж всплыли ожившие лягушки, Зау покинул город. Он двинулся на юг, откуда тянул тёплый ветер и летели возвращающиеся птицы. Там, судя по всему, ещё оставалась нормальная жизнь, если можно, конечно, называть происходящее нормальной жизнью.

Впереди были сотни лет и тысячи километров бегства.

Он потерял счёт времени и местам. Долины рек и суровые плоскогорья проплывали мимо, не врезаюсь в память, а лишь истирая её своей необязательностью. Месяцы и десятилетия упруго сжимались и рассыпались трухой секунд, пропуская сквозь себя идущего.

Иногда Зау встречал поселения говорящих, внешне вполне благополучные, но он замечал, как мало там живёт молодых, видел, как расплзаются от городов пятна рукотворных пустынь, — и уходил дальше. Никто не шёл за ним следом, говорящие оставались на местах, жертвуя разумом и будущим ради сегодняшнего удобства и тепла.

Случалось, в закрытых от ветра долинах попадались нетронутые уголки, где Зау хотел бы жить. Тогда он останавливался, строил дом, ловил и приручал животных, если они ещё водились в этой местности. Но проходил десяток лет, зима догоняла Зау, и он бежал, оставляя жилище, бросив всё.

И наконец он достиг предела. С гребня серой, источенной ветром скалы он увидел океан. Материк был перейдён из конца в конец. Дальше пути не было.

Под ногами мелко хрустел ракушечник — витые и двустворчатые домики морских существ, погубленных во время чужих попыток остановить выстывание атмосферы. Тем, кто жил здесь когда-то, удалось, опрокинув в море миллионы тонн ядохимикатов, уничтожить микроскопический известковый планктон, поглощавший драгоценный углекислый газ. Но вслед за планктоном и кораллами погибли упрятанные в раковины спруты — аммониты и стремительные белемниты, исчезли, лишившись пищи, эласмозавры и плезиозавры, чьей печени Зау так и не отведал, пропали пережившие многие эпохи шустрые рыбащеры. Море опустело, и потомки незадачливых рыболовов отошли на север, их выморочные поселения Зау оставил позади.

Но всё это было напрасно, Великая Зима приближалась. Углекислотная шуба истончалась с каждым годом, планета замерзала. И вот холод загнал его сюда — на южную оконечность земли. Здесь

ему предстоит строить последнее убежище, спастись в нём и ждать неведомо чего, без надежды дожидаться.

Океан ударял холодной волной в обрыв берега. Солёные брызги залетали наверх, высыхали, покрывая колючей сединой кожу. Зау стоял, напряжённо вслушиваясь. Тишина. Ни одного голоса. На всём берегу, а может быть, и на всём материке, он единственный нарушает безмолвие, посылая в мир полную отчаяния мысль.

За спиной громоздится лес: корявые, изуродованные стволы — ветер свищет меж безлистных ветвей. Это ничего, лес оклемается, если ему позволит погода. Он сейчас без листьев, потому что зима и холодно. Даже сюда, на южную точку континента, пришёл зимний холод. Всё время льют дожди. Никогда раньше их столько не было — бесконечных, мелких, изводящих душу. Облака загораживают солнце, от этого холодает ещё быстрее. Зау невесело вздохнул: даже сейчас он ищет объяснения происходящему.

Из-за леса донёсся тонкий вой. Там бродят группы молочников, осмелевших, ставших опасными. Сбылось безумное видение Мезы: говорящие съели свою землю, и молочники без помех догрызают то, что осталось.

Где-то за морем — материка Гондваны. Там тепло, там ещё должны жить говорящие. Но уже давно не слышно оттуда голосов — то ли не с кем беседовать через море, то ли и там беда, и разум задохнулся в собственных отбросах. Впрочем, даже если там и живы разумные, им не удастся отсидеться в тёплых землях. Пройдут эпохи, но когда-нибудь страны соединятся, и по дну бывшего моря хлынут орды глухого, беспощадного, ко всему привыкшего зверья.

Если они на его глазах так изменились, то что же будет потом...

Темнело. Воздух быстро холодел, и Зау поспешил к дому. Там тоже было холодно, грелка работала плохо. Зау прикрыл дверь и начал раскладывать на камнях набранные днём ветки. Ещё один бессмысленный и опасный эксперимент. Мысль не может успокоиться, хотя надежды на победу давно нет. Что делать, таким он создал себя — сначала его покинут силы и только потом разум.

Огонь затрещал, вскинувшись по ветвям. Комната сразу осветилась, Зау стал хорошо видеть. Он осторожно взял ещё одну ветку, бросил в огонь, быстро отдернув руку. В комнате постепенно становилось тепло, Зау ощущал это по тому, как исчезала сонливость. И всё же его не оставляло чувство обречённости. Во все века огонь разводился лишь для того, чтобы хоронить умерших, давний опыт с углём был не в счёт. И теперь Зау казалось, будто он хоронит самого себя.

Синие клубы дыма плотным слоем собирались под потолком. Дыму было некуда деваться, постепенно он заполнил помещение, заставив Зау лечь на пол. Но вскоре дым достал его и там. Несколько минут Зау лежал, не дыша и часто моргая, чтобы умерить резь в глазах, потом выскочил на улицу отдышаться и проветрить дом. Дым повалил следом из открытых дверей. Почему-то его не становилось меньше, густые клубы выплывали из проёма и тут же сливались с затянутым облаками ночным небом. Зау сунулся в дом и увидел, что в комнате горит пол. Должно быть, угли провалились между подложенных камней. Зау плеснул в огонь запасённую заранее воду, потом метнулся было к берегу, но, сделав два шага, остановился. В темноте он не видел абсолютно ничего и мог лишь разбиться, упав с обрыва.

Дом горел. Теперь с лихвой хватало и тепла, и света, только тушить было нечем и незачем. Зау стоял и рассматривал свои праздно висящие руки. Неужели это он? Неужели это его руки? Когда он успел стать таким? Это скорее лапы Хисса, натруженные и уставшие. Завтра с утра ему снова придётся браться за работу. Одному, без помощников таскать брёвна, строить дом, ночами спасаться у костров... Для чего? Чтобы в одиночестве протянуть ещё несколько сотен мрачных лет? А потом? — Зау шевельнулся. — Потом он доживёт до своего предела и перед смертью расскажет историю жизни и гибели могучей цивилизации говорящих. И может быть, если на материках Гондваны — в Африке или Индии — есть ещё разумные, они услышат его, и это поможет им хоть в чём-то. Далеко Африка...

К утру пожарище остыло. Бледное солнце выбралось из-за горизонта и тут же пропало среди облаков. С неба привычно засеяло мелкой водой. Зау, вяло двигаясь, натаскал сучьев, выломал в лесу два ствола, но донести их до берега не смог. Он понимал, что не сумеет разжечь насквозь промокший хворост.

Перед закатом налетел ветер и разогнал тучи, выстрелив на прощание в лицо снежным залпом.

Зау не мёрз, он лишь чувствовал, как мороз сковывает его, убаюкивая бездонной чернотой сна. Трудно ступая, Зау вышел к пожарищу. Под ногами хрустел лёд.

Остывшее солнце тяжело падало к горизонту, раздвигая размытые остатки туч. Наступил вечер. Один из бесчисленных вечеров на планете Земля. Скорее всего, для него этот вечер станет последним.

Ветер гнал к берегу мутные валы. Но ни один плавник не мелькал среди белых гребней. И воздух не прочерчивала распыленная тень рамфоринха, лишь несколько чаек-ихтиорнисов бестолково бились в воз-

душных струях. Свистел ветер, и в тон ему с пустой земли доносилось тонкое подвывание. Молочники дождались своего мокрого и холодного часа.

Солнце скрылось, лишь карминовая полоса заката кровавила небо. Быстро темнело, беспомощные глаза не могли служить Зау. Но всё же, повернувшись к лесу, Зау увидел полукруг горящих точек. Заметив движение, молочники отскочили, переливчато перекликаясь. Даже эти, новые, они были ничтожно слабы по сравнению с ним, но они умели ждать, а за их спинами стояли тьма и холод.

Зау шагнул вперёд, сознавая, что бесцельно тратит остатки сил. Огненная цепь рассыпалась, охватывая его со всех сторон.

Полоса заката обуглилась, слившись с чернотой. Молочники выли.

«Оставлять этой пакости Землю, — с трудом подумал Зау, — обидно...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЁД ЖИЗНИ

ОБЕРЕГ У ПУСТЫХ ХОЛМОВ	7
БЫЛЬ О СКАЗОЧНОМ ЗВЕРЕ	17
ГАНС КРЫСОЛОВ	40
СМИРНЫЙ ЖАК	70
СТРАЖ ПЕРЕВАЛА	85
ЦИРЮЛЬНИК	123
МИРАКЛЬ РЯДОВОГО ДНЯ	142
МЁД ЖИЗНИ	201

ДОМ У ДОРОГИ

ХОЗЯИН	241
ДОМ У ДОРОГИ	245
ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ	250
МАШЕНЬКА	306
ЗАМОШЬЕ	
Комар	328
Ящера	336
Свечка	348
Дачники	367
Изба с краю	377
MONSTRUM MAGNUM	398
ЧАСЫ	426
ЗАКАТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ	446

Литературно-художественное издание

Святослав Логинов

СТРАЖ ПЕРЕВАЛА

Ответственный редактор *Геннадий Белов*

Оформление *Александра Андрейчука*

Художественный редактор *Павел Борозенец*

Технический редактор *Татьяна Раткевич*

Корректоры *Людмила Борисова, Елена Шнитникова*

Верстка *Алексея Положенцева*

ЛР № 071177 от 05.06.95.

Подписано в печать с оригинал-макета 29.03.96.

Формат издания 84×108¹/₃₂. Печать высокая.

Гарнитура тип Кудряшов.

Усл. печ. л. 25,2. Тираж 25 000 экз.

Изд. № 47. Заказ № 1760.

Издательство «Азбука».

196105, Санкт-Петербург, а/я 192.

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор»

Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург,

Чкаловский пр., 15.



**Санкт-Петербургский Дом книги
рассылает по России
наложенным платежом
книги и журналы.**

**Книги издательства «Азбука»
можно заказать в отделе
«Книга — почтой»**

*Обращаясь к нам,
укажите тематику,
по которой вы желаете получить
списки книг и журналов.*

**Наш адрес: 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., 28. Дом книги.
Отдел «Книга — почтой».**



**Писатель-фантаст
не предсказывает
будущее,
а предотвращает его,
создавая
действующие модели
грядущего в своей
прозе.**

**Армия теней
из туманной
страны иллюзий
пытается
проникнуть на эту
сторону реальности,
но пути в наш мир
надежно хранит
грозный**

СТРАЖ ПЕРЕВАЛА

